

Самюэль Хантингтон

Столкновение цивилизаций

Книга Самюэля Хантингтона “Столкновение цивилизаций” — первая проба практического применения новых смыслов, вложенных в понятие “цивилизация” во второй половине XX века.

Базовое понятие “цивилизованного” было развито в XVII веке французскими философами в рамках бинарного противостояния “цивилизация — варварство”. Это послужило онтологической основой экспансии Европейской цивилизации и практики передела мира без учета мнений и желаний любых неевропейских культур. Окончательный отказ от бинарной формулы произошел лишь в середине XX века после Второй Мировой войны. Вторая Мировая стала завершающим этапом распада Британской империи, последнего воплощения классической французской формулы цивилизации (См., например, Б. Лиддел Гарт “Вторая Мировая война”, СПб. ТФ, М: АСТ, 1999).

В 1952 году появляется работа американских антропологов немецкого происхождения А.Кроебера и К.Клукхона “Культура: критический обзор концепций и понятий”, где они указали, что классический немецкий постулат XIX века о категорическом разделении культуры и цивилизации — обманчив. В окончательной форме теза о том, что цивилизация определяется культурой — “собрание культурных характеристик и феноменов” — принадлежит французскому историку Ф. Броделю (“Об истории”, 1969).

В 80— годы успех в “холодной войне” определил два отправных пункта для идеологов Евро-Атлантической цивилизации:

- представление о том, что цивилизационный образ “условного Запада” стал в мире определяющим для современного мира и история в своем классическом формате завершена (Ф. Фукуяма);

- существование в современном мире множества цивилизаций, которые еще придется вводить в требуемый цивилизационный образ (С.Хантингтон).

Новая формула “цивилизованного” потребовала иного практического решения в системе цивилизационных отношений. И идеологами новой практики стали американцы З.Бжезинский с “Великой шахматной доской” и С.Хантингтон с представляемой книгой. Бывший государственный секретарь США, описывая работающие геополитические технологии назвал Россию “большой черной дырой на карте мира”, а доктор Хантингтон отнес ее к православной цивилизации и практически списал на пассивную форму сотрудничества.

Собственно главной сложностью поставленной проблемы стали классификация и география цивилизаций. Вся практика управления цивилизациями сводится в истинность описания поля “Великой Игры”. Доктрины Бжезинского и Хантингтона присутствуют в современной политике и, очень хорошо решив самые первые задачи, очевидно испытывают сложности на границах старых религиозных войн и в зоне разрушения Советского проекта.

На границе тысячелетий понятие цивилизации претерпевает очередные изменения. В рамках тезы, предложенной русскими философами П.Щедровицким и Е.Островским в конце 90-х годов, предполагается уход от географической составляющей, и окончательный переход от формулы “кровь и почва” к принципу “язык и культура”. Тем самым, границы новых единиц структурирования человеческой цивилизации, как их назвали авторы Миров, проходят по ареалам распространения языков и соответствующих образов жизни, включающих и броделевские “собрания культурных характеристик и феноменов”.

Николай Ютанов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Летом 1993 года журнал *Foreign Affairs* опубликовал мою статью, которая была озаглавлена “Столкновение цивилизаций?”. По словам редакторов *Foreign Affairs*, эта статья за три года вызвала больший резонанс, чем любая другая, напечатанная ими с 1940-х годов. И конечно же, она вызвала больший ажиотаж, чем все что я написал ранее. Отклики и комментарии приходили из десятков стран, со всех континентов. Люди были в той или иной степени поражены, заинтригованы, возмущены, напуганы и сбиты с толку моим заявлением о том, что центральным и наиболее опасным аспектом зарождающейся глобальной политики станет конфликт между группами различных цивилизаций. Видимо, ударило по нервам читателей всех континентов.

С учетом того, какой интерес вызвала статья, а также количества споров вокруг нее и искажения изложенных фактов, мне видится желательным развить поднятые в ней вопросы. Замечу, что одним из конструктивных путей постановки вопроса является выдвижение гипотезы. Статья, в заглавии которой содержался проигнорированный всеми вопросительный знак, была попыткой сделать это. Настоящая книга ставит своей целью дать более полный, более [с .7] глубокий и подтвержденный документально ответ на вопрос, поставленный в статье. Здесь я предпринял попытку доработать, детализировать, дополнить и, по возможности, уточнить вопросы, сформулированные ранее, а также развить многие другие идеи и осветить темы, не рассмотренные прежде вовсе или затронутые мимоходом. В частности, речь идет о концепции цивилизаций; о вопросе универсальной цивилизации; о взаимоотношениях между властью и культурой; о сдвиге баланса власти среди цивилизаций; о культурных истоках не-западных обществ; о конфликтах, порожденных западным универсализмом, мусульманской воинственностью и притязаниями Китая; о балансировании и тактике “подстраивания” как реакции на усиление могущества Китая; о причинах и динамике войн по линиям разлома; о будущем Запада и мировых цивилизаций. Одним из важных вопросов, не рассмотренных в статье, является существенное влияние роста населения на нестабильность и баланс власти. Второй важный аспект, не упомянутый в статье, подытожен в названии книги и завершающей ее фразе: “...столкновения цивилизаций являются наибольшей угрозой миру во всем мире, и международный порядок, основанный на цивилизациях, является самым надежным средством предупреждения мировой войны”.

Я не стремился написать социологический труд. Напротив, книга задумывалась как трактовка глобальной политики после “холодной войны”. Я стремился представить в ней общую парадигму, систему обзора глобальной политики, которая будет ясной для исследователей и полезной для политиков. Проверка ее ясности и полезности заключается не в том, охватывает ли она все, что происходит в глобальной политике. Естественно, нет. Проверка заключается в том, предоставит ли она в ваше распоряжение более ясную и полезную линзу, сквозь которую можно рассматривать международные процессы. Кроме того, никакая парадигма не может существовать вечно. В то время как международный [с .8] подход может оказаться полезным для понимания глобальной политики в конце двадцатого — начале двадцать первого века, это не означает, что он окажется в равной мере действенным для середины двадцатого или середины двадцать первого века.

Идеи, которые затем воплотились в статье и этой книге, были впервые публично выражены на лекции в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне в октябре 1992 года, а затем изложены в сообщении, подготовленном для проекта института им. Дж. Олина “Изменение среды безопасности и американских национальных интересов”, который был воплощен благодаря фонду Смита — Ричардсона. После публикации статьи я участвовал в бесчисленных семинарах и дискуссиях с представителями правительственных, академических, предпринимательских и иных кругов в Соединенных Штатах. Кроме того, мне посчастливилось принимать участие в обсуждениях статьи и ее тезисов во многих других странах, включая Аргентину, Бельгию, Великобританию, Германию, Испанию, Китай, Корею, Люксембург, Россию, Саудовскую Аравию, Сингапур, Тайвань, Францию, Швецию, Швейцарию, ЮАР и Японию. Эти встречи познакомили меня со всеми основными цивилизациями, кроме индуистской, и я вынес бесценный опыт из общения с участниками

этих дискуссий. В 1994 и 1995 годах я проводил в Гарварде семинар о природе мира после “холодной войны”, и меня вдохновили его живая атмосфера и довольно критичные подчас замечания студентов. Неоценимый вклад в работу внесли также мои коллеги и единомышленники из Института стратегических исследований имени Джона М. Олина и Центра международных дел при Гарвардском Университете.

Рукопись была полностью прочитана Майклом С. Дэшем, Робертом О. Кеоханом, Фаридом Закария и Р. Скоттом Циммерманном, чьи замечания способствовали более полному и ясному изложению материала. В ходе написания [с .9] Скотт Циммерманн оказал неоценимое содействие в исследовательских работах. Без его энергичной, квалифицированной и преданной помощи книга ни за что не была бы завершена в такие сроки. Наши ассистенты из студентов — Питер Джун и Кристиана Бриггс — также внесли свой конструктивный вклад. Грейс де Мажистри напечатала раннюю версию рукописи, а Кэрол Эдварде с вдохновением и энтузиазмом переделывала рукопись так много раз, что она, должно быть, знает ее почти наизусть. Дениз Шеннон и Линн Кокс из издательства “Жорж Боршар” и Роберт Ашания, Роберт Бендер и Джоанна Ли из издательства “Саймон энд Шустер” энергично и профессионально провели рукопись через процесс публикации. Я бесконечно благодарен всем, кто помогал мне с созданием этой книги. Она получилась намного лучше, чем была бы в ином случае, и оставшиеся недоработки лежат на моей совести.

Моя работа над этой книгой стала возможной благодаря финансовой поддержке фондов Джона М. Олина и Смит — Ричардсона. Без их содействия процесс написания растянулся бы на годы, и я премного благодарен им за их щедрую помощь в этом начинании. В то время как другие фонды фокусируют свою деятельность на внутренней проблематике, фонды Олина и Смит — Ричардсона заслуживают одобрения за то, что с интересом относятся и содействуют изучению вопросов войны и мира, национальной и международной безопасности.

С.П.Х.

ЧАСТЬ 1. МИР ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Глава 1. Новая эра мировой политики

Введение: флаги и культурная идентификация

3 января 1992 года в зале одного из правительственных зданий Москвы состоялась встреча российских и американских ученых. За две недели до этого Советский Союз прекратил свое существование, и Российская Федерация стала независимым государством. Вследствие этого памятник Ленину, красовавшийся прежде на сцене аудитории, исчез, зато на стене появился российский флаг. Единственной проблемой, как заметил один из американцев, было то, что флаг вывесили вверх ногами. После того как замечание было передано представителям принимающей стороны, во время первого же перерыва ошибка была быстро и спокойно исправлена.

За годы, прошедшие после окончания “холодной войны”, мы стали свидетелями начала огромных перемен в идентификации народов и символах этой идентификации. Глобальная политика начала выстраиваться вдоль новых линий — культурных. Перевернутые флаги были знаком перехода, но все больше и больше флагов развеваются высоко и гордо, а русские и другие народы мобилизуются и несут перед собой эти и другие символы своей новой культурной идентификации.

18 апреля 1994 года две тысячи человек собрались в Сараево, размахивая флагами Саудовской [с .13] Аравии и Турции. Подняв над собой эти стяги, вместо флагов ООН,

НАТО или США, эти жители Сараево отождествляли себя со своими братьями-мусульманами и показали миру, кто их настоящие и “не такие уж и настоящие” друзья.

16 октября 1994 года в Лос-Анджелесе 70.000 человек вышли на улицы с “морем мексиканских флагов”, протестуя против вынесенной на референдум поправки 187, которая отменяла многие государственные льготы для незаконных эмигрантов и их детей. “Почему они вышли на улицы с мексиканским флагом и требуют, чтобы эта страна давала им бесплатное образование? — поинтересовались наблюдатели. — Им следовало бы размахивать американским флагом”. И в самом деле, две недели спустя протестующие вышли на улицы с американским флагом — перевернутым. Эта выходка с флагом обеспечила победу поправки 187, которая была одобрена 59 процентами жителей Калифорнии, имеющих право голоса.

В мире после “холодной войны” флаги имеют значение, как и другие символы культурной идентификации, включая кресты, полумесяцы и даже головные уборы, потому что имеет значение культура, а для большинства людей культурная идентификация — самая важная вещь. Люди открывают новые, но зачастую старые символы идентификации, и выходят на улицы под новыми, но часто старыми флагами, что приводит к войнам с новыми, но зачастую старыми врагами.

В романе Майкла Дибдина “Мертвая лагуна” устами венецианского националиста-демагога выражен весьма мрачный, но характерный для нашего времени взгляд на мир: “Не может быть настоящих друзей без настоящих врагов. Если мы не ненавидим того, кем мы не являемся, мы не можем любить того, кем мы являемся. Это старые истины, которые мы с болью заново открываем после более чем столетия сентиментального лицемерия. Те, кто отрицает эти истины, отрицает свою семью, свое наследие, свое право по рождению, самое себя! И таких людей нельзя с легкостью [с .14] простить”. Прискорбную правдивость этих старых истин не может отрицать ни ученый, ни политик. Для людей, которые ищут свои корни, важны враги, и наиболее потенциально опасная вражда всегда возникает вдоль “линий разлома” между основными мировыми цивилизациями.

Основная идея этого труда заключается в том, что в мире после “холодной войны” культура и различные виды культурной идентификации (которые на самом широком уровне являются идентификацией цивилизации) определяют модели сплоченности, дезинтеграции и конфликта. В пяти частях книги выводятся следствия из этой главной предпосылки.

Часть I : Впервые в истории глобальная политика и многополюсна, и полицивилизационна; модернизация отделена от “вестернизации” — распространения западных идеалов и норм не приводит ни к возникновению всеобщей цивилизации в точном смысле этого слова, ни к вестернизации не-западных обществ.

Часть II : Баланс влияния между цивилизациями смещается: относительное влияние Запада снижается; растет экономическая, военная и политическая мощь азиатских цивилизаций; демографический взрыв ислама имеет дестабилизирующие последствия для мусульманских стран и их соседей; не-западные цивилизации вновь подтверждают ценность своих культур.

Часть III : Возникает мировой порядок, основанный на цивилизациях: общества, имеющие культурные сходства, сотрудничают друг с другом; попытки переноса обществ из одной цивилизации в другую оказываются бесплодными; страны группируются вокруг ведущих или стержневых стран своих цивилизаций.

Часть IV : Универсалистские претензии Запада все чаще приводят к конфликтам с другими цивилизациями, наиболее серьезным — с исламом и Китаем; на локальном уровне войны на линиях разлома, большей частью — между мусульманами и не-мусульманами, вызывают “сплочение [с .15] родственных стран”, угрозу дальнейшей эскалации конфликта и, следовательно, усилия основных стран прекратить эти войны.

Часть V : Выживание Запада зависит от того, подтвердят ли вновь американцы свою

западную идентификацию и примут ли жители Запада свою цивилизацию как уникальную, а не универсальную, а также их объединения для сохранения цивилизации против вызовов не-западных обществ. Избежать глобальной войны цивилизаций можно лишь тогда, когда мировые лидеры примут полицивилизационный характер глобальной политики и станут сотрудничать для его поддержания.

Многополюсный, полицивилизационный мир

Политика в мире после “холодной войны” впервые в истории стала и многополюсной, и полицивилизационной. Большую часть существования человечества цивилизации контактировали друг с другом лишь время от времени или не имели контактов вовсе. Затем, с началом современной эры, около 1500 года н.э., глобальная политика приобрела два направления. На протяжении более четырехсот лет национальные государства Запада — Британия, Франция, Испания, Австрия, Пруссия, Германия, Соединенные Штаты и другие — представляли собой многополюсную международную систему в пределах западной цивилизации. Они взаимодействовали и конкурировали друг с другом, вели войны друг против друга. В то же время западные нации расширялись, завоевывали, колонизировали и оказывали несомненное влияние на все остальные цивилизации (см. карту 1.1).

Во время “холодной войны” глобальная политика стала биполярной, а мир был разделен на три части. Группа наиболее процветающих и могущественных держав, [с .16] ведомая Соединенными Штатами, была втянута в широкомасштабное идеологическое, экономическое и, временами, военное противостояние с группой небогатых коммунистических стран, сплоченных и ведомых Советским Союзом. Этот конфликт в значительной степени проявлялся за пределами двух лагерей — в третьем мире, который состоял зачастую из бедных, политически нестабильных стран, которые лишь недавно обрели независимость и заявили о политике неприсоединения (карта 1.2).

В конце 1980-х коммунистический мир рухнул, и международная система времен “холодной войны” стала историей. В мире после “холодной войны” наиболее важные различия между людьми уже не идеологические, политические или экономические. Это культурные различия. Народы и нации пытаются дать ответ на самый простой вопрос, с которым может столкнуться человек: “Кто мы есть?”. И они отвечают традиционным образом — обратившись к понятиям, имеющим для них наибольшую важность. Люди определяют себя, используя такие понятия, как происхождение, религия, язык, история, ценности, обычаи и общественные институты. Они идентифицируют себя с культурными группами: племенами, этническими группами, религиозными общинами, нациями и — на самом широком уровне — цивилизациями. Не определившись со своей идентичностью, люди не могут использовать политику для преследования собственных интересов. Мы узнаем, кем являемся, только после того, как нам становится известно, кем мы не являемся, и только затем мы узнаем, против кого мы.

Основными игроками на поле мировой политики остаются национальные государства. Их поведение, как и в прошлом, определяется стремлением к могуществу и процветанию, но определяется оно и культурными предпочтениями, общностями и различиями. Наиболее важными группировками государств являются уже не три блока времен “холодной войны”, но, скорее, семь или восемь основных мировых цивилизаций (карта 1.3).

Не— западные общества, особенно [с .17] * в Южной Азии, повышают свое экономическое благосостояние и создают базис для увеличения военной мощи и политического влияния. С повышением могущества и уверенности в себе не-западные страны все больше утверждают свои собственные ценности и отвергают те, которые “навязывает” им Запад. “Международная система двадцать первого века, — заметил Генри Киссинджер, — будет состоять по крайней мере из шести основных держав — Соединенных Штатов, Европы, Китая, Японии, России и, возможно, Индии, а также из множества средних и малых государств” 1 . Шесть держав Киссинджера принадлежат к пяти различным цивилизациям, и кроме того, есть еще важные исламские страны, чье стратегическое расположение, большое население и запасы нефти делают их весьма влиятельными фигурами мировой политики. В этом новом мире локальная политика является политикой этнической, или расовой, принадлежности; глобальная политика — это политика цивилизаций. Соперничество сверхдержав сменилось столкновением цивилизаций.

В этом новом мире наиболее масштабные, важные и опасные конфликты произойдут не между социальными классами, бедными и богатыми, а между народами различной культурной идентификации. Внутри цивилизаций будут случаться межплеменные войны и этнические конфликты. Насилие между странами и группами и группами из различных цивилизаций, однако, несет с собой потенциал эскалации, так как другие страны и группы из этих цивилизаций призывают к помощи своих “братских стран” 2 . Кровавое столкновение кланов в Сомали не несет угрозы расширения конфликта. Кровавое столкновение племен в Руанде имеет последствия для Уганды, Заира и Бурунди, но не более того. Кровавые столкновения цивилизаций в Боснии, на Кавказе, Центральной Азии или в Кашмире могут разрастись в большие войны. В югославском конфликте Россия предоставляла дипломатическую помощь сербам, а Саудовская Аравия, Турция, Иран и Ливия предоставляли [с .24] финансовую помощь и оружие боснийцам не по причинам идеологии, политики с позиции силы или экономических интересов, но из-за культурного родства. “Культурные конфликты, — заметил Вацлав Гавел, — усиливаются, и сегодня стали опаснее, чем когда-либо в истории”; а Жак Делор согласился, что “грядущие конфликты будут загораться от искры скорее национального фактора, чем экономического или идеологического” 3 . И наиболее опасные культурные конфликты — те, которые имеют место вдоль линий разлома между цивилизациями.

В мире после “холодной войны” культура является силой одновременно и объединяющей, и вызывающей разрыв. Люди, разделенные идеологией, но объединенные культурой, объединяются, как это сделали две Германии, и начинают делать две Кореи и несколько Китаев. Общества, объединенные идеологией, но в силу исторических обстоятельств разделенные культурами, распадаются, как это случилось с Советским Союзом, Югославией и Боснией, или входят в состояние напряженности, как в случае с Украиной, Нигерией, Суданом, Индией, Шри-Ланкой и многими другими странами. Страны, сходные в культурном плане, сотрудничают экономически и политически. Международные организации, основанные на государствах с культурной общностью, как например Европейский Союз, намного более успешны, чем те, которые пытаются подняться над культурами. На протяжении сорока пяти лет “железный занавес” был центральной линией раздела в Европе. Сейчас эта линия переместилась на несколько сот миль на восток. Сейчас она отделяет народы западного христианства от мусульманских и православных.

Философские воззрения, основополагающие ценности, социальные отношения, обычаи и общие взгляды на жизнь значительно отличаются в разных цивилизациях. Возрождение религии в большей части мира усиливает эти культурные различия. Культуры могут изменяться, и природа их влияния на политику и экономическое развитие может [с .25] различаться в разные исторические периоды. И все же очевидно, что основные различия политического и экономического развития различных цивилизаций имеют корни в различии культур. Восточно-азиатский экономический успех обусловлен восточно-азиатской

культурой, как и трудности, с которыми столкнулись восточно-азиатские страны на пути построения стабильных демократических систем. Причины провала установления демократии в большей части мусульманского мира во многом кроются в исламской культуре. Развитие посткоммунистических обществ Восточной Европы и на пространстве бывшего Советского Союза определяется цивилизационной идентификацией. Страны с западнохристианскими корнями добиваются успеха в экономическом развитии и установлении демократии; перспективы экономического и политического развития в православных странах туманны; перспективы мусульманских стран и вовсе безрадостны.

Запад есть и еще долгие годы будет оставаться самой могущественной цивилизацией. И все же его могущество по отношению к другим цивилизациям сейчас снижается. В то время как Запад пытается утвердить свои ценности и защитить свои интересы, не-западные общества стоят перед выбором. Некоторые из них предпринимают попытки подражать Западу, присоединиться к нему и слиться с ним. Другие конфуцианские и исламские общества стремятся наращивать свою экономическую и военную мощь, чтобы противостоять Западу, создавая достойный противовес. Центральной осью политики мира после “холодной войны” является, таким образом, взаимоотношение западной мощи и политики с мощью и политикой не-западных цивилизаций.

Всего в мире после “холодной войны” насчитывается семь или восемь главных цивилизаций. Характер связей между странами, общность интересов или антагонизм, определяются общностью или различием культурных корней. Важнейшие страны мира принадлежат к совершенно различным [с .26] цивилизациям. Наибольшую степень вероятности перерастания в крупномасштабные войны имеют локальные конфликты между группами и государствами из различных цивилизаций. Доминирующие модели политического и экономического развития различаются от цивилизации к цивилизации. Нарастание государственной мощи смещается от давно господствующего Запада к не-западным цивилизациям. Глобальная политика стала многополюсной и полицивилизационной.

Другие миры?

Карты и парадигмы

Конечно, это упрощение — считать, что картина мировой политики после “холодной войны” и в самом деле определяется только культурными факторами и касается взаимоотношений между странами и группами из различных цивилизаций, поскольку при этом не учитываются многие факторы, некоторые вещи искажаются, а другие становятся неясными. Но для вдумчивого анализа ситуации в мире и эффективного воздействия на нее необходима какая-то упрощенная карта реальности, какая-то теория, модель, парадигма. Без таких умозрачительных построений останется, как выразился Уильямс Джемс, лишь “пестрое шумное смятение”. Интеллектуальный и культурный прогресс, как показал Томас Кун в своем классическом труде “Структура научных революций”, состоит из замены одной парадигмы, которая перестала находить объяснения новым или вновь открытым фактам, иной парадигмой, которая более удовлетворительно толкует эти факты. “Чтобы быть принятой как парадигма, — писал Кун, — теория должна казаться лучшей, чем ее конкуренты, но ей не нужно — и на самом деле она никогда этого не делает — объяснять все факты, с которыми она может столкнуться” 4 . “Чтобы [с .27] пройти по незнакомой территории, — мудро заметил Джон Льюис Гэддис, — нам обычно требуется какая-нибудь карта. Картография, как и само познание, является необходимым упрощением, которое позволяет нам увидеть, где мы находимся и куда мы можем пойти”. Он также подчеркнул, что образ состязания супердержав времен “холодной войны” был подобной моделью, впервые охарактеризованной Гарри Труменом как “метод геополитической картографии, который описывает международный ландшафт общедоступными терминами, подготавливая

таким образом почву для сложной стратегии сдерживания, каковой суждено вскоре появиться”. Мировоззрения и причинные теории являются неотъемлемыми ориентирами международной политики 5 .

На протяжении сорока лет в области международных отношений было принято думать и действовать в рамках крайне упрощенной, но весьма полезной парадигмы мировых взаимоотношений времен “холодной войны”. Эта парадигма не могла принять во внимание все, что происходило в мировой политике. Было много аномалий, выражаясь языком Куна, и временами этот традиционный взгляд закрывал глаза ученых и государственных деятелей на важные события, как например китайско-советский конфликт. И все же, как простая модель глобальной политики, она позволяла рассматривать больше значительных явлений, чем все ее конкуренты, была важной отправной точкой для понимания международных дел, а вследствие этого была принята практически повсеместно и формировала видение мировой политики двух поколений.

Упрощенные парадигмы и карты необходимы для человеческого мышления и деятельности. С одной стороны, мы можем ясно формулировать теории или модели и сознательно применять их как ориентиры нашего поведения. С другой стороны, мы можем отрицать необходимость подобных ориентиров и делать вид, что мы действуем в рамках каких-то “объективных” факторов, разбираясь каждый [с .28] раз “по существу”. Однако если примем такую позицию, мы будем обманывать себя. Потому что где-то в глубине нашего сознания сидят скрытые допущения, предубеждения и предрассудки, которые определяют наше восприятие реальности, и наше видение фактов, и наше суждение об их важности и сущности. Нужны явные (эксплицитные) или неявные (имплицитные) модели, которые позволили бы нам:

- систематизировать и обобщать реальность;
- понимать причинные связи между явлениями;
- предчувствовать и, если повезет, предсказывать будущие события;
- отделять важное от неважного;
- показывать, каким путем двигаться, чтобы достичь наших целей.

Любая модель или карта является абстракцией и будет более полезной для одних целей, чем для других. Карта дорог показывает нам, как доехать из пункта А в пункт Б на машине, но она вряд ли поможет нам, если мы летим на самолете, — в таком случае понадобится карта с указанными аэродромами, радиомаяками, летными коридорами и топографией. Однако совсем без карты мы заблудимся. Чем более подробна карта, тем более подробно она отражает реальность. Чрезвычайно подробная карта, однако, не будет полезна для многих целей. Если мы хотим добраться из одного большого города в другой по главной автостраде, нам не нужна будет (и мы сочтем ее запутывающей) карта, на которой приведено много информации, не относящейся к автомобильному транспорту, а главные шоссе будут теряться в паутине второстепенных дорог. С другой стороны, карта, на которой указана только одна автострада, будет ограничивать нас в способности найти альтернативный маршрут в случае крупной автокатастрофы и возникшей после нее “пробки”. Короче говоря, нам нужна карта, которая [с .29] одновременно и отображает, и упрощает реальность таким образом, чтобы это лучше всего подходило нашим целям. К концу “холодной войны” было разработано несколько карт, или парадигм, мировой политики.

Один мир: эйфория и гармония

Одна широко озвученная парадигма была основана на предпосылке, что конец “холодной войны” означал конец широкомасштабного конфликта в глобальной политике и возникновение одного относительно гармоничного мира. Наиболее широко обсуждаемая формулировка этой модели — тезис о “конце истории”, выдвинутый Фрэнсисом Фукуямой ** . “Видимо, мы становимся свидетелями, — утверждал Фукуяма, — конца истории как таковой: это означает конечную точку идеологической эволюции человечества и

универсализацию западной либеральной демократии как конечной формы человеческого правления. Конечно же, кое-где в третьем мире могут иметь место конфликты, но глобальный конфликт позади, и не только в Европе. Именно в неевропейском мире произошли огромные изменения, в первую очередь в Китае и Советском Союзе. Война идей подошла к концу. Поборники марксизма-ленинизма могут по-прежнему встречаться в местах типа Манагуа, Пхеньяна и Кембриджа с Массачусетсом, но победу с триумфом одержала всемирная либеральная демократия. Будущее посвящено не великим битвам за идеи, но скорее решению приземленных экономических и технических проблем. И все это будет достаточно скучно” **6** .

Это предвкушение эйфории было широко распространено. Политики и выдающиеся представители интеллигенции [с .30] развивали подобные взгляды. Берлинская стена была разрушена, коммунистические режимы рухнули, ООН суждено было приобрести новую важность, и бывшие соперники времен “холодной войны” стали вовлекаться в “партнерство” и “великую сделку”, и актуальными стали миролюбие и миротворчество. Президент ведущей державы мира заявил о “новом мировом порядке”; президент ведущего, пожалуй, университета в мире наложил вето на назначение профессора по курсу обеспечения безопасности, потому что нужда в этом отпала: “Аллилуйя! Мы больше не проходим войну, потому что войны больше нет”.

Момент эйфории по окончании “холодной войны” породил иллюзию гармонии, и вскоре оказалось, что это была именно иллюзия. Мир стал другим по сравнению с началом 90-х годов, но не обязательно более мирным. Изменения были неизбежными; прогресс — нет. Подобные иллюзии гармонии ненадолго расцветали в конце каждого крупного конфликта в двадцатом веке. Первая Мировая война была “войной, которая положит конец войнам” и установит демократию в мире. Вторая Мировая война должна была, как выразился Франклин Рузвельт, “покончить с системой односторонних действий, взаимоисключающих альянсов и других средств для достижения цели, которые применялись в течение столетий — и никогда не давали результатов”. Вместо этого нам нужно создать “всеобщую организацию миролюбивых наций” и заложить базу “долговременной структуры мира” **7** . Первая Мировая война, однако породила коммунизм, фашизм и повернула вспять длившееся столетие движение к демократии. Вторая Мировая война породила “холодную войну”, ставшую по-настоящему глобальной.

Иллюзия гармонии времен окончания “холодной войны” вскоре развеялась — этому способствовали многочисленные этнические конфликты и “этнические чистки”, нарушения закона и порядка, возникновение новых принципов альянса и конфликта между государствами, возрождение [с .31] некоммунистических и нефашистских движений, интенсификация религиозного фундаментализма, окончание “дипломатии улыбок” и “политики «да»” в отношениях России с Западом, неспособность ООН и США подавить кровавые локальные конфликты и всевозрастающая уверенность в себе Китая. За пять лет после падения Берлинской стены слово “геноцид” слышалось гораздо чаще, чем за любые пять лет “холодной войны”. Парадигма гармоничного мира слишком оторвана от реальности, чтобы быть полезным ориентиром в мире после “холодной войны”.

Два мира: мы и они

В то время как ожидания возникновения единого мира возникают в конце крупных конфликтов, тенденция мыслить в рамках двух миров постоянно встречается в истории человечества. Люди всегда подвергались соблазну поделить других на “нас” и “их”, членов группы и остальных, нашу цивилизацию и варваров. Ученые анализируют мир, оперируя парами Восток-Запад, Север-Восток, центр-периферия. У мусульман традиционно существует деление на *дар ал-ислам* и *дар ал-гарб* , обитель мира и обитель войны. Это разграничение было отражено и в каком-то смысле перевернуто после “холодной войны” американскими учеными, которые поделили мир на “зоны мира” и “зоны беспорядка”.

Первые включают в себя Запад и Японию — около 15% мирового населения, последние — все остальное **8** .

В зависимости от того, какое определение дается этим частям, состоящая из двух частей картина мира может в какой-то мере соответствовать реальности. Наиболее общее деление, которое проявляется под множеством названий, — противопоставление богатых (современных, развитых) стран бедным (традиционным, неразвитым или развивающимся). Историческим соответствием этому экономическому делению стало культурное деление на Восток и Запад, где акцент делается в меньшей степени на различия [с .32] в экономическом благосостоянии и в большей — на различия в основополагающей философии, ценностях и стиле жизни **9** . Каждый из этих образов отражает некоторые элементы реальности, но страдает также и некоторыми ограничениями. Богатые современные страны имеют особенности, которые отличают их от бедных патриархальных стран, а у последних тоже есть свои особенности. Различия в благосостоянии могут приводить к конфликтам между обществами, но, как показывают факты, это происходит в основном тогда, когда богатые и более могущественные страны пытаются завоевать или колонизировать бедные и более патриархальные страны. Запад делал это на протяжении четырех столетий, затем некоторые колонии восстали и стали вести освободительные войны против колониальных держав, которые могли к тому моменту утратить желание поддерживать свою империю. В сегодняшнем мире произошла деколонизация и на смену колониальным освободительным войнам пришли конфликты между освобожденными народами.

На более высоком уровне конфликты между бедными и богатыми маловероятны, потому что, за исключением особых обстоятельств, бедным странам не хватает политического единства, экономического потенциала и военной мощи для того, чтобы бросать вызов богатым странам. Экономическое развитие Азии и Латинской Америки делает неясной простую дихотомию “имею — не имею”. Богатые страны могут вести торговые войны друг с другом; бедные страны могут вести кровопролитные войны друг с другом; но международная классовая война между бедным Югом и процветающим Западом настолько же далека от реальности, как и гармоничный мир.

Разделение мира на две части по культурному признаку еще менее полезно. В какой-то степени Запад является единым. Но что общего у не-западных обществ, кроме того факта, что они не-западные? Японская, китайская, индуистская, мусульманская и африканская цивилизации имеют [с .33] мало общего в религии, социальной структуре, общественных организациях и преобладающих ценностях. Единство не-Запада и дихотомия “Восток-Запад” — мифы, созданные Западом. Эти мифы страдают недочетами ориентализма, которые Эдвард Сэд справедливо критиковал за провозглашение “разницы между знакомым (Европой, Западом, “нами”) и чужим (Востоком, “ими”) и утверждение врожденного превосходства первого над последним” **10** . Во время “холодной войны” мир был в значительной степени поляризован по политическому спектру. Но единого культурного спектра не существует. Существование всего двух полюсов культуры, “Востока” и “Запада”, также предполагает принятие широко распространенного и ошибочного отождествления западной и европейской цивилизаций. Вместо выражения “Восток и Запад” более уместно употреблять “Запад и остальные”, что, по крайней мере, подразумевает существование многих не-Западов. Мир слишком сложен, чтобы его можно было в большинстве случаев просто разделять в экономическом плане на Север и Юг и в культурном — на Восток и Запад.

Почти 184 страны

Третья карта мира после “холодной войны” была порождена теорией международных отношений, которую часто называют “реалистичной”. Согласно этой теории, государства являются основными, даже единственными важными игроками на международной сцене,

взаимоотношения между странами — полная анархия, поэтому для того, чтобы обеспечить выживание и безопасность, все без исключения государства пытаются усилить свою власть. Если одно государство видит, как соседняя страна наращивает свою мощь и становится таким образом потенциальной угрозой, оно пытается защитить свою безопасность, наращивая свое могущество и/или вступая в альянс с другими государствами. Интересы и действия почти 184 стран мира в период [с .34] после “холодной войны” можно предугадать, исходя только из этих предпосылок 11 .

Эта “реалистичная” картина мира является чрезвычайно полезной отправной точкой для анализа международных дел и объяснения поведения большинства правительств. Страны есть и останутся доминирующими фигурами мировых событий. Они содержат вооруженные силы, ведут дипломатические переговоры, заключают соглашения, ведут войны, участвуют в международных организациях, оказывают влияние на производство и торговлю и во многом формируют их. Правительства государств отдают наивысший приоритет обеспечению внешней безопасности своих стран (хотя зачастую они отдают наивысший приоритет обеспечению своей безопасности против внутренней угрозы). В целом эта статистическая парадигма представляет нам ориентиры в более реалистичной картине глобальной политики, чем одно— или двухполюсные концептуальные схемы.

Но и она, однако, страдает некоторыми ограничениями.

Она предполагает, что все государства отстаивают свои интересы и действуют одинаково. Подобная простая предпосылка о том, что мощь — это все, дает нам отправную точку для понимания поведения государств, но она не продвигает нас дальше. Государства определяют свои интересы с точки зрения мощи, но также и с точки зрения многого другого. Конечно же, государства часто пытаются удерживать равновесие силой против силы, но если бы они делали только это, западноевропейские страны вошли бы в коалицию с Советским Союзом против Соединенных Штатов в конце 1940-х годов. Реакция следует в первую очередь на осязаемую угрозу, а западноевропейские страны в то время видели, что политическая, идеологическая и военная угрозы исходят с Востока. Они рассматривали свои интересы так, как не предсказывала классическая реалистическая теория. Система ценностей, культура и законы оказывают всеобъемлющее влияние на то, как государства определяют свои интересы. Интересы стран обуславливаются не только [с .35] их “домашними” системами ценностей и законами, но и международными нормами и законами. Помимо своих первоочередных забот по обеспечению безопасности, различные государства определяют приоритеты своих интересов по-разному. Страны со сходными культурами и общественными институтами будут иметь сходные интересы. Демократические государства имеют много общего с другими демократическими странами, поэтому они не сражаются друг с другом. Канаде вовсе не нужно заключать союз с другой страной, чтобы предотвратить вторжение США.

Выводы, сделанные на основе допущений статистической “реалистичной” теории, не раз подтверждались историей. Но эта многоцентровая модель не поможет нам понять, насколько глобальная политика после “холодной войны” будет отличаться от глобальной политики во время и до “холодной войны”. И все же очевидно, что различия существуют и страны по-разному преследуют свои интересы в различные исторические периоды. В мире после “холодной войны” государства все больше определяют свои интересы с учетом цивилизаций. Они сотрудничают и заключают союзы с государствами, имеющими схожую или общую культуру, а конфликтуют намного чаще со странами с другой культурой. Страны определяют угрозу в зависимости от намерений других государств, и эти намерения — а также способы их реализации — в сильнейшей степени обуславливаются культурными соображениями. Общественные и политические деятели в меньшей мере склонны видеть угрозу в людях, которых, как им кажется, они понимают. Они склонны доверять им из-за родства языка, религии, системы ценностей, законов и культуры. И те же политики куда более предрасположены видеть угрозу в странах с чуждой культурой, и таким образом, они не доверяют им и не понимают их. Сегодня, когда марксистско-ленинский Советский Союз

уже не угрожает Свободному миру, а Соединенные Штаты больше не представляют ответной угрозы для коммунистического мира, страны в обоих мирах все чаще видят угрозу в обществах с другой культурой. [с .36]

В то время как страны остаются ключевыми игроками на поле международной политики, они также могут утратить суверенитет, государственные функции и власть. Сейчас международные институты отстаивают право судить о том, что государства могут делать на своей территории, и ограничивать их в этом. В определенных случаях (наиболее это заметно в Европе) международные институты приобрели важные функции, ранее принадлежавшие государству. Были созданы мощные международные бюрократические образования, которые могут влиять напрямую на жизнь отдельных граждан. В мировом масштабе сейчас имеет место тенденция утраты власти центрального аппарата государственного управления из-за “передачи оной субгосударственным, региональным, провинциальным и местным политическим образованиям. Во многих странах, включая государства развитого мира, имеются региональные движения, требующие значительной автономии или отделения. Государственные власти в значительной мере утратили возможность контролировать поток денег, текущих в их страны и наружу, и сталкиваются со все большими трудностями в контроле потока идей, технологий, товаров и людей. Короче говоря, государственные границы стали максимально прозрачны. Все эти изменения привели к тому, что многие стали свидетелями постепенного отмирания твердого государства-“бильярдного шара”, общепризнанного как норма со времен Вестфальского мира 1648 года **12** , и возникновения сложного, разнообразного и многоуровневого международного порядка, который сильно напоминает средневековый.

Суций хаос

Ослабление государств и появление “обанкротившихся стран” наводит на мысли о всемирной анархии как четвертой модели. Главные идеи этой парадигмы: исчезновение государственной власти; распад государств; усиление межплеменных, этнических и религиозных конфликтов; [с .37] появление международных криминальных мафиозных структур; рост числа беженцев до десятков миллионов; распространение ядерного и других видов оружия массового поражения; расползание терроризма, повсеместная резня и этнические чистки. Эта картина всемирного хаоса была убедительно описана и резюмирована в названиях двух нашумевших трудов, опубликованных в 1993 году: “Вне контроля” Збигнева Бжезинского и “Pandaemonium” Дэниэла Патрика Мойнигана **13** .

Как и статистическая многоцентровая модель, это представление о надвигающемся всеобщем хаосе близко к реальности. Оно достаточно наглядно объясняет многие явления, происходящие в мире, но при этом делает акцент на значительных изменениях в мировой политике. Например, на начало 1993 года по всему миру велось около 48 этнических войн, а на территории бывшего Советского Союза имели место 164 “территориально-этнических притязания, связанных с границами”, из них 30 привели к той или иной форме вооруженных конфликтов **14** . И все же эта парадигма еще в большей степени, чем парадигма государств, страдает от излишней приближенности к реальности. Картина всеобщей и недифференцированной анархии дает нам мало ключей к пониманию мира и не помогает упорядочивать события и оценивать их важность, предвидеть тенденции в этой анархии, находить различия между типами хаоса и их возможными причинами и последствиями, а также разрабатывать руководящие принципы для государственных политиков.

Сравнение миров: реалии, теоретизирование и предсказания

Каждая из рассмотренных четырех парадигм предполагает различные пропорции учета реалий и теоретических размышлений. [с .38] У каждой есть свои отличительные черты и ограничения. Вероятно, от недостатков можно избавиться, комбинируя парадигмы и

постулируя, что в мире идут одновременные процессы дробления и интеграции **15** . На самом деле сосуществуют обе тенденции и больше соответствовать действительности будет более сложная модель. Но она заставляет жертвовать теоретическими построениями ради реализма, что в конце концов приводит к отрицанию всех парадигм и теорий. Кроме того, объединив две взаимно противоположные тенденции, теория дробления-интеграции не может объяснить, при каких обстоятельствах будет превалировать одна тенденция и при каких — другая. Вопрос состоит в том, что необходимо разработать парадигму, которая будет рассматривать более значительные события и давать лучшее понимание тенденций, чем другие парадигмы, оставаясь на том же уровне абстракции.

Кроме того, эти четыре парадигмы несовместимы друг с другом. Мир не может быть одновременно единым и фундаментально разделенным на Восток и Запад или Север и Юг. Не может и национальное государство быть краеугольным камнем международных отношений, если оно дробится или разрывается разрастающейся гражданской войной. Либо мир един, либо их два, либо это 184 государства, либо это бесконечное количество племен, этнических групп и национальностей.

Рассматривая мир в рамках семи или восьми цивилизаций, мы избегаем множества подобных сложностей. Эта модель не приносит реальность в жертву теоретизированию, как в случае с парадигмами одно— и двухполюсного мира; в то же время она не жертвует абстрагированием в пользу реальности, как статистическая и хаотическая парадигмы. Это обеспечивает довольно простую и ясную систему понимания мира и определения того, что важно и что не важно среди многочисленных конфликтов, предсказания будущего развития, а также дает ориентиры политикам. [с .39] Эта схема также включает в себя элементы других парадигм и частично построена на их основе и даже позволяет их согласовать. Полицивилизационный подход, например, утверждает, что:

— Силы интеграции в мире реальны и именно они порождают противодействующие силы культурного утверждения и цивилизационного сознания.

— Мир в каком-то смысле делится на два, но принципиальное различие эта парадигма проводит между Западом как доминирующей до сих пор цивилизацией и всеми остальными, которые, однако, имеют между собой мало общего (если имеют что-либо общее вообще). Короче говоря, мир разделен на западную и не-западную совокупности.

— Национальные государства есть и останутся наиболее важными игроками на международной сцене, но их интересы, союзы и конфликты между ними в значительной степени определяются культурным и цивилизационным факторами.

— В мире на самом деле царит анархия, он изобилует межплеменными и национальными конфликтами, но конфликты, которые представляют наиболее серьезную угрозу для стабильности, — это конфликты между государствами или их группами, относящимися к различным цивилизациям.

Полицивилизационная парадигма, таким образом, представляет собой четвертую — упрощенную, но не слишком — схему для понимания того, что происходит в мире в конце двадцатого века. Ни одна парадигма тем не менее не может работать вечно. Модель мировой политики, принятая во времена “холодной войны”, была полезной и важной на протяжении сорока лет, но в конце 80-х она устарела, и в какой-то момент полицивилизационную парадигму постигнет та же судьба. Тем не менее на сегодняшний день она предоставляет удобный инструмент для того, чтобы провести линию между более важным и менее важным. Чуть менее половины из сорока восьми этнических конфликтов, [с .40] имевших место в мире на начало 1993 года, например, велись между группами из различных цивилизаций. Полицивилизационный подход заставил бы Генерального секретаря ООН и госсекретаря США сконцентрировать свои миротворческие усилия на этих конфликтах, имеющих намного больший, чем остальные, потенциал перерастания в крупномасштабные войны.

Различные парадигмы также позволяют сделать прогнозы, точность которых и является ключевой проверкой работоспособности и пригодности теории. Статистический подход, например, позволил Джону Мирсхаймеру предположить, что “отношения между Россией и

Украиной сложились таким образом, что обе страны готовы развязать соперничество по вопросам безопасности. Великие державы, которые имеют одну общую протяженную и незащищенную границу, часто втягиваются в противостояние из-за вопросов безопасности. Россия и Украина могут преодолеть эту динамику и сосуществовать в гармонии, но это будет весьма необычным развитием ситуации” 16 . Полицивилизационный подход, напротив, делает акцент на весьма тесных культурных и исторических связях между Россией и Украиной, а также на совместном проживании русских и украинцев в обеих странах. Этот давно известный ключевой исторический факт Мирсхаймер полностью игнорирует в полном соответствии с “реалистической” концепцией государств как цельных и самоопределяющихся объектов, фокусируясь на цивилизационной “линии разлома”, которая делит Украину на православную восточную и униатскую западную части. В то время как статистический подход на первый план выдвигает возможность российско-украинской войны, цивилизационный подход снижает ее до минимума и подчеркивает возможность раскола Украины. Учитывая культурный фактор, можно предположить, что при этом разделении будет больше насилия, чем при распаде Чехословакии, но оно будет куда менее кровавым, чем развал Югославии. Эти различные прогнозы, в свою очередь, [с .41] приводят к различным политическим решениям. Статистический прогноз Мирсхаймера о возможности войны между Украиной и Россией позволил ему сделать вывод о том, что Украине лучше иметь ядерное оружие. Цивилизационный подход предполагает сотрудничество между Украиной и Россией и побуждает Украину отказаться от ядерного оружия, а также оказывать Украине значительную экономическую помощь и предпринимать другие меры для сохранения единства и независимости Украины и выделять средства на планирование непредвиденных затрат при возможном распаде Украины.

Многие важные события, имевшие место после “холодной войны”, согласуются с полицивилизационной парадигмой и могли быть предсказаны ею. В число таких событий входит: разрыв между Советским Союзом и Югославией; войны, вспыхнувшие на их бывшей территории; подъем религиозного фундаментализма по всему миру; борьба за идентификацию, идущая в России, Турции и Мексике; усиление торговых конфликтов между Соединенными Штатами и Японией; сопротивление исламских государств в ответ на давление Запада на Ирак и Ливию; усилия исламских и конфуцианских государств, направленные на получение ядерного оружия и средств их доставки; продолжающаяся роль Китая как “аутсайдера” среди великих держав; консолидация новых демократических режимов в одних странах и неконсолидация в других; ускорение гонки вооружений в Восточной Азии.

Обоснованность полицивилизационной парадигмы в зарождающемся мире можно подкрепить событиями, подпадающими под нее, которые произошли за шесть месяцев 1993 года:

— продолжение и усиление конфликтов между хорватами, мусульманами и сербами в бывшей Югославии;

— неспособность Запада обеспечить значительную помощь боснийским мусульманам или осудить зверства хорватов так же, как были осуждены зверства сербов; [с .42]

— нежелание России присоединиться к остальным членам Совета безопасности ООН в вопросах принудительного для сербов заключения мира с хорватским правительством; а также в отношении предложения Ирану и другим мусульманским странам выслать восемнадцатитысячный контингент для защиты боснийских мусульман;

— усиление войны между армянами и азербайджанцами, требования Турции и Ирана к Армении об отказе от завоеваний, развертывание турецких и иранских войн вдоль азербайджанской границы и российские предупреждения о том, что действия Ирана приводят к “эскалации конфликта” и “подталкивают его к опасной черте выхода на международный уровень”;

— продолжающаяся борьба российских войск с партизанскими движениями моджахедов;

— конфронтация на конференции по правам человека в Вене между Западом, во главе с госсекретарем США Уорреном Кристофером, осудившим “культурный релятивизм”, и коалицией государств, ориентированных на традиции ислама или конфуцианства и отвергших “западный универсализм”;

— одновременное переключение внимания военных аналитиков в России и НАТО на “угрозу с Юга”;

— голосование, прошедшее явно почти полностью по цивилизационному признаку, которое отдало право проведения Олимпиады-2000 Сиднею, а не Пекину;

— продажа Китаем деталей ракет Пакистану и, как следствие, санкции США против Китая и конфронтация между Китаем и Соединенными Штатами из-за якобы имевшей место передачи ядерных технологий Ирану;

— нарушение Китаем моратория на испытания ядерного оружия, несмотря на решительные протесты США; отказ Северной Кореи участвовать в дальнейших переговорах относительно ее ядерной программы;

— разоблачение политики “двойного сдерживания”, осуществляемой Государственным департаментом США по отношению к Ираку и Ирану; [с .43]

— объявление Государственным департаментом США новых стратегических направлений по подготовке к двум “крупным региональным конфликтам”, нацеленных против Северной Кореи и против Ирана или Ирака;

— призыв президента Ирана к альянсу с Китаем и Индией, чтобы “за нами было последнее слово в международных событиях”;

— новые законы Германии, которые резко сократили прием беженцев;

— соглашение между президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о разделе Черноморского флота и по другим вопросам;

— реакция на американские бомбардировки Багдада: фактически единогласная поддержка западных правительств и осуждение бомбардировки почти всеми мусульманскими странами как очередного примера “двойных стандартов” Запада;

— зачисление Соединенными Штатами в список террористических государств Судана и обвинение египетского шейха Омара Абдель Рахмана и его последователей в заговоре “с целью ведения войны городского терроризма против Соединенных Штатов”;

— реальные перспективы возможного вступления Польши, Венгрии, Чехии и Словакии в НАТО;

— парламентские выборы 1993 года, которые продемонстрировали, что Россия и в самом деле “разорванная страна” и ее народы и элита не определились, стоит им присоединиться к Западу или бросить ему вызов.

Такой список событий, который демонстрировал бы пригодность цивилизационной парадигмы, можно составить на основе любого шестимесячного периода начала 90-х годов.

В первые годы “холодной войны” канадский государственный деятель Лестер Пирсон сделал пророческое заявление о возрождении и жизнеспособности не-западных [с .44] обществ. “Было бы ошибочно, — предупреждал он, — полагать, что все эти новые политические общества, зарождающиеся на Востоке, будут копиями тех, к которым мы привыкли на Западе. Возрождаясь, эти древние цивилизации обретут новую форму”. Подчеркнув, что “международные отношения на протяжении нескольких столетий были отношениями между странами Европы”, он утверждал, что “влекущие самые серьезные последствия проблемы возникают уже не в пределах одной цивилизации, но между самими цивилизациями” **17** . Затянувшаяся биполярность “холодной войны” отложила события, наступление которых предвидел Пирсон. Окончание “холодной войны” высвободило культурные и цивилизационные импульсы, которые он предугадал уже в начале 50-х, и целый ряд ученых и наблюдателей уже приняли и выдвинули на первый план этот новый фактор глобальной политики **18** . “...Как известно, любому, кто интересуется современным миром, — мудро предостерегал Фернан Бродель, — и любому, кто желает действовать в нем, весьма полезно знать, как рассмотреть на карте мира действующие ныне

цивилизации, а также определить их границы, их центры и периферии, области их существования и атмосферу, общие и частные формы их проявления. Иначе можно сделать вопиющую ошибку!” 19 . [с .45]

Примечания

С. 18-23 — карты 1.1; 1.2; 1.3.

** Параллельная линия этого вопроса, которая концентрирует внимание не на конце “холодной войны”, а на социальных тенденциях, приводящих к “универсальной цивилизации”, рассматривается в главе 3.

Глава 2. История и сегодняшний день цивилизаций

Природа цивилизаций

Человеческая история — это история цивилизаций. Невозможно вообразить себе развитие человечества в отрыве от цивилизаций. История охватывает целые поколения цивилизаций — от древних (шумерской и египетской, классической и мезоамериканской) до христианской и исламской цивилизаций, а также проявления синской и индуистской цивилизаций. В течение всей истории цивилизации предоставляли для людей наивысший уровень идентификации. В результате этого истоки, возникновение, подъем, взаимодействие, достижения, закат и падение цивилизаций обстоятельно изучались выдающимися историками, социологами и антропологами, среди которых были: Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, Освальд Шпенглер, Питирим Сорокин, Арнольд Тойнби, Альфред Вебер, А.Л. Кребер, Филипп Бэгби, Кэрролл Куигли, Раштон Колборн, Кристофер Даусон, С.Н. Айзенштадт, Фернан Бродель, Уильям Г. Макнил, Адда Боземен, Иммануил Валлерстайн и Фелипе Фернан-дез-Арместо . Из-под пера этих и других исследователей вышли увесистые научные труды, посвященные сравнительному анализу цивилизаций. Эта литература крайне различна по подходу, методологии, акцентам и концепциям. Но тем не менее все сходятся в основных понятиях, [с .46] затрагивающих природу, отличительные черты и движущие силы цивилизаций.

Во— первых, существует различие в восприятии понятия “цивилизация” как единственная таковая и понятия “цивилизация” как одна из многих. Идея цивилизации была разработана французскими философами восемнадцатого века как противопоставление концепции “варварства”. Цивилизованное общество отличается от примитивного тем, что оно оседлое, городское и грамотное. Быть цивилизованным хорошо, а нецивилованным — плохо. Концепция цивилизации установила стандарты, по которым судят об обществах, и в течение девятнадцатого столетия европейцы потратили немало интеллектуальных, дипломатических и политических усилий для того, чтобы разработать критерии, по которым о неевропейских обществах можно было судить как о достаточно “цивилованных”, чтобы принять их в качестве членов международной системы, в которой доминировала Европа. Но в то же самое время люди все чаще говорили о цивилизациях во множественном числе. Это означало “отказ от определения цивилизации как одного из идеалов или единственного идеала” и отход от предпосылки, будто есть единый стандарт того, что можно считать цивилилованным “ограниченным, — по словам Броделя, — несколькими привилегированными народами или группами, «элитой» человечества”. Вместо этого появлялось много цивилизаций, каждая из которых была цивилилованна по-своему. Короче говоря, понятие “цивилизация” “утратило свойства ярлыка” и одна из множества цивилизаций может на самом деле быть довольно нецивилованной в прежнем смысле этого слова .

Цивилизации во всем их разнообразии и являются предметом рассмотрения данной книги. И все же различие между прежним и новым пониманием не утратило важности, и старая идея единственной цивилизации вновь проявляется в заявлениях о том, что якобы есть всеобщий цивилизованный мир. Эти доводы нельзя поддержать, но [с .47] полезно рассмотреть (что и будет сделано в последней главе этой книги), становятся ли цивилизации более цивилизованными.

Во— вторых, цивилизация означает культурную целостность повсюду, кроме Германии. Немецкие мыслители девятнадцатого века провели четкую грань между понятиями “цивилизация”, которое включало в себя технику, технологию и материальные факторы, и “культура”, которое подразумевало ценности, идеалы и высшие интеллектуальные, художественные и моральные качества общества. Это разделение до сих пор принято в Германии, но больше нигде. Некоторые антропологи даже перевернули это взаимоотношение и заговорили о культурах как о характеристиках примитивных, застывших, неурбанизированных обществ, в то время как более сложные, городские и динамичные общества -это цивилизации. Эти попытки провести разграничение между культурой и цивилизацией, однако, не были подхвачены, и вне Германии бытует единодушное согласие насчет того, что “было бы заблуждением на немецкий манер пытаться отделить культуру от ее основы — цивилизации” .

И цивилизация, и культура относятся к образу жизни народа, и цивилизация — это явно выраженная культура. Оба этих понятия включают в себя “ценности, нормы, менталитет и законы, которым многочисленные поколения в данной культуре придавали первостепенное значение” . По Броделю, цивилизация — это “район, культурное пространство, собрание культурных характеристик и феноменов”. Валлерстайн определяет ее как “уникальную комбинацию традиций, общественных структур и культуры (как материальной, так и “высокой”), которое формирует ту или иную историческую целостность и которая сосуществует (коль скоро их вообще можно отделить друг от друга) с другими подобными феноменами”. Даусон считает цивилизацию продуктом “особого оригинального процесса культурного творчества определенного народа”, в то время как для [с .48] Дюркгейма и Мосса — это “своего рода духовная среда, охватывающая некоторое число наций, где каждая национальная культура является лишь частной формой целого”. По Шпенглеру, цивилизация — “неизбежная судьба культуры... Наиболее внешние и искусственные состояния, которые способны принимать разновидности развитого человечества. Она — завершение, она следует как ставшее за становлением” . Культура — общая тема практически каждого определения цивилизации.

Ключевые культурные элементы, определяющие цивилизацию, были сформулированы еще в античности афинянами, когда те убеждали спартанцев, что они не предадут их персам:

“Ибо есть причины, их множество и они сильны, которые запрещают нам делать это, даже если бы у нас были такие намерения. Первое и главное — это статуи и обители богов, сожженные и лежащие в руинах: за это мы должны отмстить, не щадя живота своего, а не входить в сговор с тем, кто совершил такие злые деяния. Во-вторых, у эллинского народа одна кровь и один язык; мы возводим храмы и приносим жертвы одним и тем же богам; и обычаи наши схожи. Посему негоже афинянам предавать все это”.

Кровь, язык, религия, стиль жизни — вот что было общего у греков и что отличало их от персов и других не-греков . Из всех объективных элементов, определяющих цивилизацию, наиболее важным, однако, является религия, и на это и делали акцент афиняне. Основные цивилизации в человеческой истории в огромной мере отождествлялись с великими религиями мира; и люди общей этнической принадлежности и общего языка, но разного вероисповедания, могут вести кровопролитные братоубийственные войны, как это случилось в Ливане, бывшей Югославии и в Индостане . [с .49]

Существует корреляция между разделением людей по культурным признакам и их разделением на расы по физическим признакам. И все же нельзя ставить знак равенства между цивилизациями и расами. Люди одной и той же расы могут быть разделены на

различные цивилизации; людей различных рас может объединять одна цивилизация. В частности, самые распространенные миссионерские религии, христианство и ислам, охватывают людей многих рас. Коренные различия между группами людей заключаются в их ценностях, верованиях, традициях и социальных институтах, а не в их росте, размере головы и цвете кожи.

В— третьих, цивилизации являются всеобъемлющими, то есть ни одна из их составляющих не может быть понята без соотнесения с соответствующей цивилизацией. Цивилизации, как заметил Тойнби, “охватывают, не будучи охвачены другими”. По словам Мелко, цивилизации “имеют некоторую степень интеграции. Их части определяются отношениями между ними и к ним в целом. Если цивилизация состоит из стран, у этих стран будут более тесные взаимоотношения, чем у государств, не принадлежащих к этой цивилизации. Они могут часто сражаться и будут чаще вести дипломатические переговоры. Они будут иметь большую степень экономической взаимозависимости. Эстетические и философские течения будут в таком случае взаимопроникающими” .

Цивилизация является наивысшей культурной целостностью. Деревни, районы, этнические группы, национальности, религиозные группы — у них у всех сформирована культура на различных уровнях гетерогенности. Культура деревни на юге Италии может отличаться от культуры деревни на севере Италии, но они будут разделять общую итальянскую культуру, которая отличает их от немецких деревень. Европейские сообщества, в свою очередь, будут обладать общими культурными чертами, которые отличают их от китайских или индийских сообществ. Китайцы, индусы и жители Запада, однако, не являются частями культурной [с .50] категории более высокого порядка. Они образуют разные цивилизации. Цивилизация, таким образом, — наивысшая культурная общность людей и самый широкий уровень культурной идентификации, помимо того, что отличает человека от других биологических видов. Она определяется как общими объективными элементами, такими как язык, история, религия, обычаи, социальные институты, так и субъективной самоидентификацией людей. Есть несколько уровней идентификации людей: житель Рима может ощущать себя в различной степени римлянином, итальянцем, католиком, христианином, европейцем и жителем Запада. Цивилизация, к которой он принадлежит, является самым высоким уровнем, который помогает ему четко идентифицировать себя. Цивилизации — это самые большие “мы”, внутри которых каждый чувствует себя в культурном плане как дома и отличает себя от всех остальных “них”. Цивилизации могут состоять из большого количества людей, как китайская цивилизация, или очень небольшого, как англоязычные жители островов Карибского моря. В течение всей истории существовало множество мелких групп людей, которые обладали индивидуальной культурой, но не имели никакой культурной идентичности более высокого уровня. Принято также делать различия по размеру между главными и периферийными цивилизациями (Бэгби) и по значимости — между главными и запаздывающими или прерванными цивилизациями (Тойнби). Эта книга посвящена тому, что принято считать главными цивилизациями в истории человечества.

У цивилизаций нет четко определенных границ и точного начала и конца. Люди могут идентифицировать себя по-разному и делают это. В результате состав и форма цивилизаций меняются со временем. Культуры народов взаимодействуют и накладываются друг на друга. Степень, с которой культуры цивилизаций разнятся или походят друг на друга, также сильно варьируется. Цивилизации, таким образом, являются многосторонними целостностями, и все [с .51] же реальны, несмотря на то что границы между ними редко бывают четкими. В-четвертых, цивилизации хотя и смертны, но живут они очень долго; они эволюционируют, адаптируются и являются наиболее стойкими из человеческих ассоциаций, “реальностями чрезвычайной *longue duree*” . Их “уникальная и особенная сущность” заключается в “длительной исторической непрерывности. На самом деле, жизнь цивилизации является самой долгой историей из всех”. Империи возвышаются и рушатся, правительства приходят и уходят — цивилизации остаются и “переживают политические, социальные, экономические и даже идеологические потрясения” . “Международная история, — приходит

к выводу Боземен, — точно подтверждает тезис о том, что политические системы являются недолговечными средствами для достижения цели на поверхности цивилизации и что судьба каждого сообщества, объединенного лингвистически и духовно, зависит в конечном счете от выживания определенных фундаментальных идей, вокруг которых спланивались многочисленные поколения и которые, таким образом, символизируют преемственность общества” . Практически все основные цивилизации, существующие в мире в двадцатом веке, возникли по крайней мере тысячу лет назад или, как в случае с Латинской Америкой, являются непосредственными “отпрысками” другой, давно живущей цивилизации.

Пока цивилизации противостоят натиску времени, они эволюционируют. Они динамичны; они знают взлеты и падения, они сливаются и делятся; и как известно любому студенту, они также исчезают и их хоронят пески времени. Фазы их эволюции можно описать по-разному. Куигли видит семь стадий, сквозь которые проходят цивилизации: смесь, созревание, экспансия, время конфликта, всеобщая империя, упадок и завоевание. Другую общую модель изменений выводит Мелко: от выкристаллизованной феодальной [с .52] системы — через феодальную систему переходного периода — через выкристаллизованную государственную систему — через государственную систему переходного периода — до выкристаллизованной имперской системы. Тойнби считает, что цивилизация возникает в ответ на брошенные ей вызовы и затем проходит сквозь период роста, включающий усиление контроля над средой, чем занимается творческая элита, далее следует время беспорядков, возникновение всеобщего государства, а затем — распад. Несмотря на то что между этими теориями есть различия, все они сходятся в том, что цивилизация в своей эволюции проходит времена беспорядков или конфликтов, затем создания единого государства и, наконец, упадка или распада .

В— пятых, поскольку цивилизации являются культурными единствами, а не политическими, они сами не занимаются поддержанием порядка, восстановлением справедливости, сбором налогов, ведением войн, заключением союзов и не делают ничего из того, чем заняты правительства. Политическое устройство отличается у различных цивилизаций, а также в разное время в пределах какой-либо из них. Цивилизация, таким образом, может содержать одно или более политических образований. Эти образования могут быть городами-государствами, империями, федерациями, конфедерациями, национальными государствами, многонациональными государствами, и у всех них могут быть различные формы правления. По мере того как цивилизация эволюционирует, число и природа составляющих ее образований обычно меняются. В некоторых случаях цивилизация и политическая целостность могут совпадать. Как отметил Люциан Пай, Китай -это “цивилизация, претендующая на то, чтобы быть государством” . Япония — это цивилизация, являющаяся государством. Однако в большинство цивилизаций входит более одного государства или других политических единиц. В современном мире большинство цивилизаций включают в себя по два или более государств. [с .53]

И, наконец, исследователи обычно согласны в идентификации важнейших цивилизаций в человеческой истории и тех, что существуют в современном мире. Их мнения тем не менее часто расходятся в том, что касается общего числа существовавших в истории цивилизаций. Куигли отсчитывала шестнадцать явных исторических случаев и еще восемь очень вероятных. Тойнби сначала назвал число двадцать два, затем — двадцать три; Шпенглер выделил восемь основных культур. Макнил называл во всей истории девять цивилизаций; Бэгби тоже видел девять важнейших цивилизаций или двенадцать, если из китайской и западной выделить японскую и православную. Бродель называл девять, а Ростовани — семь важнейших современных цивилизаций . Эти различия отчасти зависят от того, считать ли такие культурные группы, как китайцы и индусы, единой исторической цивилизацией или же двумя близкими друг другу цивилизациями, одна из которых отпочковалась от другой. Несмотря на эти различия, идентичность не оспаривается. Сделав обзор литературы, Мелко приходит к заключению, что существует “разумное согласие” относительно двенадцати важнейших цивилизаций, из которых семь уже исчезли (месопотамская, египетская,

критская, классическая, византийская, центрально-американская, андская), а пять продолжают существовать (китайская, японская, индуистская, исламская и западная) . К этим пяти цивилизациям целесообразно добавить православную, латиноамериканскую и, возможно, африканскую цивилизации.

Синская цивилизация

Все ученые признают существование либо одной отдельной китайской цивилизации, которая возникла по крайней мере в 1500 году до н. э. (возможно — даже на тысячу лет раньше), или двух китайских цивилизаций, одна из которых сменила другую в первые столетия христианской эпохи. В своей статье в журнале “Foreign Affairs” я назвал эту цивилизацию [с .54] конфуцианской. Более точным термином, однако, будет “синская цивилизация”. Несмотря на то, что конфуцианство является основной составляющей китайской цивилизации, китайская цивилизация — нечто большее, чем учение Конфуция, и не ограничивается также Китаем как политической целостностью. Термин “синский”, который употребляли многие ученые, подходяще описывает общую культуру Китая и китайских сообществ в Юго-Восточной Азии и везде вне Китая, а также родственные культуры Вьетнама и Кореи.

Японская цивилизация

Некоторые ученые объединяют японскую и китайскую культуры под единой вывеской дальневосточной цивилизации. Большинство ученых, однако, не делают этого, выделяя Японию в отдельную цивилизацию, которая отпочковалась от китайской цивилизации в период между 100 и 400 годами н.э.

Индуистская цивилизация

По крайней мере одна из ряда сменяющих друг друга цивилизаций, как это повсеместно признано, существовала в Индостане как минимум с 1500 г. до н.э. Все цивилизации этого ряда именуется индийскими, индусскими или индуистскими, причем последний термин предпочтительнее в отношении самой современной цивилизации. В той или иной форме индуизм был центральной культурой Индостана со второго тысячелетия нашей эры — “... это более чем религия или социальная система; это сама суть индийской цивилизации” . Индуизм сохранил эту роль до наших дней, несмотря на то, что в самой Индии имеется значительная мусульманская община, а также несколько менее многочисленных культурных меньшинств. Как и “синский”, термин “индуистский” также проводит различие между названием [с .55] цивилизации и названием стержневого государства, что крайне желательно в случаях, подобных тому когда цивилизация не ограничивается пределами этой страны.

Исламская цивилизация

Все ведущие ученые признают существование отдельной исламской цивилизации. Возникший на Аравийском полуострове в седьмом веке нашей эры, ислам стремительно распространился на Северную Африку и Пиренейский полуостров, а также на восток, в Среднюю Азию, Индостан и Юго-Восточную Азию. В результате этого внутри ислама существует множество отдельных культур и субцивилизаций, включая арабскую, тюркскую, персидскую и малайскую.

Православная цивилизация

Некоторые ученые выделяют отдельную православную цивилизацию с центром в России, отличную от западного христианства по причине своих византийских корней, двухсот лет татарского ига, бюрократического деспотизма и ограниченного влияния на нее Возрождения, Реформации, Просвещения и других значительных событий, имевших место на Западе.

Западная цивилизация

Зарождение западной цивилизации обычно относят к 700-800 годам нашей эры. Ученые обычно подразделяют ее на три основных составляющих: Европа, Северная Америка и Латинская Америка.

Латиноамериканская цивилизация

Латинская Америка, однако, имеет одну характерную особенность, которая отличает ее от Запада. Хотя Латинская [с .56] Америка и является отпрыском европейской цивилизации, она эволюционировала совершенно другим путем, чем Европа и Северная Америка. Культура там клановая и авторитарная, что в Европе проявилось значительно слабее, а в Северной Америке не проявилось вовсе. И Европа, и Северная Америка почувствовали на себе влияние Реформации и объединили в себе католическую и протестантскую культуры. Латинская Америка исторически была только католической, хотя сейчас ситуация может меняться. Латиноамериканская цивилизация ассимилировала местные культуры, которые не существовали в Европе и были полностью уничтожены в Северной Америке и значимость которых меняется от Мексики, Центральной Америки, Перу и Боливии с одной стороны до Аргентины и Чили — с другой. Политическая эволюция и экономическое развитие Латинской Америки резко отличаются от моделей, преобладающих в североамериканских странах. Сами жители Латинской Америки отличаются по субъективной самоидентификации. Некоторые говорят: “Да, мы — часть Запада”. Другие заявляют: “Нет, у нас своя уникальная культура”, а великие писатели Латинской и Северной Америки тщательно описывают свои культурные различия . Латинскую Америку можно рассматривать либо как субцивилизацию внутри западной цивилизации, либо как отдельную цивилизацию, близко связанную с Западом и не определившуюся во мнении, принадлежит ли она к Западу или нет. Для анализа, который фокусирует внимание на международных политических аспектах цивилизаций, включая взаимоотношения между Латинской Америкой с одной стороны и Северной Америкой и Европой — с другой, последняя точка зрения более приемлема.

Таким образом, Запад включает в себя Европу, Северную Америку, а также страны, населенные выходцами из Европы, то есть Австралию и Новую Зеландию. Взаимоотношения между двумя основными составляющими Запада, однако, менялись со временем. В течение длительного [с .57] периода своей истории американцы определяли себя как общество, противопоставленное Европе. Америка была страной свободы, равенства возможностей, будущего; Европа олицетворяла угнетение, классовый конфликт, иерархию, отсталость. Заявлялось даже, что Америка — отдельная цивилизация. Это противопоставление Америки и Европы было в значительной мере следствием того, что по крайней мере до конца девятнадцатого столетия контакты Америки с не-западными цивилизациями были ограничены. Однако как только Соединенные Штаты вышли на мировую арену, у них появилось чувство более широкой идентификации с Европой . Если Америка девятнадцатого века ощущала себя отличной от Европы и противопоставленной ей, то Америка двадцатого столетия определяет себя как часть и, несомненно, как лидера более широкой идентификации — Запада, — которая включает в себя Европу.

Сейчас термин “Запад” повсеместно используется для обозначения того, что раньше

именовалось западным христианством. Таким образом, Запад является единственной цивилизацией, которая определяет себя при помощи направления компаса, а не по названию какого-либо народа, религии или географического региона . [с .58]

Такая идентификация вырывает эту цивилизацию из ее исторического, географического и культурного контекста. Исторически западная цивилизация является европейской цивилизацией. В современную эру западная цивилизация стала евроамериканской, или североамериканской, цивилизацией. Европу, Америку и Северную Атлантику можно найти на карте, а Запад — нельзя. Название “Запад” также дало повод для возникновения концепции “вестернизации” и способствовало обманчивому объединению понятий “вестернизация” и “модернизация”: легче представить себе “вестернизацию” Японии, чем ее “евроамериканизацию”. Европейско-американская цивилизация, однако, повсеместно называется западной цивилизацией, и этот термин, несмотря на его серьезное несоответствие, будет использоваться и в этой книге.

Африканская (возможно) цивилизация

Большинство ведущих ученых, изучающих цивилизации, кроме Броделя, не признают отдельной африканской цивилизации. Север Африканского континента и его восточное побережье относятся к исламской цивилизации. Эфиопия исторически сама по себе составляла цивилизацию. Во все другие страны европейский империализм и поселенцы привнесли элементы западной цивилизации. В Южной Африке поселенцы из Голландии, Франции, затем из Англии насадили мозаичную европейскую культуру . Что самое главное, европейский империализм принес христианство на большую часть континента к югу от Сахары. По всей Африке еще сильна племенная идентификация, но среди африканцев быстро возрастает чувство африканской идентификации, и, по-видимому, Африка “ниже” Сахары (субсахарская) может стать отдельной цивилизацией, вероятно, с ЮАР в роли стержневого государства.

Религия является центральной, определяющей характеристикой цивилизаций, и, как сказал Кристофер Даусон [с .59] “великие религии — это основания, на которых покоятся великие цивилизации” . Из пяти “мировых религий” Вебера, четыре — христианство, ислам, индуизм и конфуцианство — связаны с основными цивилизациями. Пятая, буддизм — нет. Почему так случилось? Как ислам и христианство, буддизм рано разделился на два течения и, как христианство, не выжил на земле, где зародился. Начиная с первого столетия нашей эры одно из направлений буддизма — махаяна — было экспортировано в Китай, затем в Корею, Вьетнам и Японию. В этих обществах буддизм был в различной степени адаптирован, ассимилирован местными культурами (в Китае, например, в форму конфуцианства и даосизма) или запрещен.

Таким образом, в то время как буддизм остается важной составляющей культуры в этих обществах, они не являются частью буддийской цивилизации и не идентифицируют себя подобным образом. Однако в Шри-Ланке, Бирме, Таиланде, Лаосе и Камбодже существует то, что можно по праву назвать буддийской цивилизацией теравады. Кроме того, население Тибета, Монголии и Бутана исторически приняло ламаистский вариант махаяны, и эти общества образуют второй район буддистской цивилизации. Однако наиболее важен тот факт, что существует явное отличие буддизма, принятого в Индии, от его адаптации в существующую культуру в Китае и Японии. Это означает, что буддизм, являясь одной из главных религий, не стал базой ни для одной из основных цивилизаций *** , 20 . [с .60]

Взаимоотношения между цивилизациями

Случайные встречи. Цивилизации до 1500 года н.э.

Взаимоотношения между цивилизациями уже эволюционировали сквозь две фазы и сейчас находятся на третьей. На протяжении более чем трех тысяч лет после того, как впервые появились цивилизации, контакты между ними, за некоторыми исключениями, либо не существовали вовсе и были ограничены, либо были периодическими и интенсивными. Природа этих контактов хорошо выражена тем словом, которое используется историками для их описания: “случайные встречи” **21** . Цивилизации были разделены временем и пространством. Одновременно существовало лишь небольшое их количество, и, как утверждают Бенджамин Шварц и Шмуэль Айзенштадт, есть существенные различия между аксиальными и до-аксиальными цивилизациями в плане того, могли они познать разницу между “трансцендентным и мирским”. Среди цивилизаций аксиальных, в отличие от предшествующих им, мифы распространял отдельный интеллектуальный слой: “еврейские пророки и проповедники, греческие философы и софисты, китайские поэты, индуистские брамины, буддийские сангха и [с .61] исламские улемы” **22** . Некоторые религии пережили два или три поколения родственных цивилизаций, когда умирала одна цивилизация, затем следовало “междоцарствие” и рождение другого поколения-наследника. На рис. 2.1 показана упрощенная схема (взятая у Кэрролл Куигли) того, как менялись взаимоотношения основных евразийских цивилизаций в разное время.

Рисунок 2.1. (с.63)

Цивилизации восточного полушария

Источник: Кэрролл Куигли. *The Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis* , 1979.

Цивилизации также были разделены географически. До 1500 года андская и мезоамериканская цивилизации не имели контактов с другими цивилизациями и друг с другом. Ранние цивилизации в долинах Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Желтой реки также не взаимодействовали друг с другом. Со временем контакты между цивилизациями стали множиться в Восточном Средиземноморье, Юго-Западной Азии и Северной Индии. Однако связь и коммерческие взаимоотношения затруднялись расстояниями, которые разделяли цивилизации, и ограниченным количеством транспортных средств, способных пересечь эти расстояния. В то время как в Средиземном море и Индийском океане еще велась какая-то торговля, “пересекающие степь лошади, караваны и речной флот были единственным средством передвижения, с помощью которого цивилизации в мире, каким он был до 1500 г. н.э., были связаны вместе — в той небольшой мере, в которой они поддерживали контакты друг с другом” **23** .

Идеи и технологии передавались из одной цивилизации в другую, но зачастую для этого требовались столетия. Пожалуй, наиболее значимой культурной диффузией, не являвшейся результатом завоевания, было распространение буддизма в Китае, что произошло через шесть веков после его возникновения в Северной Индии. Книгопечатание было изобретено в Китае в восьмом веке нашей эры, печатные машины с подвижными литерами — в одиннадцатом, но эта технология достигла Европы только в пятнадцатом веке. Бумага появилась в Китае во втором веке нашей эры, пришла в Японию в седьмом столетии, затем распространилась [с .62] на запад, в Центральную Азию, в восьмом, достигла Северной Африки в десятом, Испании — в двенадцатом, а Северной Европы — в тринадцатом. Еще одно китайское изобретение, порох, сделанное в девятом веке, проникло к арабам несколько сот лет спустя и достигло Европы в четырнадцатом веке **24** .

Наиболее драматические и значительные контакты между цивилизациями имели место, когда люди из одной цивилизации покоряли, уничтожали или поработали народы другой. Как правило, эти контакты были кровопролитными, но короткими, и носили эпизодический характер. Начиная с седьмого века нашей эры стали возникать относительно длительные и временами сильные межцивилизационные контакты между миром ислама и Западом, а также исламом и Индией. В основном коммерческие, культурные и военные взаимоотношения развивались внутри [с .63] цивилизаций. И если Индия и Китай, например, иногда подвергались набегам и завоевывались другими народами (моголы, монголы), то обе эти

цивилизации знали также и продолжительные периоды войн в пределах своей цивилизации. То же самое греки — они торговали и воевали друг с другом куда чаще, чем с персами и другими не-греками.

Коллизия: подъем Запада

Европейское христианство стало возникать как отдельная цивилизация в восьмом-девятом веках. На протяжении нескольких веков, однако, она плелась позади многих других цивилизаций по своему уровню развития. Китай при династиях Тан, Сун и Мин, исламский мир с восьмого по двенадцатый век и Византия с восьмого века по одиннадцатый далеко опережали Европу по накопленному богатству, размерам территории и военной мощи, а также художественным, литературным и научным достижениям ²⁵. Однако между одиннадцатым и тринадцатым столетиями европейская культура начала бурно развиваться, чему способствовало “горячее стремление и систематическое усвоение подходящих достижений более развитых цивилизаций — ислама и Византии, а также адаптация этого наследия в особые условия и интересы Запада”. В тот же самый период были обращены в западное христианство Венгрия, Польша, Скандинавия и Балтийское побережье, также распространились римское право и другие составляющие западной цивилизации, и восточная граница западной цивилизации стабилизировалась там, где ей суждено было остаться без значительных изменений еще надолго. В течение двенадцатого и тринадцатого веков жители Запада боролись за расширение своей зоны влияния на Испанию и добились устойчивого господства над Средиземноморьем. Тем не менее впоследствии подъем турецкого могущества привел к падению “первой морской империи Западной Европы” ²⁶. И все же к 1500 году возрождение европейской культуры уже шло [с .64] полным ходом, а социальный плюрализм, расширяющаяся торговля и технологические достижения заложили основу для новой эры глобальной политики.

Случайные, непродолжительные и разноплановые контакты между цивилизациями уступили место непрерывному, всепоглощающему однонаправленному воздействию Запада на все остальные цивилизации. Конец пятнадцатого века ознаменовался окончанием реконквисты на Пиренейском полуострове — изгнанием оттуда мавров, а также проникновением португальцев в Азию, а испанцев — в обе Америки. Во время последующих двухсот пятидесяти лет все Западное полушарие и значительные территории в Азии находились под управлением или господством европейцев. К концу восемнадцатого столетия Мы видим сокращение прямого европейского контроля — сначала Соединенные Штаты, потом Гаити, а затем и большая часть Латинской Америки восстают против европейского владычества и добиваются независимости.

Однако в последние годы девятнадцатого века обновленный западный империализм распространил влияние Запада почти на всю Африку, усилил контроль над Индостаном и по всей Азии, и к началу двадцатого века практически весь Ближний Восток, кроме Турции, оказался под прямым или косвенным контролем Европы. Европейцы или бывшие европейские колонии (в обеих Америках) контролировали 35% поверхности суши в 1800 году, 67% в 1878 г., 84% к 1914 г. К 1920 году, после раздела Оттоманской империи между Британией, Францией и Италией, этот процент стал еще выше. В 1800 году Британская империя имела площадь 1,5 миллиона квадратных миль с населением в 20 миллионов человек. К 1900 году Викторианская империя, над которой никогда не садилось солнце, простиралась на 11 миллионов квадратных миль и насчитывала 390 миллионов человек ²⁷. Во время европейской экспансии андская и мезоамериканская цивилизации были полностью уничтожены, индийская, исламская и африканская [с .65] цивилизации покорены, а Китай, куда проникло европейское влияние, оказался в зависимости от него. Лишь русская, японская и эфиопская цивилизации смогли противостоять бешеной атаке Запада и поддерживать самостоятельное независимое существование. На протяжении четырехсот лет отношения между цивилизациями заключались в подчинении других

обществ западной цивилизации.

Причины такого уникального и драматического развития крылись в социальной структуре и межклассовых отношениях на Западе, расцвете городов и торговли, относительной рассредоточенности власти между вассалами и монархами, а также светскими и религиозными властями, в зарождающемся чувстве национального самосознания у западных народов и развитии государственных бюрократий. Непосредственной причиной экспансии Запада была технология: изобретение средств океанской навигации для достижения далеких стран и развитие военного потенциала для покорения их народов. "...В большой мере, — заметил Джофри Паркер, — подъем Запада обуславливался применением силы, тем фактом, что баланс между европейцами и их заокеанскими противниками постоянно склонялся в пользу завоевателей;...ключ к успеху жителей Запада в создании первых по-настоящему глобальных империй заключался именно в тех способностях вести войну, которые позже назвали термином "военная революция". Экспансия Запада облегчалась также преимуществами в организации, формировании дисциплины и обучении войск, а также последующим превосходством в транспорте, логистике и медицинской службе, что явилось результатом ведущей роли Запада в промышленной революции **28** . Запад завоевал мир не из-за превосходства своих идей, ценностей или религии (в которую было обращено лишь небольшое количество представителей других цивилизаций), но скорее превосходством в применении организованного насилия. Жители Запада часто забывают этот факт; жители не-Запада никогда этого не забывают. [с .66]

К 1910 году мир был более един политически и экономически, чем в любой другой период в истории человечества. Доля международной торговли от валового мирового продукта была выше, чем когда бы то ни было до этого, и достигла этого значения вновь лишь к 70-90 годам двадцатого века. Доля международных инвестиций от общего количества инвестиций была выше, чем в любое другое время **29** . Цивилизация как термин означала западную цивилизацию. Международный закон был западным международным законом, который происходил из традиций Греции. Международная система была западной вестфальской системой суверенных, но "цивилизованных" национальных государств и подконтрольных им колониальных территорий.

Возникновение такой международной системы с доминированием Запада было вторым важным этапом развития глобальной политики за весь период после 1500 года. Помимо взаимодействия с не-западными обществами в режиме "господство — зависимость", западные сообщества также взаимодействовали друг с другом на более равноправной основе. Эти взаимодействия между политическими общностями в пределах одной цивилизации весьма напоминали то, что происходило внутри китайской, индийской и греческой цивилизаций. Они основывались на культурной гомогенности, которая включала в себя "язык, закон, административную практику, сельское хозяйство, землевладение и, возможно, родство". Европейские народы "разделяли общую культуру и поддерживали обширные контакты посредством активной торговли, постоянного перемещения людей и потрясающего родства правящих семей". Кроме того, они практически постоянно вели войны друг с другом; среди европейских государств мир был исключением, а не правилом **30** . И хотя значительную часть этого периода Оттоманская империя контролировала порой до четверти того, что считалось Европой, но эта империя не воспринималась как член европейской международной системы. [с .67]

На протяжении 150 лет во внутрицивилизационной политике Запада доминировали глубокий религиозный раскол, а также религиозные и династические войны. Еще в течение полутора столетий после Вестфальского мира вооруженные конфликты в западном мире происходили в основном между правителями — императорами, монархами абсолютными и монархами конституционными, которые пытались расширить свои бюрократии, свои армии, свое меркантильное экономическое господство и, что самое главное, территории, которыми они правили. В процессе этого они создали национальные государства, и, начиная с Французской революции, основные линии конфликтов пролегали скорее между нациями,

чем их правителями. В 1793 году, по выражению Р.Р. Палмера, “войны между королями завершились; начались войны между народами” **31** . Эта модель девятнадцатого столетия была в силе до Первой Мировой войны.

В 1917 году, в результате русской революции, к конфликтам между национальными государствами прибавился конфликт идеологий, сначала между фашизмом, коммунизмом и либеральной демократией, затем между последними двумя. Во время “холодной войны” эти идеологии были воплощены двумя сверхдержавами, каждая из которых определяла свою идентичность со своей идеологией, и ни одна из них не являлась национальным государством в традиционном европейском смысле. Приход к власти марксизма сначала в России, затем в Китае и Вьетнаме стал переходной фазой от европейской международной системы к постевропейской многоцивилизационной системе. Марксизм был продуктом европейской цивилизации, но он в ней не укоренился и не имел успеха. Вместо внедрения этой идеологии на Западе, модернизаторская и революционная элита импортировала ее в не-западные общества; Ленин, Мао и Хо Ши Мин подогнали ее под свои цели и использовали, чтобы бросить вызов западному могуществу, а также чтобы мобилизовать свои народы и утвердить их национальную идентичность и автономность в противовес [с .68] Западу. Коллапс марксизма в Советском Союзе и его последующая реформа в Китае и Вьетнаме не означает, однако, что эти общества способны лишь импортировать идеологию западной либеральной демократии. Жители Запада, которые так считают, скорее всего, будут удивлены творческой силой, гибкостью и индивидуальностью не-западных культур.

Взаимодействия: полицивилизационная система

Таким образом, в двадцатом веке взаимоотношения между цивилизациями перешли от фазы, характеризующейся однонаправленным влиянием одной цивилизации на все остальные, к этапу интенсивных, непрерывных и разнонаправленных взаимоотношений между всеми цивилизациями. Обе характерные черты предыдущей эры межцивилизационных отношений начали исчезать.

Во— первых, как любят говорить историки, завершилась “экспансия Запада” и началось “восстание против Запада”. Неравномерно, с паузами и “отыгрышами”, снижалось могущество Запада по сравнению с влиянием других цивилизаций. Карта мира образца 1990 года мало чем похожа на карту мира в 1920 году. Баланс военного и экономического могущества, а также политического влияния изменился (что более подробно рассматривается в следующей главе). Запад продолжал оказывать значительное влияние на другие общества, но взаимоотношения между Западом и другими цивилизациями все больше обуславливались реакцией Запада на развитие этих цивилизаций.

Уже не являясь просто объектами создаваемой Западом истории, не-западные общества быстро становились движущими силами и создателями как своей собственной, так и западной истории.

Во— вторых, в результате этих изменений, международная система вышла за рамки Запада и стала полицивилизационной. Одновременно с этим конфликт между западными странами, которые доминировали в системе на протяжении [с .69] столетий, угас. К концу двадцатого века Запад перешел от фазы воюющего государства как этапа развития цивилизации к фазе универсального государства. К концу нашего века эта фаза все еще не завершена, поскольку страны Запада состоят из двух полууниверсальных государств в Европе и Северной Америки. Эти две целостности и их составляющие объединены тем не менее невероятно сложной сетью формальных и неформальных институтов. Универсальные государства предыдущих цивилизаций -империи. Однако поскольку демократия является политической формой правления в западной цивилизации, зарождающееся универсальное государство является не империей, а скорее целостностью федераций, конфедераций, международных уставов и организаций.

Основные политические идеологии двадцатого века включают либерализм, социализм,

анархизм, корпоративизм, марксизм, коммунизм, социал-демократию, консерватизм, национализм, фашизм и христианскую демократию. Объединяет их одно: они все — порождения западной цивилизации. Ни одна другая цивилизация не породила достаточно значимую политическую идеологию. Запад, в свою очередь, никогда не породил основной религии. Все главные мировые религии родились в не-западных цивилизациях и, в большинстве случаев, раньше, чем западная цивилизация. По мере того как мир уходит от господства Запада, сходят на нет идеологии, олицетворяющие позднюю западную цивилизацию, и на их место приходят религиозные и другие культурные формы идентификации. Вестфальское разделение религии и международной политики, идиосинкратический продукт западной цивилизации, подходит к концу, а религия, по словам Эдварда Мортимера, “все чаще вмешивается в международные дела” **32** . Внутривизилационное столкновение политических идей, порожденное Западом, сейчас вытесняется межцивилационным столкновением культур и религий.

Глобальная политическая география, таким образом, изменилась: вместо одного мира в 1920 году на карте появилось [с .70] три мира в 1960-м и более чем полдесятка миров в девяностых. Глобальные западные империи соответственно сжались до более ограниченного “свободного мира” в шестидесятых (понятие, которое включало множество не-западных государств, противостоящих коммунизму), затем до еще более узкого “Запада” в 1990-х. Это изменение было отражено семантически между 1988 и 1993 годами снижением употребления идеологического термина “свободный мир” и все более частым появлением цивилизационного понятия “Запад” (см. таблицу 2.1). Это подтверждается также более частым употреблением слов “ислам” (как культурно-политический феномен), “Большой Китай”, Россия и ее “ближнее зарубежье”, а также “Европейский союз” в качестве терминов с цивилизационным значением. Межцивилационные отношения в этой третьей фазе намного более часты и интенсивны, чем они были во время первой фазы, и более равноправны, чем во время второй. Кроме того, в отличие от времен “холодной войны” уже не доминирует один раскол: между Западом и другими цивилизациями и [с .71] также многими не-западными цивилизациями существует несколько расколов.

Как заметил Хедли Булл, “если два или более государства поддерживают контакты между собой и оказывают значительное влияние на решения друг друга, то чтобы заставить их действовать — по крайней мере, в какой-то степени — как части единого целого, существует международная система. Международное сообщество тем не менее существует только тогда, когда страны, входящие в международную систему, имеют “общие интересы и общие ценности”, считают себя связанными единым сводом правил”, “принимают совместное участие в работе общих институтов” и имеют “общую культуру или цивилизацию” **33** . Как и ее шумерская, греческая, эллинистическая, китайская, индийская и исламская предшественницы, европейская международная система с семнадцатого по девятнадцатый век также была международным сообществом. В девятнадцатом и двадцатом столетии европейская международная система расширилась до такой степени, что включила в себя практически все общества в других цивилизациях. Некоторые европейские институты и порядки также были экспортированы в эти страны. И все же этим обществам пока недостает общей культуры, лежащей в основе европейской международной системы. Таким образом, выражаясь терминами британской теории международных отношений, мир является хорошо развитой международной системой, но в лучшем случае лишь весьма примитивным международным сообществом.

Каждая цивилизация видит себя центром мира и пишет свою историю как центральный сюжет истории человечества. Это, пожалуй, даже более справедливо по отношению к Западу, чем к другим культурам. Такие моноцивилационные точки зрения, однако, утратили значимость и пригодность в полицивилационном мире. Исследователям цивилизаций уже давно знаком этот трюизм. В 1918 году Шпенглер развеял превалирующий

на Западе близорукий [с .72] взгляд на историю с ее четким делением на античный, средневековый и современный периоды. Он говорил о необходимости заменить “птолемеев подход к истории коперниковым” и установить вместо “пустого вымысла об одной линейной истории — драму нескольких могущественных держав” 34 . Несколькими десятилетиями спустя Тойнби подверг критике “ограниченность и наглость” Запада, выражавшиеся в “эгоцентрических иллюзиях” о том, что мир вращается вокруг него, что существует “неизменный Восток” и что “прогресс” неизбежен. Как и Шпенглер, он на дух не выносил допущения о единстве истории, допущения, что существует “только одна река цивилизации — наша собственная и что все остальные являются либо ее притоками, либо затеряны в песках пустыни” 35 . Бродель спустя пятьдесят лет после Тойнби также признал необходимость стремления к более широким перспективам и пониманию “великих культурных конфликтов в мире и множественности его цивилизаций” 36 . Иллюзии и предрассудки, о которых предупреждали нас эти ученые, все еще живы и в конце двадцатого века расцвели и превратились в широко распространенную и ограниченную по сути концепцию о том, что европейская цивилизация Запада есть универсальная цивилизация мира. [с .73]

Примечания

Продолжительность (фр.)

Использование терминов “Восток” и “Запад” для обозначения географических районов является сбивающим с толку и этноцентрическим. “Север” и “юг” имеют повсеместно принятые исходные точки — на полюсах. У понятий “Восток” и “Запад” такие базисные точки отсутствуют. Вопрос заключается в следующем: восток и запад *чего* ? Все зависит от того, где вы стоите. По-видимому, “Запад” и “Восток” изначально относились к западной и восточной частям Евразии. С точки зрения американца, однако, Дальний Восток следует называть Дальним Западом. Большую часть китайской истории Запад означал Индию, в то время как “в Японии «Запад» обычно обозначает Китай”. William E. Naff, “Reflections on the Question of 'East and West' from the Point of View of Japan”, *Comparative Civilizations Review* , 1986.

*** Но что можно сказать насчет еврейской цивилизации? Большинство исследователей цивилизаций едва упоминают о ней. Если судить по количеству людей, то иудаизм — это явно не основная цивилизация. Тойнби описывает ее как остановившуюся цивилизацию, которая эволюционировала из раннесирийской. Исторически она связана и с христианством, и исламом. На протяжении нескольких веков евреи сохраняли свою культурную идентификацию, живя в западной, православной и исламской цивилизациях. С созданием Израиля евреи получили все объективные атрибуты цивилизации: религию, язык, обычаи, общественные институты, политический и территориальный “дом”. Но как насчет субъективной идентификации? Евреи, живущие в иных культурах, по-разному соотносили себя со средой, начиная от абсолютной идентификации себя с иудаизмом и Израилем, до номинального иудаизма и полной идентификации с той цивилизацией, внутри которой они находятся. Последнее, однако, имело место главным образом среди евреев, живущих на Западе. См.: Mordecai M. Kaplan. *Judaism as a Civilization* . 1981.

Глава 3. Универсальная цивилизация? Модернизация и всегернизация

Универсальная цивилизация, значение термина

Некоторые считают, что в сегодняшнем мире происходит становление того, что В.С. Найпаул назвал “универсальной цивилизацией”. Что означает этот термин? Термин в общем подразумевает культурное объединение человечества и все возрастающее принятие людьми всего мира общих ценностей, верований, порядков, традиций и институтов. В более узком смысле эта идея означает некоторые вещи, которые глубоки, но несущественны, некоторые другие, которые существенны, но не глубоки, и третьи, которые не существенны и поверхностны.

Во— первых, люди практически во всех обществах принимают определенные основные ценности, полагая, например, что убийство — это зло, и некоторые базовые социальные институты, такие как семья, в той или иной форме. Как правило, люди в большинстве обществ имеют общее “чувство морали”, “узкие” моральные рамки для основных понятий правильного и дурного. Если под универсальной цивилизацией имеется в виду это, то это глубоко и чрезвычайно важно, но отнюдь не ново и не существенно. Если люди в течение истории разделяли некоторые фундаментальные ценности и институты, это может определить определенные константы в человеческом поведении, [с .74] но не может осветить или объяснить историю, которая состоит из перемен в человеческом поведении. Кроме того, если универсальная цивилизация, общая для всего человечества, существует, то какими терминами нам тогда пользоваться для описания главных культурных общностей человечества, кроме “человеческая раса”? Человечество разделено на подгруппы — племена, национальности и более широкие культурные идентичности, обычно именуемые цивилизациями. Если термин “цивилизация” поднять и распространить на все, что есть общего у человечества в целом, то нам придется либо изобретать новый термин для обозначения самых крупных общностей людей, за исключением человечества в целом, либо предположить, что эти большие, но не охватывающие все человечество группы испарились. Вацлав Гавел, например, утверждал, что “мы сейчас живем в одной глобальной цивилизации” и что это не более чем “легкий налет”, который “покрывает или укрывает огромное множество культур, народов, религиозных миров, исторических традиций и исторически сложившихся отношений, всего того, что, в каком-то смысле, лежит “под” ним”. Однако мы добьемся лишь семантической путаницы, если ограничим термин “цивилизация” глобальным уровнем и назовем “культурами” или “субцивилизациями” те самые большие культурные целостности, которые исторически всегда называли цивилизациями. [с .75]

Во— вторых, термином “универсальная цивилизация” можно было бы обозначать то общее, что есть у цивилизованных обществ, например города и грамотность, то, что отличает их от примитивных обществ и варваров. Это, конечно же, узкое понимание термина времен восемнадцатого века, и в этом смысле универсальная цивилизация действительно зарождается, к огромному ужасу антропологов и всех остальных, кто наблюдает за исчезновением примитивных народов. Цивилизация в этом смысле постоянно, в течение всей истории человечества, расширялась, и рост цивилизованности был вполне совместим с существованием множества цивилизаций.

В— третьих, термин “универсальная цивилизация” может относиться к предположениям, ценностям и доктринам, которые сейчас разделяют многие на Западе и некоторые в других цивилизациях. Это то, что можно назвать “давосской культурой”. Каждый год около тысячи бизнесменов, банкиров, правительственных чиновников, интеллектуалов и журналистов из десятков стран встречаются в Швейцарии на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Почти у всех этих людей есть университетские степени по точным наукам, общественным наукам, бизнесу, праву; они работают со словами и/или числами, довольно бегло говорят по-английски; работают на правительства, корпорации и академические учреждения, у которых сильны международные связи, и часто выезжают за пределы своей родной страны. Они, как правило, разделяют веру в индивидуализм, рыночную экономику и политическую демократию, что также широко распространено среди

людей западной цивилизации. Люди из Давоса контролируют практически все международные институты, многие правительства мира, а также значительную долю мировой экономики и военного потенциала. Такии” образом, давосская культура крайне важна. Однако сколько человек по всему миру разделяют эту культуру? Вне Запада ее разделяют, пожалуй, менее 50 миллионов, или 1% мирового населения, а может [с .76] быть, что и всего одна десятая мирового населения. Это далеко не универсальная цивилизация, и те лидеры, которые привержены давосской культуре, не обязательно прочно держат власть в руках в своих собственных обществах. Эта “общая интеллектуальная культура существует”, как заметил Хедли Булл, “только на уровне элиты: корни ее во многих обществах неглубоки... [и] вызывает большое сомнение, что даже на дипломатическом уровне она охватывает то, что было названо культурой общей морали или сводом общих правил, в отличие от общей интеллектуальной культуры” .

В— четвертых, была выдвинута идея о том, что рост западных моделей потребления и популярной культуры по всему миру создает универсальную цивилизацию. Этот аргумент ни глубок, ни существенен. Культурные увлечения всегда передавались от одной цивилизации к другой. Нововведения в одной цивилизации часто принимаются другими. Но это, как правило, либо технологии, начисто лишённые каких бы то ни было культурных последствий, либо мимолетные причуды, которые приходят и уходят, не изменяя базовой культуры заимствующей их цивилизации. Эти импортные штучки “расходятся” в цивилизации-реципиенте либо потому, что это -экзотика, либо они навязаны. За столетия, предшествующие нашему, западный мир не раз охватывало увлечение теми или иными атрибутами китайской или индийской культуры. В восемнадцатом веке предметы культурного импорта с Запада приобрели популярность в Китае и Индии, потому что они казались воплощением западного могущества. Выдвигаемый аргумент о том, что распространение по всему миру поп-культуры и потребительских товаров олицетворяет триумф западной цивилизации — это опошление западной культуры. Суть западной цивилизации — это *Magna Carta* , а не *Magna MacDonald ' s* . Тот факт, что жители не-Запада [с .77] могут укутить гамбургер, не подразумевает, что они примут первое.

Не связано это и с их отношением к Западу. Где-то на Ближнем Востоке пять-шесть молодых парней вполне могут носить джинсы, пить колу, слушать рэп, а между поклонами в сторону Мекки мастерить бомбу, чтобы взорвать американский авиалайнер. В семидесятые и восьмидесятые годы американцы потребляли миллионы японских машин, телевизоров, фотоаппаратов и электронных “примочек”, при этом не “ояпонившись”, и даже стали более враждебно настроены по отношению к Японии. Только наивная заносчивость могла заставить жителей Запада предположить, что представители не-Запада “озапалятся”, потребляя западные товары. И о чем, в самом деле, говорит миру о Западе то обстоятельство, что его жители идентифицируют свою цивилизацию с газированными напитками, потертыми штанами и жирной пищей?

Немного более усложненная версия универсальной массовой культуры фокусирует внимание не на товарах для потребления в общем, а на СМИ, скорее, на Голливуде, чем на кока-коле. Американский контроль глобальной кино-, теле— и видеоиндустрии даже превосходит ее господство в авиационной промышленности. Восемьдесят восемь из ста наиболее посещаемых в мире фильмов в 1995 году были американскими, а две американские и две европейские организации доминировали в области сбора и распространения новостей на глобальном уровне . Эта ситуация отражает два феномена. Первый — это универсальность человеческого интереса к любви, сексу, тайне, героизму и богатству, а также способность ориентированных на получение прибыли компаний, в основном американских, эксплуатировать эти интересы к своей собственной выгоде. Однако существует мало свидетельств (или их не существует вовсе) того, что появление всеобъемлющей глобальной связи приводит к значительному сближению точек зрения и убеждений. “Индустрия развлечений, — как заметил [с .78] Майкл Влахос, — не равнозначна культурному преобразению”. Во-вторых, люди интерпретируют обмен

информацией в терминах существовавших ранее ценностей и взглядов. “Одинаковые образы, транслируемые одновременно в гостиных самых разных точек земного шара, — полагает Кишор Мабубани, — вызывают совершенно различную реакцию. Большинство западных гостиных наполнились аплодисментами, когда крылатые ракеты ударили по Багдаду. Большинство зрителей вне Запада увидели, что немедленное возмездие Запада направлено против не-белых иракцев или сомалийцев, но не против белых сербов — тревожный сигнал по любым меркам” .

Глобальная связь — одно из наиболее значимых проявлений западного могущества. Эта западная гегемония, однако, подталкивает политиков-популистов в не-западных обществах к тому, чтобы те осуждали западный культурный империализм и призывали свои народы поддержать выживание и целостность своей родной культуры. Мера, в которой проявляется доминирование Запада в глобальной связи, является, таким образом, главным источником негодования не-западных жителей и их враждебного отношения к Западу. Кроме того, к началу девяностых модернизация и экономическое развитие в не-западных обществах стали приводить к возникновению локальных и региональных ме-диа-индустрий, удовлетворяющих определенным вкусам этих сообществ . В 1994 году, например, компания CNN International оценила свою аудиторию в 55 миллионов потенциальных зрителей, или около 1 процента мирового населения (поразительно совпадает по цифрам с количеством людей, идентифицирующихся с давосской культурой), а ее президент утверждал, что английские передачи могут со временем охватить от 2 до 4 процентов рынка. Так появились региональные (т.е. цивилизационные) сети, которые вели трансляцию на испанском, японском, арабском, французском (для Западной Африки) и других языках. “Глобальная редакция новостей, — пришли к выводу трое ученых, — [с .79] все еще сталкивается с вавилонским столпотворением” . Рональд Дор являет собой яркий пример представителя глобальной интеллектуальной культуры давосского типа среди дипломатов и государственных служащих. Но даже он тем не менее приходит к достаточно сложному выводу о влиянии быстрорастущей коммуникации: “*при прочих равных условиях* [курсив Дора], увеличивающаяся плотность связи призвана обеспечить возрастающую базу для взаимопонимания между народами, или, по крайней мере, дипломатами мира”, и далее он добавляет, что “могут оказаться важными некоторые вещи, которые не являются неизменными во всем мире” .

Язык

Центральными элементами любой культуры или цивилизации являются язык и религия. Если сейчас зарождается универсальная цивилизация, значит, должны иметь место тенденции к возникновению универсального языка и универсальной религии. Такие заявления часто делаются по отношению к языку. “Мировой язык — английский”, — как выразился редактор *Wall Street Journal* . Это может означать две вещи, лишь одна из которых может служить подтверждением в случае с универсальной цивилизацией. Это могло бы означать, что все увеличивающаяся доля мирового населения говорит по-английски. Доказательств такой точки зрения не существует, и наиболее надежные из существующих источников, которые, вероятно, могут быть не очень точными, показывают обратное. Доступные данные за более чем три десятилетия (1958-1992) показывают, что общее соотношение использования языков в мире кардинально не изменилось, а также что произошло значительное снижение доли людей, говорящих на английском, французском, немецком, русском и японском языках, чуть меньше снизилась доля носителей мандаринского диалекта, а вот доля использования хинди, малайско— индонезийского, [с .80] арабского, бенгали, испанского, португальского, наоборот, увеличилась. Доля носителей английского языка в мире упала с 9,8% в 1958 году до 7,6% в 1992-м (см. табл. 3.1). Процентное соотношение населения мира, говорящего на пяти крупнейших европейских языках (английский, французский, немецкий, португальский, испанский),

снизилось с 24,1% в 1958 году до 20,8% в 1992-м. В 1992 году примерно вдвое больше людей говорили на мандаринском (15,2% мирового населения), чем на английском, и еще 3,6% говорили на других диалектах китайского (см. табл. 3.2).

С одной стороны, язык, не являющийся родным для 92% мирового населения, не может быть мировым языком. С другой стороны, однако, его модно назвать именно так, если это язык, который используется людьми различных языковых групп и культур для общения друг с другом, если это мировая *lingua franca*, или, выражаясь лингвистическими [с .81] терминами, универсальный язык широкого общения (УЯШО). Люди, которым необходимо общаться друг с другом, вынуждены искать способ сделать это. На одном уровне они полагаются на специально обученных профессионалов, которые свободно владеют двумя или более языками и работают устными или письменными переводчиками. Это, однако, неудобно, долго и дорого. Поэтому в течение всей истории возникали *lingua franca*: латынь во времена античности и Средневековья, французский на протяжении нескольких веков на Западе, суахили во многих частях Африки и английский во многих частях света во второй половине двадцатого столетия. Дипломаты, бизнесмены, ученые, туристы и обслуживающие их службы, пилоты авиалиний и авиадиспетчеры — все они нуждаются в каком-нибудь средстве эффективного общения друг с другом, и сейчас они делают [с .82] это преимущественно по-английски. В этом смысле английский является средством межкультурного общения, точно как христианский календарь стал всемирным инструментом измерения времени, арабские цифры — всемирным способом счета, а метрическая система, большей частью, всемирной системой измерения. Использование английского языка тем не менее является *межкультурным* средством общения; здесь подразумевается существование различных культур. Это средство общения, а не источник идентичности или общности. Если японский банкир и индонезийский банкир говорят друг с другом по-английски, то это не означает, что любой из них англизирован или вестернизирован. То же самое можно сказать о немецкоговорящих и франко-говорящих швейцарцах, которые могут говорить друг с другом по-английски с таким успехом, как и на любом из их родных языков. Аналогичным образом, поддержание роли английского как общего национального языка в Индии, несмотря на планы Неру о противоположном, свидетельствует о горячем желании народов Индии, не говорящих на хинди, сохранить свой родной язык и культуру, а также о том, что Индии необходимо оставаться многоязычным обществом.

Как заметил ведущий исследователь-лингвист Джошуа Фишман, язык, скорее всего, будет принят в качестве *lingua franca* или УЯШО, если он не идентифицируется с конкретной этнической группой, религией и идеологией. В прошлом английский обладал многими из этих идентификаций. В последнее время английским стал “деэтнизированным (или минимально этнизированным)”, как это случалось в прошлом с аккадским, арамейским, греческим или латынью. “Просто счастьем для судьбы английского как второго языка стало то, что ни британские, ни американские первоисточники не рассматривались ни широко, ни глубоко в этническом или идеологическом контексте *примерно на протяжении последней четверти века* [курсив Фишмана]. Использование английского в качестве [с .83] средства межкультурного общения помогает, таким образом, поддерживать и даже усиливать различные культурные идентичности народов. Именно потому, что люди хотят сохранить свою собственную культуру, они пользуются английским для общения с людьми из других культур.

Люди, которые говорят на английском в разных частях света, все больше говорят на разных английских. Английский приобретает местный колорит, который отличает его от британского или американского варианта английского, и различия доходят до того, что люди, говорящие на этих английских, почти не понимают друг друга, точно как в случае с

многочисленными диалектами китайского. Нигерийский пиджин-инглиш, индийский английский и другие формы английского внедряются в соответствующие принимающие культуры, и они, по-видимому, будут продолжать различаться, пока не станут схожи внутри отдельных культур, точно как романские языки эволюционировали из латыни. Однако в отличие от итальянского, французского и испанского эти выросшие из английского языки будут либо употребляться небольшой группой людей внутри одного общества, либо они будут использоваться в первую очередь для общения между определенными лингвистическими группами.

Все эти процессы можно наблюдать в Индии. В 1983 году, например, там было 18 миллионов людей, говорящих по-английски, среди населения в 733 миллиона и 20 миллионов из 867 миллионов в 1990 году. Таким образом, доля говорящих по-английски людей среди индийского населения остается относительно стабильной — от 2 до 4 процентов. За пределами узкой элиты, использующей англоязычную документацию, английский даже не играет роль *lingua franca*. “Приземленная реальность, — утверждают два профессора английского языка из университета в Нью-Дели, — состоит в том, что если вы отправитесь в путешествие из самой южной конечности Кашмира в Каньякума-ри, то общение вам будет намного лучше вести при помощи хинди, а не английского”. Кроме того, индийский английский [с .84] приобретает все больше индивидуальных характеристик: он индизнируется, или, скорее, локализуется, поскольку возникают различия между английскими языками носителей разных локальных языков. Английский впитывается в индийскую культуру, точно как же, как санскрит и персидский были впитаны до этого.

В течение всей истории распределение языков в мире отражало распределение власти в мире. Наиболее широко употребляемые языки — английский, мандаринский, испанский, французский, арабский, русский — являются или были языками империалистических государств, которые активно поощряли использование своего языка другими народами. Сдвиги в распределении власти привели к сдвигам в распределении языков. “... Два столетия британского и американского колониального, коммерческого, индустриального, научного и финансового могущества оставили значительное наследство в высшем образовании, управлении, торговле и технологии во всем мире”. Британцы и французы настаивали на том, чтобы в их колониях пользовались их языком. После обретения независимости, однако, большинство бывших колоний попыталось в разной степени и с разным успехом заменить имперские языки своими местными. В пору когда влияние Советского Союза было в зените, русский был *lingua franca* от Праги до Ханоя. Спад советского могущества сопровождался параллельным снижением использования русского в качестве второго языка. Как и в случае с другими формами культуры, усиление могущества порождает как лингвистическую гордость носителей языка, так и стимул для других учить этот язык. В безумные дни сразу же после падения Берлинской стены, когда казалось, что объединенная Германия стала новым колоссом, возникла примечательная тенденция: немцы, бегло говорящие по-английски, на международных встречах старались пользоваться немецким. Японское экономическое могущество стимулировало изучение японского не-японцами, а экономическое развитие Китая [с .85] порождает аналогичный бум в отношении китайского. В Гонконге китайский стремительно вытесняет английский с позиции доминирующего языка, и с учетом роли китайцев, живущих в других странах Юго-Восточной Азии, китайский стал языком, на котором ведется большая часть международной торговли в данном регионе.

По мере того как могущество Запада по отношению к влиянию других цивилизаций постепенно снижается, использование английского и других европейских языков в них или для общения между странами также медленно сходит на нет. Если в какой-то момент в отдаленном будущем Китай займет место Запада как доминирующей цивилизации, английский уступит место мандаринскому в качестве *lingua franca*.

Когда бывшие колонии шли к независимости и только добивались ее, поощрение развития и использования местных языков, как и борьба с языками империи, были одним из способов, при помощи которых национальные элиты отличали себя от западных

колониалистов и определяли свою идентичность. После обретения независимости, однако, элитам этих обществ потребовалось отличаться от простого люда своих стран. Средство нашлось: свободное владение английским, французским и другими западными языками. В результате элитам не-западных обществ зачастую намного проще общаться с жителями Запада и друг с другом, чем с народом из своих обществ (подобная ситуация имела место на Западе в семнадцатом-восемнадцатом веках, когда аристократы из различных стран прекрасно общались друг с другом по-французски, но не умели говорить на национальных языках своих стран). В не-западных обществах сейчас налицо две противоположные тенденции. С одной стороны, английский все больше используется на университетском уровне, чтобы дать выпускникам возможность вести эффективную игру в глобальной гонке за капиталами и покупателями. С другой стороны, социальное и политическое давление вынуждает все больше использовать местные [с .86] языки. Арабский вытесняет французский в Северной Африке, урду занимает место английского как языка управления и образования в Пакистане, а СМИ, использующие местные языки, заменяют англоязычные в Индии. Такое развитие ситуации предвидела Индийская комиссия по образованию в 1948 году, когда было заявлено, что “использование английского... делит людей на две нации, тех немногих, кто правит, и многих, которыми правят, кто не может говорить на чужом языке, и эти две нации не понимают друг друга”. Сорок лет спустя живучесть английского как языка элиты подкрепила это предсказание и создала “противоестественную ситуацию в рабочей демократии, основанной на праве голоса у взрослого населения... Англоговорящая Индия и политически сознательная Индия все больше отделяются друг от друга”, стимулируя “напряжение... между меньшинством на самом верху, которое знает английский, и миллионами — имеющими право голоса, — которые не знают его” . В той мере, в которой не-западные общества устанавливают демократические институты, а народ принимает активную роль в управлении этими обществами, использование английского снижается и все более употребительными становятся местные языки.

Конец советской империи и “холодной войны” дал импульс к распространению и возрождению языков, которые либо подвергались гонениям, либо были забыты. В большинстве бывших советских республик были приняты значительные усилия по возрождению традиционных языков. Эстонский, литовский, латышский, украинский, грузинский и армянский стали теперь национальными языками независимых государств. В мусульманских странах произошло такое же лингвистическое самоутверждение, Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан сменили кириллицу своих бывших советских господ на латинский алфавит турецких братьев, а говорящий по-персидски Таджикистан позаимствовал арабскую письменность. Сербь, с другой стороны, теперь называют свой язык сербским, а не [с .87] сербохорватским, и сменили западные буквы своих католических врагов на кириллицу российских друзей. Параллельно с этим хорваты переименовали свой язык в хорватский и стараются очистить его от турецких заимствований и других иностранных слов, в то время как “турецкие и арабские заимствования, лингвистический осадок, оставшийся после 450-летнего пребывания Османской империи на Балканах, вошли в моду” в Боснии . Язык преобразовывается и перестраивается, чтобы соответствовать новым идентичностям и контурам цивилизаций. По мере того как рассеивается власть, распространяется вавилонизация.

Религия

Универсальная религия имеет ненамного больше шансов возникнуть, чем универсальный язык. Конец двадцатого века стал свидетелем повсеместного возрождения религий (*la Revanche de Dieu*). Это возрождение заключалось в усилении религиозного сознания и подъеме фундаменталистских движений. Таким образом, различия между религиями усилились. Данные, касающиеся приверженцев различных религий, еще более отрывочны и ненадежны, чем информация по носителям языков. В таблице 3.3 даны цифры,

взяты из одного широко используемого источника. Эти и другие данные показывают, что относительная (в численном выражении) сила мировых религий в этом столетии значительно не изменилась. Наибольшее изменение, зафиксированное этим источником, было увеличение доли людей, именующих себя “неверующими” или “атеистами”, — от 0,2% в 1900 году до 20,9% в 1980 году. Вероятно, это могло бы отражать значительный отход от религии, и в 1980 году религиозное возрождение еще только набиралось сил. И все же увеличение числа неверующих на 20,7% почти совпадает с девятнадцатипроцентным снижением адептов “китайских народных религий” с 23,5% в 1900 г. до 4,5% в 1980 г. Эти практически равные снижение и увеличение означают, [с .88] что с приходом коммунистической власти внушительная часть населения Китая было просто переименована из приверженцев народных религий в неверующих.

О чем эти данные свидетельствуют, так это об увеличении доли приверженцев двух основных религий, стремящихся обратить других в свою веру — ислам и христианство — более чем за 80 лет. Западное христианство охватывало 26,9% мирового населения в 1900 году и 30 процентов в 1980 г. Мусульмане увеличили свой удельный вес более заметно — с 12,4% в 1900 году до 16,5% (по некоторым оценкам — 18%) в 1980 г. За последние несколько десятилетий двадцатого века ислам и христианство значительно увеличили число своих сторонников в Африке, а основной сдвиг в сторону христианства произошел в Южной Корее. Если традиционная религия в обществах со стремительной модернизацией неспособна адаптироваться к требованиям модернизации, создаются потенциальные возможности для распространения западного христианства и ислама. В таких обществах наиболее удачливые сторонники западной культуры — это не неоклассические экономисты, не демократы-крестоносцы и не руководители транснациональных [с .89] корпораций. Скорее всего, это есть и будут христианские миссионеры. Ни Адам Смит, ни Томас Джефферсон не могут отвечать психологическим, эмоциональным, моральным и социальным запросам выпускников средней школы в первом поколении. Иисус Христос тоже может не отвечать им, но у Него шансов побольше.

По большому счету, однако, побеждает Магомет. Христианство распространяется в первую очередь путем обращения приверженцев других религий, а ислам — за счет как обращения, так и воспроизводства. Процентное соотношение христиан в мире, которое достигло своего пика в 30% в восьмидесятые, выровнялось и сейчас снижается, и, скорее всего, будет равняться 25% от населения мира к 2025 году. В результате чрезвычайно высоких темпов прироста населения (см. главу 5), относительная доля мусульман в мире будет продолжать стремительно расти, достигнув на рубеже столетий 20 процентов мирового населения, превзойдя количество христиан в течение нескольких последующих лет, и, вероятно, может равняться 30% к 2025 году .

Универсальная цивилизация: происхождение термина

Концепция универсальной цивилизации является характерным продуктом западной цивилизации. В девятнадцатом веке идея “бремена белого человека” помогла оправдать распространение западного политического и экономического господства над не-западными обществами. В конце двадцатого столетия концепция универсальной цивилизации помогает оправдывать западное культурное господство над другими обществами и необходимость для этих обществ копировать западные традиции и институты. Универсализм — идеология, принятая Западом для противостояния [с .90] не-западным культурам. Как это часто случается среди маргиналов и прозелитов, среди наиболее восторженных адептов идеи единой цивилизации есть интеллектуальные мигранты на Запад, такие как Найпаул и Фуад Аджамы, которым эта концепция дает в наивысшей мере удовлетворительный ответ на центральный вопрос: “Кто я?”. Однако один из арабских интеллектуалов применил в

отношении этих мигрантов термин “ниггер белого человека” , а идея универсальной цивилизации находит мало поддержки в других цивилизациях. Не-Запады видят западным то, что Запад видит универсальным. То, что жители Запада объявляют мирной глобальной интеграцией, например распространение всемирных средств массовой информации, представители остального мира осуждают как гнусный западный империализм. В той же мере, какой жители не-Запада видят его единым, они видят в нем угрозу.

Аргументы в пользу того, что сейчас зарождается некая универсальная цивилизация, основываются как минимум на одной из следующих трех предпосылок. Во-первых, есть допущение, рассмотренное в главе 1, что падение советского коммунизма означает конец исторической борьбы и всеобщую победу либеральной демократии во всем мире. Этот довод страдает от ошибки выбора, которая имеет корни в убеждении времен “холодной войны”, что единственной альтернативой коммунизму является либеральная демократия и что смерть первого приводит к универсальности второй. Однако очевидно, что существуют многочисленные формы авторитаризма, национализма, корпоративизма или рыночного коммунизма (как в Китае), которые благополучно живут в современном мире. И, что более важно, есть все религиозные альтернативы, которые лежат вне мира светских идеологий. Религия в сегодняшнем мире — одна из центральных, пожалуй, самая главная сила, которая мотивирует и мобилизует людей. Наивной глупостью является мысль о том, что крах советского коммунизма означает окончательную победу Запада во всем [с .91] мире, победу, в результате которой мусульмане, китайцы, индийцы и другие народы ринутся в объятия западного либерализма как единственной альтернативы. Деление человечества времен “холодной войны” позади. Более фундаментальные принципы деления человечества — этнические, религиозные и цивилизационные — остаются и становятся причиной новых конфликтов.

Второе предположение основано на том, что усиливающееся взаимодействие между народами — торговля, инвестиции, туризм, СМИ, электронные средства связи вообще — порождает общую мировую культуру. Улучшения в транспорте и коммуникационных технологиях и в самом деле облегчают перемещение денег, товаров, людей, знаний, идей и представлений о жизни по всему миру. В том, что информационный поток между народами увеличивается, сомнений нет. Однако существует немало сомнений насчет влияния этого растущего потока. Увеличивает или снижает торговля вероятность конфликта? Предположение о том, что она снижает вероятность войны между нациями, по меньшей мере, не доказано, а вот свидетельств противоположного существует множество. Международная торговля значительно возросла в шестидесятые-семидесятые годы двадцатого века, а в следующее десятилетие завершилась “холодная война”. В 1913 году, однако, международная торговля была на рекордной высоте, а следующие пять лет народы уничтожали друг друга в беспрецедентных количествах . Если уж международная торговля на том уровне не могла предотвратить войны, то когда же она сможет это сделать? Факты не подтверждают либеральное, интернационалистическое допущение о том, что коммерция несет с собой мир. Аналитические работы, опубликованные в 1990-е годы, в еще большей степени ставят под сомнение это предположение: одно исследование приходит к выводу, что “возрастающий уровень торговли может быть силой, сеющей серьезные распри... в международной политике” и что “расширение торговли в международной системе само [с .92] по себе вряд ли снимет международное напряжение или принесет с собой большую международную стабильность” . В другом труде говорится, что высокий уровень международной взаимозависимости “может вызывать как мир, так и войну, в зависимости от ожидаемых от будущей торговли результатов”. Экономическая взаимная зависимость благоприятствует миру только “когда государства ожидают, что высокий уровень торговли сохранится и в обозримом будущем. Если страны не ожидают, что уровень взаимозависимости и дальше будет оставаться высоким, это вполне вероятно может привести к войне” .

Неспособность торговли и коммуникаций породить мир и чувство единства созвучно с

результатами последних изысканий в социологии. В социальной психологии

есть теория отличительности, которая утверждает, что люди определяют себя при помощи того, что отличает их от других в данных обстоятельствах: “каждый осознает себя в терминах тех характеристик, которые отличают его от других людей, особенно от людей его обычной социальной среды... Женщина-психолог в компании из дюжины женщин других профессий будет думать о себе как о психологе; оказавшись рядом с дюжиной мужчин-психологов, она будет ощущать себя женщиной” . Люди определяют свою идентичность при помощи того, чем они не являются. В то время как возросшие общение, торговля и путешествия множат взаимодействия между цивилизациями, люди все чаще придают наибольшую важность своей цивилизационной идентичности. Два европейца — один немец и один француз, — взаимодействуя друг с другом, будут идентифицировать себя как немца и француз. Два европейца — один немец и один француз, — взаимодействуя с двумя арабами, одним жителем Саудовской Аравии и одним египтянином, будут идентифицировать себя как европейцев и арабов. Иммиграция выходцев из Северной Африки во Францию встретила враждебное отношение французов и в то же время укрепила доброжелательность к [с .93] европейцам и католикам — полякам. Американцы гораздо болезненнее реагируют на японские капиталовложения, чем на куда более крупные инвестиции из Канады и европейских стран. Аналогичную мысль высказал Дональд Горовиц: “В восточных районах Нигерии человек народности ибо может быть ибо-оуэрри, либо же ибо-ониша. Но в Лагосе он будет просто ибо. В Лондоне он будет нигерийцем. А в Нью-Йорке — африканцем” . Созданная в рамках социологии теория глобализации приходит к такому же выводу: “Во все больше глобализующемся мире, который характеризуется не знающей аналогий в истории степенью цивилизационной, общественной и другими видами взаимозависимости, а также широко распространенным осознанием этого, имеет место *обострение* цивилизационного, общественного и этнического самосознания”. Глобальное религиозное возрождение, “возвращение к святыням”, является ответом на тенденцию восприятия мира как “единого целого” .

Запад и модернизация

Третий и наиболее распространенный аргумент в пользу возникновения универсальной цивилизации рассматривает ее как результат широких процессов модернизации, которая идет с восемнадцатого века. Модернизация включает в себя индустриализацию, урбанизацию, растущий уровень грамотности, образованности, благосостояния и социальной заботы, а также более сложные и многосторонние профессиональные структуры. Это — продукт потрясающей экспансии научных и инженерных знаний, которая началась в восемнадцатом веке и позволила людям управлять средой и формировать свою среду в небывалых масштабах. Модернизация — революционный процесс, который можно сравнить только с переходом от примитивного к цивилизованному [с .94] обществу, то есть с возникновением и ростом цивилизованности, которое началось в долинах Тигра и Евфрата, Нила и Инда около 5000 г. до нашей эры . Положение, ценности, знание и культура людей в современном обществе значительно отличаются от того, что имело место в традиционном обществе. Как первая подвергшаяся модернизации цивилизация, Запад занимает ведущую роль в обретении культуры современности. Вместе с тем, когда и другие цивилизации приобретут схожие модели образования, работы, благосостояния и классовой структуры, гласит данный аргумент, современная культура Запада станет универсальной культурой мира. Очевидно, что мир, в котором одни общества ультрасовременны, а другие — по-прежнему традиционны, будет менее однороден, чем мир, в котором все общества достаточно современны. Но как насчет мира, где все общества были традиционными? Такой мир существовал несколько сот лет назад. Был ли он менее однороден, чем возможный мир универсальной модернизации? Вероятно, нет. “Китай династии Мин... был несомненно ближе к Франции времен Валуа, — писал Бродель, — чем Китай Мао Цзэдуна к Франции

времен Пятой республики” .

И все же современные общества могут быть более схожими, чем традиционные, по двум причинам. Во-первых, возросшее взаимодействие между современными обществами может не порождать общую культуру, но оно облегчает передачу технологий, изобретений и структур из одного общества в другое со скоростью и в степени, которые были невозможны в традиционном мире. Во-вторых, традиционное общество было основано на сельском хозяйстве; современное общество базируется на промышленности, которая может эволюционировать от ремесел до классической тяжелой промышленности и затем до наукоемких технологий и производств. Модели сельского хозяйства и связанной с ним социальной структуры намного больше зависят от естественной окружающей среды, чем индустриальные модели. [с .95] Они формируются в зависимости от почвы и климата и могут, таким образом, породить различные формы владения землей, социальной структуры и правления. Каковы бы ни были общие заслуги выводов Виттфогеля о гидравлической цивилизации, сельское хозяйство, которое зависит от сооружения и эксплуатации массивных ирригационных систем, приводит к возникновению централизованной бюрократической власти. Вряд ли может быть иначе. Плодородная почва и хороший климат, скорее всего, будут стимулом развития сельского хозяйства, основанного на крупных плантациях, и, как логическое следствие, сложится немногочисленный класс зажиточных землевладельцев и крупный класс крестьян, рабов или крепостных, которые работают на плантациях. Неблагоприятные для крупномасштабного сельского хозяйства условия могут стимулировать зарождение общества независимых фермеров. Короче говоря, в сельскохозяйственных обществах социальная структура обусловлена географией. Промышленность, в отличие от этого, намного меньше зависит от местных природных условий. Различия в организации промышленности будут вытекать скорее из различий в культуре и социальной структуре, а не в географии, причем различия в первой, вероятно, могут сгладиться, а во второй— нет.

Таким образом, у современных обществ есть много общего. Но обязательно ли они должны слиться и стать однородными? Аргумент в пользу этого основывается на том предположении, что современное общество должно соответствовать единому типу — западному, что современная цивилизация — это западная цивилизация и что западная цивилизация есть современная цивилизация. Это тем не менее совершенно ошибочная идентификация. Западная цивилизация зародилась в восьмом-девятом веках и приобрела отличительные черты в последующие столетия. Запад был Западом задолго до того, как он стал современным. Центральные характеристики Запада, которые отличают его от других цивилизаций, возникли раньше его модернизации. [с .96]

Каковы же были эти отличительные черты западного общества, которыми оно обладало в течение сотен лет до его модернизации? Ответы на этот вопрос, которые предоставили нам различные исследователи, расходятся в деталях, но сходятся в определении ключевых институтов, обычаев и убеждений, которые можно по праву назвать стержневыми для западной цивилизации. Их список приводится ниже .

Античное (классическое) наследие

Запад как цивилизация третьего поколения многое унаследовал от предыдущих цивилизаций. Особенно это касается античной цивилизации. Запад унаследовал от античной цивилизации многое, включая греческую философию и рационализм, римское право, латынь и христианство. Исламская и православная цивилизации также получили наследство от античной цивилизации, но в значительно меньшей мере, чем Запад.

Католицизм и протестантство

Западное христианство, сначала католицизм, а затем католицизм и протестантство, —

это, несомненно, самая важная историческая особенность западной цивилизации. В течение большей части первого тысячелетия то, что сейчас известно как западная цивилизация, называлось западным христианством. Среди народов западного христианства существовало хорошо развитое чувство единства; люди осознавали свои отличия от турок, мавров, византийцев и других народов, и жители Запада шли завоевывать мир в шестнадцатом веке не только во имя золота, но и во имя Бога. Реформация и Контрреформация, а также разделение западного христианства на протестантство на севере и католицизм на юге также оказали влияние на западную историю, которая абсолютно отличается от восточного православия и весьма далека от латиноамериканского опыта. [с .97]

Европейские языки

Язык как фактор определения людей одной культуры уступает только религии. Запад отличается от большинства остальных цивилизаций своим многообразием языков. Японский, мандаринский, русский и даже арабский признаны стержневыми языками своих цивилизаций. Запад унаследовал латынь, но появилось множество народов, а с ними и национальных языков, которые объединены в широкие категории романских и германских. К шестнадцатому веку эти языки, как правило, уже приобрели свою современную форму.

Разделение духовной и светской власти

В течение всей западной истории сначала церковь вообще, затем многие церкви существовали отдельно от государства. Бог и кесарь, церковь и государство, духовные и светские власти — таков был преобладающий дуализм в западной культуре. Только в индусской цивилизации было столь же четкое деление на религию и политику. В исламе Бог — это кесарь; в Китае и Японии кесарь — это Бог, в православии кесарь — младший партнер Бога. Это разделение и неоднократные столкновения между церковью и государством, столь типичные для западной цивилизации, ни в одной другой из цивилизаций не имели место. Это разделение властей внесло неоценимый вклад в развитие свободы на Западе.

Господство закона

Концепция центрального места закона в цивилизованном бытии была унаследована от римлян. Средневековые мыслители развили идею о природном законе, согласно которому монархи должны были применять свою власть, и в Англии появилась традиция общего права. Во время фазы абсолютизма (шестнадцатый-семнадцатый века) торжество [с .98] права наблюдалось скорее в нарушении закона, чем в соблюдении его, но продолжала существовать идея о подчинении власти человеческой неким внешним ограничениям: *Non sub homine sed sub Deo et lege* *** . Эта традиция господства закона лежала в основе конституционализма и защиты прав человека, включая право собственности, против применения деспотической власти. В большинстве других цивилизаций закон был куда менее важным фактором, обуславливающим мышление и поведение.

Социальный плюрализм

Исторически западное общество было в высшей степени плюралистичным. Как пишет Дойч, Запад отличает то, что там “возникли и продолжают существовать разнообразные автономные группы, не основанные на кровном родстве или узах брака” . Начиная с седьмого — восьмого веков эти группы сначала включали в себя монастыри, монашеские ордена и гильдии, затем они расширились и к ним во многих регионах Европы присоединились множество союзов и сообществ . Помимо этого союзного плюрализма существовал плюрализм классовый. В большинстве европейских обществ были

относительно сильная и автономная аристократия, крепкое крестьянство и небольшой, но значимый класс купцов и торговцев. Сила феодальной аристократии была особенно значима в сдерживании тех пределов, в которых смог прочно укорениться среди европейских народов абсолютизм. Этот европейский плюрализм резко контрастирует с бедностью гражданского общества, слабостью аристократии и силой централизованных бюрократизированных империй, которые одновременно существовали в России, Китае и на Османских землях, а также в других не-западных обществах. [с .99]

Представительные органы

Социальный плюрализм рано дал начало сословиям, парламентам и другим институтам, призванным выражать интересы аристократов, духовенства, купцов и других групп. Эти органы обеспечили формы представительства, которые во время модернизации развились в институты современной демократии. В некоторых случаях во времена абсолютизма эти органы были запрещены или их власть существенно ограничила. Однако даже когда это происходило, они могли, как во Франции, возрождаться вновь, чтобы стать средством для возросшего политического участия народа. Ни одна другая современная цивилизация не имеет даже сравнимой тысячелетней истории в области представительных органов. На местном уровне начиная с девятого века также стали возникать органы самоуправления, сначала в итальянских городах, а затем они распространились на север, “заставляя епископов, местных баронов и других представителей знати делиться властью с гражданами и в конце концов уступать им” . Таким образом, представительство на национальном уровне дополнялось значительной автономией на местном, чего не было в других регионах мира.

Индивидуализм

Многие из перечисленных выше отличительных черт западной цивилизации способствовали возникновению чувства индивидуализма и традиции индивидуальных прав и свобод, не имеющих равных среди цивилизованных обществ. Индивидуализм развился в четырнадцатом-пятнадцатом веках, а принятие права на индивидуальный выбор — то, что Дойч назвал “революцией Ромео и Джульетты”, — доминировало на Западе уже к семнадцатому веку. Даже призывы к равным правам для всех индивидуумов — “у самого последнего бедняка в Англии такая же жизнь, как у первого богача” — были слышны повсюду, если не повсеместно приняты. Индивидуализм остается отличительной чертой [с .100] Запада среди цивилизаций двадцатого века. В одном анализе, который сравнивал одинаковые показатели в пятидесяти странах, двадцать государств с наибольшим показателем индивидуализма включали все западные страны, кроме Португалии и Израиля . Автор другого межкультурного исследования индивидуализма и коллективизма также подчеркнул преобладание индивидуализма на Западе и превалирование коллективизма во всех других культурах и пришел к выводу, что “ценности, которые наиболее важны на Западе, менее важны во всем мире”. Снова и снова жители Запада и не-Запада указывают на индивидуализм как на центральную отличительную черту Запада .

Приведенный выше список не ставит своей целью полное перечисление отличительных характеристик западной цивилизации. Не означает он также, что эти характеристики всегда и повсеместно присутствовали в западном обществе. Очевидно, что они порой отсутствовали: многие деспоты в западной истории регулярно игнорировали господство закона и распускали представительные органы. Не утверждается и того, что ни одна из этих характерных черт не проявлялась в других цивилизациях. Очевидно, они имеют место: Коран и шариат составляют основополагающий закон для исламских государств; в Японии и Индии существуют классовые системы, весьма схожие с сословиями Запада (возможно, в результате этого только эти две основные не-западные цивилизации могут выдержать

демократическое правительство в течение любого времени). По отдельности ни один из этих факторов не был уникален для Запада. Однако их сочетание было уникально, и это дало Западу его отличительные особенности. Эти концепции, принятые практики и общественные институты просто были более широко распространены на Западе, чем в других цивилизациях. Они — то, что сделало Запад Западом, причем уже давно. И они же во многом стали факторами, которые позволили Западу занять ведущую роль в модернизации самого себя и всего мира. [с .101]

Ответы на влияние Запада и модернизацию

Экспансия Запада повлекла за собой модернизацию и вестернизацию не-западных обществ. Ответную реакцию политических и интеллектуальных лидеров этих обществ на влияние Запада можно отнести к одному из трех вариантов: отторжение как модернизации, так и вестернизации; принятие и того, и другого с распростертыми объятиями; принятие первого и отторжение второго .

Отторжение

Япония следовала ярко выраженному отторженческому курсу начиная с первых контактов с Западом в 1542 году и вплоть до середины XIX века. В этой стране были разрешены лишь ограниченные формы модернизации, такие как приобретение огнестрельного оружия, а импорт западной культуры — наиболее заметно это в отношении христианства — находился под строгим запретом. Отсюда в середине семнадцатого века были полностью изгнаны иностранцы. Конец позиции отторжения был положен с насильственным открытием Японии командором Перри в 1854 году и драматическими попытками перенять уроки у Запада после реставрации Мейдзи в 1868 году. На протяжении нескольких веков Китай также пытался отгородиться от любой значительной модернизации или вестернизации. Хотя христианские миссионеры были допущены в страну в 1601 году, они были полностью изгнаны из нее в 1722 г. В отличие от Японии в Китае политика отторжения обуславливалась тем, что эта страна воспринимала себя как Среднее царство и твердо была уверена в превосходстве китайской культуры над культурами всех других народов. Китайской изоляции, как и японской, конец положило западное [с .102] оружие, поставленное в Китай британцами во время опиумных войн 1839-1842 годов. Все эти случаи говорят о том, что в девятнадцатом столетии западное могущество чрезвычайно затруднило и сделало практически невозможным сохранение стратегии изоляции и исключительности для не-западных обществ.

В двадцатом веке усовершенствования в транспорте и коммуникациях, а также глобальная взаимозависимость сделали цену изоляции крайне высокой. За исключением небольших изолированных сельских обществ, желающих существовать на грани выживания, крайне маловероятными стали отторжение модернизации и вестернизации в мире, который стремительно становится современным и высоко взаимосвязанным. “Лишь самые экстремальные фундаменталисты, — пишет Дэниэл Пайпс об исламе, — отвергают модернизацию и вестернизацию. Они выбрасывают телевизоры в реки, запрещают наручные часы, отказываются от двигателя внутреннего сгорания. Однако непрактичность программ таких групп накладывает жесткие ограничения на их привлекательность; и в некоторых случаях — например, с убийцами Садата, террористами, напавшими на мечеть в Мекке, или с малазийскими группами даква — поражение в яростных стычках с властями заставило их исчезнуть практически бесследно” . Практически бесследное исчезновение — такова общая судьба всех поборников чисто отторженческой политики к концу двадцатого века. Фанатизм, пользуясь терминологией Тойнби, это нежизнеспособный выбор.

Кемализм

Вторая вероятная реакция на влияние Запада — это “геродианизм” Тойнби, то есть встреча с распростертыми объятиями как модернизации, так и вестернизации. Такой ответ основан на предположении о том, что модернизация является желанной и необходимой, и местная культура [с .103] несовместима с модернизацией, поэтому она должна быть забыта или запрещена, и что обществу для того, чтобы модернизироваться, нужно полностью вестернизироваться. Модернизация и вестернизация взаимно поддерживают друг друга и должны идти бок о бок. Этот подход был воплощен в призывах некоторых представителей японской и китайской интеллигенции конца девятнадцатого века о том, что во имя модернизации надо забыть свои исторические языки и принять английский в качестве национального языка. Неудивительно, что эта точка зрения среди жителей Запада была даже более популярна, чем среди не-западных элит. Основная идея состоит в следующем: “Чтобы добиться успеха, вы должны быть как мы; наш путь — единственный путь”. И приводится довод, что “религиозные ценности, этические нормы и социальные структуры этих [не-западных] обществ в лучшем случае чужды, а иногда враждебны по отношению к принципам и практике индустриального развития”. Таким образом, экономическое развитие “потребуется радикальной и деструктивной переделки жизни и общества и, зачастую, нового толкования сути самого бытия теми людьми, которые живут в этих цивилизациях” 37 . Пайпс говорит о том же применительно к исламу:

“Для того чтобы избежать аномии, у мусульман остается единственный выбор, потому что модернизация требует вестернизации... Ислам не предлагает никакого альтернативного пути модернизации. Секуляризации не избежать. Современная наука и технология требуют впитывания сопровождающих их мыслительных процессов; то же самое касается и политических институтов. Ибо содержание нужно копировать не меньше, чем форму. Чтобы перенять уроки западной цивилизации, необходимо признать ее превосходство. Европейских языков и западных образовательных институтов нельзя избежать, даже если последние поощряют свободомыслие и вольный образ жизни. [с .104] Только когда мусульмане окончательно примут западную модель во всех деталях, они смогут провести индустриализацию и затем развиваться” 38 .

За шестьдесят лет до того, как были написаны эти слова, Мустафа Кемаль Ататюрк пришел к аналогичным выводам и создал новую Турцию на руинах Османской империи и предпринял энергичные усилия как по модернизации, так и по вестернизации страны. Последовав этим курсом и отказавшись от исламского прошлого, Ататюрк сделал Турцию “оторванной страной” — обществом, которое было мусульманским по своей религии, наследию, обычаям и институтам, но которым правила элита, намеренная сделать его современным, западным и объединить его с Западом. В конце двадцатого века несколько стран следуют кемалистскому выбору и стараются заменить западную идентичность не-западной. Эти усилия анализируются в главе 6.

Реформизм

Отторжение связано с безнадежной задачей изолировать общество от охватывающего его современного мира. Кемализм связан с трудной и болезненной задачей уничтожения культуры, которая просуществовала на протяжении веков, и установления на ее месте совершенно новой культуры, импортированной из другой цивилизации. Третий выбор — попытка скомбинировать модернизацию с сохранением центральных ценностей, практик и институтов родной культуры общества. Этот выбор, по понятным причинам, был самым популярным среди не-западных элит. В Китае в последние годы правления династии Цинь девизом стал *Ti — Yong* — “китайская мудрость для фундаментальных принципов, западная мудрость для практического использования”. В Японии таким девизом стал *Wakon Yosei* — “японский дух” и западная техника”. В Египте в 1830-х Мухаммед Али предпринял попытку “технической [с .105] модернизации без чрезмерной культурной вестернизации”. Однако

эти попытки провалились, когда британцы вынудили его отказаться от большей части его реформ по модернизации. В результате, как пишет Али Мазруи, “Египту не суждено было разделить судьбу Японии — технической модернизации без культурной вестернизации, и не удалось повторить опыт Ататюрка — технической модернизации через культурную вестернизацию” **39** . Однако в конце девятнадцатого столетия Джамаль аль-Дин аль-Афгани, Мухаммед Абду и другие реформаторы снова попытались примирить ислам и современность, провозглашая “совместимость ислама с современной наукой и лучшими западными мыслями”, а также давая “исламское логическое обоснование для принятия современных идей и институтов, будь то научных, технологических или политических (конституционность и парламентское правление)” **40** . Это был широкомасштабный реформизм, близкий к кемализму, который принимал не только современность, но и некоторые западные институты. Реформизм такого типа был преобладающей реакцией на влияние Запада со стороны мусульманских элит на протяжении сорока лет — с 1870-х до 1920-х, когда ему бросили вызов сначала кемализм, а затем более чистый реформизм в виде фундаментализма.

Отторжение, кемализм и реформизм основаны на различных предпосылках того, что возможно и что желательно. При отторжении и модернизация и вестернизация нежелательны, поэтому возможно отторгнуть их. Для кемализма и модернизация и вестернизация желательны, последняя — по той причине, что без нее нельзя достичь первой, следовательно, и то, и другое возможно принять. Для реформизма модернизация желательна и возможна без значительной вестернизации, которая нежелательна. Таким образом, существует конфликт между отторжением и кемализмом по вопросу желательности модернизации и вестернизации и между кемализмом и реформизмом по поводу того, может ли модернизация проходить без вестернизации. [с.106]

Рисунок 3.1. (с. 107)

Альтернативные ответы на влияние Запада

На рис. 3.1 показана диаграмма, которая рисует все эти три курса. Отторжение останется в точке А; кемализм будет продвигаться по диагонали к точке В; реформатор будет двигаться горизонтально к точке С. Однако по какому пути на самом деле двигались эти общества? Конечно же, каждое не-западное общество следует своим собственным курсом, который может значительно отличаться от этих трех путей-прототипов. Мазруи даже утверждает, что Египет и Африка двигались к точке D сквозь “болезненный процесс культурной вестернизации без технической модернизации”. В тех пределах, в которых любая обобщенная модель модернизации и вестернизации существует в качестве ответной реакции не-западных обществ на влияние Запада, она будет находиться в рамках кривой А-Е. Изначально модернизация и вестернизация тесно связаны, и не-запад-ные общества, впитывая значительные элементы западной культуры, достигают прогресса на пути к модернизации. [с .107] Однако с увеличением темпов модернизации удельный вес вестернизации снижается и происходит возрождение местных культур. Дальнейшая модернизация, таким образом, изменяет цивилизационный баланс власти между Западом и не-западным обществом и усиливает приверженность местной культуре.

Таким образом, во время ранних этапов изменений, вестернизация поддерживает модернизацию. На более поздних этапах модернизация стимулирует возрождение местной культуры. Это происходит на двух уровнях. На социальном уровне модернизация усиливает экономическую, военную и политическую мощь общества в целом и заставляет людей этого общества поверить в свою культуру и утвердиться в культурном плане. На индивидуальном уровне модернизация порождает ощущение отчужденности и распада, потому что разрываются традиционные связи и социальные отношения, что ведет к кризису идентичности, а решение этих проблем дает религия. Этот процесс упрощенно показан на рисунке 3.2.

Эта гипотетическая общая модель соответствует как социологической теории, так и историческому опыту. Подробно изучив имеющиеся факты в области “гипотезы инвариантности”, Райнер Баум пришел к выводу, что “вечные человеческие размышления над мерой признания авторитетов и осознание личной независимости происходят исключительно по культурным сценариям. В этих вопросах нет тенденции к межкультурной гомогенизации мира. Напротив, создается впечатление, что есть некая инвариантность в этих моделях, которые развились в четкие формы во время исторического и раннего современного этапа развития” **41** . Теория заимствования, разработанная такими учеными, как Фробениус, Шпенглер и Боземен, помимо прочего, делает акцент на том, насколько избирательно цивилизация-реципиент совершает заимствования из других цивилизаций и адаптирует, трансформирует и ассимилирует их, чтобы усилить и обеспечить выживание базовых [с .108] ценностей, или “*paideuma*”, своей культуры **42** . Почти все не-западные цивилизации мира существовали не менее одного тысячелетия, а в некоторых случаях — и несколько тысяч лет. Они показали примеры заимствований из других цивилизаций для укрепления своей собственной. Исследователи сходятся во мнении, что заимствование Китаем буддизма из Индии не привело в “индианизации” Китая. Китайцы адаптировали буддизм под китайские цели и задачи. Китайская культура осталась китайской. Китайцам сейчас приходится сталкиваться с пока безуспешными, но все более настойчивыми попытками Запада обратить их в христианство. Если в какой-то момент они все-таки импортируют христианство, то следует ожидать, что оно будет адаптировано и переделано так, чтобы сочетаться с центральными элементами китайской культуры. Точно так же арабы-мусульмане получили, оценили и использовали свое “эллинстическое наследие для чисто утилитарных целей. Будучи в основном заинтересованными в заимствовании определенных внешних форм или технических аспектов, они знали, как пренебречь всеми элементами в греческих мыслях, которые вступали в конфликт с установленными Кораном фундаментальными нормами и принципами” **43** . Япония выбрала ту же модель. В седьмом веке Япония импортировала китайскую культуру и провела “преобразования по своей собственной инициативе, без экономического или военного давления” на благо своей цивилизации. “В течение следующих столетий периоды относительной изоляции от континентального влияния, в течение которых предыдущие заимствования сортировались, а наиболее полезные из них принимались, сменялись периодами [с .109] новых контактов и культурных заимствований **44** . Во всех этих фазах японская культура сохраняла свой самобытный характер.

Принятое в умеренной форме кемализма утверждение о том, что не-западные страны *могут быть* модернизированы посредством вестернизации, остается недоказанным. Крайне резкое заявление кемалистов о том, что не-западные общества *должны* быть вестернизированы для модернизации, не является общепринятым. Однако оно поднимает следующий вопрос: существуют ли не-западные общества, где препятствия, которые представляет для модернизации местная культура, серьезны настолько, что эту культуру необходимо решительно заменить западной культурой, если вы хотите провести в этой стране модернизацию? Согласно теории, это будет реально скорее для завершенных, консумматорных систем, чем для вспомогательных, инструментальных культур. Инструментальные культуры “характеризуются преобладанием промежуточных связей, отделенных и независимых от жестких привязок”. Эти системы “легко претворяют в жизнь перемены, укрываясь одеялом традиций перед тем как измениться... Такие системы могут обновляться, не меняя при этом фундаментально социальных институтов. Изменения скорее служат поддержке порядков, существующих с незапамятных времен”. Консумматорные системы, напротив, “характеризуются тесными отношениями между структурообразующими

сущностями — общество, государство, и власть и тому подобные институты являются составляющими досконально проработанной, крайне сплоченной системы, в которой роль религии как проводника к познанию является непререкаемой. Такие системы враждебны к изменениям” 45 . Эптер использует эти категории для анализа перемен в африканских племенах. Айзенштадт провел подобный анализ великих азиатских цивилизаций и пришел к схожему выводу. Внутренняя трансформация “значительно облегчается автономией социальных, культурных и политических [с .110] институтов” 46 . По этой причине более инструментальные японское и индуистские общества раньше и с меньшими усилиями провели модернизацию, чем конфуцианские и исламские. Они оказались лучше готовы к тому, чтобы импортировать современные технологии и использовать их для существующих культур. Означает ли это, что китайские и исламские общества должны либо воздержаться от модернизации и вестернизации, либо принять их? Выбор не кажется ограниченным. Помимо Японии, еще и Сингапур, Тайвань, Саудовская Аравия и, в меньшей мере, Иран стали современными государствами, не став западными. И в самом деле, попытки шаха избрать кемалистский курс и сделать и то, и другое породили яростные антизападные настроения, но не вызвали протеста против модернизации. Китай также вступил на путь реформ.

Исламские общества сталкиваются при модернизации с трудностями, и Пайпс поддерживает свое заявление о том, что вестернизация является предпосылкой, указывая на конфликты между исламом и современностью в экономических вопросах, таких как права на собственность, соблюдение постов, наследственное право, а также женский труд. Но даже Пайпс одобрительно цитирует слова Максима Родинсона о том, что “нет ничего доказывающего с абсолютной точностью, что мусульманская религия не дает мусульманскому миру развиваться по пути современного капитализма”, и утверждает, что по большинству вопросов, кроме экономических, “ислам и модернизация не сталкиваются”. Правоверные мусульмане могут развивать науку, эффективно работать на фабриках или использовать сложные виды вооружений. Модернизация не требует какой-либо одной политической идеологии или ряда институтов: выборы, национальные границы, гражданские организации и другие атрибуты западной жизни не являются необходимыми для экономического роста. Ислам как вероучение одинаково хорошо подходит и консультантам по менеджменту, и крестьянам. Шариат ничего не говорит [с .111] об изменениях, сопровождающих модернизацию, таких как переход от сельскохозяйственного уклада к индустриальному, от села к городу, от социальной стабильности к социальному изменению; не вмешивается он и в такие области, как всеобщее образование, резкое развитие коммуникаций, новые формы транспорта или здравоохранение” 47 .

Точно так же, даже ярые поборники антивестернизма и возрождения местных культур не колеблясь используют современную технику — электронную почту, кассеты и телевидение, — чтобы распространять свои идеи.

Короче говоря, модернизация не обязательно означает вестернизацию. Не-западные общества могут модернизироваться и уже сделали это, не отказываясь от своих родных культур и не перенимая оптом все западные ценности, институты и практический опыт. При этом какие бы преграды на пути модернизации ни ставили не-западные общества, они бледнеют на фоне тех преград, которые воздвигаются перед вестернизацией. Как выразился Бродель, было бы “по-детски наивно” думать, что модернизация или “триумф цивилизации может привести к окончанию множественности исторических культур, воплотившихся за столетия в величайшие мировые цивилизации 48 . Модернизация, напротив, усиливает эти культуры и сокращает относительное влияние Запада. На фундаментальном уровне мир становится более современным и менее западным. [с.112]

Примечания

Хейворд Олкер справедливо обратил внимание, что в своей статье в *Foreign Affairs* я “преднамеренно отверг” идею о мировой цивилизации, определив цивилизацию как

“наивысшую культурную общность людей и самый широкий уровень культурной идентификации, помимо того, что отличает человека от других биологических видов”. Конечно же, именно так этот термин использовался большинством исследователей цивилизации. В этой главе, однако, я применил не столь строгую формулировку, чтобы допустить возможность существования в мире людей, которые идентифицируют себя с отдельной глобальной культурой, дополняющей или замещающей цивилизации в западном, исламском или синском смысле.

Великая хартия вольностей (1215 г.). — *Прим. перев.*

Не под человеком, но под Господом и законом. — *Прим. перев.*

ЧАСТЬ 2. СМЕЩАЮЩИЙСЯ БАЛАНС ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Глава 4. Упадок Запада: могущество, культура и индигенизация

Мощь запада: господство и закат

Существуют две картины, которые описывают соотношение власти Запада и других цивилизаций. Первая — это подавляющее, триумфальное, практически абсолютное могущество Запада. С распадом Советского Союза исчез единственный серьезный конкурент Запада, и в результате этого облик мира определяется целями, приоритетами и интересами главных европейских наций, пожалуй, при эпизодическом участии Японии. Соединенные Штаты как единственная оставшаяся сверхдержава вместе с Британией и Францией принимают важнейшие решения по вопросам политики и безопасности; Соединенные Штаты совместно с Германией и Японией принимают важнейшие решения по экономическим вопросам. Запад — единственная цивилизация, которая имеет значительные интересы во всех других цивилизациях или регионах, а также имеет возможность влиять на политику, экономику и безопасность всех остальных цивилизаций или регионов. Обществам из других цивилизаций обычно требуется помощь Запада для достижения своих целей или защиты своих интересов. Как резюмирует один автор, западные нации: [с .115]

владеют и управляют международной банковской системой;

контролируют все твердые валюты;

являются основными мировыми потребителями;

поставляют большую часть готовых изделий;

доминируют на международных рынках ценных бумаг;

играют роль морального лидера для многих обществ;

способны на крупную военную интервенцию;

контролируют морские линии;

занимаются наиболее современными техническими исследованиями и разработками;

контролируют передовое техническое образование;

доминируют в аэрокосмической индустрии;

доминируют в области международных коммуникаций;

доминируют в производстве высокотехнологичных вооружений .

Вторая картина Запада совершенно иная. Она рисует цивилизацию в упадке, чья доля мирового политического, экономического и военного могущества снижается по сравнению с другими цивилизациями. Победа Запада в “холодной войне” привела не к триумфу, а к истощению. Запад все больше поглощают его внутренние проблемы и нужды, и он сталкивается с замедлением экономического роста, спадом роста населения, безработицей, огромными бюджетными дефицитами, снижением рабочей этики, низкими процентами

сбережений, и, во многих странах, включая США — социальной дезинтеграцией, наркоманией и преступностью. Экономическое могущество стремительно перемещается в Восточную Азию, а за ними начинают следовать военная мощь и политическая власть. Индия находится на пороге экономического взлета, а исламский мир все враждебнее относится к Западу. Готовность других обществ принимать диктат Запада или повиноваться его поучениям быстро испаряется, как и самоуверенность Запада и его воля к господству. В конце восьмидесятых годов было [с .116] много споров о справедливости тезиса об упадке применительно к Соединенным Штатам. К середине 90-х в результате довольно взвешенного анализа был сделан соответствующий вывод:

...во многих важных аспектах их [Соединенных Штатов], могущество будет убывать все быстрее. С учетом базового экономического потенциала положение Соединенных Штатов по сравнению с Японией, а вскоре и с Китаем, будет продолжать ухудшаться. В военном плане баланс реальных потенциалов между Соединенными Штатами и рядом растущих региональных держав (включая, возможно, Иран, Индию и Китай) будет смещаться от центра к периферии. Некоторая часть структурного могущества Америки переместится к другим народам; другая (и часть ее “мягкой власти”) окажется в руках негосударственных игроков вроде многонациональных корпораций .

Какая из этих двух противоположных картин, рисующих место Запада в мире, описывают реальность? Ответ, конечно же, следующий: они обе. Сейчас господство Запада неоспоримо, и он останется номером один в плане могущества и влияния также и в двадцать первом веке. Однако постепенные, неотвратимые и фундаментальные перемены также имеют место в балансе власти между цивилизациями, и могущество Запада по сравнению с мощью других цивилизаций будет и дальше снижаться. Когда превосходство Запада исчезнет, большая часть его могущества просто-напросто испарится, а остаток будет рассеян по региональному признаку между несколькими основными цивилизациями и их стержневыми государствами. Наиболее значительное усиление могущества придется на долю азиатских цивилизаций (и так будет продолжаться и далее), и Китай постепенно прорисовывается как общество, которое скорее всего бросит вызов Западу в борьбе за глобальное господство. Эти сдвиги в соотношении власти [с .117] между цивилизациями ведут и будут вести к возрождению и росту культурной уверенности в себе не-западных обществ, а также к возрастающему отторжению западной культуры.

Упадок Запада характеризуется тремя основными аспектами.

Во— первых, это медленный процесс. Для подъема западного могущества понадобилось четыреста лет. Спад может занять столько же. В 1980-м выдающийся британский исследователь Хедли Булл утверждал, что “европейское или западное господство в универсальной международной системе, можно сказать, достигло своего апогея около 1900 года” . Первая книга Шпенглера появилась в 1918 году, и “закат Запада” был центральной темой в течение всей истории двадцатого века. Сам этот процесс растянулся на все столетие. Тем не менее он может ускориться. Экономический рост и увеличение других возможностей страны часто происходит по S-образной кривой: медленный старт, затем резкое ускорение, за которым следуют снижение темпов экспансии и выравнивание. Упадок некоторых стран тоже может идти по кривой, напоминающей перевернутую букву S, как это произошло в случае с Советским Союзом: сначала процесс умеренный, но он быстро ускоряется перед самым дном. Упадок Запада все еще находится на первой, медленной фазе, но в какой-то момент он может резко прибавить скорости.

Во— вторых, упадок не идет по прямой. Он крайне неравномерен, с паузами, откатами назад и повторными утверждениями западного могущества, за которыми следуют проявления слабости Запада. Открытые демократические общества Запада скрывают в себе огромные возможности для восстановления. Кроме того, в отличие от многих цивилизаций Запад имеет два центра власти. Начавшийся в 1900 году закат, который видел Булл, был по существу закатом европейской составляющей западной цивилизации. С 1910 по 1945 год Европа была разделена на противостоящие [с .118] стороны, поглощена внутренними

экономическими, социальными и политическими проблемами. Однако в 1940 году началась американская фаза западного господства, и в 1945 году Соединенные Штаты в течение короткого времени доминировали в мире в степени, почти сравнимой с объединенными силами союзников в 1918 году. Послевоенная деколонизация еще больше сократила влияние Европы, но не Соединенных Штатов, в результате чего на смену традиционной территориальной империи пришел новый транснациональный империализм. Во время “холодной войны”, однако, советская военная мощь равнялась американской, а американское экономическое могущество уступило некоторые свои позиции японской. И все же на Западе предпринимались периодические попытки военного и экономического обновления. И в самом деле, в 1991 году еще один выдающийся британский ученый, Барри Бьюзен, заметил, что “истинные реалии таковы, что сейчас господство центра и подчинение периферии сильнее, чем в любой другой период с момента начала деколонизации”. Правильность этого суждения, однако, меркнет, как меркнет в истории породившая его военная победа.

В— третьих, власть -это способность одного человека и группы изменить поведение другого человека или группы. Поведение можно изменить стимулом, принуждением или убеждением, что требует от обладателя власти экономических, военных, институциональных, демографических, политических, технологических, социальных и иных ресурсов. Таким образом, власть страны или группы обычно оценивается при помощи сравнения имеющихся у нее в наличии ресурсов с теми ресурсами, которыми обладают другие государства или группы, на которые она пытается оказать влияние. Объем всех необходимых для поддержания могущества ресурсов, которыми обладал Запад, достиг своего пика в самом начале двадцатого века, а затем его доля начала снижаться по отношению к доле других цивилизаций. [с .119]

Территория и население

В 1490 году западные общества контролировали большую часть европейского полуострова, кроме Балкан, или что-то около 1,5 миллиона квадратных миль из общей поверхности суши (за исключением Антарктики) — 52,2 миллиона квадратных миль. Когда территориальная экспансия Запада достигла своего апогея в 1920 году, он напрямую управлял территорией около 25,5 миллиона квадратных миль — почти половиной земной суши. К 1993 году подконтрольные территории сократились наполовину, до 12,7 миллиона квадратных миль. Запад вернулся к своему изначальному европейскому “ядру”, плюс он имеет обширные, освоенные поселенцами земли в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Территория независимых мусульманских государств, напротив, увеличилась с 1,8 миллиона квадратных миль в 1920 году до 11 с лишним миллионов квадратных миль в 1993-м. Схожие изменения произошли и в плане контроля людских ресурсов. В 1900 году жители Запада составляли около 30% от общего населения мира, а западные правительства управляли почти 45 процентами населения (в 1920 году эта цифра увеличилась до 48%). В 1993 году западные правительства правили, за исключением мелких остатков империи типа Гонконга, только жителями Запада. Население Запада составляло чуть больше 13% человечества, и к началу следующего столетия его доля должна упасть до 11%, а затем до 10% к 2025 году . По общему числу населения Запад занимал в 1993 году четвертое место после синской, исламской и индусской цивилизаций.

Таким образом, в количественном плане жители Запада составляют стабильно сокращающееся меньшинство мирового населения. В качественном отношении баланс между Западом и остальными цивилизациями также меняется. Не-западные народы становятся более здоровыми, более урбанизированными, более грамотными и лучше образованными. [с .120] К началу 1990-х показатели детской смертности в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Южной Азии, в Восточной Азии и Юго-Восточной Азии уменьшились в два-три раза по сравнению с теми, что были тридцатью годами ранее. Продолжительность жизни в этих регионах также значительно возросла — увеличение

колеблется от одиннадцати лет в Африке до двадцати трех в Восточной Азии. В начале 1960-х в большинстве стран третьего мира грамотным было менее одной трети взрослого населения. В начале 1990-х лишь в нескольких странах (не считая Африку) было грамотным менее половины населения. Около 50% индийцев и 75% китайцев могли читать и писать. Уровень грамотности в развивающихся странах в 1970 году составлял 41% от показателя развитых странах; в 1992 году он увеличился до 71%. К началу 1990-х во всех регионах, [с .121] за исключением Африки, практически вся возрастная группа была охвачена начальным образованием. И самый значительный факт: в начале 1960-х годов в Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке менее одной трети соответствующей возрастной группы было охвачено средним образованием; к началу 1990-х оно распространялось уже на половину этой возрастной группы (за исключением Африки). В 1960 году городские жители составляли менее [с .122] одной четверти населения развивающихся стран. Однако за период с 1960 по 1992 год процентная доля горожан выросла с 49% до 73% в Латинской Америке, с 34% до 55% в арабских странах, с 14% до 73% в Африке, с 18% до 27% в Китае и с 19% до 26% в Индии .

В результате роста грамотности, образования и урбанизации возникли социально мобилизованные слои населения с возросшими возможностями и более высокими ожиданиями, которые можно активизировать для политических целей, используя способы, для неграмотных крестьян не подходившие. Социально мобилизованные общества — это более сильные общества. В 1953 году, когда менее 15 процентов иранцев были грамотными и менее 17% жили в городах, Кермит Рузвельт и несколько агентов ЦРУ довольно легко подавили восстание и вернули шаху его трон. В 1979 году, когда 50% иранцев были грамотными и 47% жили в городах, никакое применение американской военной мощи уже не могло удержать трон под Шахом. Значительный разрыв по-прежнему отделяет китайцев, индийцев, арабов и африканцев от жителей Запада, японцев и русских. И все же этот разрыв быстро сокращается. В то же самое время возникает другой разрыв. Средний возраст жителей Запада, японцев и русских постоянно растет, и все большая доля неработающего населения тяжелой ношей ложится на плечи тех, кто еще продуктивно трудится. Другие цивилизации отягощены большим количеством детей, но дети — это будущие рабочие и солдаты.

Экономический продукт

Доля Запада в мировом экономическом продукте также, по-видимому, достигала своего пика к 1920 году, и после Второй Мировой войны явно снижалась. В 1750 году на долю Китая в выпуске продукции обрабатывающей промышленности приходилось одна треть, Индии — одна четвертая, [с .123] Запада — менее одной пятой. К 1830 году Запад немного обогнал Китай. За последующие десятилетия, как заметил Пауль Байрох, индустриализация Запада привела к деиндустриализации остального мира. К 1913 году выпуск продукции обрабатывающей промышленности не-западных стран равнялся примерно двум третям от того, каким он был в 1800-м. Начиная с середины девятнадцатого века, доля Запада стала стремительно расти, достигнув своего пика в 1928 году — 84,2% от мирового выпуска. После этого доля Запада снижалась, а темпы роста его производства оставались скромными, в то время как менее индустриализованные страны резко увеличили выпуск продукции после Второй Мировой войны. К 1980 году доля Запада в выпуске продукции обрабатывающей промышленности равнялась 57,8% от всемирного, примерно равняясь тому значению,

которое было 120 лет назад, в 1860-е .

Достоверные данные по валовому экономическому продукту в период, предшествующий Второй Мировой войне, отсутствуют. Однако в 1950 году доля Запада в мировом валовом продукте составляла 64 процента; к 1980-м это соотношение [с .124] упало до 49% (см. табл. 4.5). К 2013 году, согласно одному из прогнозов, доля Запада в валовом мировом продукте будет равняться 30%. Согласно другой оценке, четыре из семи крупнейших экономик мира принадлежали не-западным странам: Японии (второе место), Китаю (третье), России (шестое) и Индии (седьмое). В 1992 году экономика Соединенных Штатов была самой мощной в мире, а в десятке крупнейших экономик было пять западных стран плюс ведущие страны из других цивилизаций: Китай, Япония, Индия, Россия и Бразилия. Правдоподобные прогнозы говорят, что в 2020 году пять сильнейших экономик будет у пяти различных цивилизаций и ведущие десять экономик будут включать три западные страны. Этот относительный упадок Запада обуславливается, конечно, в большей части стремительным подъемом Восточной Азии .

Валовые цифры по экономическому объему производства отчасти затеяют качественное превосходство Запада. Запад и Япония почти полностью господствуют на рынке высоких технологий. Однако технологии начинают рассеиваться, и если Запад желает сохранить свое превосходство, [с .125] ему следует сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить это рассеивание. Но из-за того, что благодаря Западу мир стал теперь взаимосвязанным, замедлить это распространение технологий среди других цивилизаций с каждым днем все труднее. И еще труднее это стало в условиях отсутствия единой, неодолимой и всем известной угрозы, подобно той, что существовала во время “холодной войны”, и это также снизило эффективность контроля за распространением технологий.

Кажется весьма вероятным, что на протяжении большего периода истории у Китая была самая крупная экономика в мире. Распространение технологий и экономическое развитие не-западных обществ во второй половине двадцатого века приводят к возврату этой исторической схемы. Это будет медленный процесс, но к середине двадцать первого века, если не раньше, распределение экономического продукта и выпуска продукции обрабатывающей промышленности среди ведущих цивилизаций будет скорее всего напоминать ситуацию, имевшую место в 1800 году. Двухсотлетний “всплеск” Запада в мировой экономике подойдет к концу.

Военный потенциал

Военная мощь имеет четыре измерения: количественное — количество людей, оружия, техники и ресурсов; технологическое — эффективность и степень совершенства вооружения и техники; организационное — слаженность, дисциплина, обученность и моральный дух войск, а также эффективность командования и управления; и общественное — способность и желание общества эффективно применять военную силу. В 1920-е годы Запад был далеко впереди остальных по всем этим измерениям. В последующие годы военная мощь Запада снизилась по сравнению с потенциалом других цивилизаций. Это снижение выразилось в изменении баланса количества [с .126] военнослужащих — одна из составляющих, пусть и не самая важная, военной мощи. Модернизация и экономическое развитие порождают необходимые ресурсы и желание стран развивать свой военный потенциал, и лишь считанные страны не делают этого. В 1930-х годах Япония и Советский союз создали очень мощные вооруженные силы, что они продемонстрировали во время Второй Мировой войны. В настоящий момент Запад монополизировал способность разворачивать значительные обычные вооруженные силы в любой точке мира. Нет уверенности, что Запад сможет

поддерживать эту способность. Однако весьма вероятным кажется прогноз, что ни одно не-западное государство или группа государств не смогут создать сравнимый потенциал в ближайшие десятилетия.

В общем и целом, в годы после “холодной войны” в глобальной эволюции военных потенциалов преобладали пять основных тенденций.

Во— первых, вооруженные силы Советского Союза перестали существовать вскоре после распада Советского Союза. Кроме России, только Украина унаследовала значительный военный потенциал. Российские войска были [с .127] значительно сокращены и выведены из Центральной Европы и Прибалтики. Варшавского договора больше нет. Была забыта цель бросить вызов американскому ВМФ. Военная техника была либо ликвидирована, либо заброшена, и в результате вышла из строя. Бюджетные средства, выделяемые на оборону, были радикально сокращены. Деморализация проникла в ряды офицеров и рядовых. В то же самое время российские военные определяли для себя новые миссии и доктрины и перестраивали себя для новых целей по защите русских и участию в региональных конфликтах в ближнем зарубежье.

Во— вторых, стремительное сокращение российского военного потенциала стимулировало более плавное, но значительное снижение западных военных расходов, сил и потенциала. По планам администраций Буша и Клинтона, американские расходы на оборону должны снизиться на 35% -с \$542.3 млрд. (в долларах 1994 года) в 1990 году до \$222.3 млрд. в 1998-м. Силовые структуры к этому году будут составлять две трети от того, что было в конце “холодной войны”. Многие крупные программы поставки вооружения отменены или отменяются. Между 1985 и 1995 годом ежегодные закупки крупного вооружения сократились с 29 до 6 кораблей, с 943 до 127 самолетов, с 720 до 0 танков, с 48 до 18 стратегических ракет. Начиная с 1980-х годов Британия, Германия и в меньшей степени Франция пошли на аналогичные сокращения оборонных расходов и военных потенциалов. В середине девяностых было принято решение о сокращении вооруженных сил Германии с 370 000 до 340 000 (вероятно— до 320 тыс.); французская армия планирует сократить свои силы с 290 000 в 1990 году до 225 000 в 1997-м. Количество британских военнослужащих снизилось с 377 100 в 1985 году до 274 800 в 1993-м. Континентальные члены НАТО также сократили сроки военной службы по призыву и рассматривают возможность отказа от обязательной военной службы. [с .128]

В— третьих, тенденции, имевшие место в Восточной Азии, значительно отличались от того, что происходило в России и на Западе. На повестке дня здесь стояли повышение оборонных расходов и наращивание сил; тон здесь задавал Китай. Подстегнутые ростом своего экономического благосостояния и ростом мощи Китая, другие восточно-азиатские страны модернизируют и увеличивают свои военные силы. Япония продолжает совершенствовать свои и без того современные вооруженные силы. Тайвань, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур и Индонезия тратят все больше на свои вооруженные силы и закупают самолеты, танки и корабли в России, Соединенных Штатах, Британии, Франции, Германии и других странах. В то время как оборонные расходы НАТО сократились между 1985 и 1993 годами примерно на 10% (с \$539.6 миллиардов до \$485.0 миллиардов, в неизменных долларах 1993 года), расходы в Восточной Азии за тот же период возросли на 50% с \$89.8 млрд. до \$ 134.8 млрд.

В— четвертых, военный потенциал, с учетом оружия массового поражения, возрастает во всем мире. По мере того как страны развиваются в экономическом плане, они наращивают мощности по производству вооружений. Между 1960 и 1980 годами, например, количество стран-членов третьего мира, производящих истребители, увеличилось с одной до восьми, танки -с одной до шести, вертолеты — с одной до шести и тактические ракеты — с нуля до семи. В 1990-е годы имела место заметная тенденция к глобализации оборонной промышленности, которая, скорее всего, и далее снизит военное преимущество Запада .

Многие не-западные общества либо имеют ядерное оружие (Россия, Китай, Израиль, Индия, Пакистан и, вероятно, Северная Корея), либо предпринимают активные усилия по его созданию (Иран, Ирак, Ливия и, возможно, Алжир), или же ставят себя в такое положение, что могут быстро получить его в случае необходимости (Япония). [с .129]

Наконец все эти процессы делают регионализацию центральной тенденцией в военной стратегии и мощи в мире после “холодной войны”. Регионализация является основной причиной сокращений вооружений в России и на Западе, а также увеличения вооруженных сил в других государствах. Россия больше не обладает глобальной военной мощью, но фокусирует свою стратегию и силы на ближнем зарубежье. Китай переориентировал свою стратегию и силы так, что теперь акцент делается на локальном применении силы и защите интересов Китая в Восточной Азии. Европейские страны также перенаправляют свои силы при помощи как НАТО, так и Евросоюза, чтобы ответить на нестабильность на границах Западной Европы. Соединенные Штаты явно изменили свое военное планирование и вместо сдерживания Советского Союза и войны с ним на глобальном уровне готовятся к действиям в Персидском заливе и Северо-Восточной Азии, включающим использование местных контингентов. Однако США вряд ли обладают военным потенциалом для достижения этих целей. Чтобы добиться победы над Ираком, Соединенным Штатам пришлось послать в Персидский залив 75% действующих тактических самолетов, 42% современных боевых танков, 46% авианосцев, 37% военнослужащих из армии и 46% морской пехоты. При значительном сокращении вооруженных сил в будущем Соединенные Штаты с трудом смогут провести одну, от силы две интервенции против региональных держав за пределами Западного полушария. Военная безопасность по всему миру все больше зависит не столько от глобального распределения сил и шагов сверхдержав, сколько от распределения сил в каждом регионе и действий стержневых государств цивилизаций.

В общем и целом, Запад будет оставаться самой могущественной цивилизацией и в первые десятилетия двадцать первого века. И далее он будет занимать ведущие позиции в науке, исследованиях и разработках, а также по [с .130] нововведениям в гражданской и военной области. Тем не менее контроль над другими важными ресурсами все больше рассеивается среди стержневых государств и ведущих стран не-западных цивилизаций. Пик западного контроля над ресурсами пришелся на 1920-е годы и с тех пор нерегулярно, но значительно снижается. В 2020-х годах, через сто лет после пика, Запад скорее всего будет контролировать около 24% мировой территории (вместо 49% во время пика), 10% населения мира (вместо 48%) и, пожалуй, около 15-20% социально мобилизованного населения, порядка 30% мирового экономического продукта (во время пика— около 70%), возможно, 25% выпуска продукции обрабатывающей промышленности (на пике— 84%) и менее 10% от всеобщего количества военнослужащих (было 45%).

В 1919 году Вудро Вильсон, Ллойд Джордж и Жорж Клемансо фактически правили миром. Сидя в Париже, они определяли, какие страны останутся существовать, а какие — нет, какие новые страны будут созданы, какие у них будут границы и кто будет править ими, а также как Ближний Восток и другие части мира будут разделены между державами-победительницами. Они также принимали решения о военной интервенции в Россию и об отзыве экономической концессии из Китая. Сто лет спустя ни одна маленькая группа политиков не сможет обладать сопоставимой властью; и если какая-либо группа и может сравниться с ними, то она будет состоять уже не их трех представителей Запада, а из лидеров стержневых стран семи или восьми основных цивилизаций мира. Наследники Рейгана, Тэтчер, Миттерана и Коля встретят соперников в лице преемников Дэн Сяопина, Накаоне, Индиры Ганди, Ельцина, Хомейни и Сухарто. Эра западного господства подойдет к концу. Между тем закат Запада и подъем других центров могущества способствует глобальным процессам индигенизации и возрождения не-западных культур. [с .131]

Индигенизация: возрождение не-западных культур

Распределение культур в мире отражает распределение власти. Торговля может следовать за флагом, а может и не следовать, однако культура всегда следует за властью. В течение всей истории экспансия власти какой-либо цивилизации обычно происходила одновременно с расцветом ее культуры, и почти всегда эта цивилизация использовала свою власть для утверждения своих ценностей, обычаев и институтов в других обществах. Универсальной цивилизации требуется универсальная власть. Римская власть создала почти универсальную цивилизацию в ограниченных пределах античного мира. Западная власть в форме европейского колониализма в девятнадцатом веке и американская гегемония в двадцатом расширили западную культуру на большую часть современного мира. Европейский колониализм позади; американская гегемония сходит на нет. Далее следует свертывание западной культуры, по мере того как местные, исторически сложившиеся нравы, языки, верования и институты вновь заявляют о себе. Усиление могущества не-западных обществ, вызванное модернизацией, приводит к возрождению не-западных культур во всем мире * . [с .132]

Как заметил Джозеф Най, существует различие между “жесткой властью”, то есть властью, основанной на экономической и военной силе, и “мягкой властью” — способностью страны делать так, чтобы “другие государства хотели того, что хочет она”, за счет привлекательности ее культуры и идеологии. Как признает Най, в мире имеет место широкое рассеяние жесткой власти, и основные нации “намного меньше способны использовать традиционный ресурс власти для достижения своих целей, чем в прошлом”. Далее Най развивает мысль и говорит, что если у какого-либо государства “культура и идеология привлекательны, то другие будут с большей готовностью следовать” за ней, посему мягкая власть “столь же важна, как и жесткая власть”. Но что же делает культуру и идеологию привлекательными? Они становятся привлекательными, когда в них видят корень материального успеха и влияния. Мягкая власть становится властью, только когда в ее основании лежит жесткая власть. Усиление жесткой экономической и военной власти приводит к росту самоуверенности, высокомерия и веры в превосходство своей культуры или могущество по отношению к другим народам, и привлекает к этой власти иные общества. Ослабление экономической и военной власти ведет к неуверенности в собственных силах, кризису идентичности и попыткам найти в других культурах ключи к экономическому, военному и политическому успеху. По мере того как не-западные общества наращивают свой экономический, военный и политический капитал, они все больше расхваливают достоинства своих ценностей, институтов и культуры.

Коммунистическая идеология привлекала людей по всему миру в 1950-е и 60-е годы, когда она ассоциировалась с экономическим успехом и военной мощью Советского Союза. Эта привлекательность испарилась одновременно со стагнацией советской экономики, которая уже не была способна поддерживать военный потенциал Советского Союза. Западные ценности и институты привлекали людей из других культур, потому что они рассматриваются как источник [с .133] западной мощи и благополучия. Этот процесс идет уже несколько столетий. Между 1000 и 1300 годами, пишет Уильям Макнил, христианство, римское право и другие составляющие западной культуры были приняты венграми, поляками и литовцами, и это “принятие западной цивилизации было обусловлено смесью страха и восхищения ратной доблестью западных правителей”. Одновременно с упадком западного могущества снижается также и способность Запада навязывать западные представления о правах человека, либерализме и демократии другим цивилизациям, а также уменьшается и привлекательность этих ценностей для других цивилизаций.

Она уже уменьшилась. На протяжении нескольких столетий не-западные народы завидовали экономическому процветанию, технологическому совершенству, военной мощи и политическому единству западных обществ. Они искали секрет этого успеха в западных ценностях и институтах, и когда они выявили то, что сочли ключом, они попытались применить его в своих обществах. Чтобы стать богатыми и могущественными, им надо было стать как Запад. Однако сейчас эти кемалистские взгляды в Восточной Азии исчезли.

Жители Восточной Азии приписывают свое стремительное экономическое развитие не импорту западной культуры, а скорее приверженности своей традиционной культуре. Они добиваются успехов, по их утверждению, потому, что они отличаются от Запада. Аналогичным образом, когда не-западные общества чувствовали себя слабыми в отношениях с Западом, они обращались к западным ценностям — праву на самоопределение, либерализму, демократии и независимости, чтобы узаконить свое сопротивление западному господству. Теперь, когда они из слабых превратились в исключительно мощные страны, они не упускают случая напасть на те же ценности, которые до этого использовали для преследования своих интересов. Этот бунт против Запада изначально использовался для утверждения универсализма западных ценностей; теперь он провозглашается ради утверждения не-западных ценностей. [с .134]

Возникновение подобных позиций является проявлением того, что Рональд Дор назвал термином “феномен инди-генизации второго поколения”. Как в бывших западных колониях, так и независимых странах вроде Китая и Японии “первое “модернизаторское”, или “постнезависимое”, поколение зачастую получало образование в зарубежных (западных) университетах на западном космополитичном языке. Частично из-за того, что они впервые попадали за рубеж, будучи впечатлительными подростками, принятие ими западных ценностей и стиля жизни могло быть весьма глубоким. Большинство из второго, намного большего поколения, напротив, получает образование дома, в университетах, основанных первым поколением, где для обучения все больше используется местный, а не колониальный язык. Эти университеты “дают куда менее тесный контакт с миром культуры метрополии”, и “знания обрели местный колорит посредством перевода — обычно объем их ограничен, а качество оставляет желать лучшего”. Выпускники этих университетов негодуют по поводу засилья предыдущего, обученного на Западе поколения и поэтому часто “поддаются призывам местных оппозиционных движений”. По мере того как западное влияние сходит на нет, молодые честолюбивые лидеры уже не могут надеяться на то, что Запад даст им власть и богатство. Они вынуждены искать средства достижения успеха в своем обществе, и поэтому им приходится приспосабливаться к ценностям и культуре этого общества.

Процесс индигенизации не обязательно ждет появления второго поколения. Талантливые, проницательные и легко приспосабливающиеся лидеры первого поколения сами индигенизируются. Наиболее примечательны три случая — Мухаммед Али Джинна, Гарри Ли и Соломон Бандаранаике. Они с отличием закончили Оксфорд, Кембридж и Линкольнз-Инн, соответственно, и были отличными адвокатами и полностью вестернизированными членами элит в своих обществах. Джинна был законченным атеистом. Ли, по словам одного из британских министров, являлся “лучшим [с .135] чертовым англичанином к востоку от Суэца”. Бандаранаике был воспитан как христианин. И все же для того, чтобы возглавить свои нации на пути к независимости и после ее обретения, им пришлось индигенизироваться. Они вернулись к культурам своих предков, и в процессе этого они временами меняли идентичность, имена, одежду и веру. Английский адвокат М.А. Джинна стал пакистанцем Квади-Азамом, Гарри Ли стал Ли Кван Ю. Атеист Джинна стал ярким поборником ислама как основы пакистанского государства. Анг-лофицированный Ли выучил китайский и стал ярким последователем конфуцианства. Христианин Бандаранаике перешел в буддизм и стал приверженцем сингальского национализма.

Индигенизация стояла на повестке дня во всем не-западном мире в восьмидесятые и девяностые годы двадцатого века. Возрождение ислама и “реисламизация” — вот центральные темы в мусульманских обществах. В Индии превалирует тенденция отказа от западных форм и ценностей и возвращения ценностей индуизма в политику и общественную жизнь. В Восточной Азии государства активно пропагандируют конфуцианство, а политические и интеллектуальные лидеры говорят об “азиации” своих стран. В середине 1980-х годов Японией овладела идея “нихонд-зинрон”, или “теории о Японии и японцах”. Позже известные японские интеллектуалы стали утверждать, что в своей истории Япония прошла сквозь “циклы заимствования внешних культур” и “индигенизации” этих культур

путем их повторения и очищения; неизбежной путаницы, являющейся результатом того, что заимствованный и творческий импульс выдыхался, затем следовало повторное открытие для внешнего мира. В настоящий момент Япония вступает во вторую фазу этого цикла” . По окончании “холодной войны” Россия снова превратилась в “разорванную страну”, где вновь проявилась классическая борьба западников со славянофилами. На протяжении десятилетия, однако, имел место переход от первых к последним, когда вестернизированный Горбачев уступил место Ельцину, русскому по [с .136] стилю, западному по высказанным убеждениям, которому, в свою очередь, угрожали националисты, призывающие к православной индигенизации России.

Индигенизации способствует демократический парадокс: принятие не-западными обществами западных демократических институтов поощряет и дает дорогу к власти национальным и антизападным политическим движениям. В 1960-е и 70-е годы вестернизированные и прозападные правительства в развивающихся странах находились под угрозой переворотов и революций; в 1980-е и 90-е они подвергаются все большей опасности проиграть выборы. Демократизация вступает в конфликт и вестернизацией, а демократия по своей сути является процессом, ведущим к защите местных интересов, а не к космополитизации. Политики в не-западных обществах не выигрывают на выборах, демонстрируя, насколько они западные. Предвыборная гонка, напротив, заставляет их апеллировать к тем вещам, которые они считают наиболее популярными, и эти темы обычно связаны с этническими, национальными и религиозными вопросами.

Результатом является объединение народа против элит, получивших образование на Западе и ориентированных на Запад. Группы исламских фундаменталистов добились впечатляющих результатов на нескольких выборах в мусульманских странах и пришли бы к власти в Алжире, если бы военные не отменили выборы в 1992 году. В Индии борьба за голоса избирателей привела к массовым митингам и массовому насилию . Демократия в Шри-Ланке породила Партию Свободы Шри-Ланки, которая разгромила на выборах 1956 года элитарную Объединенную Национальную Партию и обусловила возможность появления националистического движения Патики Чинтаная в 80-е годы. До 1949 года элиты как в Южной Африке, так и на Западе рассматривали ЮАР как западную страну. После того как в стране установился режим апартеида, западная элита постепенно стала рассматривать ЮАР вне западного лагеря, в то время как южноафриканцы продолжали считать [с .137] себя членами Запада. Однако для того, чтобы занять свое место в западном международном мире, им пришлось ввести западные демократические институты, вследствие чего у власти появилась высоко вестернизированная черная элита. Тем не менее, если сработает фактор индигенизации второго поколения, их последователи будут намного более хоса, зулусами и африканцами по мировоззрению и все больше будут воспринимать себя как африканское государство.

В различное время до девятнадцатого века византийцы, арабы, китайцы, турки, монголы и русские были глубоко уверены в своей силе и достижениях, сравнивая их с западными. В то же самое время они также с презрением относились к культурной неполноценности, отсталости институтов, коррупции и загниванию Запада. Когда успехи Запада перестали быть выдающимися, это отношение появляется вновь. Люди считают, что “с них хватит”. Иран — исключительный случай, но, как заметил один обозреватель, “западные ценности отвергаются по-другому, но не менее твердо, в Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Китае и Японии” . Мы становимся свидетелями “конца прогрессивной эры”, когда доминировала западная идеология, и вступаем в эру, в которой многочисленные и разнообразные цивилизации будут взаимодействовать, конкурировать, сосуществовать и приспособляться друг к другу . Этот глобальный процесс индигенизации широко проявляется в возрождении религии, которое имеет место во многих частях земного шара и наиболее заметно выражается в культурном возрождении азиатских и исламских государств, вызванном во многом их экономическим и демографическим динамизмом.

La revanche de Dieu

В первой половине двадцатого века представители интеллектуальной элиты, как правило, полагали, что экономическая и социальная модернизация ведет к ослаблению роли религии как существенной составляющей человеческого [с .138] бытия. Это предположение разделялось как теми, кто его с радостью принимал, так и теми, кто сокрушался по поводу этой тенденции. Атеисты-адепты модернизации приветствовали ту степень, в которой наука, рационализм и прагматизм вытесняли суеверия, мифы, иррационализм и ритуалы, которые формировали основу существующих религий. Возникающее государство должно стать толерантным, рациональным, прагматичным, прогрессивным, гуманным и светским. Обеспокоенные консерваторы, с другой стороны, предупреждали об ужасных последствиях исчезновения религиозных верований, религиозных институтов и того морального руководства религии, которое она предоставляет для индивидуального и коллективного человеческого поведения. Конечным результатом этого будет анархия, безнравственность, подрыв цивилизованной жизни. “Если вы не желаете почитать Бога (а Он — ревнивый Бог), — сказал Т.С. Элиот, — вам придется уважительно относиться к Гитлеру или Сталину” .

Вторая половина двадцатого столетия показала, что эти надежды и опасения беспочвенны. Экономическая и социальная модернизация приобрела глобальный размах, и в то же время произошло глобальное возрождение религии. Это возрождение, *la revanche de Dieu* , как назвал его Жиль Кепель, проникло на каждый континент, в каждую цивилизацию и практически в каждую страну. В середине 1970-х, как заметил Кепель, курс на секуляризацию и замирение религии с атеизмом “развернулся в обратную сторону. Появился на свет новый религиозный подход, ставящий своей целью уже не принятие светских ценностей, а возвращение священных основ для организации общества — изменив для этого общество, если необходимо. Выраженный множеством способов, этот подход пропагандирует отказ от претерпевшей неудачу модернизации, объясняя ее провал и тупиковое положение отходом от Бога. Это уже не преувеличение *aggiornamento* , а “второе крещение Европы”, другой целью соответственно является не модернизировать ислам, а “исламитизировать современность” . [с .139]

Это религиозное возрождение отчасти вызвано экспансией некоторых религий, которые получили новых приверженцев там, где их раньше не было. Однако куда в большей степени оно обусловлено людьми, которые возвращаются к традиционным религиям своих сообществ, вдыхают в них новые силы и придают им новые значения. Христианство, ислам, иудаизм, индуизм, буддизм и православие — все они испытывают огромный подъем приверженности и внимания со стороны некогда обычных верующих. Во всех этих религиях возникли фундаменталистские движения, призывающие к решительному очищению религиозных доктрин и институтов, к изменению индивидуального, социального и общественного поведения в соответствии с религиозными догматами. Фундаменталистские движения весьма заметны и могут иметь значительный политический вес. Однако они являются лишь волнами на поверхности более широкого и более фундаментального религиозного прилива, который формирует человеческую жизнь в конце двадцатого столетия. Обновление религии по всему миру выходит далеко за пределы действий фундаменталистов-экстремистов. То в одном, то в другом обществе оно проявляется в повседневной жизни и работе людей, а также делах и проектах правительств. Культурное возрождение в светской конфуцианской культуре принимает форму принятия азиатских ценностей, но в остальном мире оно проявляется как подтверждение религиозных ценностей. Эта “десекуляризация мира”, как заметил Джордж Вайгел, “является одним из главных социальных фактов в конце двадцатого века” .

Вездесущность и важность религии особенно четко проявились в бывших коммунистических странах. Заполняя вакуум, образовавшийся после коллапса идеологии, религиозное возрождение пронеслось по этим странам от Албании до Вьетнама. В России

произошло возрождение православия. В 1994 году 30% россиян в возрасте 25 лет сказали, что оно переключилось с атеизма на веру в Бога. Количество действующих церквей в Москве и Подмосковье выросло с 50 в 1988 году до 250 в 1993-м. Политические лидеры [с .140] стали все как один уважать религию, а правительство — поддерживать ее. В российских городах, как заметил один проницательный наблюдатель в 1993 году, “звон церковных колоколов вновь наполнил воздух. Недавно позолоченные купола сверкают на солнце. Церкви, еще недавно лежавшие в руинах, снова запели свою величественную песнь. Церкви стали самыми людными местами в городе” . Одновременно с возрождением православия в славянских республиках Исламское возрождение охватило Центральную Азию. В 1989 году в Центральной Азии насчитывалось 160 действующих мечетей и одно *медресе* (высшая духовная школа мусульман); к началу 1993 года там было около 10000 мечетей и десять *медресе* . Несмотря на то что это возрождение включало в себя некоторые фундаменталистские политические движения и поощрялось из-за границы — из Саудовской Аравии, Ирана и Пакистана, — в целом это было широко распространенное культурное движение умеренного толка .

Чем можно объяснить это всеобщее религиозное возрождение? Естественно, в разных странах и цивилизациях оно обусловлено различными факторами. И все же было бы неверно полагать, что большое количество разнообразных причин привело к одновременным и схожим последствиям в большинстве частей света. Глобальный феномен требует глобального объяснения. Сколько бы событий в отдельных странах ни возникало под влиянием уникальных факторов, все равно должны существовать некоторые общие случаи. Каковы же они?

Наиболее очевидной, наиболее яркой и наиболее мощной причиной глобального религиозного возрождения стало то же самое, что считалось причиной ее смерти: процессы социальной, экономической и культурной модернизации, которые происходили по всему миру во второй половине двадцатого века. Древние источники идентичности и системы авторитетов поколеблены. Люди переезжают из сельской местности в города, отрываются от своих корней, идут на новую работу или не работают. Они взаимодействуют с [с .141] огромным количеством незнакомцев и подвергаются новым моделям отношений. Им нужны новые источники идентичности, новые формы стабильного сообщества и новые моральные устои, которые дали бы им чувство смысла и цели. Религия, ее направления, фундаментальные течения отвечают этим требованиям. Как объяснял для случая Восточной Азии Ли Кван Ю:

“Мы — аграрные общества, которые прошли индустриализацию за последние одно-два поколения. То, что на Западе происходило 200 лет и более, здесь длится примерно 50 лет и менее. Все это перемешано и втиснуто в очень тесные рамки, поэтому неизбежно случаются неувязки и сбои. Если вы посмотрите на быстро растущие страны — Корею, Таиланд, Гонконг и Сингапур, — везде присутствует один примечательный феномен: подъем религии... Старые традиции и религии — культ предков, шаманизм — уже больше не могут полностью удовлетворить людей. Начинается поиск нового объяснения предназначения человека, того, почему мы здесь. Это связано с периодами огромного напряжения в обществе” .

Люди живут не только духовными интересами. Но они не могут рассчитывать и действовать рационально в погоне за своими корыстными интересами, пока не определят свое “я”. Поэтому предметом интереса политики являются вопросы идентификации. Во времена стремительных социальных перемен установившиеся идентичности разрушаются, должно быть переоценено “я” и созданы новые идентичности. Для людей, которые сталкиваются с необходимостью ответить на вопросы “Кто я?” и “Где мое место?”, религия предоставляет убедительные ответы, а религиозные группы становятся небольшими социальными общностями, пришедшими на замену тех, что были утрачены из-за урбанизации. Все религии, по выражению Хассана аль-Тураби, дают “людям чувство идентичности и направление в жизни”. Благодаря этому процессу люди вновь открывают [с

.142] исторические идентичности или создают новые. Какие бы универалистские цели ни преследовали религии, они дают людям идентичность, проводя основное различие между верующими и неверующими, между своей, высшей группой и другой, низшей группой .

В мусульманском мире, как утверждает Бернард Льюис, существует “повторяющаяся тенденция — в тяжелые времена, мусульмане находят свою базовую идентичность и преданность в религиозной общине, то есть в идентичности, определенной скорее исламом, чем этническими и территориальными критериями”. Жиль Кепель также делает акцент на то, что поиск идентичности занимает центральное место: “реисламизация «снизу» является наипервейшим и главнейшим способом воссоздания идентичности в мире, который утратил свое значение и стал аморфным и чуждым” . В Индии “идет постройка новой индуистской идентичности” в качестве ответа на давление и отчуждение, порожденные модернизацией . В России религиозное возрождение является результатом “страстного желания обрести идентичность, которую может дать лишь православная церковь, единственная неразорванная связь с российской 1000-летней историей”, в то время как в мусульманских республиках возрождение аналогично является результатом “самого мощного стремления в Центральной Азии: утвердить те идентичности, которые в течение десятилетий подавляла Москва” . Фундаменталистские движения, в частности, — это “способ справиться с хаосом и потерей идентичности, смысла и прочных социальных структур, вызванных стремительным насаждением современных социальных и политических моделей, атеизма, научной культуры и экономического прогресса”. Фундаменталистские “движения, с которыми стоит считаться”, соглашается Уильям Макнил, “это те, что быстро растут, набирая своих членов из общества, потому что они отвечают (или создают иллюзию, что они отвечают) недавно осознанному человеческим потребностям... Не случайно все эти движения возникают в странах, где демографическое давление на землю делает дальнейшее [с **.143]** существование старых сельских стилей жизни невозможным для большинства населения и где урбанизированные средства массовой информации, проникнув в деревни, начали разрушать вековые устои сельской жизни” .

В более широком смысле религиозное возрождение во всем мире — это реакция на атеизм, моральный релятивизм и потворство своим слабостям, а кроме того — утверждение ценностей порядка, дисциплины, труда, взаимопомощи и людской солидарности. Религиозные группы удовлетворяют социальные потребности, которые государственная бюрократия оставляет без внимания. Сюда входит предоставление медицинских и больничных услуг, сады и школы, забота о престарелых, быстрая помощь после природных и иных катастроф, социальное обеспечение и помощь во время экономических кризисов. Крушение устоев и развал гражданского общества создают вакуум, который заполняется религиозными, зачастую фундаменталистскими, группами .

Если традиционно доминирующие религии не удовлетворяют эмоциональные и социальные потребности беженцев, то эту задачу выполняют другие религиозные группы, численность которых в результате резко возрастает, как и значимость религии в общественной и политической жизни. Исторически Южная Корея была преимущественно буддистской страной, где число христиан в 1950 году составляло около 1-3 процентов населения. Когда в Южной Корее начался бурный экономический рост, сопровождающийся крупномасштабной урбанизацией и дифференциацией профессий, оказалось, что буддизма недостаточно. “Для тех миллионов, которые хлынули в города, и многих других, которые остались в изменившейся деревне, статичный буддизм Кореи аграрной эры потерял свою привлекательность. Христианство с его идеями о личном спасении и человеческой судьбе предложило более обнадеживающее и успокаивающее мировоззрение во времена перемен и смятения” . К 1980-м годам христиане, в основном пресвитериане и католики, составляли не менее 30 процентов населения Южной Кореи. [с **.144]**

Аналогичные сдвиги произошли в Латинской Америке. Количество протестантов там увеличилось с примерно 7 миллионов человек в 1960 году до 50 миллионов в 1990-м. В 1989 году причину этого успеха латиноамериканские католические священники увидели в

“медленном примирении с техническими аспектами городской жизни” католической церкви. В отличие от католической церкви, как заметил один бразильский проповедник, протестантские церкви отвечают “основным потребностям человека — в человеческом тепле, исцелении и глубоком духовном опыте”. Распространение протестантизма среди бедноты Латинской Америки — это, по сути, не замена одной религии другой, а скорее резкий рост религиозной приверженности и участия, по мере того как номинальные и пассивные католики стали активными и ярыми *евангелистами*. Так, в Бразилии в начале девяностых 20% населения считали себя протестантами, 73% — католиками, но по воскресеньям в протестантских церквях было 20 миллионов человек, а в католических — около 12 миллионов. Как и другие мировые религии, христианство проходит сквозь стадию возрождения, связанного с модернизацией, и в Латинской Америке оно приняло скорее протестантскую, чем католическую форму.

Эти изменения в Южной Корее и Латинской Америке отражают неспособность буддизма и соответственно устоявшегося католицизма отвечать психологическим, эмоциональным и социальным нуждам людей, получившим травмы от модернизации. Происходят ли дополнительные значительные изменения в религиозной приверженности где-либо еще, зависит от той меры, в которой превалирующая религия может удовлетворить эти потребности. Учитывая эмоциональную сухость конфуцианства, оно кажется особенно уязвимым. В конфуцианских странах протестантство и католицизм могут иметь привлекательность, схожую с притягательностью евангелистского протестантства для латиноамериканцев, христианства — для жителей Южной Кореи и фундаментализма — для мусульман и индусов. В конце 1980-х в Китае на пике экономического роста христианство [с .145] также распространилось “главным образом среди молодежи”. Возможно, около 50 миллионов китайцев — христиане. Правительство попыталось предотвратить рост их числа, сажая в тюрьмы священников, миссионеров и евангелистов, запрещая и преследуя религиозные обряды и церемонии, а в 1994 году приняло закон, который запрещает иностранцам вести деятельность по обращению в свою веру и основывать религиозные школы или другие религиозные организации, религиозным группам — участвовать в независимых или финансируемых из-за рубежа мероприятиях. В Сингапуре, как и в Китае, около 5 процентов населения — христиане. В конце 1980-х и в начале девяностых министры из правительства предупреждали евангелистов, чтобы те не нарушали “шаткое религиозное равновесие в стране, задерживали религиозных служащих, включая официальных лиц из католических организаций, а всячески запугивали христианские группы и отдельных верующих”. С окончанием “холодной войны” и последовавшей за ней политической открытостью западные церкви устремились также и в православные бывшие советские республики, где составили конкуренцию возрожденным православным церквям. И здесь, как и в Китае, также была предпринята попытка сдержать их миссионерскую деятельность. В 1993 году, по настоянию православной церкви, российский парламент принял закон, требующий от зарубежных религиозных групп государственной аккредитации или перехода под сень российского патриархата, если они собираются вести миссионерскую или образовательную деятельность. Президент Ельцин, однако, отказался подписать этот законопроект. Вообще, как свидетельствуют факты, когда *la revanche de Dieu* вступает в конфликт с индигенизацией, он оказывается сильнее: если традиционная вера не может удовлетворить религиозные потребности модернизации, то люди обращаются к эмоционально подходящему для них импорту.

Помимо психологических, эмоциональных и социальных травм, нанесенных модернизацией, существуют и иные стимулы религиозного возрождения, включая отступление [с .146] Запада и окончание “холодной войны”. Начиная с девятнадцатого столетия, не-западные цивилизации реагировали на влияние Запада, как правило, последовательно усваивая идеологии, импортированные с Запада. В девятнадцатом веке не-западные элиты поглощали западные либеральные ценности, и впервые их противодействие Западу выразилась в форме либерального национализма. В двадцатом веке

русские, азиатские, арабские, африканские и латиноамериканские элиты импортировали социалистическую и марксистскую идеологии и соединили их с национализмом, противопоставляя это западному капитализму и западному империализму. Провал коммунизма в Советском Союзе, его серьезное реформирование в Китае, а также неспособность социалистической экономики добиться устойчивого роста создали идеологический вакуум. Западные правительства, группы и международные институты, такие как МВФ и Всемирный Банк реконструкции и развития, попытались заполнить этот вакуум доктриной неоправославной экономики и демократической политики. Степень, в которой эти доктрины окажут продолжительный эффект на не-западные культуры, остается неясной. Однако люди тем временем рассматривают коммунизм всего лишь как последнего светского идола, который претерпел неудачу, и в отсутствии новых неодолимых мирских божеств обратились, со страстью и облегчением, к реальности. Религия принимает эстафету у идеологии, и религиозный национализм приходит на смену национализму светскому .

Движения за религиозное возрождение являются антисветскими, антиуниверсальными и, за исключением его христианского проявления, антизападными. Они также направлены против релятивизма, эгоизма и потребительства, которые ассоциируются с тем, что Брюс Лоуренс назвал термином “модернизм”, отличая его от современности. В общем и целом, они не отвергают урбанизацию, индустриализацию, развитие, капитализм, науку и технологию, а также все, что эти вещи означают для организации общества. В этом смысле они не являются антисовременными. [с .147] Они принимают модернизацию и, по выражению Ли Кван Ю, “неотвратимость развития науки и технологии, а также тех изменений в стиле жизни, которые они несут с собой”, но они “не приемлют идею о своей вестернизации”. Ни национализм, ни социализм, как утверждает аль-Тураби, не вызвали изменений в исламском мире. “Религия — это двигатель развития”, и очищенный ислам будет играть в современную эру роль, сопоставимую с ролью протестантской этики в истории Запада. Нельзя сказать, что религия несопоставима с развитием современного государства . Исламские фундаменталистские движения наиболее сильны в самых развитых и на вид самых светских мусульманских странах, таких как Алжир, Иран, Египет, Ливан и Тунис . Религиозные движения, особенно фундаментального толка, профессионально используют современные средства массовой информации и организационные технологии. Наиболее ярким примером этого стал успех протестантского телеевангелизма в Центральной Америке.

Участники религиозного возрождения приходят из всех сфер деятельности, но в подавляющем большинстве — из двух групп, обе из которых мобильны и урбанизированы. Новоприбывшие в города мигранты, как правило, нуждаются в эмоциональной, социальной и материальной помощи и наставлении, а это религиозные группы могут предоставить как никто другой. Религия для них, как сформулировал Режис Дебрей, это не “опиум для народа, а витамин для слабых” . Второй важной группой является новый средний класс, который воплощает собой “феномен индигенизации второго поколения” Дора. Активисты исламских фундаменталистских групп, как заметил Кепель, это не “престарелые консерваторы или безграмотные крестьяне”. В случае с мусульманами, как и с другими группами, религиозное возрождение — это урбанистический феномен, который привлекает к себе людей современно ориентированных, хорошо образованных и делающих карьеру в профессиях, правительстве и коммерции . [с .148]

Среди мусульман зачастую молодежь религиозна, а их родители — атеисты. С индуизмом ситуация во многом схожа, здесь лидеры движений возрождения также являются выходцами из индигенизированного второго поколения и часто они — “удачливые предприниматели и администраторы”. Индийская пресса окрестила их “скаппи” — одетые в шафрановое яппи. Их поборники в начале 1990-х все чаще принадлежали к “значительному среднему классу индийских индусов — торговцам, бухгалтерам, адвокатам и инженерам”, а также к “высшим государственным служащим, интеллигенции и журналистам” . В Южной Корее тот же самый тип людей заполнил католические и пресвитерианские церкви в 1960-е и

70-е годы.

Религия, местная или импортированная, дает смысл и направление для зарождающихся элит в обществах, где происходит модернизация. “Придание ценности традиционной религии, — заметил Рональд Дор, — это призыв к взаимному уважению, в противовес “господствующей другой” нации, и чаще, одновременно с этим и более непосредственно, против местного правящего класса, который принял ценности и образ жизни тех других господствующих наций”. “Чаще всего, — замечает Уильям Макнил, — повторное утверждение ислама, в какой бы конкретной сектантской форме оно ни проявлялось, означает отрицание европейского и американского влияния на местное общество, политику и мораль” . В этом смысле не-западные религии являются наиболее мощным проявлением антизападничества в не-западных обществах. Подобное возрождение — это не отвержение современности, а отторжение Запада и светской, релятивистской, вырождающейся культуры, которая ассоциируется с Западом. Это — отторжение того, что было названо термином “вестоксификация” не-западных обществ. Это — декларация о культурной независимости от Запада, гордое заявление: “Мы будем современными, но мы не станем вами”. [с .149]

Примечания

Связь между властью и культурой почти повсеместно игнорируется теми, кто утверждает, что универсальная цивилизация существует или вот-вот должна возникнуть, а также теми, кто заявляет, что вестернизация является необходимой предпосылкой модернизации. Они отказываются признать, что логика их доводов требует от них поддерживать экспансию и усиление западного господства в мире и что, если другим обществам предоставить свободу определять собственную судьбу, они вдохнут новые силы в старые мировоззрения, привычки и обычаи, которые, согласно универсалистам, враждебны прогрессу. Люди, которые превозносят достоинства универсальной цивилизации, тем не менее не склонны говорить о достоинствах универсальной империи.

Глава 5. Экономика, демография и цивилизации, бросающие вызов

Индигоенизация и возрождение религии — феномены глобальные. Однако наиболее ярко они проявились в культурном утверждении Азии и ислама, а также тех вызовах, которые они бросают Западу. Это самые динамичные цивилизации последней четверти двадцатого века. Исламский вызов выражается во всеобъемлющем культурном, социальном и политическом возрождении в мусульманском мире и сопровождающем этот процесс отвержении западных ценностей и институтов. Азиатский вызов присущ всем восточно-азиатским цивилизациям — синской, японской, буддистской и мусульманской — и делает акцент на их культурные отличия от Запада и, время от времени, на их общность, которая часто отождествляется с конфуцианством. Как азиаты, так и мусульмане подчеркивают превосходство своих культур над западной. Люди из других не-западных цивилизаций — индусской, православной, латиноамериканской, африканской, — напротив, могут говорить о самобытности своих культур, но в середине девяностых они не решались провозглашать свое превосходство над западной культурой. Азия и ислам стоят особняком, а иногда — вместе, из-за своей все растущей самонадеянной самоуверенности в отношениях с Западом.

За этими вызовами стоят взаимосвязанные, но различные причины. Азиатская самоуверенность [с .150] основана на экономическом росте; уверенность в себе мусульман в значительной мере является результатом социальной мобилизации и роста населения. Каждый из этих вызовов имеет в высшей степени дестабилизирующий эффект на глобальную политику и будет продолжать оказывать его и в двадцать первом веке. Однако природа этих вызовов значительно различается. Экономическое развитие Китая и других

азиатских стран дает их правительствам стимул и средства для того, чтобы быть более требовательными во взаимоотношениях с другими государствами. Рост населения в мусульманских странах, особенно увеличение возрастной группы от 15 до 24 лет, обеспечивает людьми ряды фундаменталистов, террористов, повстанцев и мигрантов. Экономический рост прибавляет сил азиатским правительствам; демографический рост представляет собой угрозу как мусульманских правительств, так и немусульманских стран.

Азиатское самоутверждение

Экономическое развитие Восточной Азии было одним из наиболее важных событий в мире во второй половине двадцатого века. Этот процесс начался в Японии в 1950-х годах, и на протяжении некоторого времени Япония воспринималась как большое исключение: не-западная страна, которая была успешно модернизирована и стала экономически развитой. Тем не менее процесс экономического развития распространился и на “Четырех Тигров” (Гонконг, Тайвань, Южная Корея, Сингапур), а затем и на Китай, Малайзию, Таиланд и Индонезию; сейчас он приходит в Индию, Филиппины и Вьетнам. В этих странах на протяжении десятилетия, а то и больше, средний экономический рост составлял не менее 8-10 процентов. Этот экономический рост в Азии резко контрастирует с умеренным развитием экономики в [с .151] Европе и Америке, а также застоя, охватившего большую часть мира.

Таким образом, исключением стала не только Япония, а почти вся Азия. Отождествление благополучия с Западом, а недоразвитости — с не-Западом не переживет двадцатое столетие. Скорость этой трансформации поражает. Как заметил Кишор Мабубани, для того, чтобы удвоить доход на душу населения, Британии и Соединенным Штатам понадобилось соответственно сорок восемь и сорок семь лет, в то время как Япония сделала это за тридцать три года, Индонезия — за семнадцать, Корея — за одиннадцать, Китай — за десять. Китайская экономика росла в среднем на 8% в восьмидесятых годах и первой половине девяностых, а “Тигры” недалеко от него отстали (см. рис. 5.1). “Китайский экономический регион, — как объявил в 1993 году Всемирный банк реконструкции и развития, — стал четвертым полюсом роста в мире”, наряду с Соединенными Штатами, Японией и Германией. Согласно большинству прогнозов, китайская экономика станет крупнейшей в мире в самом начале двадцать первого века. Имея у себя вторую и третью в мире по величине экономики в 1990-х годах, к 2020 году Азия будет иметь четыре из пяти и семь из десяти крупнейших экономик. К этому времени на долю азиатских стран будет приходиться 40% всемирного экономического продукта. Большая часть конкурентоспособных экономик также, скорее всего, будут азиатскими. Даже если экономический рост Азии замедлится быстрее, чем это ожидается, последствия этого роста для Азии и всего мира будут поистине потрясающими.

Экономическое развитие Восточной Азии изменит баланс сил между Азией и Западом, особенно Соединенными Штатами. Удачный экономический рост порождает уверенность в себе и агрессивность со стороны тех стран, в которых он существует и приносит выгоду. Богатство, как и власть, считается доказательством добродетели, демонстрацией морального и культурного превосходства. По мере [с .152] того как страны Восточной Азии добиваются экономических успехов, их жители не упускают случая сделать акцент на отличия своей культуры и воспеть превосходство этих ценностей над устоями Запада и других стран. Азиатские государства все меньше прислушиваются к требованиям и интересам США и все больше сопротивляются давлению Соединенных Штатов и западных стран.

Рисунок 5.1. (с. 153)

Экономический вызов: Азия и Запад

Примечание: На графике точками представлены усредненные за три года показатели. Источник: World Bank. World Tables, 1995, 1991; Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Statistical Abstract of National Income, Taiwan Area, Republic of China, 1951 — 1995.

“Культурное возрождение, — как выразился в 1993 году посол Томми Ко, — пронеслось по Азии”. Оно принесло с собой “растущую самоуверенность”, которая призывает азиатов “не рассматривать все западное и американское как обязательно лучшее”. Это возрождение проявляется во все большем акценте, который делается как на отличие культурных особенностей различных азиатских стран, а также общих местах в азиатских культурах, которых отличают их от западных культур. Значимость этого культурного [с .153] возрождения иллюстрируется изменившимися взаимоотношениями двух главных стран Восточной Азии с западной культурой.

Когда Западу удалось насадить свои ценности в Китае и Японии в середине девятнадцатого века, доминирующие элиты (после мимолетного увлечения тем, что позже назвали кемализмом) ратовали за реформистскую стратегию. С началом реставрации Мейдзи к власти в Японии пришли динамичные группы, которые изучили и переняли западные технологии, практику и институты, после чего начали процесс японской модернизации. Однако они провели ее таким образом, что сохранили основные черты традиционной японской культуры, которая во многих отношениях помогла модернизации и которая позволила Японии вспомнить, переформулировать и дополнить элементы этой культуры, чтобы поддержать и оправдать свой империализм в тридцатые — сороковые годы двадцатого века. В Китае, напротив, переживающая упадок династия Цин была неспособна успешно приспособиться к влиянию Запада. Китай был разгромлен, унижен и поработен Японией и европейскими державами. За падением династии в 1910 году последовали раскол, гражданская война и обращение к конкурирующим западным концепциям со стороны соперничающих китайских интеллигентов и политических лидеров: три принципа Сунь Ятсена — “Национализм, демократия и благополучие народа”; либерализм Лян Цичао; марксизм-ленинизм Мао Цзэдуна. В конце 1940-х годов импортированные из Советского Союза идеи победили западные — национализм, либерализм, демократию, христианство, — и так Китай стал социалистической страной.

В Японии сокрушительное поражение во Второй Мировой войне привело к полному культурному поражению и краху. “Сейчас нам очень трудно, — заметил в 1994 году один житель Запада, глубоко сведущий в делах Японии, — представить себе ту степень, в которой буквально все — религия, культура, каждый аспект духовного бытия страны [с .154] — было поставлено на службу этой войне. Поражение в войне обернулось глубоким шоком системы. Все, что было в их умах, потеряло свою ценность и было отвергнуто”. Все связанное с Западом и особенно с победившими Соединенными Штатами стало выглядеть хорошим и желанным. Таким образом, Япония пыталась подражать Соединенным Штатам, как Китай подражал Советскому Союзу.

К концу 1970-х неспособность коммунизма привести к экономическому росту и успех капитализма в Японии, а также все в новых азиатских странах, заставило новое китайское руководство отказаться от советской модели. Развал Советского Союза, произошедший десять лет спустя, еще больше подчеркнул провал подобного импорта. Таким образом, китайцы стали перед выбором: обратиться ли им к Западу или обратиться к внутренним традициям. Многие представители интеллигенции, а также других кругов, ратовали за полное принятие демократии — тенденция эта достигла своей культурной и популярной кульминации в телесериале “Речная элегия” и статуе Демократии, воздвигнутой на площади Тяньаньмынь. Эта западная ориентация, однако, не заручилась поддержкой ни нескольких сот человек из пекинского руководства, ни 800 миллионов крестьян, проживающих в сельской местности. Тотальная вестернизация в конце двадцатого века была не более практична, чем в конце девятнадцатого. Вместо этого руководство избрало новую версию: капитализм и интеграция в мировую экономику, с одной стороны, в сочетании с

политическим авторитаризмом и возвращением к корням традиционной китайской культуры — с другой. Революционные порядки марксизма-ленинизма были заменены на более функциональные, поддерживаемые зарождающимся экономическим ростом и национальными устоями, а также осознанием отличительных характеристик китайской культуры. “Посттяньаньмыньский режим, — заметил один комментатор, — с радостью принял китайский национализм как новый источник законности” и умышленно поднял антиамериканскую волну, чтобы [с .155] подтвердить свое могущество и оправдать свое поведение . Так возникает китайский культурный национализм. Как охарактеризовал его один из лидеров Гонконга в 1994 году: “Мы, китайцы, ощущаем патриотизм, который мы никогда не чувствовали. Мы — китайцы, и мы можем этим гордиться”. В самом Китае в начале 90-х возникло “всеобщее настроение вернуться к исконным китайским устоям, которые зачастую патриархальны, весьма самобытны и авторитарны. Демократия, в ее историческом повторном появлении, была отвергнута, как и ленинизм, как еще одно течение, навязанное из-за рубежа” .

В начале двадцатого века китайские интеллектуалы, независимо повторив Вебера, идентифицировали конфуцианство как источник отсталости Китая. В конце двадцатого столетия китайские политические лидеры, параллельно с западными специалистами в области общественных наук, превозносили конфуцианство как источник прогресса Китая. В 1980-х китайское правительство принялось поддерживать интересы конфуцианства, а партийные руководители объявили его “основой” китайской культуры . Конечно же, конфуцианство также с воодушевлением было воспринято Ли Кван Ю, который видел в нем источник успеха Сингапура и стал проповедником конфуцианских ценностей для всего остального мира. В 1990-х годах правительство Тайваня заявило, что является “наследником конфуцианской мысли”, а президент Ли Дэнхуэй видел корни демократизации Тайваня в его китайском “культурном наследстве”, которое простирается до Као Яо (двадцать первый век до нашей эры), Конфуция (пятый век до нашей эры) и Мэн-цзы (третий век до нашей эры) . Независимо от того, что хотят утвердить китайские лидеры — авторитаризм или демократию, — они хотят узаконить это при помощи своей общей китайской культуры, а не импортированных китайских концепций.

Национализм, который поддерживается режимом, — это ханьский национализм, который помогает сглаживать [с .156] лингвистические, региональные и экономические различия между 90 процентами населения Китая. В то же самое время он подчеркивает отличия не-китайских этнических меньшинств, которые составляют менее 10 процентов от населения Китая, но занимают 60% его территории. Но он также обеспечивает базу для неприятия христианства, христианских организаций и христианских проповедников, которые предлагают альтернативную западную веру, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после крушения марксизма-ленинизма.

Тем временем в Японии в 1980-х годах успешное экономическое развитие, которое контрастировало с явными неудачами и “упадком” американской экономики и социальной системы, заставило японцев разочароваться в западных моделях и поверить в то, что ключи к успеху должны лежать в их родной культуре. Японская культура, которая привела к военной катастрофе в 1945 году, и поэтому от нее вынуждены были отказаться, привела и к экономическому успеху в 1985-м, поэтому ее можно приветствовать с раскрытыми объятиями. Все более близкое знакомство японцев с западной культурой заставило их “понять, что дело не в том, чтобы просто быть жителем Запада, это еще не несет чего-то особенно чудесного в себе или с собой. Дело в системе, все можно извлечь из нее”. В то время как японцы времен реставрации Мейдзи приняли политику “отхода от Европы и соединения с Западом”, японцы конца двадцатого века благодаря культурному возрождению следуют политике “дистанцирования от Америки и соединения с Азией” . Составляющие этой тенденции были следующие: во-первых, это повторное отождествление с японскими культурными традициями и обновленное утверждение этих традиций; вторая — и более проблематичная — это попытка “обазиатить” Японию и отождествить Японию, несмотря на

отличие ее цивилизации, с общей азиатской культурой. С учетом той меры, в которой Япония после Второй Мировой войны, в отличие от Китая, отождествляла себя с Западом, [с .157] и принимая во внимания тот факт, что Запад, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся, не рухнул окончательно, как это произошло с Советским Союзом, стремление Японии отвергнуть Запад ни в какое сравнение не шло с тем, насколько Китай пытался дистанцироваться как от советских, так и западных моделей. С другой стороны, уникальность японской цивилизации, память других стран о японском империализме и центральное место Китая в экономике многих других азиатских стран означает также, что Японии будет проще дистанцироваться от Запада, чем смешаться с Азией. Утверждая свою культурную идентичность, Япония делает акцент на свою уникальность и свои отличия как от западной, так и от азиатских культур.

Китайцы и японцы не только нашли новые ценности в своих собственных культурах, но и приняли участие в более широком утверждении ценностей азиатской культуры по сравнению с культурой западной. Индустриализация и сопровождавший ее рост привели к тому, что в восьмидесятых — девяностых годах в Восточной Азии было явно выражено то, что можно назвать термином “азиатское самоутверждение”. У этого сложного комплекса поведения есть четыре основных составляющих.

Во— первых, азиаты полагают, что в Восточной Азии будет и дальше продолжаться бурный экономический рост и вскоре она перегонит Запад по экономическому продукту. Экономический рост порождает во многих азиатских странах чувство могущества и уверенность в своей способности догнать Запад. “Времена, когда Соединенные Штаты чихали, а Азия подхватывала простуду, уже позади”, - писал один ведущий японский журналист в 1993 году, а малайзийский государственный служащий дальше развил эту метафору, заявив, что “даже суровая горячка в Америке не заставит Азию кашлять”. Жители Азии, по выражению другого азиатского лидера, сейчас живут в “конце эры благоговения и в начале эры возражений” в своих взаимоотношениях [с .158] с Соединенными Штатами. “Растущее благосостояние Азии, — утверждает заместитель премьер-министра Малайзии, — означает, что она теперь в состоянии внести серьезные коррективы в доминирующие глобальные политические, социальные и экономические порядки”. Это также означает, утверждают жители Восточной Азии, что Запад стремительно теряет возможность заставлять страны Азии следовать западным стандартам в области прав человека и других ценностей.

Во— вторых, азиаты полагают, что этот экономический успех во многом объясняется азиатской культурой, которая превосходит культуру Запада, где имеет место культурный и социальный упадок. В бурные восьмидесятые, когда японская экономика, экспорт, торговый баланс и валютный резерв для торговли за границей переживали настоящий бум, японцы, как и жители Саудовской Аравии, незадолго до этого, бахвалились своим новым экономическим могуществом, с презрением говорили об упадке Запада и связывали свой успех и неудачи Запада с превосходством своей культуры и загниванием западной. В начале девяностых азиатское ликование было вновь выражено в том, что иначе как “сингапурское культурное наступление” не назовешь. Начиная с Ли Кван Ю, лидеры трубили о подъеме Азии по отношению к Западу и противопоставляли добродетели азиатской, в основном конфуцианской культуры, которая привела к такому успеху -порядок, дисциплина, семейная ответственность, трудолюбие, коллективизм, воздержанность — самоуверенности, праздности, индивидуализму, преступности, недостаточному образованию, неуважению власти и “интеллектуальному окостенению”, которые виновны в упадке Запада. Прозвучало следующее заявление: чтобы конкурировать с Востоком, Соединенным Штатам “необходимо поставить под сомнение фундаментальные предположения о своих социальных и политических устоях и при этом также узнать пару фактов о странах Восточной Азии” . [с .159]

Для жителей Восточной Азии успех своего региона — это, в первую очередь, результат того, что здесь акцент делается не на индивидуализм, а на коллективизм. “...В значительной степени общинные ценности и обычаи жителей Восточной Азии — Японии, Кореи, Тайваня,

Гонконга и Сингапура — доказали свой весомый вклад в достижения прогресса”, — утверждал Ли Кван Ю. — Такие присущие восточно-азиатской культуре ценности, как превосходство групповых интересов группы над индивидуальными, способствуют всеобщему групповому напряжению, которое необходимо для бурного развития”. “Рабочая этика японцев и корейцев, состоящая из дисциплины, лояльности и усердия, — вторит ему премьер-министр Малайзии, — стала движущей силой экономического и социального развития этих стран. Эта рабочая этика родилась из философии о том, что группа и страна важнее, чем отдельная личность” .

В— третьих, признавая различия между азиатскими странами и цивилизациями, жители Восточной Азии утверждают, что есть и существенное сходство. Центральной общей чертой, как заметил один китайский диссидент, является “конфуцианская система ценностей -ее чтит история и разделяет большинство стран региона”. Особенное место в этой системе ценностей отводится бережливости, семье, работе и дисциплине. Не меньшую важность имеет отвержение индивидуализма и господство “мягкого” авторитаризма или очень ограниченных форм демократии. Азиатские страны имеют общие интересы по отношению к Западу, которые выражаются в защите этих отличительных особенностей и поддержке собственных экономических интересов. Жители Азии утверждают, что для этого необходимо развивать новые формы внутриазиатского сотрудничества, таких как расширение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и создание Восточно-азиатского Экономического совета. В то время как непосредственным экономическим интересом Восточной Азии является обеспечение [с .160] доступа к западным рынкам, в длительной перспективе, скорее всего, будет господствовать экономический регионализм, поэтому Восточной Азии необходимо все больше развивать внутриазиатскую торговлю и инвестиции . В частности, Японии как лидеру азиатского развития нужно отойти от ее “политики де-азиации и вестернизации” и следовать по пути “ре-азиации”, или, в более широком плане, способствовать “азиации Азии” — по пути, который поддерживают сингапурские государственные деятели .

В— четвертых, жители Восточной Азии утверждают, что азиатское развитие и азиатские ценности -это модели, которым должны следовать другие не-западные общества в своих попытках догнать Запад и которые следует принять Западу для того, чтобы обновиться. “Англосаксонская модель развития, перед которой все преклонялись последние четыре века как перед лучшим способом модернизации экономики развивающихся стран и строительства жизнеспособной политической системы, сегодня не работает”, — полагают в Восточной Азии. На ее место приходит восточноа-зиатская модель, и страны от Мексики и Чили до Ирана и Турции, а также бывшие советские республики пытаются извлечь уроки из этого успеха, в точности как предыдущие поколения старались изучить успех Запада. Азия должна “донести до всего остального мира эти азиатские ценности, которые имеют универсальную ценность... распространение этих идеалов означает экспорт социальной системы Азии, в частности — Восточной Азии”. Японии и другим странам Азии необходимо поддерживать “пацифистский глобализм”, “глобализировать Азию” и таким образом “окончательно сформировать характер нового мирового порядка” .

Мощные страны стремятся к универсализму, слабые общества — к обособленности. Рост уверенности в себе Восточной Азии породил азиатский универсализм, сравнимый с тем, что был отличительной чертой Запада. “Азиатские ценности — это универсальные ценности. Европейские [с .161] ценности — это европейские ценности”, — заявил премьер-министр Магатир главам европейских государств в 1996 году . Одновременно на сцену выходит и азиатский “оксидентализм”, который рисует Запад в таких же негативных красках, в которых западный ориентализм якобы некогда рисовал Восток. Для жителей Восточной Азии экономическое преуспевание является доказательством морального превосходства. Если в какой-то момент Индия отберет у Восточной Азии титул наиболее быстроразвивающегося региона в мире, то мир должен быть готовым ко всесторонним исследованиям, посвященным вопросам превосходства индусской культуры, вкладу кастовой системы в экономическое

развитие и тому, как возвращение к корням и отказ от губительного западного наследства, оставленного британским империализмом, наконец-то помогли Индии занять должное место среди ведущих цивилизаций. Культурное утверждение следует за материальным успехом; жесткая власть рождает мягкую власть.

Исламское возрождение

В то время как жители Азии все больше уверены в себе в результате экономического роста, огромное количество мусульман обращаются к исламу как к источнику идентичности, смысла, законности, развития, могущества и надежды, которая была выражена лозунгом “Ислам — вот решение”. Исламское возрождение по своему размаху и глубине — [с .162] это последняя фаза в приспособлении исламской цивилизации к Западу, попытка найти “решение” не в западных идеологиях, а в исламе. Она состоит из принятия современности, отвержения западной культуры и возвращению в исламу как проводнику в жизни и в современном мире. Как пояснил один чиновник высокого ранга из Саудовской Аравии, “импорт из-за рубежа хорош в виде блестящих и высокотехнологичных «штучек». Но неосозаемые общественные и политические институты, ввезенные в страну откуда бы то ни было, могут нести с собой смерть — спросите Шаха Ирана... Ислам — это не только религия, это еще и стиль жизни. Мы, саудовцы, хотим модернизироваться, но не обязательно вестернизироваться” .

Исламское возрождение является попыткой мусульман добиться своей цели. Это — широкое интеллектуальное, культурное, социальное и политическое движение, распространившееся на весь исламский мир. Исламский “фундаментализм”, который часто воспринимается как политический ислам, является всего лишь одной из составляющих в намного более всестороннем процессе возрождения исламских идей, обычаев и риторики, а также возвращения мусульманского населения к исламу. Исламское возрождение — это основное направление, а не экстремизм, всеобъемлющий, а не изолированный процесс.

Исламское возрождение затронуло мусульман в каждой стране и большинство аспектов общественной и политической жизни в большинстве мусульманских стран.

“Признаков исламского пробуждения в личной жизни, — писал Джон Л. Эспозито, — множество: повышенное внимание к соблюдению религиозных обрядов (посещение мечети, молитва, пост), распространение религиозных программ и публикаций, большой акцент на исламскую одежду и ценности, воскрешение суфизма (мистицизма). Это широкомасштабное обновление сопровождается и тем, что ислам вновь утверждается в общественной жизни: налицо рост числа ориентированных на [с .163] ислам правительств, организаций, законов, банков, служб социальной помощи и образовательных учреждений. Как проправительственные, так и оппозиционные движения обратились к исламу, чтобы усилить свое влияние и заручиться народной поддержкой... Большинство правителей и правительств, включая наиболее светские страны, такие как Турция и Тунис, озаботившись потенциальной силой ислама, обнаруживают нарастающий интерес и озабоченность проблемами ислама”.

В схожих выражениях описал Исламское возрождение другой выдающийся специалист по исламу, Али Хиллал Дессуки, который видит в нем попытку вернуть исламские законы на место западных: все большее использование религиозного языка и символики, экспансия исламского образования (которое выражается в увеличении числа исламских школ и исламизации учебных программ в обычных государственных школах), все чаще встречающееся строгое соблюдение исламских норм социального поведения (обычай женщин прятать лицо, воздержание от алкоголя), рост числа участников религиозных церемоний, преобладание оппозиции исламских групп светским властям в мусульманских странах, а также все усиливающиеся попытки добиться международной солидарности среди исламских государств и обществ . *La revanche de Dieu* — это глобальный феномен, но месть Бога (вернее — Аллаха) особенно сильно и глубоко проявилась в *умма* , обществе ислама.

Что касается политического проявления Исламского возрождения, то оно в чем-то

схожа с марксизмом своими священными текстами, видением идеального общества, стремлению к фундаментальным изменениям, неприятием сильного мира сего и национального государства, а также разнообразием доктрин, начиная умеренным реформизмом и заканчивая неистовым революционным духом. Однако более полезной аналогией здесь будет протестантская Реформация. Оба этих процесса являются реакцией на стагнацию [с .164] и коррупцию существующих институтов; они призывают вернуться к более чистой и требовательной форме своих религий; проповедуют работу, порядок и дисциплину; привлекают на свою сторону современных и динамичных представителей среднего класса. И то и другое — сложные движения, с различными течениями, среди которых, однако два основных — лютеранство и кальвинизм, шиитский и суннитский фундаментализм; есть даже параллели между Жаном Кальвином и аятоллой Хомейни и той монашеской дисциплиной, которую они хотели утвердить каждый в своем обществе. Центральным духом как Реформации, так и Исламского возрождения является фундаментальная реформа. “Реформация должна быть всеобщей, — заявил один священник-пуританин, — реформировать все места, людей и профессии; реформировать суды, реформировать местные власти. Реформировать университеты, реформировать города, реформировать страны, реформировать младшие школы, реформировать воскресный отдых, реформировать провидение и поклонение Богу”. Схожие слова употребил и аль-Тураби, когда написал, что “это пробуждение всеобъемлюще — оно касается не только индивидуальной набожности; это не только интеллектуальный и культурный, и не чисто политический процесс. Это все вместе — полная перестройка общества сверху донизу” . Игнорировать влияние Исламского возрождения на Восточное полушарие в конце двадцатого века — это все равно, что игнорировать влияние протестантской Реформации на европейскую политику в конце шестнадцатого столетия.

Исламское возрождение отличает от Реформации один ключевой момент. Влияние последней в основном ограничилось Северной Европой; она добилась небольших успехов в Испании, Италии, Восточной Европе и никак не затронула земли Габсбургов. Исламское возрождение, напротив, коснулось практически каждой мусульманской страны. Начиная с 1970-х исламские символы, верования, [с .165] традиции, институты, политика и организации добиваются все большей преданности и поддержки в мусульманском мире, который простирается от Марокко до Индонезии и от Нигерии до Казахстана и насчитывает 1 миллиард человек. Исламизация, как правило, происходит сначала в культурном плане, затем переходит на социальную и политические сферы. Лидеры от интеллигенции и политики, нравятся им это или нет, не могут ни игнорировать, ни избежать принятия ее в той или иной форме. Широкие обобщения всегда опасны и зачастую неверны. Однако один вывод все-таки кажется обоснованным. В 1995 году все страны, где преобладает мусульманское население, за исключением Ирана, были более исламскими и исламистскими в культурном, социальном и политическом плане, чем за пятнадцать лет до этого .

В большинстве стран центральным элементом исламизации было развитие исламских общественных организаций и захват ранее существовавших организаций исламскими группами. Исламисты уделяли особое внимание как организации исламских школ, так и усилению исламского влияния на государственные школы. В сущности, исламистские группы создали исламское “гражданское общество”, которое дублировало, превосходило и часто заменяло собой деятельность зачастую слабых институтов светского гражданского общества. В Египте к началу девяностых исламские группы создали широкую сеть организаций, которые, заполняя вакуум, оставленный правительством, предоставляли социальную и медицинскую помощь, услуги в образовании и других областях для огромного количества египетской бедноты. После каирского землетрясения 1992 года эти организации “вышли на улицы в течение нескольких часов и раздавали еду и одеяла, в то время как правительственная помощь запаздывала”. В Иордании Мусульманское братство сознательно следовало политике создания социальной и культурной “инфраструктуры исламской республики”, и к началу девяностых в этой небольшой [с .166] стране с

четыремиллионным населением работала крупная больница, двадцать клиник, сорок исламских школ и 120 центров по изучению Корана. По соседству, на Западном берегу и в Газе, исламские организации организовали и патронировали “студенческие союзы, молодежные организации, а также религиозные, общественные и образовательные ассоциации”, в том числе образовательные учреждения от детских садов до исламского университета, клиники, приюты, дома престарелых, систему исламских судей и арбитров. В Индонезии исламские организации распространились в 70-х и восьмидесятых. К началу 1980-х самая большая из них, *Muhammadijah*, насчитывала 6 миллионов членов и являла собой “религиозное благотворительное государство внутри светского государства”, которое предоставляло услуги “от колыбели до кладбища” по всей стране при помощи развитой сети школ, клиник, больниц и учреждений университетского уровня. В этих и других мусульманских странах исламские организации, отстраненные от политической деятельности, предоставляли социальное обеспечение на том же уровне, что и политическая машина в Соединенных Штатах в начале двадцатого века.

Политические проявления Исламского возрождения не такие всесторонние, как ее социальное и культурное проявления, но все же это — единственное важное политическое событие в мусульманских странах в последнюю четверть двадцатого века. Степень и структура политической помощи исламских движений в различных странах отличается. И все же существует определенная широкая тенденция. В общем и целом, эти движения не пользуются особой поддержкой сельскохозяйственной элиты, крестьян и стариков. Подобно фундаменталистам других религий, исламисты в подавляющем большинстве являются участниками и порождением процесса модернизации. Это мобильные и современно ориентированные молодые люди, большей частью выходцы из трех групп. [с .167]

Как и в наиболее революционных движениях, ядро составляют студенты и интеллигенция. В большинстве стран установление фундаменталистами контроля над студенческими союзами и подобными организациям является первой фазой процесса политической исламизации. Потом последовал исламистский “прорыв” в университеты в 1970-е в Египте, Пакистане и Афганистане, который затем распространился на другие мусульманские страны. Ислам был особенно привлекателен для студентов технических институтов, инженерных факультетов и научных отделений. В девяностые в Саудовской Аравии, Алжире и повсюду в других странах “индигенизация второго поколения” проявлялась в виде увеличения доли студентов университетов, которые получали образование на родном языке и поэтому легче поддавались исламистскому влиянию. Исламистам часто удавалось заручиться значительной поддержкой и у женщин. Так, в Турции было налицо четкое разделение между старшим поколением светских женщин и их исламистки ориентированными дочерьми и внучками. Одно исследование воинствующих лидеров египетских исламистских групп показало, что все они обладают пятью основными характеристиками, которые оказались типичными для исламистов из других стран. Они были молоды, по большей части — двадцати — и тридцатилетние. Восемьдесят процентов были студентами или выпускниками университетов. Более половины были из элитных колледжей или наиболее наукоемких областей технической специализации, таких как медицина и инженерия. Более 70% — выходцы из нижнего среднего класса, “скромного, но не бедного”, и были первым поколением в своей семье, получившим высшее образование. Они провели свое детство в небольших городках или сельских районах, но затем стали жителями больших городов.

В то время как студенты и интеллигенция становились воинствующими силами и ударными частями исламистских движений, сельские жители из среднего класса сформировали [с .168] костяк их активистов. Отчасти они вышли из так называемых “традиционных” групп среднего класса: купцы, торговцы и мелкие предприниматели, *bazaaris*. Они сыграли решающую роль в Иранской революции и обеспечили существенную поддержку фундаменталистским движениям в Алжире, Турции и Индонезии. Однако куда большая часть их принадлежит к более “современным” секторам среднего класса. Ряды

исламистских активистов, “наверное, состоят из непропорционально большого количества наиболее образованных и способных молодых людей в своих странах”, в том числе врачей, адвокатов, инженеров, ученых, учителей и государственных служащих .

Третьим основным источником рядов исламистов являются недавно переехавшие в города люди. Во всем исламском мире в 1970-е и 1980-е городское население росло невиданными темпами. Скученные в обветшалых и зачастую примитивных районах трущоб, городские мигранты получали социальную помощь, предоставляемую исламистскими организациями. Помимо этого, как заметил Эрнест Гелльнер, ислам предлагал “достойную идентичность” этим “недавно покинувшим насиженные места массам”. В Стамбуле и Анкаре, Каире и Асьюте, Алжире и Фесе, а также в секторе Газа исламистские партии успешно организовывали и привлекали на свою сторону “угнетенных и выселенных”. “Революционные массы Ирана, — сказал Оливер Рой, — это продукт современного общества... новоиспеченные горожане, миллионы крестьян, которые утроили население огромных мусульманских метрополисов” .

К середине девяностых явно исламистские правительства пришли к власти только в Иране и Судане. Небольшое количество мусульманских стран, таких как Турция и Пакистан, имели у власти режимы с некоторыми претензиями на демократическую законность. Правительства четырех десятков других мусульманских стран были преимущественно недемократическими: монархии, однопартийные системы, военные режимы, диктаторские режимы либо некая [с .169] комбинация из вышеперечисленного, в основе которой обычно лежит семья, клан и племя, в некоторых случаях — сильно зависящие от зарубежной помощи. Два режима, в Марокко и Саудовской Аравии, попытались установить некую форму исламской законности. Но большинство из этих правительств, однако, не имели никакого основания для того, чтобы утвердить свое правление в терминах исламских, демократических или национальных ценностей. Это были, пользуясь выражением Клемента Генри Мура, “бункерные режимы” — репрессивные, коррумпированные, оторванные от нужд и чаяний своего народа. Такие режимы могут держаться у власти довольно долго; их не обязательно ждет крах. Однако в современном мире вероятность их изменения или краха довольно высока. Поэтому в середине девяностых центральным вопросом становится следующий: кто или что придет им на смену. Почти во всех странах середины 1990-х наиболее вероятный преемник — режим исламистского толка.

В 1970— х и 80-х годах волна демократизации пронеслась по всему миру, накрыв несколько десятков стран. Эта волна оказала воздействие, хоть и ограниченное, на несколько мусульманских обществ. В то время как демократические движения набирали силу и приходили к власти в Южной Европе, Латинской Америке и на периферии Восточной Азии, исламские движения так же набирали силу в мусульманских странах. Исламизм стал функциональной заменой демократической оппозиции авторитаризму в христианских странах, и это было в значительной мере следствием тех же причин: социальной мобилизации, утраты эффективной власти авторитарными режимами, а также изменение международной обстановки (в том числе рост цен на нефть, который способствовал скорее исламистским, чем демократическим тенденциям в мусульманском мире). Проповедники, священники и мирские религиозные группы сыграли основную роль в противодействии авторитарным режимам в христианских странах, а улемы, объединенные [с .170] вокруг мечети в группы, и исламисты сыграли схожую роль оппозиции в мусульманских обществах. Папа был центральной фигурой, положившей конец коммунистическому режиму в Польше, а аятолла -свергнувшей шахский режим в Иране.

В 1980— х и 1990-х исламистские движения преобладали среди оппозиционных движений в мусульманских странах и часто монополизировали их. Их сила была отчасти следствием слабости альтернативных источников оппозиции. Левацкие и коммунистические группировки были дискредитированы и серьезно подорваны крахом Советского Союза и международного коммунизма. Либеральные, демократические оппозиционные движения и раньше существовали в большинстве мусульманских стран, но они, как правило, были

ограничены небольшим числом интеллигентов и других людей с западными корнями или связями. За редкими исключениями либеральные демократы оказывались неспособны достичь значительной народной поддержки в мусульманских странах, и даже исламский либерализм не смог пустить корни. “В мусульманских обществах, в одном за другим, — заметил Фуад Аджамид, — писать о либерализме и национальных буржуазных традициях — все равно, что писать некролог о людях, которые имели невероятную фору, но все равно проиграли” . Всеобщая неспособность либеральной демократии закрепиться в мусульманских странах — это длительный и повторяющийся феномен, растянувшийся на целое столетие, начиная с 1800-х годов. Этот провал хотя бы частично объясняется недружелюбным отношением исламской культуры и общества к западным либеральным концепциям.

Успеху исламских движений, которые заняли господствующее положение в оппозиции и утвердили себя в качестве единственной жизнеспособной альтернативы находящимся у власти режимам, немало способствовала политика этих режимов. В различные периоды “холодной войны” многие правительства, в том числе Алжира, Турции, Иордании, [с .171] Египта и Израиля, поддерживали и поощряли исламистов как борцов с коммунизмом или враждебными национально-освободительными движениями. По крайней мере вплоть до Войны в Заливе Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива выделяли значительные средства для Мусульманского братства и исламистских групп в различных странах. Тому, что исламистские группировки смогли занять доминирующее положение в оппозиции, содействовал также тот факт, что правительство боролось со светской оппозицией. Сила фундаменталистов обычно менялась обратно пропорционально влиянию светских демократических или патриотических партий. Фундаменталисты были слабее в странах вроде Марокко и Турции, которые разрешили у себя определенную форму многопартийной борьбы, чем в странах, где подавляли любую оппозицию . Светская оппозиция намного более чувствительна к репрессиям, чем любая религиозная оппозиция. Последняя может существовать внутри или за сетью мечетей, благотворительных организаций, фондов и других мусульманских институтов, которые правительство не в силах запретить. У либеральных демократов нет подобного прикрытия, поэтому правительству их легче контролировать и разгонять.

В попытке сдержать рост исламистских тенденций правительства начали развивать религиозное образование в контролируемых государством школах, где часто стали преобладать исламистские учителя и идеи, а также увеличили помощь, оказываемую религии и религиозным образовательным учреждениям. Эти действия были отчасти доказательством преданности правительства идеалам ислама. При помощи финансирования удалось усилить правительственный контроль над исламскими учреждениями и образованием. Однако, помимо этого, большое количество студентов и учащихся усвоили с образованием исламские ценности, отчего они легче поддавались исламистским призывам, а выпускники становились воинствующими борцами за дело ислама. [с .172]

Сила Исламского возрождения и притягательность исламистских движений заставили правительства поддерживать исламские институты и обычаи, а также позаимствовать исламские символы и обычаи для своих режимов. На самом широком уровне это означает утверждение или подтверждение исламского характера своей страны или общества. В 1970-е и 1980-е политические лидеры буквально бросились отождествлять себя и свои режимы с исламом. Король Иордании Хусейн, убежденный, что у светского правительства весьма призрачные перспективы в арабском мире, заговорил о необходимости создать “исламскую демократию” и “модернизированный ислам”. Король Марокко Хассан делал акцент на своем происхождении от Пророка и его роли “предводителя правоверных”. Султан Брунея, за которым ранее не замечали приверженности исламу, вдруг стал “чрезвычайно благочестив” и определил свой режим как “малайскую мусульманскую монархию”. Бен Али в Тунисе начал регулярно обращаться к Аллаху в своих речах, “облачаться в одеяния ислама”, чтобы привлечь внимание исламистских групп . В начале девяностых Су-харто явно поставил перед

собой политическую задачу стать “большим мусульманином”. В Бангладеше принцип “светскости” был выброшен из конституции в середине 70-х, а в начале девяностых светская, кемалистская идентичность Турции впервые подверглась серьезному испытанию. Чтобы подчеркнуть преданность исламу, государственные лидеры — Озал, Сухарто и Каримов — поспешили совершить *хадж*.

Правительства мусульманских стран также действуют в направлении исламизации закона. В Индонезии исламские юридические нормы и практика были включены в светскую юридическую систему. Малайзия, напротив, по причине большой доли немусульманского населения двигалась по пути создания двух отдельных юридических систем — исламской и светской. В Пакистане во время пребывания у власти режима генерала Зия Ульхака были предприняты [с .173] огромные шаги по исламизации закона и экономики. Были введены исламские наказания, организована система шариатских судов, а шариат был провозглашен высшим правом страны.

Подобно другим проявлениям глобального религиозного возрождения, Исламское возрождение является одновременно и следствием модернизации, и попыткой схватиться с ней врукопашную. Лежащие в ее основе причины, как правило, те же, что вызвали индигенизацию в не-западных обществах: урбанизация, социальная мобилизация, высокий уровень грамотности и образованности, усиление интенсивности коммуникаций и роли средств массовой информации, расширение связей с западной и другими культурами. Эти процессы подрывают традиционный сельский уклад и клановые узы, порождают отчужденность и кризис идентичности. Исламистские символы, взгляды и убеждения отвечают порожденным этим психологическим запросам, а исламистские благотворительные организации — общественным, культурным и экономическим нуждам мусульман, захлестнутых процессом модернизации. Мусульмане ощущают потребность возвращения к исламским идеям, обычаям и институтам, чтобы дать ориентир и двигатель для модернизации.

Исламское возрождение, согласно одному из заявлений, было также “результатом заката могущества и престижа Запада...Вместе с тем, как Запад отказался от тотальной власти, его идеалы и институты утратили блеск”. Если быть более точным, Исламское возрождение побудил и подогрел нефтяной бум 1970-х, который повысил благосостояние и могущество многих мусульманских народов, а также позволил им перевернуть взаимоотношения господства и подчинения, которые существовали у них с Западом. Как заметил в то время Джон Б. Келли: “Жителям Саудовской Аравии несомненно доставило двойное удовольствие причинить унижительные страдания жителям Запада; потому что это было не только выражением могущества Саудовской Аравии, демонстрацией или намерением демонстрации [с .174] презрения к христианству и превосходства ислама”. Действия мусульманских стран, обладающих богатыми нефтяными запасами, “если их поместить в их историческую, религиозную, расовую или культурную среду, свелись к простой наглой попытке мусульманского Востока обложить данью христианский Запад”. Правительства Саудовской Аравии, Ливии и других стран использовали свои нефтяные богатства для того, чтобы поощрять и финансировать мусульманское возрождение, и именно это богатство способствовало тому, что интересы мусульман переключились от очарования западной культурой к глубокой заинтересованности своей собственной и к готовности утверждать место и важность ислама в не-исламских обществах. Точно так же, как западные богатства до этого свидетельствовали о превосходстве западной культуры, нефтяные богатства стали доказательством преимуществ ислама. Импульс, вызванный взвинченными ценами на нефть, сошел на нет в 1980-е, но население неуклонно продолжало прирастать. В то время как духовный подъем Восточной Азии был обеспечен впечатляющими темпами экономического роста, Исламское возрождение было обеспечено впечатляющими темпами роста населения. Демографический рост в исламских государствах, особенно на Балканах, в Северной Африке и Центральной Азии, значительно превышал показатели соседних стран и мира в целом. С 1965 по 1990 год количество людей на Земле выросло с 3,3 млрд. до 5,3

млрд., т.е. ежегодный прирост составлял около 1,85%. В мусульманских странах темпы роста всегда были выше двух процентов, и часто превосходили 2,5%, а временами — и все 3%. Например, между 1965 и 1990 годами население Магриба увеличивалось на 2,65% в год, и выросло с 29,8 до 59 миллионов человек, причем население Алжира росло со скоростью 3 процента в год. В тот же период количество египтян росло со скоростью 2,3% — с 29,4 до 52,4 миллиона. В Центральной Азии в период с 1970 до [с .175] 1993 года темпы роста составляли: 2,9% в Таджикистане, 2,6% в Узбекистане, 2,5% в Туркменистане, 1,9% в Кыргызстане, всего 1,1% в Казахстане, чье население почти наполовину состоит из русских. В Пакистане и Бангладеш темпы роста населения составили более 2,5% в год, а в Индонезии — свыше 2%. В целом же мусульмане, как уже упоминалось, составляли в 1980 году около 18% населения мира. К 2000 году эта доля, по-видимому, будет составлять более 20%, а к 2025-му увеличится до 30% .

Темпы роста населения в странах Магриба и других государствах достигли своего пика и сейчас начинают снижаться, но рост в абсолютном выражении продолжается, и он будет оставаться высоким. Влияние этого роста будет ощущаться в первые годы двадцать первого века, потому что среди мусульманского населения будет непропорционально большая доля молодого населения с преобладанием подростков и двадцатилетних, (см. рис. 5.2). Кроме того, люди из этой возрастной группы будут проживать преимущественно в городах и иметь по крайней мере среднее образование. Это сочетание большой численности и социальной мобильности имеет три значительных политических последствия.

Во— первых, молодежь -это олицетворение протеста, нестабильности, реформ и революции. История знает немало примеров, когда значительная величина доли молодежи в обществе совпадала с такими явлениями. Есть мнение, что “Протестантская Реформация — это пример одного из самых выдающихся молодежных движений в истории”. Демографический рост, как убедительно показал Джек Голд-стоун, был центральным фактором двух революционных волн, прокатившимся по Евразии в середине семнадцатого и конце восемнадцатого столетий . Заметное увеличение доли молодежи в западных странах совпало с “Веком демократической революции” в последние десятилетия восемнадцатого века. В девятнадцатом веке успешная индустриализация и эмиграция снизили политическое влияние [с .176] молодого населения в европейских странах. Однако доля молодых в обществе вновь поднялась в 1920-е, обеспечив кадрами фашистов и другие экстремистские движения . Четыре десятилетия спустя послевоенный всплеск рождаемости оставил о себе политический след в виде демонстраций и протестов 1960-х.

Рисунок 5.2. (с. 177)

Демографические изменения: исламский мир, Россия и Запад

Источники: United Nations. Population Division, Oeapartament for Economie and Social

Исламская молодежь раскрывается в Исламском возрождении. После того как началась Исламское возрождение в 1970-е годы и набрала обороты в 1980-е, доля молодежи (т.е. лиц от пятнадцати до двадцати четырех лет) в основных мусульманских странах значительно возросла и стала переваливать за 20%. Во многих мусульманских странах “молодежный пик” (увеличение доли молодежи среди населения) уже достигал максимума в семидесятых и восьмидесятых, а в других этот пик придется на следующее столетие [с .177] (см. таблицу 5.1). Действительные или прогнозируемые пики во всех этих странах, с одним исключением, превышают 20%. Прогнозируемый пик для Саудовской Аравии, который приходится на первое десятилетие двадцать первого века, лишь немного не дотягивает до этой цифры. Эта молодежь обеспечивает новыми кадрами исламистские организации и политические движения. Видимо, не является чистым совпадением тот факт, что доля молодежи в Иране резко возросла в 1970-х, достигнув 20 процентов во второй половине этого десятилетия (т.е. семидесятых), как раз во время иранской революции, которая произошла в 1979 году, или другой факт — что эта отметка доли молодежи была достигнута в Алжире в начале девяностых, именно когда исламистский Фронт исламского спасения добился народной

поддержки и записывал на свой счет победы на выборах. Возможно, существуют региональные вариации в положении “молодежного пика” среди мусульман (рис. 5.3). Необходимо относиться к этим данным крайне осторожно, но прогнозы показывают, что доля молодежи среди боснийского и албанского населения начнет резко снижаться на стыке столетий. В странах Залива, напротив, “пик молодежи” будет [с .178] оставаться достаточно высоким. В 1988 году наследный принц Саудовской Аравии Абдулла заявил, что величайшей угрозой для его страны является рост исламского фундаментализма среди саудовской молодежи . Согласно этим прогнозам, такая угроза будет еще долго сохраняться в двадцать первом веке.

Рисунок 5.3. (с. 179)

Мусульманские “молодежные пики” по регионам

Источники: см. рисунок 5.2.

В главных арабских странах (Алжир, Египет, Марокко, Сирия, Тунис) число людей двадцати с небольшим лет, ищущих работу, будет расти примерно до 2010 года. По сравнению с 1990-м, количество соискателей на рынке труда увеличится на тридцать процентов в Тунисе, примерно на 50% в Алжире, Египте и Марокко и более чем на 100% в Сирии. Резкий рост грамотности в арабских странах приводит к разрыву между грамотным молодым поколением и преимущественно неграмотным старшим, поэтому “несовпадение знаний и власти”, скорее всего, “внесет напряженность в политические системы” . [с .179]

Большому населению необходимо больше ресурсов, поэтому населению из стран с плотным и/или быстро растущим населением свойственно занимать территории и оказывать давление на другие, менее динамичные в демографическом плане народы. Таким образом, рост исламского населения является основным фактором, вызывающим конфликты вдоль границ исламского мира между мусульманами и другими народами. Перенаселенность в сочетании с экономической стагнацией способствует миграции мусульман на Запад и другие немусульманские общества, создавая из эмиграции проблему для этих стран. Соприкосновение быстро растущего народа из одной культуры с медленно растущим или угасающим народом другой культуры приводит к проблемам в экономическом и/или политическом устройстве в обоих обществах. В 1970-е годы, например, демографический баланс в бывшем Советском Союзе резко изменился, когда число мусульман выросло на 24%, а русских — на 6,5%, что вызвало немалую тревогу у коммунистических лидеров Центральной Азии . Подобный рост количества албанцев не воодушевил сербов, греков и итальянцев. Израильяне озабочены высокими темпами роста населения Палестины, а Испания, чье население растет менее чем на одну пятую процента в год, с беспокойством смотрит в сторону своих соседей из Магриба, где темпы роста в десять раз выше, а доля валового национального продукта (ВНП) на душу населения — в десять раз ниже.

Вызовы меняются

Ни в одной стране не может вечно продолжаться экономический рост, измеряемый двузначными числами, и азиатский экономический бум пойдет на спад где-то в начале двадцать первого века. Темпы японского экономического роста значительно упали в середине 1970-х и с тех пор не намного превышали показатели Соединенных Штатов и [с .180] европейских стран. Одна за другой азиатские страны “экономического чуда” будут наблюдать у себя снижение показателей роста и переход на “нормальный” уровень, свойственный обычной развитой экономике. То же самое и с религиозным возрождением — оно не может длиться вечно, и на каком-то этапе Исламское возрождение сойдет на нет и канет в Лету. Это, скорее всего, произойдет после того, как демографический импульс, подпитывающий ее, ослабнет во втором-третьем десятилетии двадцать первого века. В это

время ряды активистов, воинов и мигрантов сократятся, а высокий уровень противоречий внутри ислама, а также между мусульманами и другими обществами (см. главу 10), скорее всего, пойдет на убыль. Взаимоотношения между исламом и Западом не станут близкими, но они станут менее конфликтными, а квази-война (см. главу 9), скорее всего, уступит место “холодной войне” или, пожалуй, даже “холодному миру”.

Экономическое развитие в Азии оставит в наследство богатые, сложные экономические структуры, прочные международные связи, преуспевающую буржуазию и благополучный средний класс. Все это должно привести к возникновению более плюралистичной и, возможно, более демократичной политики, которая, однако, не обязательно будет более прозападной. Усиление могущества, напротив, послужит стимулом развития азиатской самоуверенности в международных делах и попытках направить глобальные тенденции в сторону, неблагоприятную для Запада, и перестроить международные институты таким образом, чтобы там не использовались западные нормы и модели. Исламское возрождение, как и схожие движения, включая Реформацию, также оставит после себя значительный след. Мусульмане будут иметь намного более ясное представление о том, что у них есть общего и что отличает их от не-мусульман. Новое поколение лидеров, которое придет к власти после того, как поколение мусульманского “пика молодежи” станет старше, не обязательно будет фундаменталистским, но будет более предано идеалам ислама, чем его предшественники. [с .181] Усилится индигенизация. Исламское возрождение создаст сеть исламистских общественных, культурных, экономических и политических организаций в рамках стран и международных союзов более крупных обществ. Кроме того, Исламское возрождение покажет, что “ислам — это решение” проблем с моралью, идентичностью, смыслом и верой, но не проблем социальной несправедливости, политических репрессий, экономической отсталости и военной слабости. Эти неудачи могут вызвать всеобщее разочарование в политическом исламе и вызвать определенную реакцию против него, а также подтолкнуть к поиску альтернативных “решений” этих проблем. Вероятно, может возникнуть даже более яростный антизападный национализм, который будет обвинять Запад во всех неудачах ислама. Есть и другая возможность: если в Малайзии и Индонезии продолжится экономический прогресс, они смогут передоложить “исламскую модель” развития, которая будет конкурировать с западной и азиатской моделями.

В любом случае, в ближайшие десятилетия экономический рост в Азии будет оказывать глубоко дестабилизирующий эффект на установившийся международный порядок, где доминирует Запад, а развитие Китая, если оно продолжится, приведет к значительным изменениям в соотношении сил среди цивилизаций. Кроме того, Индия может добиться бурного экономического роста и заявить о себе как о главном претенденте на влияние на мировой арене. Тем временем рост мусульманского населения будет дестабилизирующей силой как для мусульманских стран, так и их соседей. Большое количество молодежи со средним образованием будет продолжать подпитывать Исламское возрождение и поощрять мусульманскую воинственность, милитаризм и миграцию. В результате этого в начале двадцать первого века мы станем свидетелями продолжающегося возрождения могущества и культуры не-западных обществ, а также увидим столкновение народов из не-западных цивилизаций с Западом и друг с другом. [с .182]

Примечания

Некоторые читатели могут удивиться, отчего выражение “Исламское возрождение” пишется с большой буквы. Причина в том, что этими терминами описывают чрезвычайно важные исторические события, затрагивающие, по меньшей мере, одну пятую человечества и не менее важные, чем Американская революция, Французская революция или Русская революция, а также сравнимы и схожи с протестантской Реформацией в западном обществе, чьи названия пишутся с прописной буквы.

ЧАСТЬ 3. ВОЗНИКАЮЩИЙ ПОРЯДОК ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Глава 6. Культурная перестройка структуры глобальной политики

В поисках объединения: политика идентичности

Под влиянием модернизации глобальная политика сейчас выстраивается по-новому, в соответствии с направлением развития культуры. Народы и страны со схожими культурами объединяются, народы и страны с различными культурами распадаются на части. Объединения с общими идеологическими установками или сплотившиеся вокруг сверхдержав уходят со сцены, уступая место новым союзам, сплотившимся на основе общности культуры и цивилизации. Политические границы все чаще корректируются, чтобы совпасть с культурными: этническим, религиозными и цивилизационными. Культурные сообщества приходят на смену блокам времен “холодной войны”, и линии разлома между цивилизациями становятся центральными линиями конфликтов в глобальной политике.

Во времена “холодной войны” страна могла не принадлежать ни к какому блоку, что многие и делали, или, как поступали некоторые, переходить из одного союза в другой. Лидеры страны могли принимать решения на основе своих соображений относительно интересов безопасности, расчетов соотношения сил и своих идеологических предпочтений. В новом мире центральным [с .185] фактором, определяющим симпатии и антипатии страны, станет культурная идентичность. Да, страна могла жать вступления в блок во время “холодной войны”, но она не может не иметь идентичности. Вопрос “На чьей вы стороне?” сменился более принципиальным: “Кто вы?”. Каждая страна должна иметь ответ. Этот ответ, культурная идентичность страны, и определяет ее место и мировой политике, ее друзей и врагов.

1990—е годы увидели вспышку глобального кризис идентичности. Почти везде, куда ни посмотри, люди спрашивали себя: “Кто мы такие?” “Откуда мы?” и “Кто не с нами?”. Эти вопросы были центральными не только для народов, пытающихся построить новые национальные государства, как в бывшей Югославии, но и для многих друг, В середине 90-х среди стран, где активно обсуждались вопросы национальной идентичности, были: Алжир, Кана Китай, Германия, Великобритания, Индия, Иран, Япония, Мексика, Марокко, Россия, ЮАР, Сирия, Тунис, Турция, Украина и Соединенные Штаты. Наиболее остро вопрос идентичности стоял, конечно же, в расколотых государствах, в которых проживают значительные группы людей из различных цивилизаций.

Когда приходит кризис идентичности, для людей в первую очередь имеет значение кровь и вера, религия и семья Люди сплачиваются с теми, у кого те же корни, церковь, язык, ценности и институты и дистанцируются от тех, у кого они другие. В Европе таким странам, как Австрия, Финляндия и Швеция, которые в культурном плане принадлежат к Западу, пришлось “развестись” с Западом и стать нейтральными в годы “холодной войны”. Сейчас они смогли присоединиться к своим братьям по культуре из Европейского Союза. Католические и протестантские страны бывшего Варшавского договора — Польша, Венгрия, Чешская Республика и Словакия — стремятся вступить в Евросоюз и НАТО, и их примеру следует Прибалтика. Европейские державы явно дают понять, что они не хотят принимать [с .186] мусульманскую страну, Турцию, в состав Европейского Союза и не слишком рады видеть вторую мусульманскую страну, Боснию, на Европейском континенте. На севере развал Советского Союза привел к появлению новых (и старых) моделей взаимоотношений среди прибалтийских стран, а также их отношений со Швецией и Финляндией. Премьер-министр Швеции открыто напоминает России, что прибалтийские республики —

часть шведского “ближнего зарубежья” и что Швеция не сможет сохранять нейтралитет в случае, если Россия нападет на них.

Схожие изменения происходят и на Балканах. Во время “холодной войны” Греция и Турция были членами НАТО, Болгария и Румыния входили в Варшавский договор, Югославия придерживалась политики неприсоединения, а Албания была закрытой страной, иногда входившей в союз с коммунистическим Китаем. Сейчас эти модели времен “холодной войны” уступают место цивилизационным, чьи корни уходят в ислам и православие. Балканские лидеры говорят о появлении греческо-сербо-болгарского православного альянса. “Балканские войны, — заявил премьер-министр Греции, — заставили зазвучать резонанс православных связей... это тесные узы. Они были скрыты, но в свете событий на Балканах они принимают четкие очертания. В изменчивом мире люди ищут идентичность и безопасность. Люди обращаются к корням и связям, чтобы защититься от неизвестного”. Эти взгляды разделяет и лидер ведущей оппозиционной партии в Сербии: “Ситуация на юго-востоке Европы вскоре потребует создания балканского альянса православных стран, включая Сербию, Болгарию и Грецию, чтобы противостоять вторжению ислама”. Православные Сербия и Румыния обратили свои взгляды на север и активно сотрудничают при решении общих проблем с католической Венгрией. С исчезновением советской угрозы “противоестественный” союз Греции с Турцией потерял всякое свое значение, и вот уже мы видим эскалацию напряженности между ними, усиление конфликтов из-за Эгейского моря, [с .187] Кипра, их военного баланса, их роли в НАТО и Европейском Союзе, а также их отношений с Соединенными Штатами. Турция хочет утвердить себя в роли защитника балканских мусульман и оказывает помощь Боснии. В бывшей Югославии Россия поддерживает православную Сербию, а Германия — католическую Хорватию, мусульманские страны едины в своем стремлении помочь боснийскому правительству, и сербы воюют с хорватами, боснийскими мусульманами и албанскими мусульманами. В общем, Балканы снова были “балканизированы” по религиозному признаку. “Сейчас появляются две оси, — пишет Миша Гленни, — одна из которых одета в рясы восточного православия, вторая облачена в исламскую чадру”, и существует возможность “еще более острой борьбы за влияние между осью Белград — Афины и альянсом Албания — Турция” .

Тем временем в бывшем Советском Союзе православные Беларусь, Молдова и Украина тяготеют к России, а армяне и азербайджанцы воюют друг с другом, в то время как их русские и турецкие братья пытаются поддержать их и остановить конфликт. Российская армия воюет с мусульманскими фундаменталистами в Таджикистане и мусульманскими националистами в Чечне. Бывшие советские, ныне независимые мусульманские республики стремятся создать различные формы экономических и политических связей друг с другом и расширить сотрудничество со своими мусульманскими соседями, в то время как Турция, Иран и Саудовская Аравия прилагают огромные усилия для того; чтобы укрепить связи с этими новыми государствами. В Индокитае продолжаются острые разногласия Пакистана и Индии по поводу Кашмира и военного баланса между ними. Кровавое пролитие в Кашмире усиливается, и в Индии разгораются все новые конфликты между мусульманскими и индуистскими фундаменталистами.

В Восточной Азии, где проживают шесть различных цивилизаций, усиливается гонка вооружений и начинаются территориальные споры. Три “малых Китая” — Тайвань, [с .188] Гонконг и Сингапур, а также зарубежные китайские сообщества из Юго-Восточной Азии все больше ориентируются на “материк”, сотрудничают с ним и зависят от него. Две Кореи нерешительно, но верно движутся к объединению. В юго-восточных странах взаимоотношения между мусульманами, с одной стороны, и китайцами и христианами — с другой, становятся все более напряженными и подчас доходят до насилия.

Экономические союзы в Латинской Америке — Mercosur, Андский пакт, Троишный пакт (Мексика, Колумбия и Венесуэла), Центральноамериканский Общий рынок вступили в новую жизнь, тем самым вновь подтверждая факт, наиболее ярко продемонстрированный

Европейским Союзом, что экономическая интеграция проходит намного быстрее и заходит дальше, если она основана на культурной общности. В то же время Соединенные Штаты и Канада пытаются вовлечь Мексику в Североамериканскую зону свободной торговли, и успех этого процесса в долгосрочной перспективе в большой мере зависит от способности Мексики переопределиться в культурном плане и перейти из Латинской Америки в Северную Америку.

С уходом миропорядка времен “холодной войны” страны всего мира начали воскрешать старые антагонизмы и симпатии. Государства активно ищут общность и находят эту общность со странами с той же культурой и из той же цивилизации. Политики взывают, а люди отождествляют себя с “большими” или великими (“большими”) культурными сообществами, которые превосходят границы национальных государств. Среди таких общностей “Великая Сербия”, “Великий Китай”, “Великая Турция”, “Великая Венгрия”, “Великая Хорватия”, “Великий Азербайджан”, “Великая Россия”, “Великая Албания”, “Великий Иран” и “Великий Узбекистан”.

Будут ли политические и экономические союзы всегда совпадать с культурными и цивилизационными? Конечно же нет. Соображения баланса сил будут время от времени [с .189] приводить к межцивилизационным альянсам, как это было в случае с Францем I, который вступил в союз с Османской империей против Габсбургов. Кроме того, сложившиеся модели альянсов, которые служили интересам государства в одну эпоху, останутся и в следующей. Однако они, скорее всего, станут слабее и менее значимыми, и им придется адаптироваться под условия новой эпохи. Греция и Турция, несомненно, останутся членами НАТО, но их связи с другими странами НАТО, вероятнее всего, ослабнут. То же самое можно сказать и об альянсе Соединенных Штатов с Японией и Кореей, их де-факто альянсе с Израилем, о связях в области безопасности с Пакистаном. Полицивилизационные международные организации, такие как АСЕАН, могут столкнуться с трудностями в поддержании сплоченности. Такие страны, как Индия и Пакистан, которые во время “холодной войны” были партнерами различных стран, теперь могут по-новому определить свои интересы и искать новые союзы, которые будут лучше отражать реалии современной политики. Африканские страны, которые зависели от западной помощи, оказываемой в противовес советскому влиянию, теперь все чаще смотрят на ЮАР в поисках лидерства и помощи.

Почему же культурная общность облегчает сотрудничество и единство среди людей, а культурные различия ведут к расколу и конфликтам?

Во— первых, у каждого есть несколько идентичностей, которые могут конкурировать друг с другом или дополнять друг друга: родственные, профессиональные, культурные, институциональные, территориальные, образовательные, религиозные, идеологические и другие. Идентификации на одном уровне могут сталкиваться с теми, что находятся на другом уровне. Классический случай: в 1914 году немецким рабочим пришлось выбирать между своей классовой идентификацией с международным пролетариатом и своей национальной идентификацией с немецким народом и империей. В современном мире культурная идентификация приобретает [с .190] все большее значение по сравнению с другими направлениями идентичности.

В каждом направлении идентичность наиболее значима при непосредственном контакте “лицом к лицу”. Более узкие идентичности, однако, не обязательно вступают в конфликт с более широкими. Офицер армии может идентифицировать себя институционально со своей ротой, полком, дивизией и родом войск. Аналогично, любой человек может идентифицировать себя со своим кланом, этнической группой, национальностью, религией и цивилизацией. Рост важности культурной идентификации на низком уровне может усилить ее значимость на высоком уровне. Как заметил Берк, “Любовь к целому не угасает из-за этого частного случая... Быть привязанным к подразделению, любить тот маленький взвод, к которому мы принадлежим в обществе, — вот самый первый принцип (зародыш, так сказать) любви к своему народу”. В мире, где культура важна, взводы

— это племена и этнические группы, полки — это народы, а армии — это цивилизации. Все увеличивающаяся степень разделения людей во всем мире по культурному признаку означает, что все большую важность приобретают конфликты между культурными группами; цивилизации — это культурные целостности самого широкого уровня; поэтому центральное место в глобальной политике занимают конфликты между различными цивилизациями.

Во— вторых, увеличение значимости является в большой мере, как это было показано в главах 5 и 4, результатом социально-экономической модернизации на индивидуальном уровне, где из-за нарушения привычных устоев и отчуждения создается необходимость поиска более значимых идентичностей, а также на уровне общества, где рост могущества и влияния не-западных обществ стимулируют возрождение местных идентичности и культуры.

В— третьих, идентичность на любом уровне -личности, племени, [с .191] расы, цивилизации — можно определить только через отношение к “другим”: другому человеку, племени, расе, цивилизации. История показывает нам, что взаимоотношения между странами или другими общностями людей одной и той же цивилизации отличаются от взаимоотношений между странами или общностями из разных цивилизаций. Различные законы регулировали поведение с теми, “как мы”, и теми “варварами”, которыми мы не являемся. Правила, принятые у христианских народов для взаимоотношений друг с другом, отличались от тех, которые были созданы для контактов с турками и другими “язычниками”. Мусульмане по-разному вели себя с представителями *дар ал-ислам* и *дар ал-гарб*. Китайцы делали различие между китайскими иностранцами и не-китайскими иностранцами. Цивилизационное “мы” и внецивилизационное “они” — вот константы человеческой истории. Эти различия между внутри— и внецивилизационным поведением возникли из-за следующих факторов:

- чувства превосходства (временами — неполноценности) по отношению к людям, которые воспринимаются как совершенно другие;
- боязни таких людей и отсутствия веры в них;
- сложности в общении с ними из-за проблем с языком и тем, что считается вежливым поведением;
- недостаточной осведомленности о предпосылках, мотивациях, социальных взаимоотношениях и принятых в общем нормах у других людей.

В современном мире улучшения в области транспорта и связи привели к более частым, более плотным, более симметричным и более содержательным контактам среди людей различных цивилизаций. В результате этого у них усиливается национальная идентичность. Французы, немцы, бельгийцы и голландцы все чаще думают о себе как о европейцах. Ближневосточные мусульмане отождествляют себя с боснийцами и чеченцами и объединяются для помощи им. Китайцы по всей Восточной Азии отождествляют свои интересы с интересами китайцев, живущих “на [с .192] материке”. Русские отождествляют себя с сербами и другими православными народами и оказывают им помощь. Это широкие уровни цивилизационной идентичности означают более глубокое осознание цивилизационных различий и необходимости защищать то, что отличает “нас” от “них”.

В— четвертых, чаще всего конфликты между странами и группами, принадлежащими к различным цивилизациям, разгораются из-за обычных причин: контроль над населением, территорией, богатствами и ресурсами, а также относительного могущества, то есть возможность насадить собственные ценности, культуру и институты в другой группе по сравнению с возможностью другой группы сделать то же самое с вами. Но конфликты между культурными группами часто затрагивают вопросы культуры. Различия между светскими идеологиями -например, марксизмом-ленинизмом и либеральной демократией — можно как минимум обсуждать, как максимум разрешить. Разногласия в материальных интересах также можно уладить путем переговоров и свести к компромиссу, что невозможно в случае с вопросами культуры. Индуисты и мусульмане вряд ли решат вопрос, что строить в Айодхья — храм или мечеть, или и то и другое, или ничего, или синкретическое здание, которое

одновременно будет и храмом, и мечетью. Не поддаются легкому решению и кажущиеся чисто территориальными вопросами споры албанских мусульман и православных сербов за Косово или евреев с арабами за Иерусалим, поскольку эти места имеют глубокое историческое, культурное и эмоциональное значение для спорящих сторон. Точно так же ни французские власти, ни мусульманские родители скорее всего не обрадуются достигнутому компромиссу, согласно которому школьницам-мусульманкам разрешается носить традиционные мусульманские платья через день в течение школьного года. Подобные культурные вопросы ставят нас перед выбором: да или нет, все или ничего.

И, наконец, пятый фактор — это повсеместность конфликта. Человеку свойственно ненавидеть. Для самоопределения и мотивации людям нужны враги: конкуренты в [с .193] бизнесе, соперники в достижениях, оппоненты в политике. Естественно, люди не доверяют тем, кто отличается от них и имеет возможность причинить им вред, и видят в них угрозу. Разрешение одного конфликта и исчезновение одного врага порождает личные, общественные и политические силы, которые дают толчок к новым конфликтам. “Тенденция «мы» против «них», — как сказал Али Мазруи, — почти повсеместна на политической арене” . В современном мире “ими” все чаще и чаще становятся люди из других цивилизаций. С окончанием “холодной войны” конфликт не завершился, а вызвал к жизни новые идентичности, имеющие корни в культуре, и новые модели конфликтов между группами из различных культур, которые на самом широком уровне называются цивилизациями. В то же самое время общая культура стимулирует сотрудничество между государствами и группами, которые к этой культуре принадлежат, что можно видеть в возникающих моделях региональных союзов между странами, в первую очередь экономических.

Культура и экономическое сотрудничество

В начале 1990-х было слышно много разговоров о регионализации мировой политики. Региональные конфликты заняли место глобальных в повестке дня мировой безопасности. Ведущие державы, такие как Россия, Китай и Соединенные Штаты, а также государства второго плана, такие как Швеция и Турция, определили для себя новые интересы в области безопасности, явно руководствуясь региональными приоритетами. Торговля внутри регионов развивалась быстрее, чем торговля между регионами, и многие предвидели появление региональных экономических блоков: европейского, североамериканского, восточно-азиатского и, возможно, некоторых других. [с .194]

Однако термин “регионализация” неадекватно описывает происходившие тогда процессы. Регионы — это географические, а не политические или культурные целостности. Как в случае с Балканами или Ближним Востоком, их могут раздирать внутри — и межцивилизационные конфликты. Регионы служат основой для сотрудничества только тогда, когда география совпадает с культурой. В отрыве от культуры соседство не ведет к общности и может иметь прямо противоположный результат. Военные альянсы и экономические союзы требуют сотрудничества от своих членов; сотрудничество опирается на доверие, а доверие легче всего возникает на почве общих ценностей и культуры. В результате этого, хотя требования времени и цель также играют роль, общая эффективность региональных организаций обратно пропорциональна накоплению цивилизационных различий их членов. Организации, созданные внутри одной цивилизации, как правило, добиваются большего успеха и делают больше, чем межцивилизационные организации. Это касается как политических организаций и организаций по обеспечению безопасности, так и экономических союзов.

Успех НАТО в большой мере объясняется тем, что это центральная организация по обеспечению безопасности западных стран с общими ценностями и философскими предпосылками. Евросоюз — это продукт общеевропейской культуры. ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, напротив, имеет в своих рядах страны по

крайней мере из трех цивилизаций с довольно-таки разными ценностями и интересами, что является основной преградой для возникновения у ее членов значительной институциональной идентичности, а также для осуществления целого ряда важных действий. Тринадцать англоязычных бывших английских колоний, которые входят во моноцивилизационное Сообщество стран Карибского бассейна (CARICOM), подписали между собой целый ряд договоренностей по сотрудничеству, причем между некоторыми подгруппами этой общности имеет место еще более [с .195] тесное сотрудничество. Однако попытки создать более широкую организацию, которая соединила бы англо-испанский разрыв в одну линию в Карибском регионе провалились. То же самое и с созданной в 1985 году Южноазиатской ассоциацией регионального сотрудничества, состоящей из семи индуистских, мусульманских и буддистских стран, которая оказалась практически недееспособной, неспособной даже проводить встречи.

Взаимоотношения культуры и регионализма наиболее явно проявляются в экономической интеграции. Можно выделить четыре степени экономической интеграции (по мере возрастания):

- зоны свободной торговли;
- таможенные союзы;
- общие рынки;
- экономические союзы.

Европейский Союз продвинулся дальше всех по пути интеграции, достигнув общего рынка со многими элементами экономического союза. Относительно однородные страны МЕРКОСУР и Андского Пакта в 1994 году находились на стадии установления таможенного союза. Полицивилизационная Ассоциация государств Юго-Восточной Азии АСЕАН только в 1992 году подошла к созданию зоны свободной торговли. Другие полицивилизационные экономические организации отставали еще больше. В 1995 году, за исключением НАФТА, ни одна подобная организация не создала зона свободной торговли, не говоря уже о более интенсивной форме экономической интеграции.

В Западной Европе и Латинской Америке цивилизационная общность стимулирует сотрудничество и региональную организацию. Жители Западной Европы и Латинской [с .196] Америки знают, что у них много общего. В Восточной Азии существует пять цивилизаций (а если считать Россию, то шесть). Следовательно, Восточная Азия является испытательным полигоном по созданию организаций, не основанных на общей цивилизации. На начало 1990-х годов в восточной Азии еще не было создано организации по обеспечению безопасности или многосторонних военных альянсов, сопоставимых с НАТО. В 1967 году была создана одна полицивилизационная региональная организация — АСЕАН, участниками которой являлись одна буддистская, одна синская, одна христианская и две мусульманских страны, все они столкнулись с серьезными проблемами в виде коммунистических восстаний и потенциальных угроз от Северной Кореи и Китая.

АСЕАН часто называют примером эффективной много культурной организации. Но в то же время она является и примером того, сколько недостатков имеется у подобных организаций. Это не военный альянс. В то время как ее члены сотрудничают в военной сфере, они также раздувают свои военные бюджеты и наращивают военный потенциал, что резко контрастирует с сокращением вооружений в Западной Европе и Латинской Америке. В экономическом плане АСЕАН с самого начала была создана для достижения “скорее экономического сотрудничества, чем экономической интеграции”, в результате чего “мало-помалу” развились тенденции регионализма, а зону свободной торговли даже и не мечтают создать ранее XXI века. В 1978 году АСЕАН основала Министерскую конференцию, в которой министры иностранных дел из этих стран могли встречаться со своими коллегами из стран-“партнеров по диалогу”: Соединенных Штатов, Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Европейского сообщества. Однако Министерская конференция была в первую очередь форумом для двусторонних переговоров и не могла решить “ни один серьезный вопрос, связанный с безопасностью”. В 1993 году

АСЕАН дала жизнь еще [с .197] более крупной организации — Региональному форуму АСЕАН, в который вошли, кроме стран-членов АСЕАН, их партнеры по диалогу, плюс Россия, Китай, Вьетнам, Лаос и Папуа-Новая Гвинея. Как подразумевает само название организации, она стала местом коллективных разговоров, а не коллективных действий. Участницы этой организации использовали свое первое заседание в июле 1994-го, чтобы “обсудить свое видение проблем региональной безопасности”, но острые углы сглаживались, и, как выразился один из высокопоставленных чиновников, если они возникали, “то заинтересованные стороны принимались нападать друг на друга” . АСЕАН и ее “отпрыски” собрали все недостатки, присущие полицивилизационным региональным организациям.

Значительные региональные организации Восточной Азии могут возникнуть только в том случае, если возникнет существенная восточно-азиатская культурная общность, которая сможет поддержать их. Страны Восточной Азии несомненно имеют много общих черт, которые отличают их от Запада. Премьер-министр Малайзии Магатир Мухаммад убежден, что эти общности обеспечивают основу для сотрудничества и стимулируют создание на их базе Восточно-азиатского Экономического Совета (ВАЭС). В него будут входить страны АСЕАН, Мьянма, Тайвань, Гонконг, Южная Корея и, самое главное, Китай и Япония. Магатир утверждает, что ВАЭС основан на общей культуре. О Совете следует думать “не просто как о географическом объединении, потому что он находится в Восточной Азии, но и как культурном объединении. Хотя жители Восточной Азии могут быть и японцами, и корейцами, и индонезийцами, в культурном плане у них есть определенные сходства... Европейцы объединяются и американцы объединяются. Нам, азиатам, тоже надо объединяться.” Целью Совета, как заявил один из единомышленников премьер-министра, является усиление “региональной торговли среди стран, имеющих общие корни здесь, в Азии” . [с .198]

Таким образом, основоположный принцип ВАЭС — экономика следует за культурой. Австралия, Новая Зеландия и Соединенные Штаты не включены в Совет, потому что в культурном плане это не азиатские страны. Однако успех ВАЭС во многом зависит от участия в нем Японии и Китая. И вот Магатир упрощает японцев вступить в Совет. “Япония — азиатская страна. Япония находится в Восточной Азии, — сказал он, обращаясь к японской аудитории. — Вы не можете отрицать этот геокультурный факт. Вы принадлежите к этому региону” . Японское правительство, однако не спешит вступать в ВАЭС, отчасти из-за страха обидеть Соединенные Штаты, отчасти из-за того, что оно пока не решило, стоит ли идентифицировать себя с Азией. Если Япония вступит в ВАЭС, то она будет в нем доминировать, что, скорее всего, вызовет страх и неуверенность остальных членов организации, а также сильное неприятие со стороны Китая. На протяжении нескольких лет было слышно много разговоров о том, что Япония создаст “новый блок” в противовес Европейскому Союзу и НАФТА. Япония, однако, это страна-одиночка со слабыми культурными связями со своими соседями, и в 1995-м йеновый блок еще не стал реальностью.

В то время как АСЕАН продвигается вперед медленными темпами, йеновый блок остается мечтой, Япония колеблется, ВАЭС никак не сдвинется с места, тем не менее экономическое взаимодействие в Восточной Азии резко усилилось. Эта экспансия основана на культурных связях среди восточно-азиатских китайских сообществ. Эти связи стимулировали “продолжение неформальной интеграции”, основанной на китайской международной экономике, по многим показателям сравнимой с Ганзейским союзом и, “возможно, ведущей к де-факто китайскому рынку” . (см. раздел “Великий Китай и зона совместного процветания”). В Восточной Азии, как и повсюду, культурная общность стала предпосылкой к значительной экономической интеграции. [с .199]

Окончание “холодной войны” стимулировало попытки по созданию новых и возрождению старых региональных экономических организаций. Успех этих попыток в огромной степени зависит от культурной однородности стран, их предпринимающих. Предложенный в 1994 году Шимоном Пересом план ближневосточного общего рынка,

скорее всего, останется “миражом в пустыне”, по крайней мере в ближайшем будущем. “Арабский мир, — как прокомментировал один палестинский политик, — не нуждается в организации или банке развития, в котором принимает участие Израиль” .

Ассоциация карибских стран, созданная в 1994 году для того, чтобы связать CARICOM с Гаити и испано-язычными странами региона, не слишком стремится преодолеть лингвистические и культурные различия среди пестрого множества своих участников, а также замкнутость бывших британских колоний и их чрезмерную ориентацию на Соединенные Штаты . А вот попытки более однородных в культурном плане организаций оказались плодотворными. Хотя и разделенные по субцивилизационным линиям, Пакистан, Иран и Турция в 1985 году возродили умирающую Организацию регионального сотрудничества и развития, которую они основали в 1977, переименовав ее в Организацию экономического сотрудничества (ОЭС). Вскоре были достигнуты договоренности по снижению налогов и целому ряду других мер, и в 1992 году членами ОЭС стали Афганистан и шесть бывших советских мусульманских республик. Тем временем пять центрально-азиатских бывших советских республик в 1991 году в принципе договорились о создании общего рынка, а в 1994 году две самые крупные страны, Узбекистан и Казахстан, подписали соглашение, которое разрешило “свободное обращение товаров, услуг и капитала” и координировало их фискальную, монетарную и тарифную политику. В 1991 году Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай присоединились к Mercosur, чтобы перепрыгнуть нормальные стадии экономической интеграции, и в 1995-м [с .200] уже имел место частичный таможенный союз. В 1990 году еще недавно стагнирующий Центральноамериканский Общий Рынок создал зоны свободной торговли, а в 1994 году ранее не в меньшей мере пассивные страны Андской группы создали таможенный союз. В 1992 году Вышеградские страны (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия) договорились о создании в Центральноевропейской зоне свободной торговли, а в 1994-м пересмотрели графики реализации этого плана в сторону ускорения .

За торговой экспансией следует экономическая интеграция, и в восьмидесятых и начале девяностых внутрирегиональная торговля приобрела большее значение, чем межрегиональная. В 1980-е годы торговля в пределах Европейского Союза составляла 50,6% от общего товарооборота ЕС, увеличившись к 1989 году до 58,9 процента. Схожие сдвиги в сторону региональной торговли произошли в Северной Америке и Восточной Азии. В Латинской Америке создание Mercosur и возрождение Андского пакта стимулировали рост торговли внутри Латинской Америки в начале 1990-х, когда товарооборот Бразилии и Аргентины в период с 1990 по 1993 год утроился, а у Колумбии с Венесуэлой вырос вчетверо. В 1994 году Бразилия стала основным торговым партнером Аргентины, вытеснив США. Создание НАФТА также сопровождалось значительным увеличением торговли Мексики с Соединенными Штатами. Торговля внутри Восточной Азии также росла быстрее, чем внерегиональная торговля, но эта экспансия была затруднена тенденцией Японии держать свои рынки закрытыми. Торговля между странами китайской культурной зоны (АСЕАН, Гонконг, Тайвань, Южная Корея и Китай), с другой стороны, увеличилась с чуть менее 20% от общего товарооборота этих стран в 1970 году до почти 30% в 1992-м, в то время как доля Японии на этом рынке снизилась с 23 до 13 процентов. В 1992 году экспорт стран китайской зоны в другие страны этой зоны превзошел как экспорт в Соединенные Штаты, так и совокупный экспорт в Японию и Евросоюз . [с .201]

Как уникальная страна и цивилизация, Япония встречается с трудностями в установлении экономических связей с Восточной Азией и разрешении экономических различий с Соединенными Штатами и Европой. Какие бы сильные торговые и инвестиционные связи ни удалось установить Японии с другими восточно-азиатскими странами, ее культурные отличия от других стран, особенно от их прокитайских экономических элит, мешает Японии создать региональную экономическую организацию, сравнимую с НАФТА или Евросоюзом, и стать ее лидером. В то же время культурные отличия Японии от Запада обостряют непонимание и антагонизм во взаимоотношениях

Страны восходящего солнца с Соединенными Штатами и Европой. Если экономическая интеграция зависит от культурной общности (а это, по всей видимости, именно так), то Япония как одинокая в культурном отношении страна может иметь экономически одинокое будущее. В прошлом модели торговли среди наций следовали и повторяли модели альянсов между нациями. В зарождающемся мире решающее влияние на структуру торговли будут оказывать культурные связи. Бизнесмены заключают сделки с теми, кого они могут понять и кому они могут доверять; государства отказываются от независимости ради международных союзов, созданных из стран со схожей ментальностью, где доверие появляется на почве взаимопонимания. Основой экономического сотрудничества является культурная общность.

Структура цивилизаций

Во время “холодной войны” все страны соотносились с двумя сверхдержавами как союзники, сателлиты, партнеру нейтральные или неприсоединившиеся. В мире после “Холодной войны” страны соотносятся с цивилизациями как страны-участницы, стержневые государства, страны-одиночки, [с .202] расколотые страны и разорванные страны. Подробно племенам и нациям, цивилизации имеют политическую структуру. *Страна-участница* — это страна, которая в культурном плане полностью отождествляет себя с одной цивилизацией, как Египет с арабско-исламской цивилизацией, а Италия — европейско-западной. Цивилизация также может включать в себя народы, которые разделяют ее культуру и отождествляют себя с ней, но живут в странах, где доминируют члены других цивилизаций. В цивилизациях обычно есть одно или более мест, которые рассматриваются ее членами как основной источник или источники культуры этой цивилизации. Такие источники обычно расположены в одной *стержневой стране* или странах цивилизации, то есть наиболее могущественной и центральной в культурном отношении стране или странах.

Количество и роль стержневых государств в различных цивилизациях отличаются и могут меняться со временем. Японская цивилизация практически совпадает с единственным стержневым государством — Японией. Синская, православная и индуистская цивилизации имеют абсолютно доминирующие стержневые страны, другие страны-участницы и народы, связанные с этими цивилизациями, которые живут в странах, где доминируют люди из других цивилизаций (зарубежные китайцы, русские из “ближнего зарубежья”, тамилы из Шри-Ланки). Исторически Запад обычно имел несколько стержневых стран; теперь у него два стержня: Соединенные Штаты и франко-германский стержень в Европе, плюс дрейфующий между ними дополнительный центр власти — Великобритания. Ислам, Латинская Америка и Африка не имеют стержневых стран. Отчасти это объясняется империализмом западных держав, которые делили между собой Африку, Ближний Восток, а в предыдущие столетия в меньшей мере — Латинскую Америку.

Отсутствие исламского стержневого государства представляет серьезную проблему как для мусульманских, так [с .203] и для не-мусульманских обществ, что рассматривается в главе 7. Что касается Латинской Америки, то Испания, вероятно, могла бы стать стержневым государством испано-говорящей или даже иберийской цивилизации, но ее лидеры сознательно предпочли, чтобы она стала страной-участницей европейской цивилизации, поддерживая в то же время культурные связи с бывшими колониями. Территория, ресурсы, население, военный и экономический потенциал говорят в пользу того, что будущим лидером Латинской Америки станет Бразилия, и, вероятно, так оно и будет. Однако Бразилия для Латинской Америки — то же самое, что Иран для ислама. Хоть все остальное и говорит о том, что это — стержневая страна, субцивилизационные различия (религиозные для Ирана, лингвистические для Бразилии) затрудняют принятие такой роли этими государствами. Таким образом, в Латинской Америке есть несколько государств — Бразилия, Мексика, Венесуэла и Аргентина, — которые сотрудничают и конкурируют за лидерство. Ситуация в Латинской Америке усложняется еще и тем, что Мексика пыталась переопределиться,

приняв североамериканскую идентичность вместо латиноамериканской, а за ней могут последовать Чили и другие страны. В конце концов латиноамериканская цивилизация может влиться в трехстержневую западную цивилизацию и стать ее подвариантом.

Способность любого потенциального государства стать лидером Африки ниже Сахары ограничена разделением этого континента на франко— и англоязычные страны. Какое-то время Кот-д'Ивуар был стержневым государством франкоязычной Африки. Однако в значительной мере стержневой страной французской Африки была Франция, которая после обретения независимости ее бывшими колониями поддерживала с ними тесные экономические, военные и политические связи. Обе страны, которые больше всего подходят на роль стержневых государств, являются англоязычными. Территория, ресурсы и месторасположение делают [с .204] потенциальной стержневой страной Нигерию, но ее межцивилизационная разобщенность, невероятная коррупция, политическая нестабильность, диктаторское правительство и экономические проблемы крайне затрудняют ей эту роль, хотя время от времени эта страна в ней оказывалась. Мирный переход ЮАР от апартеида, промышленный потенциал этой страны, высокий уровень экономического развития по сравнению с другими африканскими странами, ее военная мощь, природные ресурсы и система политического управления с участием белых и чернокожих — все это делает Южно-Африканскую Республику явным лидером Южной Африки, вероятным лидером англоязычной Африки и возможным лидером всей Африки ниже Сахары.

Страна— одиночка не имеет культурной общности с другими обществами. Так, например, Эфиопия изолирована в культурном плане из-за своего доминирующего языка -амхарского, в котором используется эфиопский алфавит, своей доминирующей религии — коптского православия, своей имперской истории, а также религиозной обособленности на фоне окружающих ее преимущественно исламских народов. Гаити тоже является страной-одиночкой вследствие особых причин: элита Гаити традиционно одобряет культурные связи этой страны с Францией, добавим к этому редкостный духовный сплав креольского языка, религии вуду, революционные традиции рабов и кровавое историческое прошлое. “Каждая нация уникальна, — заметил Сидни Минц, — но Гаити — это совершенно особый случай”. В результате, во время гаитянского кризиса 1994 года латиноамериканские страны не рассматривали Гаити как проблему Латинской Америки и не горели желанием принимать гаитянских беженцев, хотя принимали кубинских, “...в Латинской Америке, — как заявил избранный, но еще не вступивший в должность президент Панамы, — Гаити не воспринимается как латиноамериканская страна. Гаитянцы говорят на другом языке. У них другие этнические корни, другая культура. Они вообще [с .205] совсем другие”. В такой же мере Гаити отличается и от англоязычных черных стран Карибского бассейна. “Гаитянцы, — как заметил один из комментаторов, — настолько же чужды любому жителю Гренады или Ямайки, как и для жителей Айовы или Монтаны”. Гаити — “сосед, которого никто не желает”, это поистине страна без родни .

Наиболее значимая страна-одиночка — это Япония. Ни одна другая страна не разделяет ее самобытную культуру, а японские мигранты ни в одной стране не составляют значительной доли населения и не ассимилировались в культуры этих стран (например, японоамериканцы). Одиночество Японии усиливает и тот факт, что ее культура в высшей степени обособлена и не имеет потенциально универсальной религии (христианство, ислам) или идеологии (либерализм, коммунизм), которые можно было бы экспортировать в другие общества и таким образом установить культурную связь с этими обществами.

Почти все страны разнородны и состоят из двух или более этнических, расовых или религиозных групп. Многие страны разделены, и различия и конфликты между этими группами играют важную роль в политике этих стран. Глубина этого разделения обычно изменяется со временем. Глубокие различия в стране могут привести к массовому насилию или угрожать ее существованию. Эта угроза и движения за автономность или отделение чаще всего имеют место там, где культурные различия совпадают с различиями в географическом местоположении. Если культура и география не совпадают, то можно

добиться совпадения путем геноцида или насильственной миграции.

Страны с четкими культурными группами, принадлежащими к одной и той же цивилизации, могут быть глубоко разделенными, и может дойти даже до разделения (Чехословакия) или возможности разделения (Канада). Однако глубокое разделение, скорее всего, может возникнуть в *расколотой стране*, где большие группы принадлежат к различным цивилизациям. Такие разделения и сопровождающее [с .206] их напряжение часто приводят к тому, что основная группа, принадлежащая к одной цивилизации, пытается определить страну как свой политический инструмент и сделать свой язык, религию и символы государственными, как это попытались сделать индуисты, сингальцы и мусульмане в Индии, Шри-Ланке и Малайзии.

Расколотые страны, разделенные линиями разлома между цивилизациями, сталкиваются с особенно серьезными проблемами по поддержанию своей целостности. В Судане на протяжении десятилетий велась гражданская война между мусульманским севером и преимущественно христианским югом. Такое же цивилизационное разделение терзает нигерийскую политику сопоставимый отрезок времени и привело к одной крупной войне, плюс переворотам, восстаниям и другим формам насилия. В Танзании христианская материковая часть и арабский мусульманский Занзибар раскололись настолько, что во многих отношениях стали двумя отдельными странами. Занзибар в 1992 году тайно вступил в Организацию исламской конференции, затем под давлением Танзании был вынужден выйти из нее годом позже. То же христианско-мусульманское разделение порождает напряженность и конфликты в Кении. На Африканском Роге преимущественно христианская Эфиопия и в подавляющем большинстве мусульманская Эритрея отделились друг от друга в 1993 году. Однако в Эфиопии осталось еще значительное мусульманское меньшинство среди народа оромо. Среди других стран, разделенных цивилизационными линиями разлома, можно назвать следующие: Индия (мусульмане и индуисты), Шри-Ланка (буддисты-сингальцы и индуисты-тамилы), Малайзия и Сингапур (мусульмане-малайцы и китайцы), Китай (хани, тибетские буддисты, турки-мусульмане), Филиппины (христиане и мусульмане) и Индонезия (мусульмане и тиморские христиане).

Эффект линий разлома между цивилизациями, вызывающий разрыв, наиболее заметен в тех расколотых странах, [с .207] которые были объединены во время “холодной войны” авторитарными коммунистическими режимами, исповедующими марксистско-ленинскую идеологию. С коллапсом коммунизма культура вытеснила идеологию, и будто благодаря эффекту притяжения и отталкивания магнитных полей, Югославия с Советским Союзом распались на части и разделились на новые целостности, сгруппированные вдоль цивилизационных линий: прибалтийские (протестантские и католические), православные и мусульманские республики бывшего Советского Союза; католические Словения и Хорватия; частично мусульманские Босния и Герцеговина, а также православные Сербия-Черногория и Македония в бывшей Югославии.

Там, где образовавшиеся целостности все еще состоят из полицивилизационных групп, проявляется вторая фаза разделения. Босния и Герцеговина были разделены войной на сербский, мусульманский и хорватский сектора, а сербы и хорваты воевали друг с другом в Хорватии. Дальнейшее мирное существование албанского мусульманского Косова в пределах славянской православной Сербии под большим вопросом. Возрастает напряжение между мусульманским албанским меньшинством и славянским православным большинством в Македонии. Многие бывшие советские республики также разделены линиями разлома между цивилизациями, отчасти оттого, что советское правительство изменяло границы для того, чтобы создать разделенные республики, когда русский Крым отошел к Украине, а армянский Нагорный Карабах — к Азербайджану. В России есть несколько относительно небольших мусульманских меньшинств, особенно на Северном Кавказе и в Поволжье. В Эстонии, Латвии и Казахстане проживают большие русские общины, хотя это является в значительной мере результатом советской политики. Украина разделена на униатский националистический, говорящий по-украински запад и православный русскоязычный восток.

[с .208]

В расколоте стране основные группы из двух или более цивилизаций словно заявляют: “Мы различные народы и принадлежим к различным местам”. Силы отталкивания раскалывают их на части и их притягивают к цивилизационным магнитам других обществ. *Разорванная страна*, напротив, имеет у себя одну господствующую культуру, которая соотносит ее с одной цивилизацией, но ее лидеры стремятся к другой цивилизации. Они как бы говорят: “Мы один народ и все вместе принадлежим к одному месту, но мы хотим это место изменить”. В отличие от людей из расколотых стран люди из разорванных стран соглашаются с тем, кто они, но не соглашаются с тем, какую цивилизацию считать своей. Как правило, значительная часть лидеров таких стран придерживается кемалистской стратегии и считает, что их обществу следует отказаться от не-западной культуры и институтов и присоединиться к Западу; что необходимо одновременно и модернизироваться, и вестернизироваться. Россия была разорванной страной со времен Петра Великого, и перед ней стоял вопрос: стоит ли ей присоединиться к западной цивилизации или она является стержнем самобытной евразийской православной цивилизации. Конечно же, классической разорванной страной является страна Мустафы Кемаля, которая с 1920 годов пытается модернизироваться, вестернизироваться и стать частью Запада. После того как на протяжении почти двух столетий Мексика, противопоставляя себя Соединенным Штатам, определяла себя как латиноамериканскую страну, в 1980-е годы ее лидеры сделали свое государство разорванной страной, попытавшись переопределиться и причислить себя к североамериканскому обществу. Лидеры Австралии в 1990-е, напротив, пытаются дистанцироваться от Запада и сделать свою страну частью Азии, создав таким образом “разорванную-страну-наоборот”. Разорванные страны можно узнать по двум феноменам. Их лидеры определяют себя как “мостик” между двумя культурами, и наблюдатели описывают [с .209] их как двуликих Янусов: “Россия смотрит на Запад — и на Восток”; “Турция: Восток, Запад, что лучше?”; “Австралийский национализм: разделенная лояльность” — вот типичные заголовки, иллюстрирующие проблемы идентичности, стоящие перед разорванными странами .

Разорванные страны: провал смены цивилизаций

Чтобы разорванная страна могла переопределить свою цивилизационную идентичность, должны быть выполнены как минимум три условия. Во-первых, политическая и экономическая элита страны должна с энтузиазмом воспринимать и поддерживать данное стремление. Во-вторых, общество должно по крайней мере молча соглашаться с переопределением идентичности (или стремиться к этому). В-третьих, преобладающие элементы в принимающей цивилизации (в большинстве случаев это Запад) должны хотя бы желать принять новообращенного. Процесс переопределения идентичности может быть длительным, прерывающимся и болезненным в политическом, социальном, институциональном и культурном плане. На данный момент этот процесс нигде не увенчался успехом.

Россия

К 1990— м годам Мексика была разорванной страной в течение нескольких лет, Турция -на протяжении нескольких десятилетий. Россия же была разорванной страной на протяжении нескольких столетий, и в отличие от Мексики или республиканской Турции она является еще и стержневым государством основной цивилизации. Если Турция и Мексика успешно переопределяют себя как членов западной цивилизации, то влияние этого на исламскую или латиноамериканскую [с .210] цивилизации будет слабым или умеренным. Если же Россия примкнет к Западу, православная цивилизация перестанет существовать. Крах Советского Союза вызвал жаркие споры среди россиян по центральному вопросу

отношений России с Западом.

Взаимоотношения России с западной цивилизацией можно разделить на четыре фазы. Во время первой фазы, которая длилась вплоть до царствования Петра Великого (1689-1725), Киевская Русь и Московия существовали отдельно от Запада и имели слабые контакты с обществами Западной Европы. Русская цивилизация развивалась как “отпрыск” византийской, затем в течение двухсот лет, с середины тринадцатого и до середины пятнадцатого века, Россия находилась под сюзеренитетом Монголии. Россия вовсе не подверглась или слабо подверглась влиянию основных исторических феноменов, присущих западной цивилизации, среди которых: римское католичество, феодализм, Ренессанс, Реформация, экспансия и колонизация заморских владений, Просвещение и возникновение национального государства. Семь из восьми перечисленных ранее отличительных характеристик западной цивилизации — католическая религия, латинские корни языков, отделение церкви от государства, принцип господства права, социальный плюрализм, традиции представительных органов власти, индивидуализм — практически полностью отсутствуют в историческом опыте России. Пожалуй, единственным исключением стало античное наследие, которое, однако, пришло в Россию из Византии и поэтому значительно отличалось от того, что пришло на Запад непосредственно из Рима. Российская цивилизация — это продукт самобытных корней Киевской Руси и Москвы, существенного византийского влияния и длительного монгольского правления. Эти факторы и определили общество и культуру, которые мало схожи с теми, что развились в Западной Европе под влиянием совершенно иных сил. [с .211]

К концу семнадцатого века Россия не только отличалась от Европы, но отстала от нее, что выяснил Петр Великий во время своего путешествия по Европе в 1697-1698 годах. Он был полон решимости как модернизировать, так и вестернизировать свою страну. Первое, что сделал Петр по возвращении в Москву, — это заставил знать брить бороды и запретил боярские одеяния. Хотя Петр не отменил кириллицу, он реформировал и упростил ее, а также ввел в язык иностранные слова и фразы. Однако наивысший приоритет он отдавал развитию и модернизации российских вооруженных сил: создал флот, ввел воинскую повинность, построил оборонную промышленность, основал технические школы, посылал людей на Запад учиться, а также импортировал с Запада новейшие знания по вооружению, кораблям и кораблестроению, навигации, бюрократическому управлению и другим аспектам, необходимым для эффективного развития военного дела. Чтобы воплотить эти нововведения в жизнь, он коренным образом реформировал и расширил систему налогообложения, а также, к концу своего царствования, реорганизовал структуру правительства. Твердо решив сделать Россию не только европейской державой, но и значимой силой в Европе, он покинул Москву, основал новую столицу — Санкт-Петербург и начал большую Северную войну против Швеции, чтобы сделать Россию господствующей силой на Балтике и занять свое место в Европе.

В стремлении сделать свою страну современной и западной, однако, Петр также усилил азиатские черты России, доведя до совершенства деспотизм и искоренив любые потенциальные источники политического и общественного плюрализма. Российское дворянство никогда не было влиятельным. Петр сократил привилегии еще больше, расширив круг знати, обязанной служить, и установив табель о рангах, учитывающий заслуги, а не общественный статус или происхождение. Дворяне, подобно крестьянам, призывались на государственную службу, формируя “раболепную [с .212] аристократию”, которая позже так бесила Кюстина. Независимость крепостных была еще больше ограничена, и они были еще крепче привязаны как к своей земле, так и своему хозяину. Православная церковь, которая всегда находилась под сильным государственным контролем, была реорганизована и подчинена Синоду, который назначался непосредственно царем. Царь также получил право назначать своего преемника без оглядки на принятую практику передачи власти по наследству. Этими переменами Петр положил начало и проиллюстрировал тесную связь, которая в России установилась между модернизацией и вестернизацией, с одной стороны, и

деспотизмом — с другой. Следуя этой петровской модели, Ленин, Сталин, и в меньшей степени Екатерина II и Александр II, также испытывали различные способы, чтобы модернизировать и вестернизировать Россию, а также усилить ее автократическую власть. По крайней мере до 1980-х демократы в России были преимущественно западниками, но западники не были демократами. Урок истории России состоит в том, что предпосылкой к социальным и экономическим реформам была централизация власти. В конце восьмидесятых сподвижники Горбачева сетовали по поводу своего провала, предав затем все обстоятельства и проблемы *гласности*, которая привела к экономической либерализации.

Петр добился больших успехов в том, чтобы сделать Россию частью Европы, чем в том, чтобы сделать Европу частью России. В отличие от Оттоманской империи Российская империя была принята в качестве основного и легитимного участника европейской международной системы. Дома своими реформами Петру удалось добиться некоторых изменений, но его общество оставалось гибридом: если не считать небольшой элиты, то в российском обществе господствовали азиатские и византийские модели, институты и убеждения, и это воспринималось как должное и европейцами, и россиянами. “Если поскрести русского, — заметил де Местр, — обнаружится татарин”. Петр создал [с .213] разорванную страну, и в девятнадцатом веке славянофилы и западники вместе сокрушались по поводу этого состояния и рьяно спорили по поводу того, стать ли их стране полностью европеизированной или отказаться от европейского влияния и прислушаться к истинно русской душе. Западники вроде Чаадаева утверждали, что “солнце — это солнце Запада” и Россия должна использовать его лучи для того, чтобы стать освещенной и изменить унаследованные институты. Славянофилы типа Данилевского, используя слова, которые часто слышны и в 1990-е годы, отказывались от попыток по европеизации, потому что те представляют собой не что иное, как “искажение народного быта и замену форм его формами чуждыми, иностранными” и “заимствование разных иностранных учреждений и пересадка их на русскую почву”, а также обнаруживают “взгляд как на внутренние, так и на внешние отношения и вопросы русской жизни с иностранной, европейской точки зрения, рассматривание их в европейские очки, так сказать, в стекла, поляризованные под европейским углом наклона”. В последующей российской истории Петр оставался героем западников и сатаной по мнению их оппонентов, крайними выразителями взглядов которых явились евразийцы в 1920-х годах. Евразийцы осуждали его как предателя и приветствовали большевиков за то, что те отвергли вестернизацию, бросили вызов Европе и перенесли столицу обратно в Москву.

Большевистская революция ознаменовала начало третьей фазы взаимоотношений России с Западом, весьма отличной от того противоречивого периода, который продолжался в России в течение двухсот лет до этого. Во имя идеологии, созданной на Западе, была создана политико-экономическая система, которая на Западе не могла существовать. Славянофилы и западники вели споры о том, может ли Россия отличаться от Запада, не будучи при этом отсталой по сравнению с Западом. Коммунизм нашел идеальное решение проблемы: Россия отличалась от Запада [с .214] и находилась в принципиальной оппозиции по отношению к нему, потому что она была более развитой, чем Запад. Она первой осуществила пролетарскую революцию, которая вскоре должна была распространиться на весь мир. Россия стала воплощением не отсталого азиатского прошлого, а прогрессивного советского будущего. На самом деле революция позволила России перепрыгнуть Запад, отличиться от остальных не потому, что “вы другие, а мы не станем как вы”, как утверждали славянофилы, а потому, что “мы другие и скоро вы станете как мы”, как провозглашал коммунистический интернационал.

Но при том, что коммунизм позволил советским лидерам отгородиться от Запада, он также создал и тесную связь с Западом. Маркс и Энгельс были немцами; большинство основных сторонников их идей в конце девятнадцатого — начале двадцатого века также были выходцами из Западной Европы; к 1910 году множество профсоюзов, социал-демократических и лейбористских партий в западных странах были приверженцами

советской идеологии и добивались все большего влияния в европейской политике.

После большевистской революции партии левого толка раскололись на коммунистические и социалистические; и те и другие представляли порой весьма влиятельную силу в европейских странах. В большей части Запада превалировала марксистская перспектива: коммунизм и социализм рассматривалась как веяние будущего и в той или иной форме радостно воспринималась политическими и интеллектуальными элитами. Споры между российскими западниками и славянофилами насчет будущего России, таким образом, сменились спорами в Европе между правыми и левыми о будущем Запада и о том, олицетворял ли собой это будущее Советский Союз или нет. После Второй Мировой войны мощь Советского Союза усилилась из-за притягательности коммунизма для Запада и, что более важно, для не-западных цивилизаций, которые теперь встали в оппозицию Западу. Те элиты не-западных обществ, находящихся [с .215] под господством Запада, которые жаждали поддаться на соблазны Запада, говорили о самоопределении и демократии; те же, кто хотел конфронтации с Западом, призывали к революции и национально-освободительной борьбе.

Приняв западную идеологию и используя ее, чтобы бросить Западу вызов, русские в каком-то смысле получили более тесные и прочные связи с Западом, чем в любой иной период своей истории. Хотя идеологии либеральной демократии и коммунизма значительно различаются, обе партии, в некотором роде, говорили на одном языке. Крах коммунизма и Советского Союза завершил это политико-идеологическое взаимодействие между Западом и Россией. Запад надеялся и верил в то, что результатом этого будет триумф либеральной демократии на всей территории бывшей советской империи. Однако это еще не было предопределено. В 1995 году будущее либеральной демократии в России и других православных республиках оставалось неясным. Кроме того, когда русские перестали вести себя как марксисты и стали вести себя как русские, разрыв между ними и Западом увеличился. Конфликт между либеральной демократией и марксизмом-ленинизмом был конфликтом между идеологиями, которые, несмотря на все свои основные отличия, имели сходство: обе были современными, светскими и якобы ставили своей конечной целью достижение свободы, равенства и материального благополучия. Западный демократ мог вести интеллектуальные споры с советским марксистом. А вот сделать это с русским православным националистом для него будет невозможно.

В годы советской власти борьба между славянофилами и западниками временно прекратилась, поскольку и солженицины, и сахаровы бросили вызов коммунистическому синтезу. После развала этого синтеза споры об истинной идентичности России возобновились со всей прежней силой. Нужно ли России перенимать западные ценности, институты, практики и попытаться стать частью Запада? Или Россия воплощает отдельную православную и евразийскую [с .216] цивилизацию, которая отличается от западной и имеет уникальную судьбу — стать связным звеном между Европой и Азией? Этот вопрос вызвал серьезный раскол среди интеллектуальной и политической элиты, а также широких кругов общественности. С одной стороны, были западники, “космополиты” и “атлантисты”, с другой — последователи славянофилов, которых по-разному именовали: “националисты”, “евразийцы” или “державники”.

Принципиальные разногласия между этими группами касались международной политики и в меньшей степени экономических реформ и структуры государства. Мнения разделились от одной крайности до другой. На одном краю спектра были те, кто провозгласил “новое мышление”, поддержанное Горбачевым и воплощенное в его цели — войти в “европейский общий дом”, а также многие из советников Ельцина, поддерживающие его в стремлении сделать Россию “нормальной страной” и быть принятым восьмым членом в “большую семерку”, клуб ведущих стран с развитой промышленностью и демократическими традициями. Более умеренные националисты, вроде Сергея Станкевича, утверждали, что Россия должна отказаться от “атлантического” курса и наивысший приоритет следует отдавать защите русских в других странах, усилить свои тюркские и мусульманские связи и

провести “значительную переориентацию наших ресурсов, наших возможностей, наших связей в пользу Азии или восточного направления” . Люди подобных убеждений критиковали Ельцина за то, что тот подчинил интересы России интересам Запада, снизил военную мощь России, не смог оказать помощь таким традиционно дружественным народам, как сербы, а также проводил экономические и политические реформы оскорбительным для россиян путем. Ярким примером этой тенденции служит возрождение популярности идей Петра Савицкого, который в 1920-е годы утверждал, что Россия является уникальной евроазиатской цивилизацией. [с .217]

Наиболее экстремальные националисты делились на русских националистов, таких как Солженицын (которые ратовали за то, чтобы Россия включала в себя всех русских, а также тесно связанных с ними православных славян — белорусов и украинцев), и на имперских националистов, таких как Владимир Жириновский (которые хотели воссоздать советскую империю и российскую военную мощь). Представители второй группы зачастую исповедовали антисемитские, а также антизападнические взгляды и хотели переориентировать российскую внешнюю политику на Восток и Юг, либо добившись господства на мусульманском Юге (за что ратовал Жириновский), либо вступив в альянс с мусульманскими странами и Китаем против Запада. Националисты также призывали оказывать более ощутимую поддержку сербам в их войне против мусульман. Разногласия между космополитами и националистами прослеживались в заявлениях МИДа и военного руководства. Также они нашли отражение в перемене ельцинской внешней и внутренней политики сначала в одну, затем в другую сторону.

Российская общественность была разделена так же, как и российская элита. В 1992 году из 2069 опрошенных; лей европейской части России 40% респондентов заявили, что они “открыты для Запада”, 36% сочли себя “закрытыми для Запада”, в то время как 24% не определились с позицией. На парламентских выборах 1993 года реформистские партии набрали 34,2% голосов, антиреформистские и националистические — 43,3%, центристские — 13,7% . Аналогичным образом разделилась российская общественность на президентских выборах 1996 года, когда примерно 43% электората поддержало кандидата Запада, Ельцина, и других кандидатов, стоящих за реформы, а 52% проголосовало за националистических и коммунистических кандидатов. По отношению к центральному вопросу идентичности Россия в 1990 годах явно оставалась разорванной страной и западно-славянофильский дуализм оставался “неотъемлемой чертой... национального характера” . [с .218]

Турция

При помощи тщательно рассчитанной серии реформ в 1920-е и 30-е годы Мустафа Кемаль Ататюрк попытался заставить свой народ оторваться от османского и мусульманского прошлого. Основные принципы, или так называемые “шесть стрел” кемализма, включали в себя: популизм, республиканство, национализм, атеизм, государственный контроль в экономике и реформизм. Отвергнув идею многонациональной империи, Кемаль поставил себе целью создание однородного национального государства, изгоняя и убивая при этом армян и греков. Затем он низложил султана и установил республиканскую систему политической власти западного типа. Он упразднил халифат, центральный источник религиозной власти, покончил с традиционным образованием и религиозными министерствами, закрыл отдельные религиозные школы и училища, установил унифицированную светскую систему народного образования и положил конец религиозным судам, руководившимся исламскими законами, заменив их новой судебной системой, основанной на швейцарском гражданском кодексе. Идя по стопам Петра Великого, он запретил ношение фесок, потому что они были символом религиозного традиционализма, и призывал людей носить шляпы. Кроме того, он выпустил указ, согласно которому турецкий язык должен использовать латинский, а не арабский алфавит. Именно эта реформа имела фундаментальное значение. “Она практически лишила новые поколения,

получившие образование с латинским алфавитом, доступа к огромному наследию традиционной литературы; она стимулировала изучение европейских языков; кроме того, она сильно облегчила проблему распространения грамотности” . Переопределив национальную, политическую, религиозную и культурную идентичность турецкого народа, Кемаль в 1930-е годы активно пытался ускорить экономическое [с .219] развитие Турции. Рука об руку с модернизацией шла вестернизация, которой суждено было стать средством модернизации.

Турция придерживалась нейтралитета во время гражданской войны Запада с 1939 по 1945 годы. Однако после этой войны Турция быстро перешла к еще более тесно отождествлению себя с Западом. Четко следуя западным моделям, она перешла от однопартийного правления к многопартийной системе. Она стремилась стать членом НАТО и добилась этого в 1952-м, подтвердив таким образом свой статус члена Свободного мира. Страна получила миллиарды долларов западной экономической помощи; ей оказывалось содействие в области безопасности; ее вооруженные силы были вооружены и обучены Западом и были интегрированы в командные структуры НАТО; здесь были размещены американские военные базы. Турция стала рассматриваться Западом как ее восточный форпост, сдерживающий экспансию Советского Союза на Средиземное море, Ближний Восток и Персидский залив. Связи Турции с Западом и ее самоидентификация с ним вызвали осуждение со стороны не-западных неприсоединившихся стран Бандунгской конференции в 1955 году и обвинения в отступничестве со стороны исламских государств .

После “холодной войны” турецкая элита в подавляющем большинстве поддерживала западную и европейскую ориентацию Турции. Непрерывное членство в НАТО явилось необходимым условием, потому что обеспечив организационные связи с Западом и поддерживало бала Грецией. Однако вовлечение Турции в дела Запада, и частности членство этой страны в НАТО, было результатом “холодной войны”. С ее окончанием исчезла основная причина подобного соучастия, что привело к ослаблению или переориентации связей. Турция нужна Западу уже не как оплот на пути главной угрозы с севера, но (как в случае с войной в Заливе) скорее как партнер для борьбы с более мелкими угрозами, исходящими с юга. В этой войне Турция оказала неоценимую помощь антихуссейновской коалиции, [с .220] перекрыв нефтепровод, идущий из Ирака к Средиземному морю, и позволив американским самолетам совершать вылеты в Ирак с турецких авиабаз. Это решение президента Озала, однако, вызвало бурную критику внутри Турции и привело к незамедлительной отставке министра иностранных дел, министра обороны и главы генерального штаба, а также к широким выступлениям общественности, протестующей против сотрудничества Озала с Соединенными Штатами. Впоследствии и президент Демирель, и премьер-министр Чиллер призывали к скорейшему снятию санкций ООН против Ирака, которые сопровождалась серьезным экономическим ущербом для Турции . Готовность Турции сотрудничать с Западом для противодействия исламской угрозе с юга менее выражена, чем готовность Турции вместе с Западом противостоять советской угрозе. Во время кризиса в Заливе нежелание Германии, традиционного друга Турции, рассматривать иракский ракетный удар по Турции как нападение на НАТО также показало, что Турция не может рассчитывать на помощь Запада в борьбе с угрозой с юга. Конфронтация с Советским Союзом во время “холодной войны” не поднимала вопроса об идентичности Турции; а вот отношения с арабскими странами после “холодной войны” затрагивают этот вопрос.

Начиная с 1980-х годов одной из главных, пожалуй, *самой* главной внешнеполитической целью ориентированной на Запад турецкой элиты было обеспечение членства в европейском Союзе. Турция формально подала заявку на участие в этой организации в 1987 году. В декабре 1989 Турция получила ответ, что эта заявка не может быть рассмотрена ранее 1993 года. В 1994 году Евросоюз удовлетворил заявки Австрии, Финляндии, Швеции и Норвегии, и все ожидали, что в следующем году успешно решатся просьбы Польши, Венгрии и Чехии, затем, возможно, — Словении, Словакии и

прибалтийских республик. Турок особенно расстроило то, что вновь Германия, наиболее влиятельный член Европейского сообщества, не оказала им активной поддержки по вопросу членства в Евросоюзе, отдав вместо [с .221] этого предпочтение странам из Центральной Европы. Под нажимом Соединенных Штатов Евросоюз даже не стал вести переговоры об установлении таможенного союза с Турцией, чье полное членство в ЕС остается далекой и туманной перспективой.

Почему же Турцию обошли стороной и почему создается впечатление, что она вечно стоит в хвосте очереди? В официальных заявлениях европейские чиновники говорят о низком уровне экономического развития Турции и ее уважении к правам человека, резко отличающемся от скандинавского. В частных беседах и турки, и европейцы сходятся в том, что реальной причиной этого является яростное противодействие греков и, что более важно, тот факт, что Турция — мусульманская страна. Европейские страны отнюдь не рады возможности открыть свои границы для иммиграции из страны, где проживает 60 миллионов мусульман и высок уровень безработицы. Но, что еще более важно, европейцы считают, что в культурном плане турки не принадлежат Европе. Проблема прав человека в Турции, как выразился по этому поводу в 1992 году президент Озал, является “надуманным предлогом, под которым Турцию не принимают в ЕС. Реальная причина в том, что мы — мусульмане, а они — христиане”, и затем добавил: “но это они не обсуждают”. Европейские официальные лица, в свою очередь, соглашались, что Евросоюз — это “христианский клуб” и что “Турция слишком бедная, слишком густонаселенная, слишком неотесанная, слишком мусульманская, слишком другая культурно и слишком *все остальное*”. “Тайным кошмаром” европейцев, как заметил один обозреватель, является историческая память о “сарацинских всадниках в Западной Европе и турках у ворот Вены”. Это отношение, в свою очередь, вызвало “широко распространенное среди турок убеждение”, что “Запад не видит в Европе места для мусульманской Турции”.

Отвергнув Мекку и будучи отвергнутой Брюсселем, Турция ухватилась за возможность, которая появилась [с .222] с распадом Советского Союза, — вернуться к Ташкенту. Президент Озал и другие лидеры Турции предложили свое видение союза тюркских народов и приложили огромные усилия по установлению связей с “внешними турками” из “ближнего зарубежья” Турции, которое простирается от Адриатики до границ Китая. Особое внимание уделяется Азербайджану и четырем тюркоязычным республикам Центральной Азии — Узбекистану, Туркменистану, Казахстану и Кыргызстану. В 1991-1992 годах Турция предприняла целый ряд шагов, направленных на усиление своих связей с этими новыми государствами. Сюда следует отнести: 1,5 миллиарда долларов долгосрочных займов под низкий процент, 79 миллионов долларов прямой безвозмездной помощи, организацию спутникового телевидения (которое заменило русскоязычный канал), телефонную связь, воздушное сообщение, тысячи стипендий для студентов, обучающихся в Турции, обучение центральноазиатских и азербайджанских банкиров, бизнесменов, дипломатов и сотен офицеров армии, а кроме того, отправкой преподавателей турецкого языка. Наряду с этим было основано около 2000 совместных предприятий. Культурная общность делала эти экономические отношения более гладкими. Как выразился один турецкий предприниматель: “Самое важное для успеха Азербайджана или Туркменистана — это найти верного партнера. Турецкому народу это не так трудно. У нас та же культура, более-менее схожие языки и одинаковые кулинарные предпочтения”.

Переориентация Турции на Кавказ и Центральную Азию подогревалась не только мечтой стать лидером сообщества тюркских народов, но также и желанием не допустить того, чтобы Иран и Саудовская Аравия распространили свое влияние на этот регион, насаждая там исламский фундаментализм. Турки считают, что они предлагают “турецкую модель” или “идею Турции” — светское, демократическое мусульманское государство с рыночной экономикой — в качестве альтернативы. Кроме того, Турция надеется [с .223] сдержать восстановление влияния России. Предлагая альтернативу исламу и России, Турция также может претендовать на помощь со стороны Европейского союза и скорое вступление в

него.

Первый подъем активности Турции в отношениях с тюркскими республиками к 1993 году пошел на спад из-за того, что ресурсы страны были ограничены. Озала после его смерти сменил на посту президента Сулейман Демирель, а Россия вновь усилила влияние на свое так называемое “ближнее зарубежье”. Когда тюркские республики только обрели независимость от Советского Союза, их лидеры поспешили в Анкару, чтобы добиться расположения Турции. Вскоре, после того как Россия оказала давление и убеждение, они качнулись в обратную сторону, все как один делая акцент на необходимости иметь “сбалансированные” отношения со своей культурной “кузиной” и бывшим имперским “старшим братом”. Турки, однако, продолжали попытки использовать свои культурные связи для того, чтобы расширить экономические и политические контакты. Самым удачным шагом стало подписание правительствами и нефтяными компаниями соответствующих стран соглашения на постройку нефтепровода по доставке центральноазиатской и азербайджанской нефти через Турцию к Средиземному морю .

В то время как Турция работала над установлением связей с тюркскими бывшими советскими республиками, ее собственная кемалистская светская идентичность подверглась нападкам у нее дома. Во-первых, как и во многих других странах, окончание “холодной войны”, а также изменение привычного уклада жизни, вызванное социальным и экономическим развитием, подняли основной вопрос о “национальной идентичности и этнической идентификации” , и ответы на него предоставила религия. Светское наследие Ататюрка и турецкой элиты в течение двух третей столетия подвергалось все более активной критике. Опыт пребывания турков за рубежом подстегивал исламистские настроения дома. Турки, возвращавшиеся из Западной Германии, [с .224] “реагировали на враждебное отношение к ним, обратившись к тому, что было знакомо им с детства. И это был ислам”. В общественном мнении и в жизни страны все чаще проявлялись исламистские настроения. В 1993 году в одном репортаже было отмечено, “что бороды на исламский манер и женщины под чадрой все чаще встречаются в Турции, что мечети собирают все большие толпы и что некоторые книжные магазины ломаются от книг, журналов, кассет, компакт-дисков и видеокассет, которые прославляют исламскую историю, заповеди и стиль жизни, а также превозносят роль Оттоманской империи в сохранении ценностей пророка Магомета”. Как сообщается, “не менее 290 издательств и типографий, 300 периодических изданий, включая 4 ежедневных, несколько сотен не получивших лицензий радиостанций и 30 таких же телеканалов участвовали в пропаганде мусульманской идеологии” .

Встретившись с ростом исламистских настроений, правители Турции попытались перенять фундаменталистские практики и кооптировать фундаменталистскую помощь. В 1980-х и 1990-х якобы светское турецкое правительство содержало Департамент религии, бюджет которого превышал расходы некоторых министерств, финансировало сооружение мечетей и ввело обязательное религиозное обучение во всех государственных школах. Также оно оказывало денежную поддержку мусульманским школам, где проповедовали исламистские принципы, число которых за 80-е годы увеличилось в пять раз. Там обучалось около 15% учащихся средних школ, и многие из тысяч их выпускников поступили на государственную службу. Символичным и драматичным был и тот факт, что в отличие от Франции правительство на практике разрешило школьницам носить традиционные мусульманские платки через семьдесят лет после того, как Ататюрк запретил феску . Эти действия правительства в большой степени были продиктованы желанием выхватить ветер из парусов исламистов и проверить, насколько сильным был этот ветер в 1980-х — начале 1990-х. [с .225]

Во— вторых, Исламское возрождение изменило характер турецкой политики. Политические лидеры, наиболее заметно -Тургут Озал, достаточно явно отождествляли себя с, мусульманскими символами и политикой. В Турции, как и в остальных странах, демократия усилила индигенизацию и возвращение к религии. “В своем стремлении завоевать любовь общественности и заполучить голоса избирателей политики — и даже

военные, самый что ни на есть оплот и опора светскости — вынуждены были принять во внимание религиозные стремления населения: немало из сделанных уступок попахивало демагогией”. Народные движения имели религиозный уклон. В то время как элита и бюрократические группы, особенно военные, были светски ориентированы, исламистские настроения проявились в вооруженных силах и несколько сотен курсантов были исключены из военных академий в 1987 году по подозрению в исламистских настроениях. Крупные политические партии все больше ощущали необходимость помощи во время выборов от мусульманских *тарик* (избранных обществ, которые запретил Ататюрк) . В марте 1994 года фундаменталистская Партия благоденствия, участвующая на местных выборах наряду с пятью главными партиями, увеличила число своих сторонников, набрав примерно 19% голосов. Для сравнения: возглавляемая премьер-министром Тансу Чиллер Партия Верного пути набрала 21%, Партии Родины (партии недавно умершего Озала) было отдано 20%. Партия Благоденствия добилась контроля над двумя основными городами Турции, Стамбулом и Анкарой; ее позиции оказались наиболее сильными в юго-восточной части страны. На выборах в декабре 1995 года Партия Благоденствия получила больше голосов избирателей и мест в парламенте, чем любая другая партия, и шесть месяцев спустя в коалиции с одной из светских партий установила свое правительство. Как и в случае с другими странами, помощь фундаменталистам пришла от молодых возвратившихся мигрантов, “униженных и оскорбленных”, и “новых мигрантов в города, санкюлотов больших городов” . [с .226]

В— третьих, Исламское возрождение оказало влияние на турецкую внешнюю политику. Под руководством президента Озала Турция решительно заняла сторону Запада в Войне в Заливе, рассчитывая, что такой шаг ускорит вступление страны в Европейское сообщество. Однако этим надеждам не суждено было сбыться, и колебания НАТО по поводу того, каков должен быть ответ на возможное нападение на Турцию со стороны Ирака во время войны не прибавили уверенности туркам насчет того, как НАТО ответит на не-русскую угрозу их стране . Турецкие лидеры попытались усилить военные связи с Израилем, что спровоцировало огонь критики со стороны турецких исламистов. Что более важно, в восьмидесятые годы Турция расширила свои контакты с арабскими и другими мусульманскими странами, и в 90-х активно защищала исламские интересы, оказывая значительную помощь боснийским мусульманам, а также Азербайджану. Внешняя политика Турции на Балканах, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке стала намного более исламизированной.

На протяжении многих лет Турции отвечала двум из трех минимальных условий для смены цивилизационной идентичности разорванной страной. Элита Турции в преимущественном большинстве поддерживала этот сдвиг, а общество не было против. А вот элита принимающей стороны — западной цивилизации — не желала принимать эту страну. Пока этот вопрос висит в воздухе, Исламское возрождение в Турции активизировало антизападные настроения среди общественности и начало подрывать светскую, прозападную ориентацию турецкой элиты. Итак, Турция из-за определенных трудностей пока не может стать полностью европейской страной, ей не удастся играть ведущую роль в тюркских бывших советских республиках, а наследие Ататюрка разъедают исламские тенденции — все это, скорее всего, по-прежнему будет определять статус Турции как разорванной страны.

Отражая этот конфликт, лидеры Турции часто описывают свою страну как “мост” между культурами. Турция, [с .227] как сказала в 1993 году премьер-министр Тансу Чиллер, это и “западная демократия”, и “часть Ближнего Востока”, и она “соединяет две цивилизации, физически и философски”. Отражая эту амбивалентность, в своей стране Чиллер часто старалась быть мусульманкой, но на переговорах с НАТО она утверждала, что “Турция — европейская страна, и это географический и политический факт”. Президент Сулейман Демирель также называл Турцию “очень важным мостом в регионе, который простирается от Запада до Востока, то есть от Европы до Китая” . Однако мост — это искусственное сооружение, которое объединяет два берега, но не является частью ни одного,

ни другого. Когда турецкие лидеры применяют термин “мост” по отношению к своей стране, они эвфемистически подтверждают, что она разорвана.

Мексика

Турция была разорванной страной уже в 1920-е, а Мексика стала ею только в 1980-е. И все же в исторических отношениях этих стран с Западом есть много общего. Подобно Турции, Мексика имела самобытную не-западную культуру. Даже в двадцатом веке, по выражению Октавио Паса, “стержень Мексики — индейцы. Это страна не-европейских традиций”. В девятнадцатом веке Мексика, подобно Оттоманской империи, была разбита на части западными странами. В течение второго — третьего десятилетий двадцатого века Мексика, подобно Турции, прошла сквозь революцию, которая подготовила основу для национальной идентификации и новую однопартийную политическую систему. В Турции, однако, результатом революции стал как отказ от традиционной исламской и оттоманской культуры, так и попытки импортировать западную культуру и присоединиться к Западу. В Мексике, как в России, революция привела к заимствованию и адаптации элементов западной культуры, что породило национализм, направленный против [с .228] западной демократии и капитализма. В то время как Турция на протяжении шестидесяти лет пыталась определить себя как европейскую страну, Мексика пыталась заявить о своем противостоянии Соединенным Штатам. С тридцатых по восьмидесятые годы двадцатого века мексиканские лидеры проводили такую экономическую и внешнюю политику, которая бросала вызов американским интересам.

В 1980—е все это изменилось. Президент Мигель де ла Мадрид начал, а вступивший за ним на этот пост президент Карлос Салинас де Гортари продолжил полномасштабное переопределение мексиканских целей, практик и идентичности. Это была наиболее мощная попытка перемен со времен революции 1910 года. Салинас стал мексиканским Мустафой Кемалем. Ататюрк ратовал за светское государство и национализм, господствующие темы в то время на Западе; Салинас выступал за экономический либерализм, одну из двух доминирующих на Западе тем в его время (вторую -политическую демократию — он не приветствовал). Как и в случае с Ататюрком, эти взгляды получили широкое распространение среди политической и экономической элиты, многие представители которой, как и сам Салинас, получили образование в Соединенных Штатах. Салинас резко сократил инфляцию, приватизировал большое количество государственных предприятий, привлек западные инвестиции, сократил тарифы и субсидии, реструктурировал внешний долг, бросил вызов власти профсоюзов, увеличил производительность труда и включил Мексику в члены Североамериканской зоны свободной торговли НАФТА, куда входят еще США и Канада. Точно так же, как реформы Ататюрка были направлены на то, чтобы превратить Турцию из мусульманской ближневосточной страны в светское европейское государство, реформы Салинаса ставили своей целью сделать из Мексики не латиноамериканскую, а североамериканскую страну. [с .229]

Но это не был неизбежный выбор для Мексики. Вероятно, мексиканская элита могла последовать по типичному для третьего мира антиамериканскому националистическому и протекционистскому пути, по которому шли их предшественники на протяжении почти столетия. Или, как этого требовали некоторые мексиканцы, руководители могли попытаться наладить связи с Испанией, Португалией, странами Южной Америки и Организацией ибероамериканских государств.

Удастся ли Мексике найти свое место и Северной Америке? Подавляющее большинство представителей политической, экономической и интеллектуальной элиты отдает предпочтение этому курсу. А также в отличие от ситуации с Турцией подавляющее большинство представителей политической, экономической и интеллектуальной элиты принимающей цивилизации с одобрением встретило культурное переопределение Мексики. Такой значимый межцивилизационный вопрос, как иммиграция, подчеркивает это различие.

Страх перед тем, что в Европу хлынет поток турецких иммигрантов, вызвал противодействие принятию Турции в Европу со стороны европейской элиты и общественности. Напротив, факт огромной мексиканской иммиграции, законной и незаконной, в Соединенные Штаты был одним из аргументов Салинаса за вступление в НАФТА: “Или вы принимаете наши товары, или вы принимаете наших людей”. Кроме того, культурная дистанция между Мексикой и Соединенными Штатами куда меньше, чем между Турцией и Европой. В Мексике религия — католицизм, язык — испанский, а ее элита сориентирована на Европу (куда она посылала своих детей получать образование) исторически так же, как, с последнего времени, на Соединенные Штаты (куда едут учиться дети сейчас). Добиться взаимопонимания между англо-американской Северной Америкой и испано-индейской Мексикой должно быть значительно проще, чем между христианской Европой и мусульманской Турцией. Несмотря на эти общие черты, [с .230] после ратификации НАФТА США развили как более тесное сотрудничество с Мексикой, так и противостояние с ней. Звучат требования ограничить иммиграцию, жалобы о переносе заводов на юг и вопросы о способности Мексики придерживаться североамериканских принципов свободы и законопослушания .

Третья предпосылка успешной смены идентичности разорванной страной — это всеобщее согласие (при необязательной поддержке со стороны общественности). Важность этого фактора в некоторой степени зависит от того, насколько важно мнение общественности при принятии государственных решений. Прозападная ориентация Мексики в 1995 году не выдержала проверку демократизацией. Новогоднее восстание нескольких тысяч хорошо организованных повстанцев в Чиапасе, получившее внешнюю поддержку, само по себе не было проявлением серьезного сопротивления североамериканизации. Однако то сочувствие, с которым отнеслись мексиканские интеллектуалы, журналисты и другие люди, формирующие общественное мнение, говорит о том, что североамериканизация в целом и НАФТА в частности могут встретить серьезное сопротивление мексиканской элиты и общественности. Президент Салинас сознательно отдает приоритет экономическим реформам и вестернизации, а не политическим реформам и демократизации. Но как экономическое сотрудничество, так и растущее сотрудничество с Соединенными Штатами укрепят те силы, которые выступают за реальную демократизацию мексиканской политической системы. Ключевой вопрос о будущем Мексики звучит так: “В какой степени модернизация и демократизация будут стимулировать девестернизацию (приводя к выходу страны из НАФТА или ослаблению участия в этой организации), а также, одновременно с этим, изменения в политике, вызванные действиями ориентированной на Запад мексиканской элиты в 1980-х и 1990-х? Совместима ли североамериканизация Мексики с ее демократизацией? [с .231]

Австралия

В отличие от России, Турции и Мексики, Австралия с самого начала была западной страной. В течение всего двадцатого века она была близким союзником сначала Великобритании, затем Соединенных Штатов; в годы “холодной войны” она была участницей не только западного сообщества, но и американо-британско-канадско-австралийского военного и разведывательного стержня Запада. Однако в начале 1990-х политические лидеры Австралии решили, что хорошо бы их стране оставить Запад, переопределиться, стать азиатским обществом и наладить тесные связи со своими географическими соседями. Австралии, по заявлению ее премьер-министра Поля Китинга, следует перестать быть “филиалом империи”, стать республикой и поставить своей целью “слияние” с Азией. Это необходимо, утверждал он, для того чтобы определить идентичность Австралии как независимой страны. “Австралия не может представить себя миру как многокультурную независимую страну. Влиться в Азию, сделать этот шаг и сделать его решительно, поскольку в некоторой степени, по крайней мере согласно своей

конституции, Австралия остается искусственно созданной страной”. Австралия, утверждает Китинг, в течение долгих лет страдала от “англофилии и оцепенения”, и дальнейший союз с Британией будет “подрывать нашу национальную культуру, наше экономическое будущее и нашу судьбу в Азии и Тихоокеанском регионе”. Министр иностранных дел Гарет Эванс высказывает схожие суждения .

Поводом для того, чтобы Австралия переопределила себя как азиатскую страну, стала победа мнения, что экономика важнее культуры в определении судьбы наций. Главным толчком послужил динамичный рост восточноази-атских экономик, что, в свою очередь, вызвало резкий рост торговли Австралии с Азией. В 1971 году Восточная и Юго-Восточная Азия принимала 39% экспорта Австралии и давала [с .232] 21% импорта. К 1994 году Восточная и Юго-Восточная Азия поглощала 62% австралийского экспорта и давала 41% ее импорта. Для сравнения: в 1991 году лишь 11,8% австралийского экспорта шло в Европейское сообщество и 10,1% — в Соединенные Штаты. Это углубление экономических связей с Азией было усилено в умах австралийцев верой в то, что в мире развиваются три основных экономических блока и что место Австралии — в восточно-азиатском блоке.

Несмотря на развившиеся экономические связи, увлечение Австралии Азией вряд ли приведет разорванную страну к успешному цивилизационному сдвигу. Во-первых, в середине 1990-х австралийская элита далеко не восторженно воспринимала этот курс. В какой-то мере этот вопрос, активно поддерживаемый лидерами Либеральной партии, встречал непонимание и сопротивление. Лейбористское правительство тоже подверглось огню критики со стороны целого ряда интеллектуалов и журналистов. Среди элиты также не было явного консенсуса относительно азиатского выбора. Во-вторых, и общественное мнение было противоречивым. В период с 1987 по 1993 год доля австралийской общественности, выступающей за отмену монархии, выросла с 21% до 46%. Однако в этот момент общественная поддержка начала колебаться и слабеть. Количество сторонников того, чтобы убрать “Юнион Джек” с австралийского флага, упало с 42% в мае 1992 года до 35% в августе 1993-го. Как заметил в 1992 году один австралийский высокопоставленный чиновник: “Народу трудно мириться с этим. Когда я время от времени заявляю, что Австралия должна стать частью Азии, я даже посчитать не берусь, сколько гневных писем я получаю” .

Третий и самый важный аспект — это то, что представители элиты азиатских стран еще меньше жаждут принять “заигрывания” Австралии, чем европейские — Турции. Они ясно дают понять, что если Австралия хочет стать частью Азии, она должна стать по-настоящему азиатской, [с .233] что они считают маловероятным, если не невозможным. “Успех интеграции Австралии в Азию, — заявило одно официальное лицо из Индонезии, — зависит от одной вещи — насколько азиатские государства приветствуют намерения Австралии. Принятие Австралии в Азию зависит от того, насколько хорошо ее правительство и народ понимают азиатскую культуру и общество”. Азиаты видят разрыв между австралийской риторикой об Азии и ее пугающе западной реальностью. “Тайцы, — согласно словам одного австралийского дипломата, — воспринимают все настойчивые утверждения Австралии о том, что она — азиатская страна, с «тихой оторопью»” . “...В культурном плане Австралия все еще остается европейской страной, — заявил премьер-министр Малайзии Мгатир в 1994 году, -...и мы считаем ее европейской, поэтому Австралия не должна стать членом Восточно-азиатского экономического совета. Мы, азиаты, менее склонны к неприкрытой критике других стран или вынесению суждений о них. Но Австралия, будучи в культурном отношении европейской, чувствует за собой право говорить другим, что делать, а что — нет, что правильно, а что неверно. А это, конечно, неприемлемо для нас всех. Вот мои доводы [против принятия Австралии в ВАЭС]. Дело не в цвете кожи, а в культуре” . Короче говоря, азиаты намерены исключить Австралию из своего клуба по той же причине, что и европейцы — Турцию: “они отличаются от нас”. Премьер-министр Китинг любил говорить, что собирается изменить Австралию, сделав из неё “из третьего лишнего третьего нужного” в Азии. Это чистый оксиморон: третий все равно остается без пары.

Магатир заявил, что культурные традиции — основной препятствие на пути принятия Австралии в ряды азиатских стран. То и дело имеют место конфликты по поводу приверженности австралийцев демократии, правам человека, свободной прессе, а Австралия протестует по поводу нарушения этих прав правительствами практически всех ее соседей. “Настоящая проблема для Австралии в регионе, — [с .234] заявил высокопоставленный австралийский дипломат, — это не наш флаг, а основные социальные ценности. Я полагаю, вы не найдете ни одного австралийца, который захочет поступиться любой из этих ценностей, чтобы быть принятым в регион” . Различия в характере, стиле и поведении также явно выражены. Магатир заметил, что азиатам свойственно достигать своих целей путями, которые можно назвать утонченными, непрямыми, скорректированными, окольными, не поверхностными, не моралистическими и не конфронтационными. Австралийцы, напротив, наиболее прямые, резкие, откровенные, можно сказать — бестактные люди англоязычного мира. Эти конфликты культур наиболее ярко заметны в поведении Китинга с азиатами. Китинг олицетворяет национальные черты в высшей степени. Его описывали как “сваебойную машину от политики”, а его стиль — как “крайне дерзкий и драчливый”. Он не задумываясь называл своих политических оппонентов “засранцами”, “надушенными жиголо” и “безмозглыми сумасшедшими уголовниками” . В то же время, когда Китинг делал заявления о том, что Австралия должна стать азиатской страной, он регулярно раздражал, шокировал и отталкивал от себя азиатских лидеров своей агрессивной прямоотой. Пропасть между культурами была настолько велика, что даже поборники культурного сближения не замечали, насколько поведение Китинга отталкивало тех, кого он называл своими культурными собратьями.

Выбор Китинга — Эванса можно рассматривать как результат близорукой переоценки экономических факторов и игнорирования культуры страны вместо ее обновления, а также как тактический политический ход, призванный отвлечь внимание от экономических проблем Австралии. С другой стороны, его можно рассматривать как дальновидную инициативу, нацеленную на присоединение и отождествление Австралии с растущими центрами экономического, политического и, в конце концов, военного могущества в Восточной Азии. В этом отношении Австралия [с .235] может, вероятно, стать первой из многих западных стран, которая попыталась отколоться от Запада, чтобы “подстроиться” к растущим не-западным цивилизациям. В конце двадцать первого века историки смогут рассматривать выбор Китинга — Эванса как главный показатель упадка Запада. Однако если такой выбор сделан, он не сможет лишить Австралию ее западного наследия, и “счастливая страна” станет вечно разорванной страной: одновременно и “филиалом империи” (что так осуждал Пол Китинг), и “новым белым отречьем Азии” (как презрительно назвал ее Ли Кван Ю) .

Это не было и не является неотвратимой судьбой для Австралии. Для того чтобы осуществить свое страстное желание порвать с Британией, лидеры Австралии могут не объявлять ее азиатской державой, а определить ее как тихоокеанскую страну, что и в самом деле пытался сделать предшественник Китинга на посту премьер-министра Роберт Хоук. Если Австралия хочет стать республикой, независимой от британской короны, она может последовать примеру страны, которая первая в мире сделала это, страны, которая, подобно Австралии, имеет британское происхождение, является страной иммигрантов, имеет континентальный размер, говорит по-английски, участвовала в трех войнах в качестве союзника, населена преимущественно европейцами, и азиатское ее население постоянно растет, совсем как Австралии. В культурном плане ценности принятой 4 июля 1776 года Декларации Независимости намного больше перекликаются с австралийскими, чем ценности любой азиатской страны. В экономическом отношении, вместо того чтобы пытаться протолкнуться в группу культурно чуждых стран, лидеры Австралии могли бы предложить расширить НАФТА до Североамериканского и Южнотихоокеанского договора, куда входили бы Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Союз с этими странами мог бы примирить культуру и экономику и дать твердую и постоянную

идентичность Австралии, которая [с .236] ничего не приобретет от бесплодных попыток сделаться азиатской страной.

Западный вирус и культурная шизофрения

В то время как лидеры Австралии в поисках решений обращаются в сторону Азии, руководители других разорванных стран — Турции, Мексики и России — попытались включить Запад в свои общества и включить свои общества в Запад. Однако практика этих стран стала ярким примером силы, упругости и вязкости местных культур: их способности обновляться и сопротивляться заимствованиям с Запада, а также ограничивать его и приспособливаться к нему. Покуда оказывается невозможным отказаться от влияния Запада, то успешной будет кемалистская реакция. Но если не-западным обществам суждено модернизироваться, то они должны пойти своим, а не западным, путем, и, подражая Японии, использовать все и рассчитывать на свои собственные традиции, институты и ценности.

Политических лидеров, которые надменно считают, что могут кардинально переkreить культуру своих стран, неизбежно ждет провал. Им удастся заимствовать элементы западной культуры, но они не смогут вечно подавлять или навсегда удалить основные элементы своей местной культуры. И наоборот, если западный вирус проник в другое общество, его очень трудно убить. Вирус живучий, но не смертельный: пациент выживает, но полностью не излечивается. Политические лидеры могут творить историю, но не могут избежать истории. Они порождают разорванные страны, но не могут сотворить западные страны. Они могут заразить страну шизофренией культуры, которая надолго останется ее определяющей характеристикой. [с .237]

Примечания

Включает в себя Бангладеш, Бутан, Индию, Мальдивские острова, Непал, Пакистан и Шри Ланку.

Глава 7. Стержневые государства, концентрические круги и цивилизационный порядок

Цивилизации и порядок

В зарождающейся глобальной политике стержневые государства главных цивилизаций занимают места двух сверхдержав периода “холодной войны” и становятся основными полюсами притяжения и отталкивания для других стран. Эти изменения наиболее явно видны в западной, православной и синской цивилизациях. Здесь возникают цивилизационные группы, в которые входят стержневые государства, страны-участницы, родственное в культурном плане меньшинство, проживающее в соседних странах, и (хотя это спорно) народы других культур, которые проживают в соседних государствах. Страны в этих цивилизационных блоках зачастую можно расположить концентрическими кругами вокруг стержневой страны или стран, отражая степень их отождествления с этим блоком и интеграции в него. За неимением признанной стержневой страны ислам усиливает свое общее самосознание, но до сих пор создал лишь рудиментарную общую политическую структуру.

Странам свойственно “примыкать” к странам со схожей культурой и противостоять тем, с кем у них нет культурной общности. Это особенно [с .238] верно в случае со стержневыми государствами, чья мощь привлекает родственные культурно страны и отталкивает культурно чуждые. По соображениям безопасности стержневые государства

пытаются включить в свой состав или подчинить влиянию народы других цивилизаций, которые, в свою очередь, пытаются сопротивляться или уйти из-под такого контроля (Китай, тибетцы и уйгуры; Россия и татары, чеченцы и мусульмане Центральной Азии). Исторические взаимоотношения и соображения баланса власти также заставляют некоторые страны сопротивляться влиянию своих стержневых стран. И Грузия, и Россия — православные страны, но грузины исторически сопротивлялись российскому господству и тесным связям с Россией. Несмотря на то что и Вьетнам, и Китай — конфуцианские государства, между ними существовала такая же вражда. Однако со временем культурная общность и возникновение более широкого и сильного цивилизационного сознания может объединить эти страны, как объединились европейские страны.

Порядок, сложившийся во времена “холодной войны”, был результатом господства сверхдержав двух блоков и их влияния на третий мир. В зарождающемся мире глобальная власть уже устарела, а глобальное сообщество остается далекой мечтой. Ни одна страна, включая Соединенные Штаты, не имеет значительных глобальных интересов безопасности. Условия для установления порядка в сегодняшнем более сложном и однородном мире лежат как внутри цивилизаций, так и между ними. В мире сложится либо порядок цивилизаций, либо вообще никакого. В этом мире стержневые страны цивилизаций являются источниками порядка внутри цивилизаций, а также влияют на установление порядка между цивилизациями путем переговоров с другими стержневыми государствами.

Мир, где стержневые страны играют доминирующую роль, — это мир сфер влияния каждой из них. Но это также и мир, где влияние стержневой страны ограничивается и [с .239] ослабляется культурой, общей с другими представителями цивилизации. Культурная общность делает законным лидерство стержневого государства и его роль гаранта порядка как в глазах стран-участниц, так и внешних держав и институтов. Поэтому бесполезно поступать так, как делал Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали в 1994 году, и бороться за правило “сферы поддержки интересов”, согласно которому доминирующая в регионе страна должна быть представлена не более чем одной третью в составе миротворческих сил ООН. Такое требование игнорирует геополитическую реалию, что в каждом регионе, где есть доминирующее государство, мир может быть достигнут только под предводительством этой страны. ООН не является альтернативой региональной власти, а региональная власть становится ответственной и легитимной только в том случае, когда она применяется стержневыми государствами по отношению к другим странам этой цивилизации.

Стержневая страна может выполнять свои функции по поддержанию порядка только потому, что другие страны воспринимают ее как культурного родственника. Цивилизация — это большая семья, и стержневые государства как старшие члены семьи поддерживают своих родственников и обеспечивают порядок. Если подобное родство отсутствует, способность более могущественных держав улаживать конфликты и наводить порядок в своем регионе ограничена. Пакистан, Бангладеш и даже Шри-Ланка ни за что не воспримут Индию как гаранта порядка в Южной Азии, и ни одно восточно-азиатское государство не даст Японии выполнять эту роль в Восточной Азии.

Когда у цивилизации нет стержневой страны, проблемы создания порядка внутри цивилизации или ведение переговоров о взаимоотношениях между цивилизациями становится намного более трудным. Отсутствие стержневого исламского государства, которое могло бы официально и легитимно поддерживать боснийцев, как Россия — сербов и Германия — хорватов, заставила Соединенные Штаты [с .240] попытаться играть эту роль. Неэффективность подобных действий объясняется тем, что у Америки не было стратегических интересов в переделе границ на территории бывшей Югославии, у нее отсутствовали культурные связи с Боснией, а европейцы противодействовали созданию мусульманского государства на территории Европы. Отсутствие стержневых государств в африканском и арабском мире значительно усложнили проблему окончания продолжающейся гражданской войны в Судане. Там же, где есть стержневая страна,

появляются центральные составляющие нового международного порядка, основанного на цивилизациях.

Определение границ Запада

Во время “холодной войны” Соединенные Штаты были центром большой, разнообразной, полицивилизационной группы стран, которые преследовали одну общую цель — прекратить дальнейшую экспансию Советского Союза. Эта группа, известная под многими названиями — “свободный мир”, “Запад” или “союзники”, — включала многие, если не все западные страны, Турцию, Грецию, Японию, Корею, Филиппины, Израиль, а также, в меньшей степени, такие страны, как Тайвань, Таиланд и Пакистан. Эта группа противостояла другой (почти столь же разнородной), которая включала в себя все православные страны, кроме Греции, несколько стран, исторически принадлежавших к Западу, а также Вьетнам, Кубу, в определенной степени — Индию, и временами — одну или более африканских стран. С окончанием “холодной войны” эта многонациональная межкультурная группировка распалась. Распад советской системы, особенно Варшавского договора, был драматическим. Медленнее, но столь же уверено полицивилизационный “свободный мир” времен “холодной войны” [с .241] трансформируется в новую группировку, более или менее совпадающую с западной цивилизацией. Сейчас полным ходом идет процесс установления границ, частью которого является определение членов западных международных организаций.

Стержневые страны Европейского Союза, Франция и Германия, окружены сначала внутренней группировкой Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, которые договорились об устранении всех барьеров для перемещения людей и товаров. Затем следуют: круг других стран-участниц, таких как Италия, Испания, Португалия, Дания, Британия, Ирландия и Греция; страны, которые стали членами ЕС в 1995 году (Австрия, Финляндия и Швеция), и, наконец, страны, которые на момент написания книги были ассоциированными членами (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния). Отражая эту реальность, в 1994 году правящая партия Германии и высшее руководство Франции предложили создать дифференцированный Союз. Согласно немецкому плану, “твердое ядро” должно было включать изначальных членов Союза, за исключением Италии, а Германия и Франция должны были стать “центром твердого ядра”. Страны “твердого ядра” сразу же могли попытаться установить валютный союз, а также интегрировать свою внешнюю и оборонительную политику. Почти одновременно с этим премьер-министр Франции Эдуар Балладюр предложил модель трехуровневого Союза с ядром из пяти проинтеграционно настроенных государств, вторым кругом из текущих участников Союза, а новые страны, которые еще только стали на путь присоединения к ЕС, должны были сформировать третий круг. Вскоре после этого французский министр иностранных дел Ален Жюппе доработал эту концепцию, предложив “внешний круг из стран-партнеров из Восточной и Центральной Европы”; средний круг их стран-участниц, от которых требуется принятие общих порядков по ключевым вопросам (общий рынок, таможенный союз и т.д.); и несколько внутренних, более тесно сплоченных [с .242] кругов, которые объединяют тех, кто хочет и может двигаться быстрее других в таких областях, как оборона, интеграция валют, внешняя политика и т.д.”. Другие политические лидеры предлагали другие типы организации, но все эти модели включали внутренние группировки более тесно объединенных государств и внешние группировки стран, менее интегрированных со стержневыми государствами, и так далее вплоть до линии, отделяющей членов от не-членов.

Определение этой линии в Европе стало одним из наиболее важных вопросов, с которыми столкнулся Запад после “холодной войны”. Во время “холодной войны” Европы как единого целого не существовало. Однако после коллапса коммунизма пришлось столкнуться с вопросом: “Что такое Европа?” и дать на него ответ. Границы Европы на севере, западе и юге очерчены водными просторами и на юге совпадают с границами между

различными культурами. Но где расположена восточная граница Европы? О ком следует думать как о европейцах и, следовательно, считать потенциальными членами Европейского Союза, НАТО и подобных организаций?

Наиболее ясный ответ, против которого трудно возразить, дает нам линия великого исторического раздела, которая существует на протяжении столетий, линия, отделяющая западные христианские народы от мусульманских и православных народов. Эта линия определилась еще во времена разделения Римской империи в четвертом веке и создания Священной Римской империи в десятом. Она находилась примерно там же, где и сейчас, на протяжении 500 лет. Начинаясь на севере, она идет вдоль сегодняшних границ России с Финляндией и Прибалтикой (Эстонией, Латвией и Литвой); по Западной Белоруссии, по Украине, отделяя униатский запад от православного востока; через Румынию, между Трансильванией, населенной венграми-католиками, и остальной частью страны, затем по бывшей Югославии, по границе, отделяющей Словению и Хорватию [с .243] от остальных республик. На Балканах эта линия совпадает с исторической границей между Австро-Венгерской и Османской империями. Это — культурная граница Европы, и в мире после “холодной войны” она стала также политической и экономической границей Европы и Запада.

Таким образом, полицивилизационная модель дает четкий исчерпывающий ответ на вопрос, стоящий перед жителями Западной Европы: “Где заканчивается Европа?”. Европа заканчивается там, где заканчивается западное христианство и начинаются ислам и православие. Именно такой ответ хотят услышать западные европейцы, именно его они в подавляющем большинстве поддерживают *sotto voce* , именно такой точки зрения открыто придерживается большая часть интеллигенции и политиков. Необходимо, как призывает Майкл Говард, осознать размытую в советскую эпоху разницу между Центральной Европой и собственно Восточной Европой. Центральная Европа включает в себя “те земли, которые когда-то составляли часть западного христианства; старые земли империи Габсбургов, Австрии, Венгрии и Чехословакии, и также Польшу и восточные границы Германии. Термин «Восточная Европа» должен быть зарезервирован для тех земель, которые развивались под покровительством православной церкви: черноморских государств Болгарии и Румынии, которые освободились от Османского господства в девятнадцатом веке, а также «европейской» части Советского Союза”. Первой задачей Западной Европы, утверждал Говард, должно стать “вовлечение народов Центральной Европы в наше культурное и экономическое сообщество, к которому они по праву принадлежат: заново связать Лондон, Париж, Рим, Мюнхен и Лейпциг, Варшаву, Прагу и Будапешт”. Возникает “новая линия разлома”, заявил два года спустя Пьер Беар, “преимущественно культурная граница между Европой, характеризуемой западным христианством (римским католицизмом [с .244] и протестантством) с одной стороны, и Европой и характеризуемой восточно-христианскими и исламскими традициями — с другой”. Руководство Финляндии также считает, что на смену “железному занавесу” пришел принцип разделения Европы на основе “давнего культурного разлома между Западом и Востоком”, который относит “земли бывшей Австро-Венгрии, а также Польши и Прибалтики” к Западной Европе, а другие восточноевропейские и балканские страны оставляет вне ее. Это, как согласился один выдающийся англичанин, “великий религиозный раскол... между восточной и западной церквями: проще говоря, между теми народами, к которым христианство пришло напрямую из Рима или от его кельтских или германских посредников, и теми восточными и юго-восточными землями, куда христианство пришло через Константинополь (Византию)” .

Жители Центральной Европы также придают большое значение этой разделительной линии. Страны, достигшие значительных успехов в отказе от коммунистического наследия, в продвижении к демократии и рыночной экономике, отделены от государств, которым это не удалось, “линией, разделяющей католицизм и христианство, с одной стороны, от

православия, с другой”. Столетия назад, утверждает президент Литвы, литовцам пришлось выбирать между “двумя цивилизациями” и они “предпочли латинский мир, приняли римское православие и выбрали форму государственного устройства, основанного на законе”. Примерно в тех же выражениях поляки утверждают, что они стали частью Запада с момента выбора в десятом веке латинского, а не византийского христианства. Жители стран Восточной Европы, напротив, по-разному смотрят на важность, которая сейчас приписывается этой культурной линии разлома. Болгары и румыны видят огромные преимущества в том, что они — часть Запада, и постепенно интегрируются в его институты; но они при этом отождествляют себя со своими собственными православными традициями, а болгары со своими исторически тесными связями с Россией и Византией. [с .246]

Отождествление Европы с западным христианством предоставляет четкий критерий для принятия новых членов в западные организации. Европейский Союз — это первооснова существования традиций Запада в Европе, и рост числа его членов продолжился в 1994 году с принятием западных в культурном плане Австрии, Финляндии и Швеции. Весной 1994 года Евросоюз принял предварительное решение не пускать в свои ряды все бывшие советские республики, кроме прибалтийских. Он также подписал “договоры о сотрудничестве” с четырьмя государствами Центральной Европы (Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией) и двумя восточноевропейскими странами — Румынией и Болгарией. Однако вряд ли хотя бы одно из этих государств станет полноправным членом ЕС раньше, чем в XXI веке, и центрально-европейские страны несомненно достигнут этого статуса раньше Румынии и Болгарии, если те вообще добьются его. В то же время скорое вступление Прибалтики и Словении кажется весьма вероятным, в то время как заявки о приеме мусульманской Турции, крошечной Мальты и православного Кипра в 1995-м все еще рассматривались. В вопросе принятия в ЕС предпочтение явно отдается тем государствам, которые в культурном плане принадлежат к Западу и которые более развиты экономически. Если следовать этому критерию, то вышеградские страны (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), прибалтийские республики, Словения, Хорватия и Мальта могут стать вскоре членами ЕС, и тогда границы Евросоюза совпадут с историческими границами западной цивилизации в Европе.

Логика цивилизаций диктует тот же подход и по отношению к экспансии НАТО. “Холодная война” началась с распространения политического и военного контроля Советского Союза на Центральную Европу. Соединенные Штаты и западные страны образовали НАТО для сдерживания и, при необходимости, отражения дальнейшей советской агрессии. В мире после “холодной войны” НАТО было организацией по обеспечению безопасности западной цивилизации. С окончанием “холодной войны” у [с .247] НАТО появилась одна главная и четкая цель: обеспечить свое существование, не допустив возвращения политического и военного контроля России в Центральную Европу. НАТО как организация по обеспечению безопасности Запада открыто для западных стран, которые хотят стать его участниками и которые отвечают основным требованиям в плане боеспособности, политической демократии и гражданского контроля над военными.

Американская политика в области структуры безопасности в Европе после “холодной войны” первоначально включала в себя более универсальный подход, программу “Партнерство ради мира”, которая была открыта буквально для всех европейских и даже евразийских стран. Такой подход также отводил большую роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это было отражено в словах Билла Клинтона, произнесенных им во время визита в Европу в январе 1994 года: “Сейчас границы должны определяться новым поведением, а не старой историей. Я обращаюсь ко всем... кто хочет провести новую границу в Европе: мы не должны лишать ее лучшего будущего — всеобщей демократии, всеобщей рыночной экономики, всеобщего сотрудничества стран на благо взаимной безопасности. Мы не должны допустить худших результатов”. Однако год спустя администрация президента осознала значимость границ, определенных “старой историей”, и смирилась с “худшим результатом”, в котором отразились реалии цивилизационных

различий. Администрация принялась более активно разрабатывать критерии и регламент увеличения количества членов НАТО, в первую для Польши, Венгрии и Чехии и Словакии, затем Словении, затем, вероятно, для прибалтийских республик.

Россия активно противодействует расширению НАТО, причем те русские, которые даже более либерально и прозападно настроены, утверждают, что эта экспансия значительно укрепит позиции националистических и антизападных сил в России. Однако расширение НАТО ограничено [с .248] странами, которые исторически являются частью западного христианства, что гарантирует России, что оно не коснется Сербии, Болгарии, Румынии, Молдовы, Белоруссии и Украины, пока та остается единой. Кроме того, ограничение роста НАТО принятием только западных стран также подчеркнет роль России как стержневого государства отдельной православной цивилизации, следовательно, страны, ответственной за порядок вдоль границ православия.

Полезность разделения стран по цивилизационному признаку проявляется в случае с прибалтийскими республиками. Они — единственные из бывших советских республик, которые являются явно западными по своей истории, культуре и религии, и их судьба всегда сильно волновала Запад. Соединенные Штаты никогда официально не признавали законность их включения в состав Советского Союза, поддерживали их стремление обрести независимость при развале СССР и настояли на принятии Россией плана вывода своих войск из этих республик. России дали понять, что Прибалтика находится вне всякой сферы влияния, которую она хочет установить по отношению к бывшим советским республикам. Это достижение администрации Клинтона было, как выразился премьер-министр Швеции, “одним из наиболее значительных вкладов в безопасность и стабильность Европы” и помогло российским демократам осознать, что любые реваншистские настроения крайних российских националистов будут бесплодными перед лицом явной преданности Запада этим республикам .

В то время как большое внимание уделяется расширению Европейского Союза и НАТО, культурная перестройка этих организаций также поднимает вопрос возможного сокращения. Одна не-западная страна, Греция, является членом обеих организаций, а другая, Турция, является членом НАТО и кандидатом на вступление в Евросоюз. Эти отношения — продукт “холодной войны”. Есть ли им место в мире после “холодной войны”, в мире цивилизаций? [с .249]

Полноправное членство Турции в Европейском Союзе довольно проблематично, а членство в НАТО подвергает постоянным нападкам со стороны Партии Благоденствия Турция, однако, скорее всего останется в НАТО, если только Партия Благоденствия не одержит убедительную победу на выборах или Турция каким-либо иным способом отвергнет свое наследие Ататюрка и переопределит себя как лидера ислама. Это возможно и, может быть, желательно для Турции, но маловероятно в ближайшем будущем. Какова бы ни была роль Турции в НАТО, она все больше преследует свои собственные интересы на Балканах, в арабском мире и Центральной Азии.

Греция не является частью западной цивилизации, но она породила классическую цивилизацию, которая стала важным источником для западной цивилизации. В своем противостоянии Турции, греки всегда ощущали себя защитниками христианства. В отличие от Сербии, Румынии и Болгарии история Греции всегда была тесно переплетена с историей Запада. И все же Греция также является аномалией, чужаком в западных организациях. Она никогда не была покладистым членом ни ЕС, ни НАТО и всегда с трудом адаптировалась к традициям и порядкам обеих организаций. Начиная с середины 1960-х и до середины 1970-х у власти в Греции была военная хунта, и страна смогла вступить в Евросоюз только после перехода к демократии. Лидеры страны часто пытались отходить от западных норм и противодействовать западным правительствам. Но еще хуже, что и другие члены Европейского сообщества и НАТО часто проводили свою собственную экономическую политику, которая попирала стандарты, преобладающие в Брюсселе. Поведение Греции как председателя Совета ЕС в 1994 году разгневало многих других участниц Евросоюза, и

высокопоставленные чиновники из Западной Европы в частных разговорах называли членство Греции в ЕС ошибкой.

В мире после “холодной войны” политика Греции еще больше отличается от той, что проводит Запад. Блокада Македонии [с .250] Грецией встретила серьезное противодействие западных правительств и привела к тому, что Европейская Комиссия обратилась в Европейский суд с просьбой запретить Греции подобные действия. По отношению к конфликтам в бывшей Югославии Греция заняла отличную от главных западных государств позицию, активно поддерживая сербов и открыто нарушая санкции, наложенные на них ООН. С распадом Советского Союза и исчезновением коммунистической угрозы у Греции появились общие с Россией интересы в отношении противостояния Турции. Греция допустила значительное присутствие России на греческой части Кипра, и из-за “общей восточной православной религии” греки-киприоты с радостью встретили русских и сербов . В 1995 году на Кипре было порядка двух тысяч фирм, чьими владельцами были русские; там выпускалась русская и сербохорватская пресса; правительство греческого Кипра делало основные закупки вооружений в России. Кроме того, Греция обсуждала с Россией вопрос транспортировки нефти с Кавказа и из Центральной Азии в Средиземноморье через болгарско-греческий трубопровод в обход Турции и других мусульманских стран. Вся греческая внешняя политика приняла ярко выраженную православную ориентацию. Греция несомненно формально останется членом НАТО и Евросоюза. Однако по мере усиления процесса культурной реконфигурации это членство станет более слабым, менее значимым и более сложным для всех сторон. Антагонист Советского Союза во времена “холодной войны” превращается в союзника России после “холодной войны”.

Россия и ее ближнее зарубежье

Преемником царской и коммунистической империй стал цивилизационный блок, во многом схожий с западным блоком в Европе. Россия как ядро (эквивалент Франции и [с .251] Германии) тесно связана с внутренним кольцом, в который входят две преимущественно славянские православные республики — Беларусь и Молдова — а также Казахстан, 40% населения которого составляют русские, и Армения, которая исторически была верным союзником России. В середине 1990-х во всех этих странах были пророссийские правительства, которые пришли к власти путем выборов. Тесные, хотя и не настолько, связи у России с Грузией (в подавляющем большинстве православной) и Украиной (большой частью православной); но обе эти страны обладают сильным чувством национальной идентичности и помнят былую независимость. На православных Балканах Россия имеет тесные отношения с Болгарией, Грецией, Сербией и Кипром и немного менее тесные связи с Румынией. Мусульманские республики бывшего Советского Союза остаются сильно зависимыми от России как экономически, так и в сфере безопасности. Прибалтийские республики, напротив, привлекло притяжение Европы, и они успешно покинули российскую сферу влияния.

В целом Россия создает и возглавляет блок государств, имеющий православный центр, окруженный относительно слабыми исламскими странами, в которых она продолжает в той или иной степени доминировать и куда она будет пытаться не допустить распространения влияния других держав. Россия также ожидает, что мир примет и поддержит такую систему. Зарубежные правительства и международные организации, как сказал Ельцин в 1993 году, должны “предоставить России особые полномочия как гаранту мира и стабильности на территории бывшего СССР”. Если Советский Союз был сверхдержавой с глобальными интересами, Россия — это крупная держава с региональными и цивилизационными интересами.

Православные страны бывшего Советского Союза занимают центральное место в создании единого российского блока в евразийской и мировой политике. Во время распада Советского Союза все пять этих стран сначала развивались в крайне националистическом

направлении, подчеркивая [с .252] роль вновь приобретенной независимости и дистанцируясь от Москвы. Однако совсем скоро осознание экономических, геополитических и культурных реалий заставило электорат четырех из этих республик выбрать пророссийские правительства и вернуться к пророссийской политике. Население этих стран обращается к России за поддержкой и защитой. В пятой республике, Грузии, российское вооруженное вмешательство привело к аналогичным сдвигам в настроениях правительства.

Армения исторически отождествляла свои интересы с Россией, а Россия гордилась своей ролью защитницы Армении от ее мусульманских соседей. Эти отношения в постсоветские годы лишь усилились. Армяне зависят от экономической и военной помощи России и поддерживают Россию в вопросах ее взаимоотношений с бывшими советскими республиками. Стратегические интересы этих двух стран совпадают. В отличие от Армении Беларусь слабее ощущает свою национальную идентичность. Кроме того, она в еще большей степени зависит от российской помощи. Многие ее жители идентифицируют себя с Россией настолько же сильно, как и со своей родной страной. В январе 1994 года в законодательную власть вместо центристов и умеренных националистов, один из которых был главой государства, пришли пророссийские консерваторы. В июле 1994 года восьмьюдесятью процентами голосов президентом был избран пророссийски настроенный сторонник Владимира Жириновского. Беларусь одной из первых вступила и Содружество Независимых Государств, стала членом-учредителем образованного в 1993 году экономического союза с Россией и Украиной, создала валютный союз с Россией, передала свое ядерное вооружение России и разрешила разместить российские войска на своей земле до конца двадцатого века. В 1995 году Беларусь была во всем, кроме своего названия, частью России.

После того как Молдова с распадом Советского Союза обрела независимость, многие ожидали ее скорой реинтеграции с Румынией. Страх того, что это произойдет, в свою [с .253] очередь подстегнул возникновение сепаратистских настроений в обрусевших областях на востоке страны. Эти настроения получили молчаливую поддержку Москвы активную помощь российской 14-й армии, что привело к созданию Приднестровской республики. Стремление Молдовы к союзу с Румынией быстро пошло на убыль из-за экономических проблем в обеих странах и экономического давления России. Молдова присоединилась к СНГ и увеличила торговый оборот с Россией. В феврале 1994 года пророссийские партии одержали внушительную победу на парламентских выборах.

В этих трех странах общественное мнение, в соответствии со стратегическими и экономическими интересами, привело к власти правительства, ратующие за тесные связи с Россией. Несколько иной была обстановка на Украине. В Грузии ситуация развивалась и вовсе иначе. Грузия была независимым государством до 1801 года, когда ее правитель царь Георгий XIII попросил у России защиты от турок. На три года после Русской революции, с 1918-го по 1921-й, Грузия снова стала независимой, но большевики насильно включили ее в состав Советского Союза. После распада СССР Грузия вновь провозгласила независимость. На выборах победила националистическая коалиция, но ее лидер развернул репрессии и был свергнут в результате насильственного переворота. Эдуард Шеварднадзе, побывавший, свое время министром иностранных дел Советского Союза, вернулся на пост главы государства и подтвердил свои полномочия на президентских выборах в 1992 и 1995 годах. Однако он столкнулся с проблемами: с сепаратистским движением в Абхазии, которая получила значительную помощь России, и с восстанием под предводительством свергнутой Гамсахурдии. Подобно царю Георгию, он пришел к выводу: “У нас нет выбора” и обратился к Москве за помощью. Российские войска вмешались в конфликт, и ценой за это было вступление Грузии в СНГ. В 1994 году грузины позволили разместить на территории своей страны три российские военные [с .254] базы на неопределенный срок. Российское военное вмешательство, которое сначала ослабило грузинское правительство, затем поддержало его, возвратило настроенную на независимость Грузию в российский лагерь.

Вторая среди бывших советских республик после России по населению и важности — это Украина. В различные этапы своей истории Украина была независимой, но все же

большую часть современной эпохи она являлась частью единой политической структуры, управляемой из Москвы. Решающее событие произошло в 1654 году, когда казак Богдан Хмельницкий, предводитель восстания против польского гнета, согласился присягнуть на верность царю в обмен на помощь в борьбе с поляками. С тех пор и вплоть до 1991 года (если не считать недолгой независимости с 1917 по 1920 год) то, что сейчас является Украиной, находилось под политическим контролем Москвы. Однако Украина — это расколота страна с двумя различными культурами. Линия разлома между цивилизациями, отделяющая Запад от православия, проходит прямо по ее центру вот уже несколько столетий. В различные моменты прошлого западная Украина была частью Польши, Литвы и Австро-Венгерской империи. Значительная часть ее населения является приверженцами униатской церкви, которая совершает православные обряды, но признает власть Папы Римского. Исторически западные украинцы говорили по-украински и были весьма националистичны в своих взглядах. Население Восточной Украины, с другой стороны, было в массе своей православным, и значительная его часть говорила по-русски. В начале 1990-х русские составляли до 22%, а русскоговорящие — 31% населения Украины. Большая часть учеников начальных и средних школ получала образование на русском языке. Крым в подавляющем большинстве населения является русским и был частью Российской Федерации до 1954 года, когда Хрущев, якобы в честь принятого Хмельницким 300 лет назад решения, передал его Украине. [с.255]

Различия между Восточной и Западной Украиной проявляются во взглядах их населения. Так, например, в конце 1992 года треть русских на Западной Украине заявила о том, что пострадали из-за антироссийских выступлений, в то время как в Киеве эта доля составила 10%. Наиболее очевидно этот раскол Востока и Запада проявился на президентских выборах в июле 1994 года. Действующий президент, Леонид Кравчук, который, несмотря на тесные связи с российскими лидерами, идентифицировал себя как “национального” политика, победил в двенадцати областях западной Украины с большинством, доходившим до 90%. Его оппонент Леонид Кучма, который во время предвыборной кампании брал уроки разговорного украинского языка, одержал победу в тринадцати восточных областях со сравнимым преимуществом. Кучма победил, набрав 52% голосов. Примечательно, что украинская общественность с очень небольшим перевесом голосов подтвердила выбор Хмельницкого 1654 года. Эти выборы, как заметил один американский эксперт, “отразили и даже выкристаллизовали раскол между европеизированными славянами в Восточной [с.256] Украине и русско-славянским видением того, во что должна превратиться Украина. Это не столько этническая поляризация, сколько различные культуры”.

В результате этого разделения отношения между Украиной и Россией могут развиваться тремя путями. В начале 1990-х между странами существовали важные нерешенные вопросы, в числе которых было ядерное оружие, Крым, права русских на Украине, Черноморский флот и экономические отношения. Многие считали, что вероятен вооруженный конфликт, отчего украинские аналитики стали утверждать, что Запад должен поддержать стремление Украины оставить у себя ядерное оружие для сдерживания российской агрессии. Однако если общность цивилизации имеет значение, то конфликт между русскими и украинцами маловероятен. Оба эти народа славянские, преимущественно православные; между ними на протяжении столетий существовали тесные связи, а смешанные браки — обычное дело. Несмотря на спорные вопросы и давление крайних националистов с обеих сторон, лидеры обеих стран приложили немало усилий и достигли значительных успехов в решении проблем. Выборы явно ориентированного на Россию президента на Украине в середине 1994 года еще больше снизили вероятность острого конфликта между этими двумя странами. В то время как на всем постсоветском пространстве имеют место серьезные столкновения между мусульманами и христианами, а

также немалое напряжение между русскими и прибалтийскими народами, к 1995 году насилия между русскими и украинцами не было.

Второй, и более вероятный вариант развития ситуации — это раскол Украины по линии разлома на две части, восточная из которых войдет в состав России. Вопрос отделения впервые был поднят в Крыму. Крымская общественность, 70% которой составляют русские, решительно поддержала независимость Украины от Советского Союза на Референдуме 1991 года. В мае 1992 года Крымский парламент также проголосовал за провозглашение независимости [с .257] Крыма, а затем, под давлением Украины, отменил это решение. Однако российский парламент проголосовал за отмену передачи Крыма Украине 1954 года. В январе 1994 года жители Крыма избрали президента, чья предвыборная кампания велась под лозунгом “единства с Россией”. Это заставило некоторых поднять вопрос: “Станет ли Крым следующим Нагорным Карабахом или Абхазией?”. Ответом стало громкое “Нет!”, и следующий президент Крыма отказался от своего намерения провести референдум по вопросу о независимости и вместо этого пошел на переговоры с киевским правительством. В мае 1994 года ситуация снова накалилась, когда парламент Крыма проголосовал за востановление конституции 1992 года, фактически сделав его независимым от Украины. Однако лидеры России и Украины вновь предотвратили возникновение насилия, и состоявшиеся двумя месяцами позже выборы, которые сделали президентом Украины пророссийски ориентированного Кучму, убавили стремление Крыма к отделению.

Однако те же выборы увеличили вероятность выхода западной части страны из состава Украины, которая все больше и больше сближалась с Россией. Некоторые россияне могли поддержать это. Как выразился один российский генерал, “Украина, вернее, Восточная Украина вернется к нам через пять, десять или пятнадцать лет. Западная Украина пусть катится к черту!”. Такой “обрезок” униатской и прозападной Украины может стать жизнеспособным только при активной и серьезной поддержке Запада. Такая поддержка, в свою очередь, может быть оказана только в случае значительного ухудшения отношений между Россией и Западом, вплоть до уровня противостояния времен “холодной войны”.

Третий, и наиболее вероятный сценарий выглядит так: Украина останется единой, останется расколотой, останется независимой и в целом будет тесно сотрудничать с Россией. После решения вопросов переходного времени — о ядерном оружии и вооруженных силах — наиболее серьезной [с .258] проблемой станут экономические вопросы, решение которых будет отчасти облегчаться общей культурой и тесными личными связями. По словам Джона Моррисона, российско-украинские отношения значат для Восточной Европы то же самое, что франко-немецкие для Западной. Точно так же, как последние две страны образуют ядро Европейского Союза, первые две являются стержнем, необходимым для единства православного мира.

Большой Китай и его “сфера совместного процветания”

Китай исторически считал, что он объединяет следующие части: “синскую зону”, куда входит Корея и Вьетнам, острова Лиу-Чиу и, временами, Япония; “внутреннюю азиатскую зону”, населенную не-китайцами: маньчжурами, монголами, уйгурами, тюрками и тибетцами, которых нужно контролировать по соображениям безопасности; а также “внешнюю зону” варваров, от которых тем не менее “ожидается, что они отдадут должное и признают превосходство Китая”. Современная синская цивилизация приобретает знакомую структуру: центральное ядро — ханьский Китай; отдаленные провинции, которые являются частью Китая, но обладают значительной автономией; провинции, официально являющиеся частью Китая, но имеющие значительную часть не-китайского населения из других цивилизаций (Тибет, Синцзян); и китайские общества, которые станут или могут стать частью Китая с центром в Пекине на определенных условиях (Гонконг, Тайвань); одно преимущественно китайское государство, все более ориентированное на Пекин (Сингапур); крайне влиятельное китайское население в Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и на

Филиппинах, а также не-китайские страны (Северная и Южная Кореи, Вьетнам), которые тем [с .259] не менее разделяют многие составляющие китайской конфуцианской культуры.

В 1950—е Китай определял себя как союзника Советского Союза. Затем, после китайско-советского раскола, он увидел себя в роли предводителя третьего мира в борьбе с обеими сверхдержавами, что повлекло за собой значительные издержки и немногочисленные преимущества. После смены американской политики при администрации Никсона Китай попытался стать третьим участником в игре “баланс власти между двумя сверхдержавами”, уравновесив в 1970-х США, которые тогда казались слабыми, но затем, в 1980-е, когда военный потенциал Соединенных Штатов возрос, а СССР испытывал экономические трудности и увяз Афганистане, Китай занял равноудаленную позицию. С окончанием состязания двух сверхдержав, однако, “китайская карта” потеряла свою ценность, и Китаю пришлось снова переопределять свою роль на мировой арене. Он поставил перед собой две задачи: стать центром китайской культуры, стержневой страной, цивилизационным мандатом, на который будут ориентироваться все остальные китайские сообщества, и восстановить утраченное в девятнадцатом веке историческое значение ведущей державы в Восточной Азии.

Эти намерения Китая видны в следующем: во-первых, в том *способе*, при помощи которого Китай описывает свою позицию на мировой арене; во-вторых, в той степени, в которой зарубежные китайцы принимают участие в экономической жизни Китая, и, в-третьих, во все усиливающихся связях Китая с тремя основными (помимо самого Китая) китайскими сообществами: Гонконгом, Тайванем и Сингапуром, а также все более явной ориентации на Китай стран Юго-Восточной Азии, где Китай имеет значительное политическое влияние.

Китайское правительство рассматривает материковый Китай как стержневую страну своей цивилизации, на которую следует ориентироваться все остальным [с .260] сообществам. Давным-давно отказавшись от идеи отстаивания своих интересов через местные коммунистические партии, правительство пытается “представить себя как всемирного носителя китайской идеи”. Для пекинского правительства люди китайского происхождения, даже с другим гражданством, являются членами сообщества и по сему в некоторой мере подвластны китайскому правительству. Китайская идентичность определяется расовыми понятиями. Китайцы, как выразился один исследователь из РКС, это люди одной “расы, крови и культуры”. В середине 1990-х эта тема все чаще поднималась в правительственных и общественных кругах Китая. Для жителей Китая и тех людей китайского происхождения, кто живет в не-китайских обществах, “проверка зеркалом” становится проверкой того, кем они являются: “Подойди к зеркалу и посмотри на себя, — вот напоминание ориентированных на Пекин китайцев тем соотечественникам, кто старается ассимилироваться в зарубежных странах. Китайская диаспора, то есть *huaren* „ люди китайского происхождения, в отличие от *zhongguoren* , или жителей государства Китай, все чаще озвучивают идею “культурного Китая” как проявления их *gongsh* , или общего сознания. Китайская идентичность, которая в двадцатом веке подвергалась многочисленным нападкам со стороны Запада, теперь находится в процессе переопределения, и в этом помогают выдержавшие проверку временем составляющие китайской культуры .

Исторически эта идентификация совпадала также и с различными взаимоотношениями с центральными властями китайского государства. Это чувство культурной идентичности облегчает рост экономических взаимоотношений между несколькими *Китайями*, что стало основным фактором, обусловившим экономический рост как материкового Китая, так и других обществ, и обеспечило тем самым материальный и психологический стимул для усиления китайской культурной идентичности. [с .261]

“Большой Китай”, таким образом, это не просто абстрактное понятие. Это быстро растущая культурная и экономическая реалья, которая уже начала становиться политической. Благодаря китайцам в 1980-е и 1990-е годы имел место бурный

экономический рост: на материковой части, у Тигров (три из четырех Тигров — китайские общества), и в Юго-Восточной Азии. Экономика Восточной Азии все больше концентрируется вокруг Китая, и Китай все сильнее доминирует в ней. Китайцы из Гонконга, Тайваня и Сингапура предоставили основную часть капиталов, которые вызвали резкий подъем экономики материкового Китая в 1990-х. Зарубежные китайцы доминируют в экономиках стран Юго-Восточной Азии. К началу 1990-х годов китайцы составляли 1% населения Филиппин, но отвечали за 35% продаж местных фирм. В середине 1980-х в Индонезии китайцев было 2 — 3 процента от общего населения, но в их руках было сосредоточено около 70% местного частного капитала. Семнадцать из двадцати пяти крупнейших компаний контролировались китайцами, а один китайский конгломерат давал 5% ВВП Индонезии. В начале 1990-х китайцы составляли 10% населения Таиланда, но владели девятью из десяти крупнейших фирм и отвечали за 50% ВВП. Китайцы составляют примерно одну треть населения Малайзии, но экономика почти полностью в их руках. Вся восточно-азиатская экономика вне Японии и Кореи — это, по сути, китайская экономика.

Возникновение сферы совместного процветания Большого Китая в значительной мере облегчается «бамбуковой сетью» семейных и личных отношений, а также общей культурой. Зарубежные китайцы способны вести бизнес в Китае намного лучше жителей Запада или японцев. В Китае доверие и преданность зависят от личных связей, а не от контактов, законов и других письменных документов. Западному бизнесмену будет намного проще вести дела в Индии, чем в Китае, где верность договорам зиждется на личных взаимоотношениях. Фунабаси Йоичи в 1993 году с [с .262] завистью заметил, что Китай извлек немалую выгоду из «не имеющей границ сети китайских коммерсантов в Гонконге, Тайване и Юго-Восточной Азии». «Зарубежные китайцы, — соглашается с ним один американский бизнесмен, — обладают предпринимательской жилкой, знают язык и переносят «бамбуковую сеть» своих семейных связей на деловые контакты. И имеют огромное преимущество над всеми, кто должен отчитываться перед советом директоров где-нибудь в Акроне или Филадельфии». Преимущества зарубежных китайцев, ведущих дела на материке, также хорошо сформулировал Ли Кван Ю: «Мы — этнические китайцы. У нас много общего в наследии и культуре... Люди симпатизируют тем, кто на них похож. Это чувство взаимопонимания усиливается, если общими являются культура и язык. Это облегчает доверие и взаимопонимание — основу для любых деловых отношений». В конце восьмидесятых — девяностых годов двадцатого века зарубежные этнические китайцы смогли «продемонстрировать скептически настроенному миру, что связи *quanxi*, основанные на общности культуры и языка, могут скомпенсировать пробелы в правовых нормах и неясности в правилах и нормах». Важность общей культуры для экономического развития была подчеркнута на Второй всемирной конференции китайских предпринимателей, состоявшейся в Гонконге в ноябре 1993-го. Ее описывали как «всекитайский триумфальный праздник, на который собрались китайские бизнесмены со всего мира». В синском мире, как везде, культурная общность стимулирует развитие экономических связей.

Снижение активности экономического участия Запада в китайской экономике после событий на площади Тяньаньмынь, за которым последовало десятилетие бурного экономического роста в Китае, дало возможность и стимул зарубежным китайцам превратить свою особую культуру и личные связи в капитал, и их крупные инвестиции хлынули в Китай. Результатом стал резкий рост экономических связей между китайскими сообществами. В 1992 году 80% [с .263] прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику (11,3 миллиарда долларов) пришлось на долю зарубежных китайцев, преимущественно на Гонконг (68,3%), а также на Тайвань (9,3%), Сингапур, Макао и другие страны. Япония, напротив, вложила лишь 6,6%, а Соединенные Штаты — 4,6% от общей суммы. Из примерно 50 миллиардов общих иностранных инвестиций 67% пришло из китайских источников. Рост торговли был не менее впечатляющим. Экспорт Тайваня в Китай вырос практически с нуля в 1986 году до 8% от общего тайваньского экспорта в 1992-м, увеличившись только за 1992 год на 35%. Рост сингапурского экспорта в Китай в

том же 1992 году вырос на 22% (для сравнения: в тот год его общий экспорт увеличился всего на 2%). Как заметил в 1993 году Мюррей Вайденбаум: “Несмотря на то что сейчас в регионе доминирует Япония, в Азии интенсивно развивается промышленность, коммерция и финансы, создавая новую экономическую структуру с центром в Китае. Этот стратегический район обладает значительным потенциалом в области развития технологий и производства (Тайвань), предпринимательства и торговли (Гонконг), развитой сетью коммуникаций (Сингапур) и невероятным финансовым капиталом (целых три страны!), а также огромными территориями, ресурсами и рабочей силой (материковый Китай)”. Кроме того, рынок материкового Китая, конечно же, потенциально самый большой из всех растущих рынков, и к середине 1990-х инвестиции в Китай были направлены в основном на продажу в данном регионе и экспорт из него.

Китайцы в странах Юго-Восточной Азии в различной мере ассимилировались с местным населением, причем последнее зачастую испытывает антикитайские настроения, которые при случае, как например меданское восстание в Индонезии в апреле 1994-го, вырываются наружу в форме насилия. Некоторые жители Малайзии и Индонезии критиковали отток китайских инвестиций на материк как “бегство капиталов”, и политические лидеры [с .264] вынудили президента Сухарто успокоить общественность заявлением, что это не окажет отрицательного воздействия на экономику их страны. Китайцы из Юго-Восточной Азии, в свою очередь, настаивали на том, что они преданны исключительно стране, где родились сами, а не их предки. В начале 1990-х отток китайского капитала из Юго-Восточной Азии был компенсирован солидными тайваньскими инвестициями в Филиппины, Малайзию и Вьетнам.

Сочетание растущего экономического могущества и общей китайской культуры привело к тому, что Гонконг, Тайвань и Сингапур принимают все большее участие в делах материкового Китая. Смирившись с приближающейся сменой власти, китайцы из Гонконга начали приспосабливаться к власти Пекина, а не Лондона. Бизнесмены и другие лидеры не хотят критиковать Китай и делать то, что может обидеть Китай. Когда они все-таки задели его, китайское правительство не колеблясь немедленно ответило тем же. К 1994 году сотни предпринимателей сотрудничали с Китаем и работали “гонконгскими советниками” в организации, которая на самом деле была теневым правительством. В начале 1990-х экономическое влияние Китая в Гонконге также значительно усилилось, и инвестиции с “материка” в 1993-м превысили совокупные инвестиции Японии и Соединенных Штатов. К середине 1990-х экономическая интеграция Гонконга и материкового Китая практически завершилась, и осталось лишь ждать политической интеграции, которая наступит в 1997 году.

Развитие связей Тайваня с материковым Китаем отстает от укрепления сотрудничества Китая с Гонконгом. Тем не менее в восьмидесятые годы произошли значительные изменения. На протяжении трех десятилетий после 1949 года Две китайские республики отказывались признавать существование и легитимность друг друга, не имели связей друг с другом и фактически были в состоянии войны, которая время от времени проявлялась в перестрелках у прибрежных островов. После того как Дэн Сяопин укрепил свою [с .265] власть и начал процесс экономических реформ, правительство материкового Китая сделало ряд шагов к примирению. В 1981 году правительство Тайваня ответило взаимностью и начало отход от политики “трех нет” — нет контактов, нет переговоров и нет компромисса с материком. В мае 1986-го состоялись первые двусторонние переговоры по поводу возвращения тайваньского самолета, который был угнан в материковый Китай, и годом позже Тайвань отменил запрет на торговлю с материком.

Последовавшее быстрое развитие экономических взаимоотношений между Тайванем и материком в значительной мере облегчалось “общей китайской идеей”, и результатом стало взаимное доверие. Жители Китая и Тайваня, как заметил главный представитель Тайваня на переговорах, “имеют настроение «свой своему поневоле брат»” и гордятся достижениями друг друга. К концу 1993 года жители Тайваня совершили 4 миллиона 200 тысяч визитов на

материк, а китайцы 40 000 раз посетили Тайвань; каждый день жители Тайваня и Китая обменивались 40 000 писем и 13 000 телефонных звонков. Статистика сообщает, что торговля между двумя Китаями в 1993 году достигла 14,4 млрд долларов, а 20 000 тайваньских фирм вложили в развитие материка от 15 до 30 млрд долларов. Тайвань все большее внимание уделял материковому Китаю, с которым он связывал свой успех. “До 1980 года наиболее важным рынком для Тайваня была Америка, — заметил один тайваньский государственный деятель в 1993 году, — но в девяностых мы знаем, что наиболее важный фактор успеха для Тайваня — это материк”. Наиболее притягательной для тайваньских инвесторов, столкнувшихся с нехваткой рабочих рук у себя дома, стала дешевая рабочая сила на материке. В 1994 году начался обратный процесс исправления дисбаланса капитала и рабочей силы между двумя Китаями, когда тайваньские рыболовные компании наняли около 10 000 жителей материка для работы на своих судах. Развитие экономических связей привело к переговорам между двумя [с .266] правительствами. В 1991 году два Китая учредили организации для связи друг с другом: Тайвань создал Фонд взаимодействия, а материк — Ассоциацию по отношениям через Тайваньский пролив. Первая встреча состоялась в Сингапуре в апреле 1993 года, а последующие встречи были проведены на материке и на Тайване. В августе 1994 года состоялся прорыв — подписан договор, содержащий множество ключевых вопросов, и даже пошли разговоры о возможном саммите глав двух правительств.

В середине 1990-х между Тайбэем и Пекином оставались нерешенные вопросы, включая независимость Тайваня, его участие в международных организациях и возможности самоопределения Тайваня как независимого государства. Однако вероятность того, что последнее произойдет, становится все меньше, потому что основной борец за независимость — Демократическая Прогрессивная Партия, обнаружила, что избиратели не хотят разрывать существующие связи с материком, и перестала “нажимать” на этот вопрос, боясь потерять голоса. Лидеры ДПП заявляют, что если они придут к власти, то вопрос независимости не будет первым на их повестке дня. Два правительства также имеют общие интересы — необходимо отстоять принадлежность Спрэтли и других островов Южно-Китайского моря к Китаю, а также подтвердить американский режим наибольшего благоприятствования по отношению к материковому Китаю. В начале 1990-х оба Китая медленно, но уверенно и неотвратно двигались навстречу друг к другу и развивались в соответствии с их растущими экономическими связями и общей культурной идентичностью.

Это движение к компромиссу резко приостановилось в 1995 году, когда тайваньское правительство агрессивно потребовало признания и включения в международные организации. Президент Ли Дэнхуэй совершил “частный” визит в США, и на Тайване в декабре 1995 года прошли парламентские выборы, за которыми в марте 1996-го последовали президентские. В ответ китайское правительство провело [с .267] испытания ракет в море поблизости главных тайваньских портов и провело военные маневры близ островов, контролируемых Тайванем. Такое развитие ситуации подняло два вопроса. Один касается настоящего: может ли Тайвань оставаться демократическим, не став де-юре независимым? Второй относится к будущему: может ли Тайвань быть демократическим, не оставаясь независимым де-факто?

Отношения Тайваня с материком прошли две фазы и могут вступить в третью. На протяжении десятилетий националистское правительство заявляло, что является правительством всего Китая; это заявление означало явный конфликт с правительством, которое на самом деле контролировало весь Китай, за исключением Тайваня. В 1980-х тайваньское правительство отказалось от этих претензий и определило себя как правительство Тайваня, что обеспечило основу для примирения с материком по принципу “одна страна, две системы”. Однако многие отдельные личности и целые группы на Тайване подчеркивали, что Тайвань имеет отдельную культурную идентичность, указывая на сравнительно короткий период китайского правления и тот факт, что местный язык непонятен для носителей мандаринского диалекта. На самом деле, они пытались определить

тайваньское общество как не-китайское и, таким образом, по праву независимое от Китая. Помимо этого, правительство Тайваня стало более активным на международной арене, давая понять, что Тайвань — отдельная страна, а не часть Китая. Короче говоря, самоопределение национального правительства Китая эволюционировало следующим образом: правительство всего Китая — правительство части Китая — правительство не-Китая. Последняя позиция, которая де-факто означает провозглашение независимости, полностью неприемлема для официального Пекина, которое неоднократно подчеркивало готовность использовать силу, чтобы не дать этому произойти. Лидеры китайского правительства также заявили, что после присоединения к КНР Гонконга в 1997 году и Макао в 1999-м они предпримут [с .268] шаги по возвращению Тайваня. По всей видимости, то, как это произойдет, зависит от нескольких факторов: от того, насколько сильной будет поддержка движения к формальной независимости в Тайване; от исхода борьбы за право стать преемником главы государства в Пекине, которая заставляет политических и военных лидеров занимать крайне националистическую позицию; и наконец, от развития военного потенциала Китая до такой степени, что станет осуществимой блокада или вторжение на Тайвань. Видимо, в начале двадцать первого столетия Тайвань по принуждению или путем переговоров, а скорее всего при помощи сочетания того и другого будет более тесно интегрирован с материковым Китаем.

До поздних 1970-х отношения между непоколебимо антикоммунистическим Сингапуром и Китайской Народной Республикой оставались прохладными, а Ли Кван Ю и другие лидеры Сингапура с презрением относились к отсталому Китаю. Однако когда в восьмидесятых начался резкий экономический взлет Китая, Сингапур начал ориентироваться на материк, используя классическую тактику “подстраивания”. К 1992 году Сингапур вложил в Китай 1,9 миллиарда долларов, а на следующий год объявил о своих планах построить промышленный район “Сингапур II” неподалеку от Шанхая, что означает миллиарды долларов инвестиций. Ли стал горячим сторонником экономического развития Китая и поклонником его мощи. “Китай, — заявил он в 1993 году, — это место, где разворачивается бурная деятельность” . Сингапурские зарубежные инвестиции, которые до этого были сконцентрированы в основном в Малайзии и Индонезии, потекли в Китай. Половина зарубежных проектов, получивших поддержку сингапурского правительства в 1993 году, были внедрены в Китае. Во время своего первого визита в Пекин, который состоялся в 1990-х, Ли Кван Ю постоянно настаивал на том, чтобы разговор велся не на мандаринском, а на английском. Вряд ли он сделал бы это два десятилетия спустя. [с .269]

Ислам: осознание без сплоченности

Структура политической лояльности среди арабов и мусульман всегда была совершенно иная, чем принятая в нас стоящее время на Западе, где вершиной политической лояльности было национальное государство. Все частные проявления преданности и верности подчинены чувству лояльности по отношению к национальному государству и уже включены в него. Группы, выходящие за рамки национального государства — языковые или религиозные сообщества, или цивилизации, — вызывают к себе не такое сильное доверие и преданность. Таким образом, среди множества широких и узких общностей западные проявления лояльности имеют пик где-то посередине, образуя кривую наподобие перевернутой U. В исламском мире структура лояльности представляет собой зеркальное отражение европейской модели. В исламской иерархии лояльности пустой является середина. “Двумя фундаментальными, изначальными и вечными структурами”, как заметил Аира Лапидус, были семья, клан, племя, с одной стороны, и “понятия культуры, религии и империи на самом высоком уровне” — с другой. “Трайбализм и религия (ислам) играли и продолжают играть, — соглашается с ней ливийский исследователь, — значительную и определяющую роль в социальном, экономическом и политическом развитии арабских общественных и политических систем” . На самом деле, они переплетены так, что считаются

наиболее важными факторами и переменными, которые определяют арабскую политическую культуру и арабское политическое мышление. Племена стоят в центре политики арабских государств, многие из которых, как выразился Тасин Башир, сами являются просто “племенами с флагами”. Основатель Саудовской Аравии преуспел во многом из-за своей способности создать коалицию племен при помощи браков и других [с .270] средств, и саудовская политика до сих пор остается во многом политикой племен, где судайри сражаются с шамар и другими племенами. В жизни Ливана принимает участие по крайней мере восемнадцать крупных племен, а в Судане живет около пятисот племен, самое большое из которых составляет примерно 12% населения страны .

Исторически в Центральной Азии не существовало национальной идентичности. “Преданность выказывалась племени, клану, семье, но не государству”. С другой стороны, у людей были общие “язык, религия, культура и стиль жизни”, а “ислам был самой мощной объединяющей силой среди людей, силой, намного превосходящей власть эмира”. Около сотни “горных” и семьдесят “равнинных” кланов насчитывается среди чеченцев и родственных им народов Северного Кавказа. Они контролировали политику и экономику настолько, что в отличие от советской плановой экономики чеченскую экономику стали называть “клановой” .

Центрами лояльности и преданности в исламе всегда были небольшие группы и великая вера, племя и *умма*, а национальное государство не имело такого большого значения. В арабском мире существующие государства имеют проблемы с легитимностью, потому что они в основной массе — результат деспотичных, если не капризных действий европейского империализма. Границы арабских стран не всегда совпадают с границами этнических групп, таких, например, как берберы или курды. Эти государства разделили арабскую нацию, но панарабское государство, с другой стороны, так и не стало реальностью. Кроме того, идея суверенного национального государства несовместима с верой в верховную власть Аллаха и превосходство *умма*. Подобно революционному движению, исламский фундаментализм отказывается от национального государства во имя единства ислама, совсем как марксизм отвергал его во имя единства пролетариата всех стран. Слабость национального государства в исламе также находит отражение в том [с .271] факте, что в то время как между мусульманскими *группами* после Второй Мировой войны было немало конфликтов, крупные войны между мусульманскими *странами* случались редко, и самыми значительными из них стали нападения Ирака на своих соседей.

В семидесятых — восьмидесятых годах двадцатого века те же факторы, которые породили Исламское возрождение, также усилили идентификацию с *умма*, или исламской цивилизацией в целом. Как заметил в середине 1980-х один исследователь,

“глубокое осознание мусульманской идентичности и единства были еще больше усилены деколонизацией, демографическим ростом, индустриализацией, урбанизацией и изменением международного порядка, связанного, помимо всего прочего, с нефтяными запасами на мусульманских землях... Современные средства коммуникации способствовали развитию и совершенствованию связей между мусульманскими народами. Выросло количество людей, совершающих паломничество в Мекку, что усиливает чувство общей идентичности среди мусульман из таких далеких стран, как Китай и Сенегал, Йемен и Бангладеш. Растет число студентов из Индонезии, Малайзии, Африки и с юга Филиппин, которые учатся в университетах Ближнего Востока, распространяя идеи и устанавливая личные связи через государственные границы. Проводятся — и все чаще — регулярные конференции и консультации среди мусульманской интеллигенции и *улема* (богословов) в таких центрах, как Тегеран, Мекка и Куала-Лумпур... Кассеты (аудио-, а теперь и видео-) разносят проповеди через международные границы, так что влиятельные проповедники теперь имеют доступ к аудитории далеко за пределами местной общины” .

Чувство мусульманского единства также отражается и находит поддержку в действиях государств и международных [с .272] организаций. В 1969 году лидеры Саудовской Аравии, Пакистана, Марокко, Ирана, Туниса и Турции организовали первый арабский

саммит в Рабате. Там родилась Организация исламской конференции, которая была формально учреждена в 1972 году со штаб-квартирой в Джидде. Практически все страны со значительным мусульманским населением теперь входят в ОИК, которая является единственной межгосударственной организацией своего рода. Христианские, православные, буддистские и индуистские правительства не имеют межгосударственных организаций, основанных на религии, а у мусульманских правительств такой орган есть. Кроме того, правительства Саудовской Аравии, Пакистана, Ирана и Ливии финансируют и поддерживают такие неправительственные организации, как Всемирный мусульманский конгресс (пакистанское детище) и Мусульманскую всемирную лигу (саудовское), а также “многочисленные, зачастую весьма далекие от ислама партии, режимы, движения и начинания, которые, как им кажется, разделяют их идеологический курс” и которые “обогащают обмен информацией и ресурсами среди мусульман”.

Переход от исламского сознания к исламской сплоченности тем не менее содержит два парадокса. Во-первых, ислам разделен среди нескольких конкурирующих центров власти, каждый из которых пытается извлечь выгоду из мусульманской идентификации с *умма*, чтобы сплотить исламский мир под своим руководством. Это соревнование идет между установившимися режимами и их организациями, с одной стороны, и исламистскими режимами и их организациями — с другой. Саудовская Аравия была лидером в создании ОИК отчасти для того, чтобы создать противовес Лиге арабских государств, где в то время доминировал Насер. В 1991 году, после Войны в Заливе, лидер Судана Хассан аль-Тураби основал Народную арабскую исламскую конференцию (НАИК) в качестве противовеса ОИК, где доминировала Саудовская Аравия. Третья конференция [с .273] НАИК, которая состоялась в Хартуме в начале 1995 года, собрала несколько сот делегатов из исламистских организаций и движений восьмидесяти стран. Помимо эти формальных организаций, война в Афганистане породила развитую сеть неформальных и подпольных групп ветеранов, которые воевали за дело ислама и мусульман в Алжире, Чечне, Египте, Тунисе, Боснии, Палестине, Филиппинах и многих других странах. После войны их ряды пополнились бойцами, прошедшими подготовку в университете Дава и Джихад под Пешаваром и афганских лагерях, которые финансировались различными группировками и их зарубежными покровителями. Общие интересы, разделяемые радикальными режимами и движениями, иногда превосходили более традиционную вражду, и с иранской помощью были налажены связи между суннитскими и шиитскими фундаменталистскими группами. Тесное военное сотрудничество налажено между Суданом и Ираном: иранские ВВС и ВМФ используют суданские базы, а правительства этих двух стран совместно поддерживают группы фундаменталистов в Алжире и многих других странах. По некоторым данным, Хассан аль-Тураби и Саддам Хуссейн наладили тесные связи в 1994 году, а Иран и Ирак сделали шаги к примирению.

Во— вторых, концепция *умма* предполагает нелегитимность национального государства, но в то же время *умма* можно объединить только при помощи действий одного или более стержневых государств, которые в данный момент отсутствуют. Концепция ислама как единого религиозно-политического сообщества означает, что стержневые государства обычно появлялись в прошлом только когда религиозное и политическое руководство -халифат и султанат — объединялись в один правящий институт. Стремительное завоевание Северной Африки и Ближнего Востока арабами в седьмом веке достигло кульминации в халифате Омейядов со столицей в Дамаске. За ним последовал основанный Багдадом, испытывавшим влияние персов халифат [с .274] Аббасидов, а в десятом веке появились второстепенные халифаты в Каире и Кордове. Четыре столетия спустя оттоманские турки пронесли по Ближнему Востоку, захватив Константинополь в 1453 году и образовав новый халифат в 1517-м. Примерно в то же самое время другие тюркские народы завоевали Индию и основали империю моголов. Подъем Запада подорвал мощь и Оттоманской, и Могольской империи, и крах Оттоманской империи оставил ислам без стержневого государства. Оттоманские земли были большей частью разделены между

западными державами, которые, уйдя оттуда, оставили после себя неустойчивые государства, созданные по западным моделям, чуждым традициям ислама. Поэтому на протяжении большей части двадцатого века ни у одного мусульманского государства не было достаточной власти и достаточной культурной и религиозной легитимности для того, чтобы претендовать на роль предводителя ислама и быть принятым в этом качестве другими исламскими и неисламскими странами.

Отсутствие исламского стержневого государства — основная причина продолжающихся внутренних и внешних конфликтов, присущих исламу. Осознание без сплоченности — вот источник слабости ислама и источник, от которого исходит угроза другим странам. Насколько вероятно, что такая ситуация сохранится надолго?

Исламское стержневое государство должно обладать экономическими ресурсами, военной мощью, организаторскими способностями, а также исламской идентичностью и преданностью, чтобы стать политическим и религиозным лидером *умма*. В качестве вероятного исламского лидера время от времени упоминаются шесть стран, однако в настоящее время ни одна из них не обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы по-настоящему стать стержневым государством. Индонезия — самая крупная мусульманская страна, и ее экономика растет быстрыми темпами. Однако она расположена на периферии ислама. Слишком далеко от арабского центра. Ислам в этой стране [с .275] более мягкий, как это и принято в Юго-Восточной Азии. Население Индонезии и ее культура — это смесь туземного, мусульманского, индуистского, китайского и христианского влияния. Египет — арабская страна, с большим населением, занимает центральное, стратегически важное место на Ближнем Востоке; там расположено ведущей исламское учебное заведение — университет аль-Азхар. Но в то же время это бедная страна, экономически зависимая от Соединенных Штатов, контролируемых Западом международных организаций и арабских стран с богатыми нефтяными запасами.

Иран, Пакистан и Саудовская Аравия явно определяют себя как мусульманские страны и предпринимают активные попытки оказать влияние на *умма* и стать ее лидером; Поступая так, они соревнуются друг с другом в финансировании организаций, оказании помощи исламским группами “сватовстве” к мусульманским народам Центральной Азии; Иран обладает размером, центральным расположением, населением, историческими традициями, нефтяными ресурсами и средним уровнем экономического развития, чего достаточно, чтобы квалифицировать его как исламское стержневое государство. Однако 90% процентов мусульман — сунниты, в то время как в Иране преобладают шииты; персидский язык — далекий родственник арабского как языка ислама, и отношения между персами и арабами исторически были антагонистическими.

Пакистан обладает размером, населением, военной мощью, а его лидеры достаточно последовательно пытались провозгласить, что их страна играет роль “локомотива” сотрудничества между исламскими государствами, и от лица их страны ислам говорит во всем остальном мире. Однако Пакистан — относительно бедная страна, которая страдает от серьезной внутренней этнической и региональной раздробленности, политической нестабильности и проблемы поддержания безопасности с Индией, что во многом объясняет его заинтересованность в развитии тесных связей [с .276] с другими исламскими странами, а также немусульманскими государствами, такими как Китай и Соединенные Штаты.

Саудовская Аравия — колыбель ислама; там расположены самые почитаемые святые ислама; ее язык — это язык ислама; она обладает самыми крупными в мире запасами нефти и, следовательно, финансовым влиянием; ее правительство ведет общество по исключительно исламскому пути. В семидесятые — восьмидесятые годы двадцатого века Саудовская Аравия была единственной влиятельной силой ислама. Она потратила миллиарды долларов на поддержку мусульманских начинаний по всему миру, от строительства мечетей и издания книг до создания и поддержки политических партий, исламистских организаций и террористических движений, причем была довольно неразборчива в своей помощи. С другой стороны, относительно небольшое население

Саудовской Аравии и географическая уязвимость делают ее зависимой от Запада в плане безопасности.

Наконец, Турция. Она обладает историей, населением, средним уровнем экономического развития, национальным единством, военными традициями и компетенцией, чтобы стать стержневым государством ислама. Однако Ататюрк, четко определив Турцию как светскую страну, не дал Турецкой Республике перенять эту роль по наследству у Османской империи. Турция даже не смогла стать одним из основателей ОИК, потому что светский характер этой страны прописан в ее конституции. Пока Турция продолжает определять себя светской страной, роль лидера ислама ей заказана.

Однако что будет, если Турция переопределится? В какой-то момент Турция может отказаться от своей угнетающей и унижительной роли просителя, умоляющего Запад о членстве в ЕС, и вернуться к более впечатлительной и возвышенной исторической роли основного исламского представителя и антагониста Запада. [с.277]

Фундаментализм сейчас в Турции на подъеме; при Озале Турция прилагала значительные усилия, чтобы идентифицировать себя с арабским миром: страна извлекла выгоду из этнических и лингвистических связей, чтобы играть определенную скромную роль в Центральной Азии. Турция поддерживала и поощряла мусульман в Боснии. Среди мусульманских стран Турция занимает уникальное положение благодаря наличию обширных исторических связей с мусульманами на Балканах, Среднем Востоке, Северной Африке и Центральной Азии. Вполне вероятно, Турция может “стать еще одной Южной Африкой”: отказаться от светскости как чуждой ей идеи, подобно тому как ЮАР отменила апартеид и таким образом сменила свой статус страны-изгоя на роль ведущей державы своей цивилизации. Усвоив уроки добра и зла западного влияния, от христианства до апартеида, ЮАР имеет особенное право вести за собой Африку. Усвоив уроки добра и зла западного влияния — секуляризм и демократию, — Турция может добиться аналогичного права стать лидером ислама. Но чтобы добиться этого, ей нужно отречься от наследия Ататюрка еще решительней, чем Россия отказалась от ленинских заветов. Возможно, для этого потребуется лидер масштаба Ататюрка, который объединит религиозное и политическое наследие, чтобы превратить Турцию из разорванной страны в стержневое государство. [с .278]

Примечания

Про себя, вполголоса (*итал.*) — *Прим. перев.*

ЧАСТЬ 4. СТОЛКНОВЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Глава 8. Запад и остальные: межцивилизационные вопросы

Западный универсализм

В возникающем мире отношения между странами и возникающем мире отношения между странами и группами из различных цивилизаций не будут тесными и зачастую будут антагонистическими. И все же некоторые межцивилизационные отношения больше чреватые конфликтами, чем другие. На микроуровне наиболее напряженные линии разлома проходят между исламом и его православными, индуистскими, африканскими и западнохристианскими соседями. На макроуровне самое главное разделение — “Запад и остальные”, и наиболее ожесточенные конфликты случаются между мусульманскими и азиатскими странами, с одной стороны, и Западом — с другой. Самые опасные столкновения в будущем, скорее всего, будут происходить из-за заносчивости Запада, нетерпимости ислама и синской самоуверенности.

Запад — единственная из цивилизаций, которая оказала огромный и временами разрушающий эффект на все остальные цивилизации. Следовательно, взаимоотношения между властью и культурой Запада и властью и культурами других цивилизаций — вот наиболее всеобъемлющая характеристика мира цивилизаций. По мере того как относительное влияние других цивилизаций возрастает, утрачивается привлекательность [с .281] западной культуры и не-западные жители все больше, доверяют своим исконным культурам и все больше предаются им. В результате этого основной проблемой взаимоотношений между Западом и остальными стало несоответствие между стремлением Запада — особенно Соединенных Штатов — насаждать универсальную западную культуру и все снижающейся способностью делать это.

Падение коммунизма обострило это несоответствие, укрепив на Западе мнение, что идеология демократического либерализма триумфально победила во всем мире, и поэтому она универсально приемлема. Запад, с его давними миссионерскими традициями, и главным образом Америка, полагает, что не-западные народы должны перенять западные ценности демократии, свободного рынка, контролируемого правительства, прав человека, индивидуализма, господства права и затем должны воплотить все эти ценности в своих институтах. Меньшинства из других цивилизаций с радостью принимают и поддерживают эти ценности, но в не-западных культурах преобладает другое отношение к этим ценностям: от широко распространенного скептицизма до жесткого противодействия. То, что для Запада универсализм, для остальных — империализм.

Запад пытается и будет продолжать пытаться сохранить свое высокое положение и защищать свои интересы, называя их интересами “мирового сообщества”. Это выражение стало эвфемизмом (заменив “свободный мир”) и призвано придать иллюзию правомочности в глазах всего мира действиям, отражающим интересы США и других западных держав. Так, например, Запад пытается интегрировать не-западные страны в глобальную экономическую систему, в которой он доминирует. При помощи МВФ и других международных экономических институтов Запад поддерживает свои экономические интересы и вынуждает другие страны вести ту экономическую политику, которую считает приемлемой. При любом опросе общественного мнения в не-западных обществах, МВФ несомненно заручился бы [с .282] поддержкой финансовых министров и еще небольшого числа людей, но подавляющее большинство высказало бы свое негативное отношение к нему. Люди согласились бы с Георгием Арбатовым, который описал чиновников из МВФ как “небольшевиков, которые обожают экспроприировать деньги других, насаждают недемократические и чуждые правила экономического и политического поведения и душат экономическую свободу” .

Жители не-Запада также не упускают случая указать на расхождение между принципами и поступками Запада. Лицемерие, двойные стандарты, излюбленный оборот “да, но...” — вот цена претензий на универсализм. Да, мы поддерживаем демократию, но только если она не приводит к власти исламский фундаментализм; да, принцип нераспространения должен касаться Ирана и Ирака, но не Израиля; да, свободная торговля — это эликсир экономического роста, но только не в сельском хозяйстве; да, права человека — это проблема в Китае, но не в Саудовской Аравии; да, нужно срочно отразить агрессию против обладающего нефтью Кувейта, но не нападение на обделенных нефтью боснийцев. Двойные стандарты на практике — это неизбежная цена универсальных стандартных принципов.

Добившись политической независимости, не-западные общества пожелали освободиться от экономического, военного и культурного господства Запада. Восточно-азиатские страны быстрыми темпами идут к тому, чтобы поравняться с Западом. Азиатские и исламские страны ищут быстрые пути сравняться с Западом в военном плане. Глобальные притязания западной цивилизации, снижение относительной власти Запада, а также растущая культурная самоуверенность других цивилизаций делают достаточно сложными отношения между Западом и остальными. Природа этих взаимоотношений и степень их антагонистичности, однако, сильно различаются и делятся на три категории. С цивилизациями, бросающими вызов — Исламской и синской, — Запад, скорее всего, будет

иметь [с .283] в целом натянутые и зачастую антагонистичные отношения. Что касается отношений с Латинской Америкой и Африкой, то более слабые цивилизации, которые в определенной мере зависят от Запада, будут куда менее конфликтны, особенно Латинская Америка. Взаимоотношения Запада с Россией, Японией и Индией будут, вероятно, чем средним между двумя предыдущими категориями: здесь будут и сотрудничество, и конфликты, и эти три стержневых государства будут примыкать то к цивилизациям, бросающим вызов, то к Западу. Это “колеблющиеся” цивилизации между Западом, с одной стороны, и исламской синской цивилизациям — с другой.

Ислам и Китай обладают великими культурными традициями, очень отличными от традиций Запада и, в их глаз намного превосходящими традиции Запада. Мощь и самоуверенность обеих цивилизаций по отношению к Западу растут, и конфликты между их ценностями и интересами также ценностями и интересами Запада становятся все более многочисленными и напряженными. Из-за того, что у ислама отсутствует стержневое государство, отношения каждой отдельно взятой исламской страны с Западом существенно различаются. Однако с начала 1970-х прослеживаются довольно четкие антизападные тенденции, которые проявились в подъеме фундаментализма, приходе к власти в мусульманских странах более антизападных правительств вместо прежних прозападных, возникновении квази-войны между некоторыми исламскими группами и Западом, ослаблении установившихся во время “холодной войны” между США и некоторыми мусульманскими страна” связей в области обеспечения безопасности. Подчеркивание различных позиций по некоторым проблемам — это фундаментальный вопрос, касающийся той роли, которую эти цивилизации будут играть по отношению к Западу в создании будущей модели мира. Будут ли всемирные институты, распределение власти, а также политика и экономика наций в двадцать первом веке отражать западные ценности [с .284] и интересы или они будут определяться в первую очередь ценностями и интересами ислама и Китая?

Реалистичная теория международных отношений предсказывает, что стержневые государства не-западных цивилизаций должны вступать в коалиции друг с другом, чтобы уравновесить доминирование власти Запада. В некоторых областях это уже произошло. Однако возникновение всеобщей антизападной коалиции в ближайшее время выглядит маловероятным. Исламская и синская цивилизации фундаментально отличаются в плане религии, культуры, социальной структуры, традиций, политики, основных предпосылок в их образе жизни. По сути, у них меньше общего друг с другом, чем с западной цивилизацией. И все же в политике общий враг порождает общие интересы. Исламские и синские страны, которые рассматривают Запад как своего антагониста, имеют, таким образом, повод сотрудничать друг с другом против Запада, как это делали союзники и Сталин в борьбе с Гитлером. Это сотрудничество заметно во многих аспектах, включая права человека, экономику и, что наиболее заметно, в попытках стран из обеих цивилизаций повысить свой военный потенциал, особенно в области оружия массового уничтожения и средств их доставки, то есть ракет, чтобы компенсировать превосходство Запада по обычным вооружениям. К началу 1990-х годов “конфуцианско-исламские” связи имели место между Китаем и Северной Кореей, с одной стороны, и — в различной степени — Пакистаном, Ираном, Ираком, Сирией, Ливией и Алжиром, с другой, чтобы противостоять Западу в этой области.

Вопросы, которые разделяют Запад и эти другие общества, все острее стоят на повестке дня в международных отношениях. Три подобных вопроса включают попытки Запада: (1) сохранить военное превосходство при помощи политики нераспространения и контрраспространения по отношению к ядерному, биологическому и химическому вооружению, а также средств их доставки; (2) распространить западные ценности и институты, вынуждая другие [с .285] общества уважать права человека, как их понимают на Западе, и принять демократию по западной модели; (3) защитить культурную, общественную и этническую целостность западных стран, ограничив количество въезжающих

в них жителей не-западных обществ в качестве беженцев или мигрантов. Во всех этих трех областях Запад сталкивается и, скорее всего, будет продолжать сталкиваться с проблемами по защите своих интересов перед не-западными обществами.

Распространение вооружений

Рассеивание военного потенциала стало последствием глобального экономического и социального развития. По мере того как азиатские страны — Япония, Китай и другие — становятся богаче, они становятся более могущественными в военном отношении, что со временем произойдет и с исламскими обществами. То же самое будет и с Россией, если она успешно реформирует свою экономику. В последние десятилетия двадцатого века мы стали свидетелями того, как многие не-западные нации получили современное оружие из рук западных стран, России, Израиля и Китая, а также создали собственные мощности по производству новейшего оружия. Этот процесс продолжится и вероятнее всего ускорится в первые годы XXI века. Тем не менее достаточно долго в будущем столетии Запад в лице Америки с некоторой помощью Британии и Франции сможет в одиночку совершить военное вторжение практически в любую точку мира. Одни только Соединенные Штаты будут иметь достаточно военно-воздушных сил, чтобы совершить бомбардировку практически любой точки в мире. Таковы центральные элементы военного положения США как глобальной державы и Запада как господствующей цивилизации в мире. В ближайшее время соотношение обычных видов вооружений в пользу Запада будет подавляющим. [с .286]

Время, усилия и затраты, необходимые для создания первоклассного потенциала обычных вооружений, хорошо стимулируют не-западные страны к поиску других способов противостояния мощи Запада в области обычных вооружений. Очевидным средством “срезать угол” является приобретение оружия массового уничтожения и средств их доставки. Стержневые государства и страны, которые являются или стремятся стать доминирующими в своем регионе державами, имеют особый стимул к приобретению ядерного оружия. Такое оружие, во-первых, позволит этим странам добиться господства над другими странами своей цивилизации и своего региона и, во-вторых, даст им средство отражения вторжения в их цивилизацию или регион Соединенных Штатов или любой другой внешней державы. Если бы Саддам Хуссейн отложил свое вторжение в Кувейт на два-три года, пока не получил бы ядерное оружие, в его руках, скорее всего, оказался бы Кувейт и, вполне возможно, и саудовские нефтяные месторождения. Не-западные страны вынесли очевидные уроки из Войны в Заливе. Для Северной Кореи это были военные уроки: “Нельзя давать американцам наращивать свои силы; нельзя давать им вводить в бой авиацию; нельзя давать Америке вести войну с низким процентом потерь среди американцев”. Для высших военных чинов Индии урок был даже более ясен: “Не воюй с США, если у тебя нет ядерного оружия”. Этот урок был очень серьезно воспринят многими политическими лидерами и представителями военного командования по всему не-западному миру, как и вполне логичный вывод: “Если у тебя есть ядерное оружие, Соединенные Штаты с тобой воевать не будут”.

“Вместо того чтобы, как обычно, укреплять политику с позиций силы, — заметил Лоуренс Фридмен, — обладание ядерным оружием на самом деле подтверждает тенденцию дробления международной системы, в которой некогда великие державы играют более скромную роль”. Таким образом, роль ядерного оружия для Запада после “холодной войны” отличается от той, какую оно играло во [с .287] время “холодной войны”. Как сказал министр оборон Лес Эспин, тогда ядерное оружие компенсировало отставание Запада от Советского Союза в области обычных вооружений. Оно служило “балансиром”. Однако в мире после “холодной войны” Соединенные Штаты обладают “не имеющей себе равных мощью в области обычных вооружений, и теперь уже наши враги могут получить ядерное оружие. Мы — те, кому следовало сократиться, потому что равняются на нас” .

Таким образом, нет ничего удивительного в том, Россия отводит важную роль ядерному оружию в своей обороне, и в 1995-м договорилась о закупке дополнительных

межконтинентальных ракет и бомбардировщиков на Украине. “Мы теперь слышим то же самое, что сами говорили о русских в 50-х, — прокомментировал один американский эксперт по вооружению. — Сейчас русские говорят: «Нам нужно ядерное оружие, чтобы компенсировать их превосходство в обычных видах вооружения»”. С точностью до наоборот, во время “холодной войны” Соединенные Штаты по соображениям политики сдерживания не пожелали отказаться от права первыми использовать ядерное оружие. В свете новых, сдерживающих функций ядерного оружия в мире после “холодной войны”, Россия в 1993 году официально отказалась от советской стратегии не использовать его первыми. В то же время Китай, развивая новую стратегию после окончания “холодной войны” — ядерную стратегию ограниченного сдерживания, тоже начал ставить под вопрос и постепенно отходить от преданности принятого в 1964-м принципа неиспользования ядерного оружия первыми. По мере того, как другие стержневые страны и региональные державы получают ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения, они, скорее всего, также последуют этому примеру, чтобы максимально увеличить сдерживающий эффект своего вооружения против западных военных действий с использованием обычного вооружения. [с .288]

Ядерное оружие может угрожать Западу и более непосредственно. Китай и Россия имеют на вооружении баллистические ракеты, которые могут нанести удар ядерными боеголовками по Европе и Северной Америке. Северная Корея, Пакистан и Индия увеличивают радиус действий своих ракет и в какой-то момент они тоже окажутся способны держать Запад под прицелом. Кроме того, ядерное оружие может быть доставлено и по-другому. Военные аналитики обычно различают конфликты по степени насилия: от небольших боевых действий (как терроризм или единичные партизанские войны), затем ограниченные войны и большие войны (с массированным применением обычного вооружения) до ядерной войны. Терроризм исторически был и остается оружием слабых, то есть тех, кто не обладает обычной военной мощью. Со времен Второй Мировой войны ядерное оружие также было оружием слабых, при помощи которого они компенсировали свое отставание в обычных видах вооружения. В прошлом террористы были способны лишь на ограниченное насилие: убить пару человек здесь или разрушить пару зданий там. Для массированного насилия требовались массированные вооруженные силы. Однако в какой-то момент несколько террористов окажутся способными на массовое насилие и массовые разрушения. По отдельности терроризм и ядерное оружие — это оружие слабых с не-Запада. Если и когда они объединятся, слабые с не-Запада станут сильными.

В мире после “холодной войны” попытки создать оружие массового уничтожения и средства его доставки предпринимались в основном в исламских и конфуцианских странах. Пакистан и, возможно, Северная Корея обладают небольшим количеством ядерного оружия или, по крайней мере, способностью быстро изготовить его, и также разрабатывают или приобретают ракеты большой дальности, чтобы доставлять его. У Ирака большие запасы химического вооружения, и он предпринимает значительные попытки по приобретению биологического и ядерного оружия. [с .289] В 1988 году президент Рафсанджани заявил, что иранцы “должны быть хорошо вооружены химическим, бактериологическим и радиологическим оружием, чтобы использовать его в защитных и наступательных целях”, и три года спустя его вице-президент, обращаясь к исламской конференции, сказал: “Поскольку Израиль по-прежнему обладает ядерным оружием, мы, мусульмане, несмотря на пытки ООН не допустить его распространения, должны сотрудничать в области создания атомной бомбы”. В 1992 и 1993 годах представители высшего руководства американской разведки заявляли, что Иран продолжает свои попытки приобрести ядерное оружие, а в 1995 году госсекретарь США Уоррен Кристофер заявил напрямую: “Сегодня Иран тщетно пытается создать ядерное оружие”. Другие мусульманские страны неоднократно проявляли интерес к созданию ядерного оружия, включая Ливию, Алжир и Саудовскую Аравию. “Полумесяц”, согласно яркому выражению Али Мазруи, находится “над грибовидным облаком”, и он тоже, помимо Запада, может угрожать другим. Ислам может дойти до того,

что “поиграет в ядерную русскую рулетку с двумя другими цивилизациями — с индуизмом в Южной Азии и сионизмом и политизированным иудаизмом на Ближнем Востоке” .

В распространении оружия исламско-конфуцианские связи проявились наиболее широко и конкретно. Китай играет ключевую роль в передаче обычных видов вооружения и оружия массового поражения многим мусульманскими странам. Эта передача включает в себя: постройку секретного, сильно защищенного ядерного реактора в алжирской пустыне, якобы для исследований, но, как полагают многие западные эксперты, для производства плутония; продажу компонентов химического оружия в Ливию; продажу ракет средней дальности СС-20 в Саудовскую Аравию; поставку ядерных технологий или материалов в Ирак, Ливию, Сирию и Северную Корею; и наконец, передачу больших партий обычных видов вооружения Ираку. Вдобавок к китайским [с .290] продажам, Северная Корея в начале девяностых поставила в Сирию через Иран ракеты СС-20, а затем и передвижные пусковые установки для них .

Центральное звено конфуцианско-исламских связей в области вооружений — это отношения между Китаем и в меньшей степени Кореей, с одной стороны, и Пакистаном и Ираном, с другой. С 1981 по 1990 годы основными получателями китайского оружия были Иран и Пакистан, а за ними по пятам следовал Ирак. Начиная с 1970-х, Китай и Пакистан установили между собой весьма тесные связи в военной сфере. В 1989 году эти две страны подписали десятилетний меморандум о взаимопонимании, который предусматривает военное “сотрудничество в области покупки, совместную научно-исследовательскую деятельность, совместное производство и обмен технологиями, а также, по взаимному согласию сторон, продажу в третьи страны”. В 1993 году было подписано дополнительное соглашение, по которому Китаем был предоставлен кредит для пакистанских военных закупок. В результате этого Китай стал “для Пакистана самым надежным и крупным поставщиком военной техники, а также продавцом всех видов военных товаров для всех родов войск пакистанской армии”. Китай также помог Пакистану создать производственные мощности по выпуску реактивных самолетов, танков, артиллерии и ракет. Но самым важным видом помощи Китая Пакистану стала поддержка в создании ядерного оружия. По некоторым сообщениям, Китай передал Пакистану уран для обогащения, давал консультации по конструкции бомбы и, вероятно, предоставил Пакистану возможность взорвать свое ядерное оружие на китайском полигоне. Затем Китай поставил в Пакистан М-11, баллистические ракеты с радиусом действия в 300 км, способные доставлять ядерное оружие, нарушив тем самым обязательства перед Соединенными Штатами. Взамен Китай получил от Пакистана технологии заправки в воздухе и ракеты “стингер” . [с .291]

К 1990— м годам связи в области вооружений были налажены также у Китая с Ираном. Во время ирано-иракской войны в восьмидесятых Китай поставил Ирану 22% его вооружений, а к 1989 году стал единственным крупным поставщиком вооружений в эту страну. Китай также активно сотрудничает с Ираном в его открытых попытках получить ядерное оружие. Сначала страны подписали “исходное китайско-иранское соглашение о сотрудничестве”, а немного позже, в январе 1990 года -десятилетний договор и сотрудничестве в научной области и сфере передачи военных технологий. В сентябре 1992 г. президент Рафсанджани в сопровождении иранских специалистов-ядерщиков посетил Пакистан, после чего отправился в Китай, где подписал еще один договор о сотрудничестве в ядерной области, а в феврале 1993-го Китай подрядился построить в Иране два ядерных реактора по 300 МВт каждый. Китай также является основным поставщиком ракет и ракетных технологий в Иран. Так, например, в конце восьмидесятых он поставил в Иран через Северную Корею ракеты “Silkworm” и “десятки, возможно, сотни ракетных систем наведения и систем компьютеризированного автоматического оружия” в 1994-1995 годах. Кроме того, Китай продал Ирану лицензию на производство китайских ракет класса “земля — земля”. Северная Корея также внесла свою лепту в помощь Ирану: поставила туда “Скады” и помогла создать ее собственные производственные мощности, а в 1993 году договорилась о поставках в Иран ракеты класса СС-20 с радиусом действия в 600 миль.

Третья сторона этого треугольника — Иран и Пакистан — также развивает тесное сотрудничество в ядерной области: Пакистан обучает иранских ученых, а в ноябре 1992 года Пакистан, Иран и Китай договорились о совместной разработке ядерных проектов. Активная помощь Китая по созданию оружия массового уничтожения в Пакистане и Иране свидетельствует о невероятно высоком уровне доверия и сотрудничества между этими странами. [с.292]

В результате всех этих событий и потенциальной угрозы, которую они представляют для западных интересов, распространение оружия массового поражения стало вопросом номер один по обеспечению безопасности Запада. Так, например, в 1990 году 59% американцев считали, что предотвращение распространения ядерного оружия — это важная задача американской внешней политики. В 1994 году так думали уже 82% общественности и 90% высших чинов из внешнеполитического ведомства. Президент Клинтон в сентябре 1993 года особо подчеркнул приоритет задачи нераспространения, а осенью 1994-го объявил “чрезвычайное положение в стране” для противодействия “необычайной и серьезной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов”, которую представляет “распространение ядерного, биологического и химического оружия, а также средств их доставки”. В 1991 году ЦРУ создало Центр по нераспространению со штатом в 100 человек, а в декабре 1993-го министр обороны Эспин представил новую “оборонную инициативу нераспространения” и объявил о создании новой должности — помощника министра по ядерной безопасности и нераспространению. [с.293]

Во время “холодной войны” Соединенные Штаты и Советский Союз были втянуты в классическую гонку вооружений, разрабатывая все более и более совершенное в технологическом плане ядерное оружие и средства его доставки. Это был случай, когда на наращивание сил отвечали наращиванием. В мире после “холодной войны” основная конкуренция в сфере вооружений сместилась в другую область. Антагонисты Запада пытаются получить оружие массового уничтожения, а Запад пытается не дать им это сделать. Это уже не наращивание против наращивания, а скорее наращивание против сдерживания. Размер и потенциал западного ядерного арсенала не является, если не считать риторики, частью этой конкуренции. Результат гонки вооружений по принципу “наращивание против наращивания” зависит от ресурсов, взглядов и технологической развитости обеих сторон. Этот результат не предопределен заранее. Результат гонки между наращиванием и сдерживанием более предсказуем. Усилия Запада по сдерживанию могут замедлить процесс наращивания сил в других обществах, но не могут остановить его. Экономическое и социальное развитие не-западных стран, коммерческий стимул для всех стран, как западных, так и не-западных, делать деньги на продаже оружия, технологий и консультациях, также политические мотивы стержневых государств и региональных держав по защите своего господства в регионе — все это сводит на нет попытку Запада сдержать распространение оружия.

Запад представляет принцип нераспространения как отражающий интересы всех наций в международном порядке и стабильности. Однако другие нации рассматривают нераспространение как обслуживание интересов гегемонии Запада. Это очень ярко просматривается в различных подходах к распространению с точки зрения Запада, и в первую очередь Соединенных Штатов, с одной стороны, и региональных держав, на чью безопасность окажет эффект [с.294] это распространение — с другой. Наиболее заметно это в отношении Кореи. В 1993-1994 годах Соединенные Штаты были в ужасе от одной мысли, что Северная Корея может стать обладателем ядерного оружия. В ноябре 1993-го президент Клинтон решительно заявил: “Северной Корее нельзя позволить создать ядерную бомбу. Нам нужно очень твердо придерживаться этой позиции”. Сенаторы, члены палаты представителей и бывшие чиновники из администрации Буша обсуждали возможную необходимость нанесения упреждающего удара по северокорейским ядерным объектам.

Озабоченность, вызванная в США северокорейской ядерной программой, в значительно степени имела корни в озабоченности из-за глобального распространения; факт появления у Кореи ядерного оружия не только сам по себе усложнит и затруднит возможные действия США в Восточной Азии, но и — если Северная Корея продаст свои технологии и/или оружие — может оказать аналогичный эффект для Соединенных Штатов и в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Южная Корея, с другой стороны, рассматривает атомную бомбу сквозь призму своих региональных интересов. Многие жители Южной Кореи видят в северокорейской бомбе *корейскую* бомбу, которая никогда не будет применена против других корейцев, но может быть использована для защиты корейской независимости и корейских интересов против Японии и других потенциальных противников. Южнокорейские гражданские чиновники и военные офицеры явно ожидают, что у объединенной Кореи будет такой потенциал. Северная Корея играет на руку интересам Южной: первая понесет финансовые затраты на создание бомбы и выслушивает из-за этого упреки всего мира, а вторая просто в скором времени унаследует эту бомбу. Сочетание северного ядерного оружия и южного промышленного героизма позволит единой Корее заполучить роль важного игрока на южно-азиатской сцене. В результате этого [с .295] существовала огромная пропасть во взглядах на одну проблему: Вашингтон в 1994 году видел на Корейском полуострове крупный кризис, в Сеул не замечал никакого кризиса, создавая пугающую пропасть непонимания между двумя столицами. Одна “странность северокорейского ядерного противостояния, с самого начала и на протяжении нескольких лет, — писал один журналист в самый разгар “кризиса” в июне 1994 года, — состоит в том, что предчувствие кризиса способствует нарастанию проблемы корейского кризиса”. Схожий разрыв между интересами безопасности Америки и региональных держав проявился в Южной Азии: Соединенные Штаты озабочены распространением ядерного оружия куда больше, чем страны этого региона. Индия и Пакистан легче воспринимают ядерную угрозу друг друга, чем американские предложения сократить или устранить обе угрозы .

Усилия Соединенных Штатов и других западных стран по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, используемого в целях поддержания баланса, пока увенчались и, скорее всего, будут заканчиваться ограниченным успехом. Через месяц после того президент Клинтон заявил о том, что Северной Корее нельзя позволить заполучить ядерное оружие, американская разведка проинформировала его, что Корея обладает одной или двумя бомбами . В результате этого политика США изменилась — теперь уже Северной Корее предлагали вместо кнута пряник, чтобы уговорить ее не расширять свой ядерный потенциал. Соединенные Штаты также оказались не в состоянии повернуть вспять или остановить наращивание ядерного потенциала в Индии и Пакистане, а также остановить прогресс Ирана в этой области.

На конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая состоялась в апреле 1995 года, ключевым вопросом стал следующий: продлевать договор на 25 лет или бессрочно. Соединенные Штаты настаивали [с .296] на бессрочном продлении. Целый ряд других стран, однако, был против такого продления, если оно не будет сопровождаться значительным сокращением ядерного оружия у пяти признанных атомных держав. Кроме того, Египет поставил условием к продлению подписание договора Израилем и допуск туда экспертов для инспекций. В конце концов Соединенные Штаты добились подавляющего большинства при голосовании за бессрочное продление. Это удалось сделать при помощи весьма успешной стратегии уговоров, взяток и угроз. Например, ни Египет, ни Мексика, которые были против бессрочного продления, не смогли подтвердить свою позицию из-за экономической зависимости от США. В то время как договор был принят большинством голосов, представители семи мусульманских стран (Сирии, Иордании, Ирана, Ирака, Ливии, Египта и Малайзии) и одной африканской (Нигерии) во время финального обсуждения высказались против .

В 1993 году главная цель Запада, определенная в американской политике, сместилась

от нераспространения к контрраспространению. Это изменение стало признанием того, что определенного ядерного распространения все равно не избежать. В свое время политика США сменилась от противодействия распространению к приспособлению к распространению, и если правительству удастся оторваться от штампов времен “холодной войны”, то и к шагам, направленным на то, чтобы ограниченное распространение служило на благо американским и западным интересам. Однако на 1995 год Соединенные Штаты и Запад остаются приверженцами политики сдерживания, которая в конце концов обязательно провалится. Распространение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения — это центральная составляющая медленного, но неминуемого рассеивания силы в полицивилизационном мире. [с .297]

Права человека и демократия

В семидесятых — восьмидесятых годах двадцатого века более тридцати стран в мире перешли от авторитарной политической системы к демократической. Эта волна была вызвана несколькими причинами. Безусловно, наиболее важным фактором, который породил эти политические изменения, стало экономическое развитие. Кроме того, политика и шаги Соединенных Штатов, ведущих западноевропейских держав и международных институтов помогу установить демократию в Испании, Португалии, многих странах Латинской Америки, на Филиппинах, в Южной Корее, в Восточной Европе. Демократизация была наиболее успешной в государствах с сильным христианским и западным влиянием. Новые демократические режимы легче всего устанавливались в странах Южной и Центральной Европы, населенных преимущественно католиками и протестантами; чуть менее уверенно чувствуют себя демократы Латинской Америке. В Восточной Азии в 1980-е к демократии вернулись католические и испытывающие сильное влияние США Филиппины, а христианские лидеры поддерживали движение к демократии в Южной Корее и Тайване. Как уже упоминалось выше, в бывшем Советском Союзе прибалтийские республики довольно успешно перешли к стабильной демократии; мера и стабильность демократии православных республиках сильно различаются, и пока перспективы остаются неясными; будущее демократии мусульманских республиках призрачно. К 1990-м демократические перемены произошли во всех (кроме Кубы и странах Африки) странах, где люди исповедуют западное христианство или где сильно христианское влияние.

Эти перемены, а также крах Советского Союза породили на Западе, особенно в США, веру в то, что в мире происходит глобальная демократическая революция и что в скором [с .298] времени западный подход к правам человека и западные формы политической демократии будут превалировать во всем мире. Таким образом, поддержка распространения демократии стала целью номер один для жителей Запада. Эту цель поддержала администрация Буша: госсекретарь Джеймс Бейкер в апреле 1990 года заявил, что “за политикой сдерживания лежит демократия” и что в мире после “холодной войны” “президент Буш определил нашу новую цель: поддерживать и консолидировать демократию”. Во время своей предвыборной кампании в 1992 году Билл Клинтон неоднократно повторял, что поддержка демократии станет наивысшим приоритетом его администрации, а демократизация стала единственной внешнеполитической темой, которой он целиком посвятил одну из основных предвыборных речей. Став президентом, он порекомендовал увеличить на две трети финансирование Национального фонда демократии; его помощник по национальной безопасности определил центральной темой внешней политики клинтоновской администрации “увеличение демократии”; его министр обороны включил поддержку демократии в список из четырех важнейших задач и хотел даже создать высокий пост в своем министерстве по обеспечению этой задачи. Пусть в меньшей степени и не столь явным образом, поддержка прав человека и демократии играет важную роль во внешней политике европейских стран, а также в критериях, которые используют контролируемые Западом международные экономические институты при выдачи ссуд и

субсидий развивающимся странам.

К 1995 году европейские и американские усилия, направленные на достижение этих целей, достигли скромных успехов. Почти все не-западные цивилизации сопротивлялись давлению Запада. Сюда можно включить индуистские, православные, африканские и в некоторой мере даже латиноамериканские страны. Однако на самое ожесточенное сопротивление западные усилия по демократизации наткнулись в исламских и мусульманских государствах. Это [с .299] сопротивление объясняется развернутыми движениями культурного самоутверждения, которые воплотились в Исламском возрождении и азиатском подъеме.

Провал политики США в Азии объясняется в первую очередь ростом экономического благосостояния и самоуверенности азиатских правительств. Азиатские публицисты постоянно напоминают Западу, что старые времена зависимости и подчинения уже позади и что Запад, произволивший половиною мирового экономического продукта в 1940-е, доминировавший в ООН и написавший Всеобщую декларацию прав человека (Universal Declaration on Human Rights), тоже стал частью истории. "...Попытки поддержки прав человека в Азии, — заявил один сингапурский чиновник, — должны считаться с изменившимся распределением силы в мире после «холодной войны»... западное влияние на Восточную и Юго-Восточную Азию значительно снизилось” .

И он прав. Если договоренность Соединенных Штатов с Северной Кореей можно по праву назвать “капитуляцией после переговоров”, то факт, что Америка сдалась в борьбе за права человека в Китае и других странах, можно назвать безоговорочной капитуляцией. После того как администрация Клинтона пригрозила снять с Китая режим наибольшего благоприятствования, если тот не сделается более уступчивым в вопросах прав человека, она сначала увидела унижения своего госсекретаря в Пекине, после чего не сделала ничего для спасения престижа, затем ответила на такое поведение отказом от прежней политики и отделением вопроса о статусе “наибольшего благоприятствования” вопросов о правах человека. Китай, в свою очередь, отреагировал на такое проявление слабости Соединенными Штатами продолжением и усилением того курса, который вызывал протесты клинтоновской администрации. Причем точно так же пошла на попятный в случаях с Сингапуром, где побили палками американского гражданина, и Индонезией, учинившей кровавые репрессии в Восточном Тиморе. [с .300]

Способность азиатских режимов сопротивляться давлению Запада в области прав человека усилилась по нескольким причинам. Американские и европейские деловые круги были весьма озабочены развитием торговли с быстро растущими странами и инвестиций в них, и они оказывали сильное давление на свои правительства, чтобы те не мешали экономическим отношениям с этими странами. Кроме того, азиатские страны рассматривали такое давление как вмешательство в свои внутренние дела и сплачивались для поддержки друг друга, когда поднимался этот вопрос. Тайваньские, японские и гонконгские бизнесмены, вложившие деньги в Китай, имели особую заинтересованность в том, чтобы США сохранили в отношении Китая режим наибольшего благоприятствования. Японское правительство вообще дистанцировалось от американской политики в области прав человека: после событий на площади Тяньаньмынь премьер-министр Киити Миядзава заявил, что “Мы не позволим «абстрактной идее прав человека» повлиять на наши взаимоотношения с Китаем”.

Страны АСЕАН с большой неохотой применили давление на Мьянму, а в 1994 году пригласили военную хунту на свою встречу, в то время как Европейский Союз, как выразился его председатель, вынужден был признать, что его политика “была не очень успешной” и что ему придется смириться с подходом стран АСЕАН к Мьянме. Кроме того, растущая экономическая мощь таких стран, как Малайзия и Индонезия, позволила им применить “ответные меры” по отношению к странам и фирмам, которые их критикуют или поведение которых рассматривается как нежелательное .

В целом рост экономики азиатских стран делает их все больше невосприимчивыми к

давлению Запада в области прав человека и демократии. “Сегодняшняя экономическая мощь Китая, — заметил Ричард Никсон в 1994 году, — делает лекции США о правах человека безрассудными. Через десять лет [с .301] она сделает их неуместными. Через двадцать лет над ними будут смеяться” . Однако к тому времени экономическое развитие Китая может сделать западные лекции ненужными. Экономический рост усиливает позиции азиатских правительств по отношению к западным правительствам. По большому счету он также усилит позиции азиатских обществ по отношению к азиатским правительствам. Если демократия придет в новые азиатские страны, то это произойдет потому, что все более влиятельные азиатская буржуазия и средний класс захотят этого.

В отличие от успеха с бессрочным продлением договора о нераспространении, попытки Запада по поддержке прав человека в представительствах ООН, как правило, заканчивались ничем. За редкими исключениями, как например осуждение Ирака, почти все резолюции по правам человека в ООН отклонялись при голосовании. Кроме нескольких латиноамериканских стран, правительства не горят желанием вступать в борьбу за то, что многие рассматривают как “империалистические права человека”. Так, например, Швеция в 1990 году от имени двадцати западных стран внесла на рассмотрение резолюцию, осуждающую военный режим в Мьянме, но оппозиция, состоящая из азиатских и некоторых других стран, “похоронила” эту инициативу. Резолюции, осуждающие Ирак за нарушение прав человека, также отклонялись при голосовании, и на протяжении добрых пяти лет в 1990-х Китаю удавалось мобилизовать азиатскую помощь для того, чтобы отклонить выдвигаемые Западом резолюции, выражающие озабоченность нарушением прав человека в этой стране. В 1994 году Пакистан выдвинул на рассмотрение в комиссии ООН по правам человека резолюцию, осуждающую Индию за нарушение прав человека в Кашмире. Дружественные Индии страны объединились против принятия этой резолюции, но то же самое сделали и два ближайших друга Пакистана, Китай и Иран, которые до этого были мишенями подобных мер и которые убедили Пакистан снять вопрос с рассмотрения. Оказавшись неспособной осудить зверства Индии в [с .302] Кашмире, заметил *The Economist*, комиссия ООН по правам человека “по умолчанию одобрила их. Другие страны, где совершаются убийства, также выходят сухими из воды: Турция, Индонезия, Колумбия и Алжир — все избежали критики. Таким образом, комиссия оказывает помощь правительствам, замешанным в кровавых бойнях и пытках, а это прямо противоречит тому, ради чего эта комиссия создавалась” .

Различия в подходе к правам человека на Западе и в других цивилизациях, а также ограниченные возможности Запада по достижению своих целей четко проявились во время конференции ООН по правам человека, которая состоялась в Вене в июне 1993 года. На одной стороне оказались европейские и североамериканские страны; на другой — блок, в который входили примерно 50 не-западных стран, наиболее активными из которых было 16 — это правительства одной латиноамериканской страны (Куба), одна буддистская страна (Мьянма), четыре конфуцианские страны с совершенно разными политическим идеологиями, экономическими системами и уровнем развития (Сингапур, Вьетнам, Северная Корея и Китай), а также девять мусульманских (Малайзия, Индонезия, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Йемен, Судан и Ливия). Руководителями азиатско-исламской группировки стали Китай, Сирия и Иран. Между этими двумя группировками оказались латиноамериканские страны, за исключением Кубы, которые часто поддерживали Запад, и африканские и православные государства, которые иногда поддерживали, но чаще противостояли позиции Запада.

Вопросы, по которым страны разделялись согласно линиям разлома между цивилизациями, включали: универсальность против культурного релятивизма в подходе к правам человека; относительный приоритет экономических и общественных прав, включая право на развитие, против политических и гражданских прав; политическая условность при оказании экономической помощи; создание [с .303] поста комиссара ООН по правам человека; мера, в которой неправительственным организациям по защите прав человека,

которые в то же время собрались на встречу в Вене, нужно позволить принимать участие в правительственной конференции; особенные права, которые должны быть подтверждены на данной конференции; а также частные вопросы: например, стоит ли позволить далай-ламе выступить с обращением к участникам и необходимо ли открыто осудить нарушения прав человека в Боснии.

Основные несовпадения во взглядах на эти вопросы были между западными странами и азиатско-исламским блоком. За два месяца до Венской конференции азиатские страны встретились в Бангкоке и приняли декларацию, в которой подчеркивалось, что права человека следует рассматривать “в контексте... национальных и региональных особенностей, а также различных исторических и культурных условий”, что нарушение в области прав человека является нарушением суверенитета страны и что избирательная экономическая помощь, поставленная в зависимость соблюдения прав человека, нарушает право на развитие. Различия в подходе к этим и другим вопросам были столь велики, что весь документ, подготовленный во время итогового заседания на предварительной предвенской встрече в Женеве в начале мая, пестрил скобками, в которых приводились особые мнения одной или более стран.

Западные нации оказались плохо подготовлены к Венской конференции, где оказались в меньшинстве, и в ходе встречи делали немало уступок своим оппонентам. В результате этого, если не считать громкого подтверждения женских прав, декларация, принятая на конференции, оказалась довольно слабым документом. Она оказалась, как заметил один борец за права человека, “полным ошибок противоречий” документом, который олицетворял победу азиатско-исламской коалиции и поражение Запада. Венская декларация не содержала четкого подтверждения права на свободу речи, печати, собраний, вероисповедания, [с .304] поэтому во многих отношениях оказалась намного слабее, чем Всемирная декларация прав человека, которую ООН приняла в 1948 году. Этот сдвиг продемонстрировал снижение власти Запада. “Международный режим соблюдения прав человека, установившийся с 1945 года, — заметил один американский поборник прав человека, — больше не существует. Американское господство ослабло. Европа, даже после событий 1992 года, остается не более чем полуостровом. Мир теперь настолько же арабский, азиатский и африканский, насколько и западный. Сегодня Всемирная декларация прав человека и международные договоренности намного менее важны для большей части планеты, чем в эпоху сразу же после окончания Второй Мировой войны”. Один азиатский критик Запада высказал примерно те же взгляды: “Впервые после принятия Всемирной декларации в 1948 году, страны, где нет прочных иудео-христианских корней и господства естественного права, оказались в первых рядах. Эта беспрецедентная ситуация будет определять новую международную политику в сфере прав человека. Она также умножит поводы для конфликта” .

“Главным победителем, — заметил еще один наблюдатель, говоря о Вене, — безусловно, оказался Китай, по крайней мере там, где успех определяется тем, что других можно попросить убраться с дороги. Пекин постоянно побеждал на встрече только потому, что использовал свой огромный вес” . Запад, которого в Вене превзошли по количеству голосов и тактике, оказался тем не менее способен добиться не такой впечатляющей, но все же победы над Китаем. Добиться проведения летней Олимпиады 2000 года в Пекине было основной задачей китайского правительства, которое вложило в достижение этой цели потрясающие средства. В Китае невероятно широко разрекламировали участие в конкурсе на проведение Олимпиады, и ожидания общественности были высоки; руководство страны лоббировало другие правительства, чтобы те тоже поддерживали олимпийские притязания; к кампании присоединились [с .305] Тайвань и Гонконг. На другой стороне оказались Конгресс Соединенных Штатов, Европейский парламент и правозащитные организации, которые выступали решительно против Пекина. Хотя выборы в Международном олимпийском комитете проходят методом тайного голосования, результаты явно разделились по цивилизационному признаку. Во время первого тура голосования Пекин (при

широкой африканской поддержке) оказался на первом месте, а Сидней — на втором. На следующем туре, когда был исключен Стамбул, конфуцианско-исламские связи принесли его голоса в основном Пекину; когда выбыли из борьбы Берлин и Манчестер, их голоса пошли Сиднею, обеспечив австралийцам победу в четвертом туре, а Китай потерпел унизительное поражение, которое он возложил на совесть США. “Америке и Британии, — прокомментировал Ли Кван Ю, — удалось сбить спесь с Китая... Видимой причиной были «права человека». Истинная причина была политической: показать политическое влияние Запада”. Несомненно, намного больше людей в мире интересуется спортом, чем правами человека, но с учетом венского поражения Запада по вопросу о правах человека эта одиночная демонстрация западного “влияния” оказалась также и напоминанием о его слабости.

Помимо того, что уменьшилось влияние Запада, парадоксы демократии также снижают волю Запада поддерживать демократию в мире после “холодной войны”. Во время “холодной войны” Запад и Соединенные Штаты особенно [с .306] остро столкнулись с проблемой “дружественного тирана”: эта была дилемма, стоит ли сотрудничать с антикоммунистическими военными хунтами и диктаторами, которые были полезными союзниками в “холодной войне”. Такое сотрудничество приводило к неудобствам, когда подобные режимы оказывались замешаны в вопиющие нарушения прав человека. Однако такое сотрудничество можно было оправдать тем, что это было меньшее из зол: эти правительства проводили не такие широкомасштабные репрессии, как коммунистические режимы, а также считалось, что они не такие устойчивые и намного больше зависят от американского и другого внешнего влияния.

Почему бы не работать с менее кровавым дружественным тираном, если альтернативой был более кровавый и недружественный? В мире после “холодной войны” выбор может быть более трудным: между дружественным тираном и недружественной демократией. Легкомысленное предположение Запада, что демократически выбранные правительства будут прозападными и настроенными на сотрудничество, не оправдалось в не-западных обществах, где избирательная борьба может привести к власти антизападных националистов и фундаменталистов. Запад вздохнул с облегчением, когда алжирские военные вмешались в 1992 году и отменили выборы, на которых явно должны были победить фундаменталисты из Исламского фронта освобождения. На руку западным правительствам оказалось отлучение от власти после победы на выборах фундаменталистской Партии Благоденствия в Турции и националистской партии в Индии в 1995 и 1996 годах соответственно. С другой стороны, после революции в Иране пришел к власти один из наиболее демократических режимов в исламском мире, а открытые выборы во многих арабских странах, включая Саудовскую Аравию и Египет, почти наверняка приведут к власти правительства, намного менее симпатичные с точки зрения Запада, чем их недемократические предшественники. Всенародно избранное правительство [с .307] в Китае может быть крайне националистичным. По мере того как западные лидеры осознают, что демократические процессы в не-западных обществах часто приводят к власти недружественные Западу правительства, они, во-первых, стараются оказать влияние на ход этих выборов, а во-вторых, с меньшим энтузиазмом борются за демократию этих странах.

Иммиграция

Если демография — это судьба, то перемещения населения — это двигатель истории. В прошлые столетия различные темпы роста населения, экономические условия и политики правительств приводили к массовой миграции греков, евреев, германских племен, скандинавов, русских, китайцев и других народов. В некоторых случаях эти перемещения были сравнительно мирными, в друга достаточно кровавыми. Однако европейцы девятнадцатого века были доминирующей расой по демографическому вторжению. С 1821 по 1924 год около 55 миллионов европейцев мигрировали за океан, около 35 миллионов из них

— в Соединенные Штаты. Жители Запада покоряли и порой уничтожали другие народы, исследовали и обживали менее густонаселенные земли. Экспорт людей был, пожалуй, наиболее важным аспектом расцвета Запада с шестнадцатого по двадцатое столетие.

Конец двадцатого века ознаменовался другой, еще большей волной миграции. В 1990 году количество легальных международных мигрантов составило 100 миллионов, беженцев — 19 миллионов, а нелегальных мигрантов — по крайней мере на 10 миллионов больше. Эта новая волна миграции была отчасти результатом деколонизации, образования новых стран и политики государств, которые поощряли отъезд людей или вынуждали их делать это. Однако [с .308] это было также и результатом модернизации и технологического развития. Улучшения в сфере транспорта сделали миграцию легче, быстрее и дешевле; усовершенствование в области коммуникаций дало больший стимул использовать экономические возможности и усилило связи между мигрантами и семьями из их родных стран. Кроме того, подобно тому, как экономический рост Запада стимулировал эмиграцию в девятнадцатом веке, экономическое развитие не-западных обществ стимулировало эмиграцию в двадцатом столетии. Миграция становится самонарастающим процессом. “Если в миграции и есть хоть один «закон», — утверждает Майрон Вайнер, — то он заключается в том, что миграционный поток, однажды начавшись, увеличивает свою скорость. Мигранты дают возможность мигрировать своим друзьям и знакомым, снабжая их информацией о том, как мигрировать, средствами для облегчения переезда, а также оказывают помощь в поиске работы и жилья”. Результатом, по выражению Вайнера, становится “глобальный миграционный кризис” .

Жители Запада последовательно и удачно противостояли распространению ядерного оружия и поддерживали демократию и права человека. Их взгляды на иммиграцию, напротив, были двойственными и значительно изменялись одновременно с изменением баланса за последние два Десятилетия двадцатого века. До 1970-х европейские страны в общем благосклонно относились к иммиграции и, в некоторых случаях, наиболее заметно в Германии и Швейцарии, поощряли ее, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. В 1965 году Соединенные Штаты пересмотрели свои ориентированные на Европу квоты, принятые еще в 1920-е, и радикально изменили свои законы, значительно увеличив поток иммиграции и открыв новые ее источники в семидесятые — восьмидесятые годы. Однако к концу 1980-х высокий уровень безработицы, увеличившееся количество иммигрантов и преимущественно “неевропейский” характер иммиграции привели к резким изменениям в европейских [с .309] взглядах и политике. Несколько лет спустя те же проблемы привели к значительным сдвигам и в Соединенных Штатах.

Большинство мигрантов и беженцев конца двадцатого века переехало из одного не-западного общества в другое. Приток мигрантов в западные общества, однако, приблизился к абсолютным показателям европейской эмиграции девятнадцатого века. В 1990 году в Соединенных Штатах проживало около 20 млн иммигрантов первого поколения, в Европе — 15,5 млн, и еще 8 млн. в Австралии и Канаде. Количество иммигрантов относительно коренного населения в основных европейских странах достигло 7-8 процентов. В Соединенных Штатах иммигранты составляли 8,7% населения в 1994 году (в 1970 было вдвое больше), а их доля в Калифорнии и Нью-Йорке составляла 25% и 16% соответственно. В восьмидесятые годы в США въехало 8,3 млн человек, а за первые четыре года девяностых — 4,5 млн.

Новые иммигранты приезжают в основном из не-западных обществ. В Германии в 1990 году постоянно проживало 1.675.000 турок; а следующие большие группы иммигрантов были выходцами из Югославии, Италии и Греции. В Италии основным источником были Марокко, Соединенные Штаты (вероятно, в основном это были американцы итальянского происхождения, которые вернулись домой), Тунис и Филиппины. К середине девяностых 4 млн. мусульман проживали в одной только Франции, и до 13 млн. по всей Западной Европе. В 1950-х две трети иммигрантов приехали в Соединенные Штаты из Европы и Канады; в восьмидесятых примерно 35% из резко возросшего числа иммигрантов были из Азии, 45%

— из Латинской Америки и менее 15 процентов — из Европы и Канады. Естественный рост населения в США очень низок, а в Европе практически равняется нулю. Среди мигрантов уровень рождаемости высок, поэтому именно на них приходится большая часть будущего роста населения в европейских стран. В результате этого жители Европы все больше боятся что “на них обрушилось нашествие не армий и танков, а [с .310] мигрантов, которые говорят на других языках, молятся другим богам, принадлежат к другим культурам, и возникает страх, что они отберут у европейцев работу, оккупируют их земли, съедят все деньги социального обеспечения и будут угрожать их образу жизни” . Эта фобия, корни которой лежат в относительном демографическом спаде, по наблюдению Стэнли Хоффмана, “основывается на реальных столкновениях культур и обеспокоенности за национальную идентичность” .

К началу 1990-х две трети иммигрантов в Европу были мусульманами, и обеспокоенность европейцев иммиграцией была прежде всего обеспокоенностью мусульманской иммиграцией. Европе брошены вызовы: демографический — на долю иммигрантов приходится 10% новорожденных в Западной Европе, а в Брюсселе 50% детей рождаются у родителей-арабов — и культурный. Мусульманские общины — будь то турецкая в Германии или алжирская во Франции — не интегрировались в принявшие их культуры и практически ничего для этого не делают, что беспокоит европейцев. “По всей Европе растет страх, — сказал в 1994 году Жан-Мари Доменаш, — перед мусульманским сообществом, которое не признает европейских границ, став чем-то вроде тринадцатой нации Европейского сообщества”. Один американский журналист написал об иммигрантах:

“Европейское гостеприимство необычайно избирательно. Французов мало заботит польское нашествие с Востока, поляки, по крайней мере, — европейцы и католики. Не — арабских африканских иммигрантов также в большей массе не боятся и не презирают. Враждебное отношение касается в основном мусульман. Слово «иммигрант» практически стало синонимом ислама, который сегодня является второй по величине религией Франции, и отражает культурный и этнический расизм, корни которого уходят глубоко в историю Франции” .

Однако строго говоря, французы озабочены сохранением не столько чистоты расы, сколько чистоты культуры. Они допустили чернокожих африканцев, которые говорят прекрасном французском языке, в свою законодательную власть, но не пускают в школы мусульманских девочек в традиционных платках. В 1990 году 76% жителей Франции считали, что в стране живет слишком много арабов, 46% думало, что слишком много чернокожих, 40% — слишком много азиатов и 24% — слишком много евреев. В 1994 году 47% немцев сказали, что предпочли бы не иметь по соседству арабов, 39% не хотели видеть поляков, 56% — турок, 22% — евреев . В Западной Европе антисемитизм, направленный против арабов, вытеснил антисемитизм, направленный против евреев.

Неприятие иммиграции общественностью и враждебное отношение к мигрантам проявляются в актах насилия против иммигрантских сообществ и отдельных людей, стало особенно острой проблемой в Германии в начале 1990-х годов. Значительно повысилось число голосов, которое избиратели отдают за правые, националистические и антииммиграционные партии. Однако общее количество этих голосов, как правило, невелико. В Германии Республиканская партия набрала более 7% голосов во время европейских выборов в 1989 году, но лишь 2,1% голосов на национальных выборах в 1990-м. Во Франции Национальный Фронт, собиравший незначительное число голосов в 1980-м, заручился поддержкой 9,6% избирателей в 1988-м, затем доля голосов, отдаваемых за него на местных и парламентских выборах, стабилизировалась на уровне 12-15%. В 1995 году два националистически настроенных кандидата на пост президента набрали 19,9% голосов, а представители Национального Фронта стали мэрами нескольких городов, включая Тулон и Ниццу. В Италии голоса Национального альянса также выросли с уровня примерно 5% в восьмидесятых до 10-15% в начале девяностых. В Бельгии Фламандский блок / Национальный фронт собрали 9% [с .312] голосов на выборах в 1994 году, причем Блок

получил 28% голосов в Антверпене. В Австрии доля голосов, отдаваемых на всеобщих выборах Партии свободы, увеличилась с менее чем 10% в 1986-м до более чем 15% в 1990-м и почти до 23% в 1994 году.

Эти европейские партии, выступающие против мусульманской иммиграции, в значительной мере были зеркальным отражением исламистских партий в мусульманских странах. И те и другие были аутсайдерами, которые обвиняли коррумпированный истеблишмент и его партии, использовали экономическое недовольство, особенно безработицу, выступали с этническими и религиозными лозунгами, подвергали нападкам зарубежное влияние в их странах. В обоих случаях крайние экстремисты организуют акты терроризма и насилия. В большинстве случаев как исламистские, так и европейские националистические партии добиваются лучших результатов на местных, а не на национальных выборах. Мусульманский и европейский политический истеблишмент ответил на эти тенденции одинаково. Во всех мусульманских странах, как мы уже видели, правительства становятся все более исламскими по своему курсу, символам, политике и действиям. В Европе центристские партии переняли риторику и претворяли в жизнь меры, предложенные правыми, антииммиграционными партиями. Там, где демократическая политика работает эффективно и две или более партии находятся в оппозиции исламистским или националистическим партиям, их голоса не превышали 20%. Протестные партии превысили этот уровень только в странах, где не было другой эффективной альтернативы правящей партии или коалиции, таких как Алжир, Австрия и, в значительной мере, в Италии.

В начале 1990-х европейские политические лидеры соревновались друг с другом, кто лучше ответит на антииммигрантские настроения. Во Франции Жак Ширак заявил в 1990 году, что “иммиграцию нужно полностью остановить; министр внутренних дел Шарль Паскуа призывал в [с .313] 1993 году к “нулевой иммиграции”; а Франсуа Миттеран, Эдит Крессон, Валери Жискар д'Эстен и другие политики-центристы также перешли на антииммиграционные позиции. Иммиграция была главным вопросом на парламентских выборах в 1993 году, который явно сделал вклад в победу консервативных партий. В начале 1990-х французское правительство изменило политику, сделав более сложным: для детей иммигрантов — получать гражданство, для семей иммигрантов — въезжать в страну, для иностранцев — просить политическое убежище и для алжирцев — получать визы для въезда во Францию. Нелегальных иммигрантов депортировали, а полиция и другие силовые структуры, работающие с иммигрантами, были укреплены.

В Германии канцлер Гельмут Коль и другие политические лидеры также выражали обеспокоенность проблемами, связанными с иммиграцией, и наиболее значительными шагами правительства в этой области стало изменение статьи XVI конституции Германии, которая гарантировала убежище в стране для “людей, которые подвергаются гонениям на политической почве”, и отмена пособий для ищущих убежища. В 1992 году в Германию приехало 438.000 беженцев; в 1994-м — только 127.000. В 1980 году Британия резко снизило уровень иммиграции примерно до 50.000 человек в год, и поэтому данная проблема вызвала не такие сильные эмоции и оппозицию, как на континенте. Однако за период с 1992 по 1994 год Британия сократила с 20.000 до менее 10.000 количество людей, ищущих убежища, которым разрешено оставаться на территории страны. Когда перестали существовать барьеры на перемещение в пределах Европейского Союза, британские опасения были сфокусированы в основном на опасности не-европейской миграции с континента. В целом в середине 1990-х страны Западной Европы неумолимо стремились свести к минимуму, а то и полностью исключить иммиграцию из не-европейских источников.

В Соединенных Штатах проблема иммиграции вышла на первый план немного позже, чем в Европе, и не вызвала [с .314] такого же общественного резонанса. США всегда были страной иммигрантов, всегда себя таковой считали и исторически разработали у себя весьма успешные процедуры ассимиляции новоприбывших. Кроме того, в восьмидесятых — девяностых годах уровень безработицы в Соединенных Штатах был значительно ниже, чем в Европе, и страх потери работы не был решающим фактором, определяющим отношение к

иммиграции. Источники иммиграции в Америку также отличались от европейских, поэтому страх поглощения какой-то одной иностранной нацией был менее ощутим на национальном уровне, хотя в некоторых регионах вполне реален. Также намного меньше, чем в Европе, была культурная дистанция между двумя крупнейшими группами иммигрантов и принимающей страной: мексиканцы — католики и говорят по-испански; филиппинцы — католики и говорят по-английски.

Несмотря на эти факторы, за четверть столетия после принятия в 1965 году акта, позволившего значительно увеличить иммиграцию из Азии и Латинской Америки, американская общественность заметно изменила свое отношение к проблеме. В 1965 году лишь 33% общественности хотели снижения иммиграции. В 1977 году этого желало 42%, в 1986-м — 49%, в 1990-м и 1993-м — 61%. Опросы, приведенные в девяностых годах, стабильно выявляли не менее 60 процентов людей, которые желали снижения иммиграции. В то время как экономические соображения и экономические условия говорят о необходимости иммиграции, противодействие этому процессу (неизменно растущее как в хорошие, так и плохие времена) говорит о том, что вопросы развития культуры, роста преступности и сохранения образа жизни оказались более важными для общественного мнения. “Многие, возможно, большинство американцев, — писал в 1994 году один наблюдатель, — еще рассматривают свою нацию как основанную европейцами страну, чьи законы являются британским наследием языком был (и должен им остаться) английский, институты и общественные учреждения находятся под [с .315] влиянием классических западных норм, чья религия имеет иудейско-христианские корни и чье величие изначально объясняется этикой протестантского отношения к труду. Отражая эти предпосылки, 55% респондентов во время одного из выборочных опросов сказали, что считают иммиграцию угрозой для американской культуры. В то время как европейцы видят угрозу в иммиграции мусульман или арабов, американцы видят ее в росте числа латиноамериканцев и азиатов, но в первую очередь — мексиканцев. При опросе группы американцев в 1990 году на тему “из какой страны Америка принимает слишком много иммигрантов”, Мексика набрала голосов вдвое больше любой другой страны, затем следовали Куба, Восток (страна не определена), Южная Америка и Латинская Америка (без упоминания страны), Япония, Вьетнам, Китай и Корея .

Растущее недовольство общественности иммиграцией в начале 1990-х годов незамедлительно вызвало политическую реакцию, сравнимую с той, что имела место в Европе. С учетом природы американской политической системой ультраправые и антииммиграционные партии не набирали голосов, но антииммиграционные публицисты и общественные группы стали более многочисленными, более активными, и их голос слышится все громче. Негодование в основном приходилось на долю 3,5-4 миллионов нелегальных иммигрантов, и политики на это ответили. Как и в Европе, наиболее сильная реакция была на уровне штатов и округов, которые несут основные затраты на содержание иммигрантов. Так, например, Флорида, а за ней еще шесть штатов предъявили федеральному правительству иск на 884 миллиона долларов в год для покрытия издержек на образование, социальное обеспечение, охрану правопорядка и другие расходы, вызванные нелегальными иммигрантами. В Калифорнии, где иммигрантов больше всего как в относительном, так и абсолютном выражении, губернатор Пит Уилсон заручился поддержкой общественного мнения, настояв на отказе в праве на государственное образование [с .316] для детей незаконных иммигрантов и прекратив выплаты штата за экстренную медицинскую помощь нелегальных иммигрантов. В ноябре 1994 года жители Калифорнии большинством голосов одобрили Поправку 187, отказав в льготах на медицинскую помощь, образование и социальное обеспечение незаконным иммигрантам и их детям.

В том же 1994 году администрация Клинтона, отказавшись от предыдущего курса, усилила иммиграционный контроль, ужесточила правила по предоставлению политического убежища, расширила штат Службы иммиграции и натурализации, усилила пограничное патрулирование и построила заграждения на границе с Мексикой. В 1995 году Комиссия по

иммиграционной реформе, образованная Конгрессом в 1990 году, рекомендовала снизить уровень ежегодной легальной иммиграции с 800 тысяч до 550 тысяч, отдавая предпочтение молодым детям и супругам, но не остальным родственникам граждан и постоянно проживающих на территории США лиц, и это предложение “потрясло азиатско-американские и латиноамериканские семьи” . В 1995-1996 годах в Конгрессе полным ходом шло придание законной силы рекомендациям комиссии и другим мерам, направленным на ограничение иммиграции. К середине девяностых иммиграция стала самым важным политическим вопросом в США, а в 1996-м Патрик Бьюкенен сделал противодействие иммиграции краеугольным камнем своей президентской кампании. Соединенные Штаты следуют за Европой в стремлении значительно сократить въезд не-европейцев в свою страну.

Может ли Европа или США построить дамбу на пути прилива мигрантов? Франция испытала значительный демографический пессимизм, начиная с пронзительного романа Жана Распя в 70-х до аналитического исследования Жан-Клода Шенэ в девяностых, и подытоженного в комментарии Пьера Лелюша: “История, близость и бедность гарантируют, что Франции и Европе суждено быть населенными преимущественно народами из обанкротившихся [с .317] стран с юга. Прошлое Европы было белым и иудейско-христианским. Будущее — нет” . Однако будущее не определено окончательно; и ни одно будущее не является неизменным. Проблема не в том, будет ли Европа исламизирована или Соединенные Штаты латиноамериканизированы. Вопрос в том, станут ли Европа и США расколотыми странами, состоящими из двух явно выраженных и весьма различных сообществ, из двух разных цивилизаций, и проблема эта зависит, в свою очередь, от количества иммигрантов и степени, в которой они будут ассимилированы в западные культуры, преобладающие в Европе и Америке.

Европейские общества, как правило, либо не хотят ассимилировать иммигрантов, либо наталкиваются на трудности, пытаясь сделать это, а степень, в которой мусульманские иммигранты и их дети хотят ассимилироваться, остается неясной. Таким образом, продолжительная и значительная иммиграция, скорее всего, приведет к появлению стран, разделенных на христианскую и мусульманскую общины. Этого исхода можно избежать — все зависит от того, насколько готовы правительства и простые люди нести затраты, направленные на ограничение такой иммиграции. Речь идет о прямых финансовых затратах на воплощение антииммиграционных мер, социальных издержках дальнейшего обособления существующих иммигрантских сообществ и потенциальных долгосрочных экономических [с .318] издержках в виде нехватки рабочей силы и снижения темпов развития страны.

Проблема мусульманского демографического нашествия, однако скорее всего, ослабнет после того, как пройдет пик роста рождаемости в Северной Африке и на Ближнем Востоке, как это уже произошло в некоторых странах, и рождаемость начнет снижаться . Если иммиграция вызвана демографическим давлением, то мусульманская иммиграция может существенно сократиться к 2025 году. Но это не касается субсахарской Африки. Если экономическое развитие вызовет и поддержит социальную мобилизацию на Западе и в Центральной Африке, а стимулов и возможностей мигрировать станет больше, то на смену угрозе “исламизации” придет угроза “африканизации”. Вероятность того, что это произойдет, сильно зависит от того, насколько население Африки сократится из-за СПИДа и других эпидемий, и того, насколько привлекательной для иммигрантов со всей Африки окажется ЮАР.

В то время как мусульмане представляют насущную проблему для Европы, то мексиканцы являются проблемой для Соединенных Штатов. Если предположить, что существующие тенденции и политика продолжатся, американское население, как показывают цифры, приведенные в [с .319] таблице 8.2, значительно изменится в первой половине двадцать первого века, став почти на 50% белым и 25% латиноамериканским. Как и в Европе, изменения в иммиграционной политике и эффективное усиление антииммиграционных мер могут повлиять на эти прогнозы. Но в этом случае самой

актуальной проблемой будет то, насколько латиноамериканцы ассимилируются в американское общество, как были ассимилированы предыдущие группы иммигрантов. Второе и третье поколения латиноамериканцев сталкиваются с широким спектром стимулов и способов давления, побуждающих сделать это. С другой стороны, мексиканская иммиграция по целому ряду признаков — и это имеет большую потенциальную важность — отличается от других иммиграций. Во-первых, мигранты из Европы или Азии пересекают океан; мексиканцы переходят границу пешком или вброд по реке. Этот плюс — доступность транспорта и коммуникаций позволяет им поддерживать тесные связи с родными сообществами дома. Во-вторых, мексиканские иммигранты сконцентрированы на юго-западе Соединенных Штатов, образуя часть мексиканского общества, которое простирается от Юкатана до Колорадо (см. карту 8.1). В-третьих, есть доказательства того, что сопротивление ассимиляции значительно выше среди мексиканских иммигрантов, чем среди других иммигрантских групп, и что мексиканцы склонны сохранять свою мексиканскую идентичность, пример чему был продемонстрирован во время борьбы вокруг поправки 187 в Калифорнии в 1994 году. В-четвертых, район, населенный мексиканскими мигрантами, был аннексирован Соединенными Штатами после победы над Мексикой в середине XIX века. Экономическое развитие Мексики наверняка вызовет у мексиканцев реваншистские настроения. В скором времени результаты американской военной экспансии в XIX веке будут поставлены под угрозу, а возможно, окажутся обратными из-за мексиканской демографической экспансии в двадцать первом веке. [с.320]

Карта 8.1 (с. 321)

Соединенные Штаты: расколотая страна?

Прогнозируемое процентное соотношение чернокожих, азиатов, коренных американцев и латиноамериканцев среди населения в 2020 году, по округам:

Источник: U.S. Bureau of the Census. *Population Projections of the United States by Age, Sex, Race, and Hispanic Origin: 1995 to 2050* (Washington: U.S. Government Printing Office, 1996. pp. 12-13.

Изменяющийся баланс между могуществом цивилизаций все больше затрудняет достижение Западом своих целей в сферах нераспространения оружия, прав человека, иммиграции и в других областях. Чтобы свести к минимуму потери в данной ситуации, Западу требуется умело распорядиться своими экономическими ресурсами, применять к другим обществам политику кнута и пряника, укрепить свое единство и координировать свою политику так, чтобы другие общества не могли стравливать западную страну с другой, а также поддерживать и использовать различия между не-западными странами. С одной стороны, способность Запада следовать такой стратегии будет зависеть от природы и силы его конфликтов с цивилизациями, бросающими вызов, а с другой стороны — от той степени, в которой он сможет найти и развить общие интересы колеблющимися цивилизациями. [с.322]

Примечания

Результаты четырех туров голосования:

Книга Распая “*Le Camp des Saints* ” была впервые опубликована в 1973 г. (Paris, Editions Robert Laffont), затем вновь увидела свет в новом издании в 1985 году, когда выросла обеспокоенность иммиграцией во Францию. Примечательно огромное внимание к ней американцев, когда проблема обострилась и в Соединенных Штатах после статьи Мэтью Коннелли и Пола Кеннеди “Будут ли все остальные против Запада?” *Atlantic Monthly*, v. 274 (Dec. 1994), pp. 61ff. Предисловие Распая к французскому изданию было опубликовано

Глава 9. Глобальная политика цивилизаций

Стержневые страны и конфликты по линии разлома

Цивилизации представляют собой человеческие племена в предельной форме развития, и столкновение цивилизаций суть племенной конфликт в глобальном масштабе. В складывающемся ныне мироустройстве государства и группы людей, принадлежащие к двум различным цивилизациям, для достижения общих целей или для отстаивания своих интересов против представителей какой-либо третьей цивилизации могут вступать в ограниченные, *ad hoc*, тактические отношения и коалиции. Тем не менее отношения между группами из различных цивилизаций никогда не станут близкими, обычно они остаются прохладными и зачастую — враждебными. Унаследованные из прошлого связи между государствами разных цивилизаций, такие как, например, военные альянсы времен “холодной войны”, по всей видимости, слабеют или исчезают бесследно. Не осуществляются и надежды на тесное “межцивилизационное” партнерство, о котором заявляли лидеры России и Америки. Складывающиеся ныне межцивилизационные отношения будут варьироваться от холодности до применения насилия, но в большинстве случаев они будут балансировать ближе к середине диапазона между этими крайностями. Во [с.323] многих случаях они, по всей вероятности, станут тяготеть к “холодному миру”, который, как предостерегал Борис Ельцин, может в будущем возникнуть во взаимоотношениях между Россией и Западом. Иные межцивилизационные отношения, возможно, будут напоминать состояние “холодной войны”. Термин *la guerra fria* принадлежит испанцам тринадцатого века, этим выражением они характеризовали свое “беспокойное сосуществование” с мусульманами в Средиземноморье; в 1990-х годах многие сочли, что между исламом и Западом вновь разворачивается “цивилизационная холодная война”. В мире цивилизаций не только это явление характеризуется данным термином. Холодный мир, “холодная война”, торговая война, квази-война, неустойчивый мир, напряженные отношения, острое соперничество, конкурентное сосуществование, гонка вооружений — в подобных выражениях с наибольшей вероятностью описываются взаимоотношения между объектами, относящимися к различным цивилизациям. Доверие и дружба встречаются редко.

Межцивилизационный конфликт принимает две формы. На локальном (или микроуровне) возникают *конфликты по линиям разлома*: между соседними государствами принадлежащими к различным цивилизациям, внутри одного государства между группами из разных цивилизаций и между группами, которые, как в бывшем Советском Союз и Югославии, пытаются создать новые государства на ломках прежних. Конфликты по линиям разлома особенно часто возникают между мусульманами и немусульманами. Причины конфликтов, а также их природа и динамика рассмотрены в главах 10 и 11. На глобальном, или макро уровне, возникают *конфликты между стержневыми государствами* — между основными государствами, принадлежащими к различным цивилизациям. В этих конфликтах проявляются классические проблемы международной политики, среди которых: [с.324]

1. Оказание влияния на формирование глобальных процессов и на действия мировых международных организаций, таких как ООН, МВФ и Всемирный банк;

2. Уровень военной мощи, что проявляется в таких спорных вопросах, как нераспространение и контроль над вооружениями, а также в гонке вооружений;

3. Экономическое могущество и благосостояние, что находит свое отражение в разногласиях по вопросам торговли, вложения капиталов и пр.;

4. Конфликты из-за людей, к которым относятся стремление государства одной цивилизации защитить своих соплеменников в другой цивилизации, проведение им в отношении людей, принадлежащих к другой цивилизации, дискриминационной политики

или применение мер, направленных на вытеснение указанной группы со своей территории;

5. Моральные ценности и культура: конфликты в этой области возникают тогда, когда государство навязывает собственные ценности людям, принадлежащим другой цивилизации;

6. Территориальные споры, во время которых стержневые государства, превращаясь в “прифронтовые”, участвуют в конфликтах по линиям разлома.

Разумеется, эти спорные вопросы на протяжении всей истории служат источником конфликтов между людьми. Однако когда в конфликт вовлечены государства, принадлежащие к различным цивилизациям, культурные различия только обостряют его. В своем соперничестве стержневые страны стремятся сплотить цивилизационные когорты, заручиться поддержкой стран третьих цивилизаций, усугубить внутренний раскол и способствовать отступничеству в противостоящих цивилизациях; для достижения своих целей они прибегают к целому комплексу Разнообразных дипломатических, политических, экономических действий и тайных акций, а также к использованию [с .325] пропагандистских приманок и средств принуждения. Тем не менее маловероятно применение стержневыми странами непосредственно друг против друга вооруженных сил, за исключением ситуаций наподобие тех, что сложились на Ближнем Востоке и на полуострове Индостан, где границы между такими государствами проходят вдоль линии цивилизационного разлома. В иных случаях война между стержневыми государствами, по всей вероятности, возможна только при двух обстоятельствах. Во-первых, при эскалации конфликта на линии разлома между локальными группами, когда для поддержания местных воюющих сторон происходит сплочение родственных групп, включая и стержневые государства. Однако для стержневых государств, принадлежащих к противостоящим цивилизациям, подобная перспектива развития событий является важнейшим стимулом сдерживания или мирного разрешения конфликтов по линии разлома.

Во— вторых, война стержневых стран может стать результатом изменений в мировом балансе сил между цивилизациями. Именно растущее могущество Афин в древнегреческой цивилизации, по утверждению Фукидида, привело к Пелопоннесской войне. Сходным образом история западной цивилизации являет собой пример “войн за гегемонию” между державами, переживавшими расцвет и упадок. В какой степени сходные факторы разжигают конфликт между стержневыми странами различных цивилизаций, находящимися на подъеме или в стадии упадка, зависит отчасти от того, какая форма приспособления к возвышению нового государства является предпочтительной для этих цивилизаций -силовое противодействие или “подстраивание” под победителя. Возможно, переход на сторону победителя более характерен для азиатских цивилизаций, а подъем китайской державы может породить стремление государств иных цивилизаций, таких как США, Индия и Россия, сбалансировать этот процесс. История Запада [с .326] не знала войн за гегемонию между Великобританией и Соединенными Штатами Америки, и, по-видимому, мирный сдвиг от Pax Britannica к Pax Americana в значительной мере произошел благодаря близкому культурному родству двух обществ. Отсутствие подобного родства при изменении баланса сил между Западом и Китаем не делает вооруженный конфликт неизбежным, но увеличивает вероятность его возникновения. Динамизм ислама представляет собой постоянный источник многих относительно локальных войн по линиям разлома; а возвышение Китая — потенциальный источник крупной междоцивилизационной войны между стержневыми странами.

Ислам и Запад

Некоторые представители Запада, в том числе и президент Билл Клинтон, утверждали, что у Запада противоречия не с исламом вообще, а только с непримиримыми исламскими экстремистами. Четырнадцать веков истории свидетельствуют об обратном. Отношения между исламом и христианством — как православием, так и католичеством во всех его формах, — часто складывались весьма бурно. Каждый был для другого Иным. По сравнению

с продолжительными и глубоко конфликтными отношениями между исламом и христианством конфликт двадцатого века между либеральной демократией и марксизмом-ленинизмом является всего-навсего быстротечным, даже поверхностным историческим феноменом. Временами преобладало мирное сосуществование; много чаще отношения выливались в открытое соперничество и накалялись до различной степени “горячей” войны. Как отмечает Джон Эспозито, “динамика истории... зачастую ставила эти общества в положение соперников и временами сталкивала в смертельной схватке за [с .327] власть, землю и души” . На протяжении веков судьбы двух религий испытывали взлеты и падения в череде грандиозных всплесков, затишья и ответных приливов.

Первоначальная арабо-исламская экспансия, происходившая с начала седьмого века до середины восьмого, установила господство мусульман в Северной Африке, на Иберийском полуострове, на Среднем и Ближнем Востоке, в Персии и Северной Индии. Приблизительно на два века границы, разделявшие ислам и христианство, стабилизировались. Затем, в конце одиннадцатого века, христиане вновь обрели контроль над западным Средиземноморьем, завоевали Сицилию и захватили Толедо. В 1095 году начались крестовые походы, и на протяжении полутора столетий христианские государи пытались, с убывающим успехом, установить христианское правление в Святой земле и в примыкающих областях Ближнего Востока, пока в 1291 году не потеряли Акру, свой последний оплот. Тем временем на сцене появились турки-османы. Сначала они ослабили Византию, а затем завоевали большую часть Балканского полуострова, а также Северной Африки, в 1453 году захватили Константинополь, а в 1529 году — Вену. “Почти тысячу лет, — отмечает Бернард Льюис, — с первой высадки мавров в Испании и вплоть до второй осады турками Вены, Европа находилась под постоянной угрозой со стороны ислама” . Ислам является единственной цивилизацией, которая ставила под сомнение выживание Запада, причем случалось это по меньшей мере дважды.

К пятнадцатому веку, однако, прилив сменился отливом. Постепенно христиане вернули себе Иберийский полуостров, выполнив эту задачу в 1492 году у стен Гранады. Тем временем развитие навигации позволило португальцам, а затем и другим европейцам обогнуть исконно мусульманские земли, проникнуть в Индийский океан и даже достичь Китая. Одновременно русские покончили с двухсотлетним монголо-татарским владычеством. В последующие [с .328] годы турки-османы предприняли последний рывок и в 1683 году вновь осадили Вену. Их поражение ознаменовало начало долгого отступления, повлекшего за собой борьбу православных народов на Балканах за освобождение от османского господства, расширение империи Габсбургов и драматическое наступление русских к Черному морю и Кавказу. Минуло всего около столетия, и “бич христианства” превратился в “больного человека Европы” . В итоге Первой Мировой войны Великобритания, Франция и Италия нанесли завершающий удар и установили свое прямое или косвенное правление на оставшихся землях Османской империи, за исключением территории Турецкой республики. В 1920 году всего лишь четыре мусульманские страны — Турция, Саудовская Аравия, Иран и Афганистан — оставались свободны от какой-либо формы немусульманского правления.

В свою очередь, отступление западного колониализма медленно началось в 1920-х и 1930-х годах и драматически ускорилось в период после Второй Мировой войны. Крушение Советского Союза принесло независимость новым мусульманским обществам. Согласно статистике, за период с 1757 по 1919 год произошло девяносто два приобретения мусульманских территорий немусульманскими правительствами. К 1995 году шестьдесят девять из этих территорий вновь оказались под властью мусульман и примерно в сорока пяти независимых государствах преобладало мусульманское население. Насильственный характер этих перемен отражается в том факте, что среди войн, которые в период с 1820 по 1929 год вели между собой государства с различными религиями, 50 процентов составляли войны между мусульманами и христианами .

Причины этой модели конфликта кроются вовсе не в таких преходящих феноменах, как

рвение христиан двенадцатого века или фундаментализм мусульман века двадцатого. Они проистекают из природы двух религий и тех [с .329] цивилизаций, в основе которых они лежат. С одной стороны, конфликт породили различия, а особенно — мусульманское представление ислама как образа жизни, выходящего за границы государства и объединяющего религию политику, в то время как западнохристианская концепция отделяет царство Божие и царство кесаря. Также конфликт проистекал и из сходства обеих религий. Обе они являются монотеистичными, а значит, в отличие от политеистических верований, не могут с легкостью принимать новых божеств, и обе воспринимают мир дуалистически “мы” и “они”. Обе являются универсалистскими, и каждая провозглашает себя единственно верной. Обе — миссионерские и основаны на убеждении, что их последователи обязаны обращать неверующих в единственно истинную веру. С самого зарождения ислам расширял свое влияние путем завоеваний, христианство, когда для того имелись возможности, поступало также. Концепции “джихада” и “крестового похода” не только сходны между собой, но и отличают эти две религии от прочих основных мировых религий. Помимо этого, для ислама и христианства, как и для иудаизма, характерен телеологический” взгляд на историю, в отличие от идей цикличности или статичности, преобладающих в других цивилизациях.

На уровень ожесточенности конфликта между исламом и христианством на протяжении всего времени оказывали влияние демографический рост и спад, экономическое развитие, технологические изменения и интенсивность религиозных убеждений. Распространение ислама седьмом веке сопровождалось беспрецедентной по “масштабу и темпам” массовой миграцией арабских народов земли Византийской и Сасанидской империй. Происходившие несколько веков спустя крестовые походы в значительной мере являлись результатом экономического та, увеличение численности населения и “клюдийским возрождением” в Европе одиннадцатого века, благодаря [с .330] чему стало возможным мобилизовать большое число рыцарей и крестьян на поход в Святую землю. Когда участники первого крестового похода достигли Константинополя, один византийский очевидец так описал свои впечатления: “Весь Запад, в том числе и все племена варваров, обитающие за Адриатическим морем до самых Геркулесовых столбов, начали массами переселяться и пришли в движение, потоком хлынув в Азию со всем своим скарбом” . В девятнадцатом веке невероятный рост народонаселения вновь вызвал “извержение” Европы, положив начало крупнейшему в истории переселению людей, которые мигрировали как в мусульманские, так и в другие страны.

В конце двадцатого века сопоставимое сочетание факторов обострило конфликт между исламом и Западом. Во-первых, рост населения в мусульманских странах породил значительное число безработных и недовольных молодых людей, которые вливаются в ряды исламистских организаций, оказывают давление на соседние общества и мигрируют на Запад. Во-вторых, Исламское возрождение придало мусульманам новую уверенность в своем обычном характере и ценности их собственной цивилизации и в том, что их моральные ценности превосходят западные. В-третьих, совпавшие по времени с Исламским возрождением усилия Запада превратить свои ценности и общественные институты во всеобщие, стремление сохранить свое военное и экономическое превосходство, а также вмешиваться в конфликты в исламском мире, вызывают среди мусульман яростное возмущение. В-четвертых, крушение коммунизма лишило Запад и исламский мир общего врага, и каждая из сторон превратилась в основную и отчетливо осознаваемую угрозу для другой. В-пятых, возрастающие контакты между мусульманами и людьми Запада и их смешение усиливают у тех и других ощущение собственной идентичности и понимание того, как эта идентичность отличает их [с .331] друг от друга. Взаимодействие и смешение также усугубляют различия в осознании того, какие права должны иметь члены одной цивилизации в стране, где численно доминируют представители совсем иной цивилизации. На протяжении 1980-х и 1990-х годов как в мусульманских, так и в христианских странах терпимость по отношению друг к другу резко пошла на убыль.

Причины возобновленного конфликта между исламом и Западом лежат, таким образом, в фундаментальных вопросах власти и культуры. Кто? Кого? Кто правит? Кем правят? основополагающий момент политики, определенный еще Лениным, — вот источник соперничества между исламом и Западом. Существует тем не менее и конфликт, который Ленин мог бы считать бессмысленным: конфликт между двумя совершенно различными представлениями о том, что есть “правильно”, и, как следствие этого, спор о том, кто прав, а кто — не прав. До тех пор, пока ислам остается исламом (каковым он и останется) и Запад остается Западом (что более сомнительно), этот фундаментальный конфликт между двумя великими цивилизациями и свойственным каждой образом жизни будет продолжаться, определяя взаимоотношения этих цивилизаций в будущем в той же мере, в какой он определял их на протяжении минувших четырнадцати столетий.

Эти взаимоотношения еще больше усложняются значительным числом вопросов, по которым стороны занимают различные или взаимоисключающие позиции. Исторически одной из главных проблем был контроль над территорией, но теперь эта проблема относительно незначительна. В середине 1990-х годов между мусульманами и немусульманами насчитывалось двадцать восемь конфликтов по линии разлома, из них девятнадцать — между мусульманами и христианами, среди которых одиннадцать — с православными и семь — с последователями западной ветви христианства в Африке и Юго-Восточной Азии. Только один из [с .332] этих конфликтов, сопряженных с насилием или потенциально чреватых насилием, — между боснийцами и хорватами, имел место непосредственно вдоль линии разлома между Западом и исламом. Фактическое угасание западного территориального империализма и отсутствие до сих пор возобновленной территориальной экспансии ислама породили географическую сегрегацию, поэтому западные и мусульманские страны непосредственно граничат друг с другом лишь в нескольких местах на Балканах. Конфликты между Западом и исламом, таким образом, меньше фокусируются на территории, а скорее на более широких, межцивилизационных проблемах, таких как распространение вооружений, права человека и демократия, контроль над нефтью, миграция, исламский терроризм и вмешательство Запада.

Сразу после окончания “холодной войны” нарастающая интенсивность этого исторического антагонизма была признана членами обоих обществ. Например, в 1991 году Барри Бьюзен рассматривал многие причины, которые вызывают цивилизационную “холодную войну” “между Западом и исламом, войну, в которой Европа оказывается на передовой линии”.

“Этот процесс отчасти связан с противопоставлением мирских и религиозных ценностей, отчасти — с историческим соперничеством между христианством и исламом, отчасти — с завистью к могуществу Запада, отчасти — с возмущением западным господством на постколониальном политическом пространстве Ближнего Востока и отчасти — с чувством горечи и унижения, которое возникает при сравнении достижений исламской и западной цивилизаций за минувшие два века”.

Вдобавок Бьюзен отмечал, что “холодная война” с исламом послужит в целом укреплению европейской идентичности в критически важный для процесса европейского [с .333] объединения период”. Следовательно, “столь же вероятно, что значительные общественные круги на Западе готовы не только поддерживать «холодную войну» с исламом, но и готовы принять политические меры, направленные на ее разжигание”. В 1990 году Бернард Льюис, ведущий западный исследователь ислама, проанализировал “корни мусульманского гнева” и сделал следующий вывод:

“К настоящему времени стало очевидно, что мы находимся перед лицом общественного движения, далеко выходящего за рамки политических проблем и компетенции правительств, проводящих политические меры в жизнь. Это явное столкновение цивилизаций — которое, возможно, носит иррациональный характер, но является, безусловно, исторической реакцией древнего соперника на иудео-христианский вызов, на наш мирской подход и на всемирную экспансию обеих цивилизаций. Жизненно

важно, чтобы нас, со своей стороны, не спровоцировали на исторический и не менее иррациональный ответ на мусульманский вызов”.

Сходные наблюдения делают и в исламском обществе. “Имеются, — утверждал в 1994 году ведущий египетский журналист Мохаммед Сид-Ахмед, — безошибочные признаки нарастающего конфликта между иудео-христианской западной этикой и исламским движением возрождения, которое ныне разворачивается от Атлантики на западе до Китая на востоке”. Известный индиец-мусульманин в 1992 году предрекал, что “следующая конфронтация Запада определенно будет с мусульманским миром. Именно в пространстве исламских государств от Магриба до Пакистана начнется борьба за новый мировой порядок”. Для видного тунисского юриста эта борьба со всей очевидностью уже идет: “Колониализм попытался деформировать все культурные традиции ислама. Я — не исламист. Я не думаю [с .334], что существует какой-либо конфликт между религиями. Это — конфликт между цивилизациями”.

На протяжении 1980-х и 1990-х для ислама общей тенденцией была антизападная направленность. Отчасти это естественное следствие Исламского возрождения и реакция на то, что осознается как “*гарбзадеги*”, или “вестоксикация”, мусульманского общества. “Новое утверждение ислама, в какой бы то ни было специфической, сектантской форме, означает отказ от европейского и американского влияния на местное общество, на его политику и на его мораль”. В прошлом при определенных обстоятельствах мусульманские лидеры говорили своим народам: “Мы будем вестернизироваться”. Однако если бы какой-то мусульманский лидер заявил подобное в последнюю четверть двадцатого века, он оказался бы в одиночестве. На самом деле сегодня вряд ли отыщется какой-нибудь мусульманин, будь то политик, чиновник, представитель научных либо деловых кругов или журналист, который в своих заявлениях восхваляет западные духовные ценности и институты. Вместо этого они подчеркивают различия между своей и западной цивилизациями, превосходство своей культуры и необходимость сохранения целостности этой культуры перед натиском Запада. Мусульмане боятся мощи Запада, она вызывает у них возмущение, они видят в ней угрозу для своего общества и своей веры. Они рассматривают западную культуру как материалистическую, порочную, упадническую и аморальную. Они также полагают ее преисполненной греховных соблазнов и потому, следовательно, подчеркивают необходимость сопротивления ее воздействию на их образ жизни. Все чаще говорится, что Запад не просто следует несовершенной, ложной религии, которая тем не менее является “религией книги”, а что он не исповедует вообще никакой религии. В глазах мусульман западный секуляризм, нерелигиозность, а значит и аморальность, — зло худшее, чем породившее их западное христианство. Во [с .335] время “холодной войны” Запад навешивал на своего противника ярлык “безбожного коммунизма”; в эпоху межцивилизационных конфликтов, последовавших за “холодной войной”, мусульманам их противник видится как “безбожный Запад”.

Подобных представлений о Западе как о надменном, материалистическом, репрессивном, жестоком и порочном образовании придерживаются не только имамы фундаменталистского толка, но также и те, кого многие на Западе посчитали бы своими естественными союзниками. Ряд книг авторов-мусульман, опубликованных на Западе в 1990-х годах, удостоился похвальной оценки, которая была дана Фатимой Мерниси в ее книге “Ислам и демократия”. Эта книга представителями Запада в большинстве своем была провозглашена смелым откровением современной, либерально настроенной мусульманки. Однако приведенное в ней описание Запада едва ли могло бы быть менее, привлекательным. Запад назван “милитаристским” и “империалистическим”, он “травмирует” иные нации посредством “колониального террора”. Индивидуализм, являющийся неотъемлемым критерием западной культуры, назван “источником всех бедствий”. Западное могущество; внушает страх. Запад “один решаем использовать ли своих; сателлитов для того, чтобы давать арабам образование или чтобы сбрасывать на них бомбы... Он подрывает наш потенциал к развитию и вторгается в нашу жизнь, ввозя продукты своего промышленного

производства, демонстрируя по телевидению фильмы, которыми наводнены эфирные каналы... [Он] — та сила, которая ломает нас, осаждает наши рынки, контролирует наши природные ресурсы, наши инициативы и наши потенциальные возможности. Именно так мы рассматриваем текущую ситуацию, и война в Персидском заливе превратила наше восприятие в уверенность”. Запад “строит свое могущество на военных исследованиях”, а затем продает продукты этих разработок слаборазвитым государствам, которые являются “пассивными потребителями”. [с .336] Чтобы освободить себя от подчинения, ислам должен обучать собственных инженеров и ученых, создавать собственное оружие (Мернисси не уточняет, обычное или ядерное) и “освободить себя от военной зависимости от Запада”. Это, еще раз напомним, точка зрения вовсе не какого-нибудь бородатого аятоллы-фундаменталиста.

Каковы бы ни были политические или религиозные убеждения мусульман, представители ислама согласны с тем, что между их культурой и западной культурой существуют коренные различия. “Основной итог, — как сформулировал шейх Гануши, — состоит в том, что наше общество базируется на ценностях, отличных от тех, которые лежат в основе Запада”. Как заметил один египетский правительственный чиновник, американцы “заявились сюда и хотят, чтобы мы стали как они. А сами ничего не понимают в наших моральных ценностях и в нашей культуре”. С ним соглашается египетский журналист: “[Мы] разные. У нас разное происхождение, разная история. А значит, у нас право на разное будущее”. В мусульманских изданиях, как в популярных, так и в серьезных, предназначенных для интеллектуалов, постоянно появляются публикации, в которых говорится о заговорах и кознях Запада, направленных на расшатывание и уничтожение исламских общественных институтов и культуры .

Противодействие Западу можно наблюдать не только в направленности основной интеллектуальной атаки Исламского возрождения, но и в изменении отношения к Западу среди правительств в мусульманских странах. Первые постколониальные правительства по своему политическому и экономическому мировоззрению, по внешней политике и проводимому внутри страны курсу были ориентированы на Запад, не считая отдельных исключений, наподобие Алжира и Индонезии, где независимость была обретена в результате националистических революций. Однако постепенно прозападные кабинеты уступали место правительствам, которые в меньшей степени идентифицируют себя с Западом [с .337] или даже являются откровенно антизападными — в Ираке, Ливии, Йемене, Сирии, Иране, Судане, Ливане и Афганистане. Менее заметными были изменения в политической ориентации и в формировании союзов других стран, включая Тунис, Индонезию и Малайзию. Два самых преданных военных мусульманских союзника Соединенных Штатов Америки в “холодной войне”, Турция и Пакистан, в настоящее время находятся под политическим давлением со стороны местных исламистов, и в их отношениях с Западом нарастает напряженность.

В 1995 году Кувейт был единственным мусульманским государством, которое явно занимало более прозападную позицию, чем за десять лет до того. Самыми близкими друзьями Запада в мусульманском мире являются ныне либо такие страны, как Кувейт и Саудовская Аравия и эмираты Персидского залива, зависящие от Запада в военном отношении, либо такие, как Египет и Алжир, зависимые от него экономически. В конце 1980-х годов коммунистические режимы Восточной Европы рухнули — когда стало ясно, что Советский Союз больше не может и не будет предоставлять им экономическую или военную поддержку. Если бы стало очевидным, что Запад не станет больше поддерживать свои мусульманские режимы-сателлиты, их, скорее всего, постигла бы схожая судьба.

Наращение мусульманского антизападничества шло параллельно с углублением озабоченности Запада “исламской угрозой”, отчасти представляющей собой мусульманский экстремизм. Ислам рассматривается как источник распространения ядерного оружия, терроризма и — в Европе — нежелательных мигрантов. Эти тревоги разделяют как общество в целом, так и политические лидеры. Так, на пример, на заданный в ноябре 1994 года вопрос,

представляет ли угрозу интересам США на Ближнем Востоке Исламское возрождение, 61% из опрошенных 35000 американцев, интересующихся внешней политикой, ответил “да”, и только 28% — “нет”. Годом раньше проведенный по [с .338] случайной выборке опрос, какая страна представляет наибольшую угрозу для США, определил в лидеры Иран, Китай и Ирак. В 1994 году на просьбу определить “критические угрозы” для Соединенных Штатов, 72% представителей общественности и 61% руководителей внешней политики назвали распространение ядерного оружия, а 69% общественности и 33% внешнеполитических руководителей — международный терроризм; обе проблемы тесно связаны с исламом. Кроме того, 33% общественности и 39% руководителей усматривали угрозу в возможной экспансии исламского фундаментализма. Схожие настроения разделяют и европейцы. Весной 1991 года, например, 51% французской общественности высказал мнение, что принципиальная угроза Франции исходит с Юга, при том, что всего лишь 8% утверждают, что она исходит с Востока. Четыре страны, которых более всего опасается французская общественность, — все мусульманские: Ирак (52%), Иран (35%), Ливия (26%), Алжир (22%) . Западные политические лидеры, в том числе канцлер Германии и французский премьер-министр, выражали ту же озабоченность, что и генеральный секретарь НАТО, заявивший в 1995 году, что для Запада исламский фундаментализм “опасен, по меньшей мере, как коммунизм”, а высокопоставленный сотрудник администрации Клинтона указал на ислам как на глобального соперника Запада .

Так как военная угроза с востока фактически исчезла, то НАТО все больше внимания уделяет потенциальной угрозе с юга. “Южный фронт”, как отмечал в 1992 году один аналитик армии США, сменяет Центральный и “быстрыми темпами становится для НАТО приоритетным”. Чтобы отразить угрозу с юга, южные члены НАТО — Италия, Франция, Испания и Португалия — осуществляют объединенное военное планирование и совместные операции и в то же самое время заручаются содействием стран Магриба на консультациях о противодействии исламским экстремистам. Осознание подобной угрозы также служит веской причиной [с .339] и оправданием для сохранения значительного военного присутствия США в Европе. “Хотя вооруженные ей США в Европе не являются панацеей от проблем, пор денных фундаменталистским исламом, — отмечал человек, занимавший в прошлом высокий пост в правительстве США, — эти силы в значительной мере облегчают военное планирование в данном секторе. Помните, насколько успешным во время войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах было развертывание американских, французских и английских войск из Европы? Ближний Восток помнит” . И, мог бы он добавить, вспоминает со страхом, негодованием и ненавистью.

Принимая во внимание то, какие представления друг о друге преобладают у мусульман и народов Запада, и учитывая возросший исламский экстремизм, вряд ли стоит удивляться тому, что вслед за иранской революцией 1979 года между исламом и Западом развернулась межцивилизационная квази-война. Квази-войной она является по трем причинам. Во-первых, весь ислам не воюет со всем Западом. Два фундаменталистских государства (Иран и Судан), три нефундаменталистские страны (Ирак, Ливия, Сирия), плюс целый ряд исламистских организаций, пользуясь финансовой поддержкой других мусульманских стран, таких как, к примеру, Саудовская Аравия, ведут борьбу с Соединенными Штатами и, иногда, с Великобританией, Францией и другими западными странами и группами, а также с Израилем и евреями вообще. Во-вторых, это война — квази-война потому, что — если не говорить о войне в Персидском заливе 1990-1991 гг., — ведется она ограниченными средствами: терроризм — с одной стороны, воздушная мощь, тайные операции и экономические санкции — с другой. В-третьих, это квази-война потому, что, хотя насильственные действия продолжаются, они также не ведутся без перерыва. Она представляет собой акции одной стороны, которые вызывают ответные действия [с .340] другой. Тем не менее квази-война остается войной. Даже если не считать десятки тысяч иракских солдат и гражданских лиц, погибших под западными бомбами в январе — феврале 1991 года, число погибших исчисляется тысячами; фактически каждый год после 1979 года

пополняет список жертв. В этой квази-войне погибло намного больше граждан западных стран, чем в “настоящей” войне в Персидском заливе.

Более того, обе стороны признают этот конфликт войной. Хомейни провозгласил, причем вполне обоснованно, что “Иран фактически находится в состоянии войны с Америкой” ; Каддафи постоянно заявляет о священной войне с Западом. Сходной терминологией пользуются и мусульманские лидеры других экстремистских групп и государств. Если говорить о Западе, то США определили как “террористические страны” семь государств, пять из которых — мусульманские (Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Судан); оставшиеся — Куба и Северная Корея. Это определение, в сущности, идентифицирует данные государства как врагов, поскольку они нападают на Соединенные Штаты и их союзников, применяя наиболее эффективное оружие, имеющееся в их распоряжении; тем самым признается состояние войны. Американские официальные лица постоянно упоминают об этих государствах как об “изгоях”, “отверженных”, “преступных” странах — посредством подобных определений помещая их вне международного порядка и превращая их в цели, в отношении которых оправданы многосторонние или односторонние контрмеры. Правительство США обвинило тех, кто взорвал бомбу во Немирном торговом центре, в намерении “вступить в террористическую войну, направленную против Соединенных Штатов”, и утверждало, что участники преступного сговора, обвиненные в подготовке новых взрывов бомб на Манхэттене, были “солдатами” в борьбе, которая “предполагает войну” против Соединенных Штатов. Если мусульмане [с .341] утверждают, что Запад воюет с исламом, а на Западе заявляют, что исламские группировки ведут войну с Западом то резонно допустить, что война ведется на самом деле.

В этой квази-войне каждый участник конфликта использует в своих интересах собственные сильные стороны и слабости другого. В военном отношении это в значительной мере террористическая война против воздушной мощи. Фанатичные исламские боевики, пользуясь открытостью стран Запада, устанавливают начиненные взрывчаткой автомашины у выбранных целей. Западные военные, исполу зуя открытое небо ислама, сбрасывают “умные” бомбы на выбранные цели. Исламские террористы составляют заговоры с целью убийства видных деятелей Запада; США строят планы по свержению экстремистских исламских режимов. На протяжении пятнадцати лет, между 1980 и 1995 годом, по данным министерства обороны США, Соединенные Штаты принимали участие в семнадцати военных операциях на Ближнем Востоке, все они были направлены против мусульман. Нет примеров сопоставимых с этими операциями, проведенными вооруженными силами США против какой-либо иной цивилизации.

На сегодняшний день — если не принимать во внимание войну в Персидском заливе — каждая из сторон сохраняет интенсивность насилия на относительно низком уровне и воздерживается от того, чтобы называть акты насилия актами войны, каковые требуют адекватного ответа. “Если бы Ливия приказала одной из своих подводных лодок пот пить американский лайнер, — отмечал журнал “Экономист”, — Соединенные Штаты трактовали бы подобно действие как акт войны, начатой ее правительством, и стали бы добиваться экстрадиции командира подлодки, принципе, этот акт ничем не отличается от взрыва авиалайнера, организованного ливийской секретной службой” . Однако действия участников этой войны в отношении друг друга отличаются куда большим уровнем насилия чем та тактика, которой придерживались Соединенные [с .342] Штаты и Советский Союз друг против друга в “холодной войне”. За редкими исключениями, ни одна из супердержав не убивала целенаправленно граждан или даже военнослужащих стороны противника. В квази-войне подобное происходит постоянно.

Американские лидеры утверждают, что мусульмане-террористы, вовлеченные в квази-войну, составляют меньшинство по сравнению с умеренным большинством. Возможно, так и есть, но доказательств этому заявлению недостаточно. В мусульманских странах молчаливо одобряют любые акты насилия, направленные против Запада. Мусульманские правительства, даже бункерные, дружественные Западу и зависимые от него,

поразительно сдержанны, когда дело доходит до осуждения террористических актов против Запада. С другой стороны, европейские правительства и народы широко поддерживают и редко критикуют те шаги, которые предпринимают США в отношении мусульманских противников, что удивительным образом контрастирует с энергичным сопротивлением, которое они во время “холодной войны” оказывали действиям американцем, направленным против Советского Союза и коммунизма. В цивилизационных конфликтах, в отличие от идеологических, родич стоит плечом к плечу с родичем.

Основная проблема Запада — вовсе не исламский фундаментализм. Это — ислам, иная цивилизация, народы которой убеждены в превосходстве своей культуры и которых терзает мысль о неполноценности их могущества. Для ислама проблема — вовсе не ЦРУ и не министерство обороны США. Это — Запад, иная цивилизация, народы которой убеждены во всемирном, универсалистском характере своей культуры и которые верят, что их превосходящая прочих, пусть и клонящаяся к упадку мощь возлагает на них обязательство распространять свою культуру по всему миру. Вот главные компоненты того топлива, которое подпитывает огонь конфликта между исламом и Западом. [с .343]

Азия, Китай и Америка

Котел цивилизаций

Экономические изменения в Азии, особенно в Восточной, представляют собой наиболее важные события, произошедшие в мире во второй половине двадцатого века. К 1990-м годам этот экономический подъем породил экономическую эйфорию среди многих наблюдателей, которые рассматривали Восточную Азию и весь Тихоокеанский регион как постоянно расширяющуюся торговую сеть, которая должна бы гарантировать мир и гармонию среди государств. Это оптимизм основывался на крайне сомнительном допущении, будто торговый взаимобмен неизменно является гарантом мира. Однако данный пример вовсе не тот случай. Экономический рост порождает политическую нестабильность внутри стран, а также и в отношениях между ними изменя сложившийся между странами и регионами баланс сил. Экономический обмен способствует взаимным контактам народов, но далеко не всегда способствует согласию. Из истории известно, что чаще он усугублял различия между народами и порождал взаимные опасения. Торговля как и прибыль, является источником конфликта. При сохранении прежнего жизненного уклада Азия экономического расцвета породит Азию политической тени, Азию нестабильности и конфликта.

Экономическое развитие Азии и растущая уверенность азиатских государств в своих силах подрывают международную политику по меньшей мере в трех отношениях, первых, экономическое развитие позволяет азиатским странам наращивать свою военную мощь, повышает неуверенность относительно будущих взаимоотношений этими странами и снова выдвигает на передний план проблемы и вопросы соперничества, которые оказались загнаны вглубь во время “холодной войны”; таким образом, повышается [с .344] вероятность конфликта и возрастает нестабильность в регионе. Во-вторых, экономическое развитие усиливает напряженность в конфликтах между азиатскими странами и Западом, главным образом — США, и повышает способность азиатских стран добиваться своего в этой борьбе. В-третьих, экономический подъем в самом крупном в Азии государстве усиливает китайское влияние в регионе и увеличивает вероятность того, что Китай вновь станет претендовать на свою традиционную гегемонию в Восточной Азии, вынуждая другие страны либо “подстроиться” к победителю, либо “балансировать”, то есть пытаться скомпенсировать китайское влияние.

На протяжении нескольких веков западного доминирования международные отношения, которые только и принимались в расчет, представляли собой игру Запада — ее разыгрывали ведущие западные государства, которых в некоторой степени дополняла Россия

с восемнадцатого века, а затем в двадцатом веке — Япония. Основной ареной конфликта и сотрудничества великих держав была Европа, и даже на протяжении “холодной войны” главная линия противостояния сверхдержав проходила по центру Европы. В мире после “холодной войны” зоной событий становится Азия, в особенности — Восточная Азия. Азия представляет собой котел цивилизаций. В одной только Восточной Азии расположены страны, принадлежащие к шести цивилизациям — японской, китайской, православной, буддистской, мусульманской и западной, — а с учетом Южной Азии к ним прибавляется еще и индийская. Стержневые страны четырех цивилизаций — Япония, Китай, Россия и США — являются главными действующими лицами в Восточной Азии; Южная Азия дает еще и Индию; а Индонезия предьявляет собой находящееся на подъеме мусульманское государство. Вдобавок в Восточной Азии есть несколько среднего уровня, чье экономическое влияние возрастает к ним можно отнести, например, Южную Корею и Малайзию плюс потенциально сильный Вьетнам. В результате [с .345] получается крайне усложненный образчик международных отношений, во многом схожий с тем, который существовал в Европе в восемнадцатом и девятнадцатом веках, и чреватый той непредсказуемостью, что характерна для многополюсных ситуаций.

Наличие множества стран и полицивилизационная природа Восточной Азии отличает ее от Западной Европы, а экономические и политические различия только усугубляют этот контраст. Все страны Западной Европы — установившиеся демократии с рыночной экономикой, и находятся они на высоком уровне экономического развития. В середине 1990-х годов в Восточной Азии существовали: одна устойчивая демократия, несколько новых неустойчивых демократий, четыре из пяти оставшихся в мире коммунистических диктатур плюс несколько военных правительств, личная диктатура и однопартийные авторитарные системы. По уровню экономического развития страны региона также сильно отличаются — от Японии и Сингапура до Вьетнама и Северной Кореи. Наблюдается общая тенденция к развитию рынка и открытости экономики, но экономические системы по-прежнему занимают весь диапазон от командной экономики в Северной Корее до экономики неограниченной свободы в Гонконге, а между ними — различные сочетания секторов государственного управления частного предпринимательства.

Оставляя в стороне ту степень, в какой гегемония Китая время от времени утверждала некий порядок в регионе, международного сообщества (в британском смысле этого термина) в Восточной Азии не существовало, в отличие от Западной Европы. К концу двадцатого века Европа была связана воедино комплексом международных институтов: Европейский Союз, НАТО, Западноевропейский Союз, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и пр. За исключением АСЕАН, в Восточной Азии не существовало ничего похожего, а в состав АСЕАН не входила ни одна ведущая держава, и Восточная [с .346] Азия, которая, в общем-то, уклонялась от вопросов безопасности, только-только начала движение к самым примитивным формам экономической интеграции. В 1990 годах возникла более широкая организация АПЕК (Организация по экономическому сотрудничеству стран Азиатско-Тихоокеанского региона), объединившая большинство стран Тихоокеанского бассейна, но она оказалась “говорильней”, еще более слабой, чем АСЕАН. За исключением этих институтов, ведущие азиатские державы вместе не сводит ни одна многосторонняя организация, имеющая какое бы то ни было влияние.

И что вновь разительно отличается от ситуации в Западной Европе, семян конфликтов между государствами в Восточной Азии множество. Два самых известных очага напряженности — это две Кореи и два Китая. Однако они являются пережитками “холодной войны”. Идеологические различия утрачивают свою значимость, и к 1995 году отношения между двумя Китаями значительно расширились, а между двумя Кореями начали развиваться. Хотя перспектива войны между корейцами существует, возможность такого исхода невелика; вероятность войны китайцев против китайцев более высока, но тем не менее ограничена, если только тайваньцы не отрекутся от своей китайской идентичности и не провозгласят официально независимость Республики Тайвань. По словам одного

генерала, приведенным в китайском военном документе, “война между членами одной семьи всегда имеет свои границы” . Хотя насильственные действия между двумя Кореями или между двумя Китаями не исключены, культурная общность стран, по-видимому, со временем сведет эту вероятность к минимуму.

В Восточной Азии конфликты, доставшиеся в наследство от времен “холодной войны”, дополнены и вытеснены другими возможными конфликтами, отражающими прежнее соперничество и новые экономические взаимоотношения. В исследованиях, посвященных проблемам безопасности Восточной Азии, в начале 1990-х годов постоянно [с .347] отмечается, что она представляет “опасное соседство” как регион, “созревший для конкуренции”, как зона “нескольких холодных войн”, “движущаяся назад в будущее”, в которой будут преобладать войны и нестабильность . В отличие от Западной Европы в Восточной Азии в 1990-х годах имеются неразрешенные территориальные споры, наиболее значимые из которых — неурегулированный вопрос между Россией и Японией о Курильских островах, разногласия между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, а также, возможно, и другими государствами Юго-Восточной Азии, по поводу Южно-Китайского моря. Споры относительно границы между Китаем, с одной стороны, и Россией и Индией, с другой, в середине 1990-х годов несколько утратили свою остроту, но они могут обостриться вновь, как и китайские притязания на Монголию. Волнения и сепаратистские движения, в большинстве случаев поддеживаемые из-за рубежа, имеют место на Минданао, в Восточном Тиморе, в Тибете, в южном Таиланде и в восточной Мьянме. Кроме того, хотя в середине 1990-х годов в Восточной Азии между государствами существует мир, в течение предшествовавших пятидесяти лет в Корее и во Вьетнаме велись крупные войны, а главная страна Азии, Китай, воевала с американцами плюс почти со всеми соседями, включая корейцев, вьетнамцев, индийцев, тибетцев и русских; к списку следует добавить также китайских националистов. В 1993 году в аналитическом исследовании китайских военных были определены восемь региональных горячих точек, которые угрожают военной безопасности Китая, и китайская Центральная военная комиссия сделала вывод, что перспективы безопасности в Восточной Азии “весьма мрачны”. В Западной Европе, после многовекового соперничества, царит мир, и война совершенно немыслима. В Восточной Азии ситуация иная, и, как предполагал Аарон Фридберг, прошлое Европы может стать будущим Азии . [с .348]

Экономический динамизм, территориальные споры, воскресшее соперничество и политическая неопределенность послужили причинами существенного роста в 1980-х и 1990-х годах военных бюджетов стран Восточной Азии и наращивания военного потенциала. Используя свое новообретенное богатство и — что характерно для целого ряда случаев — хорошо образованное население, правительства Восточной Азии взяли курс на замену больших, плохо оснащенных “крестьянских” армий меньшими по численности и более профессионально подготовленными, оснащенными современной техникой вооруженными силами. Испытывая растущие сомнения в отношении политики США в Восточной Азии, страны региона все большие надежды возлагают на свою военную мощь. Хотя государства Восточной Азии продолжали импортировать значительные объемы вооружений из Европы, Соединенных Штатов и бывшего Советского Союза, предпочтение они отдавали импорту технологий, которые позволяли им производить у себя такие сложные системы вооружений, как самолеты и ракеты, а также электронное оборудование. Япония, синские страны — Китай, Тайвань, Сингапур — и Южная Корея обладают современной военной промышленностью, которая продолжает развиваться. Упор они сделали на военное планирование и на воздушную и морскую военную мощь, что обусловлено приморским географическим положением Восточной Азии. В результате государства, которые в прошлом не имели военного потенциала для борьбы друг с другом, обретают для него все большие возможности. Эти военные приготовления отличались малой прозрачностью и, следовательно, способствовали росту подозрительности и неуверенности . В ситуации, когда отношения между странами то и дело меняются, каждое Правительство задается

неизбежным и закономерным вопросом: “Кто через десять лет будет моим врагом и кто, если таковой найдется, будет моим другом?”. [с .349]

Азиатско-американские холодные войны

Во второй половине 1980-х годов и в начале 1990-х годов в отношениях между Соединенными Штатами Америки и азиатскими странами, если не говорить о Вьетнаме, все в большей степени нарастал антагонизм, и США все реже удавалось брать верх в этих конфликтах. Особенно эти тенденции были заметны в отношениях с ведущими государствами Восточной Азии, и американские взаимоотношения с Китаем и Японией развивались аналогичным образом. Американцы, одной стороны, и китайцы и японцы, с другой, говорили о том, что между их странами развертываются холодные войны . Эти совпавшие по времени тенденции возникли при администрации Буша и ускорились при Клинтоне. К середине 1990-х годов отношения США с двумя основными азиатскими странами в лучшем случае можно было описать как “натянутые”, а перспективы с точки зрения ослабления напряженности казались весьма слабыми . [с .350]

В начале 1990-х годов японо-американские отношения начали все больше и больше накаляться, разногласия касались широкого круга вопросов, в том числе и роли Японии в войне в Персидском заливе, американского военного присутствия в Японии, японской позиции относительно проводимой американцами политики по вопросу о правах человека в Китае и других странах, участию Японии в деятельности по поддержанию мира; что самое важное, споры затрагивали экономические отношения, особенно в области торговли. Банальностью стали ссылки на торговые войны . Американские официальные лица, особенно в администрации Клинтона, настойчиво требовали все больших и больших уступок от Японии; японские чиновники все более и более упорно сопротивлялись выдвигаемым требованиям. Каждый японо-американский торговый спор сопровождался все большим числом взаимных обвинений и оказывался еще труднее для разрешения, чем предыдущий. В марте 1994 года, например, президент Клинтон подписал распоряжение, дающее ему право применять более строгие торговые санкции к Японии, что вызвало возражения не только у японцев, но и у главы ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле), ведущей мировой торговой организации. Несколько позже японцы ответили “яростной атакой” на политику США, и вскоре после этого США “официально обвинили Японию” в дискриминации американских компаний, которым были предоставлены правительственные контракты. Весной 1995 года администрация [с .351] Клинтона пригрозила обложить 100-процентными пошлинами японские автомобили класса “люкс”, при этом согласие воздержаться от применения указанных мер было достигнуто перед самым введением санкций в действие. Происходящее очень напоминало торговую войну. К середине 1990-х годов взаимные нападки достигли такой степени ожесточения, что ведущие японские политические фигуры начали ставить под вопрос военное присутствие США в Японии.

На протяжении этих лет в обеих странах неуклонно увеличивалась доля тех, кто не был расположен благожелательно к другой стране. В 1985 году 87 процентов американской общественности утверждало, что они испытывают дружеские чувства к Японии. К 1990 году количество таких людей снизилось до 67 процентов; к 1993 году лишь 50 процентов американцев чувствовали дружеское расположение к Японии, а почти две трети заявляли, что они стараются не приобретать товары японского производства. В 1985 году 73 процента японцев характеризовали отношения США — Япония как дружеские; в 1993 году 64 процента заявляли, что они были недружественными. 1991 год стал важнейшей вехой, ознаменовавшей поворот в общественном мнении, которое отбросило прежние шаблоны “холодной войны”. В этот год в картине мира обеих стран место Советского Союза занял новый противник. Впервые в списке стран, представляющих угрозу американской безопасности, американцы поставили Японию перед Советским Союзом, и впервые японцы расценили, что США представляют большую угрозу безопасности Японии, чем Советский

Союз .

Перемены в общественном восприятии соответствовали изменениям в видении мира элитой. В США появилась значительная группа профессоров, интеллектуалов и политических ревизионистов, которые особое внимание придавали культурным и структурным различиям между двумя странами и настаивали на необходимости для США придерживаться более жесткой линии в ведении переговоров с [с .352] Японией по экономическим вопросам. Представление Японии в средствах массовой информации, в научных публикациях и в популярных романах становилось уничижительным. Аналогичным образом в Японии заявило о себе новое поколение политических лидеров, которое не испытало на себе мощи Америки во время Второй Мировой войны и американской доброжелательности и щедрости после нее, которое обрело гордость в экономических успехах Японии и которое оказывало реальное сопротивление американским требованиям, причем способами, к каким прежние поколения не прибегали. Эти японские “сопротивленцы” были копией американских “ревизионистов”, и в обеих странах кандидаты на выборные должности обнаруживали, что успехом у избирателей пользуется отстаивание жесткой линии по вопросам, связанным с японо-американскими отношениями.

Американские отношения с Китаем на протяжении конца 1980-х и начала 1990-х годов также становились все более враждебными. Конфликты между двумя странами, как отметил в сентябре 1991 года Дэн Сяопин, являются “новой «холодной войной», и это выражение постоянно повторяли в китайской прессе. В августе 1995 года правительственное информационное агентство заявило, что “китайско-американские отношения совершенно испортились с тех пор, как две страны установили дипломатические контакты” в 1979 году. Китайские официальные лица постоянно осуждали якобы имеющее место вмешательство в дела Китая. “Нам следовало бы указать, — утверждалось во внутреннем документе китайского правительства в 1992 году, — что с тех пор, как США утвердились в качестве единственной сверхдержавы, они обуреваемы желанием проводить политику гегемонии и действовать с позиции силы; между тем, очевидно, что их могущество находится в относительном упадке и что существуют пределы их возможностей”. “Враждебные силы Запада, — говорил в августе 1995 года президент Цзян Цземинь, — не оставили ни на мгновение [с .353] свои попытки вестернизировать и «разделить» нашу страну”. Как сообщалось, к 1995 году среди китайских государственных деятелей и ученых существовало единодушное мнение, что США стремятся “разделить Китай территориально, разрушить его политически, сдерживать стратегически и победить экономически” .

Основания для подобных обвинений имелись. Соединенные Штаты разрешили президенту Тайваня Ли посетить США, продали Тайваню 150 самолетов F-16, назвали Тибет “оккупированной суверенной территорией”, обвиняли тай в нарушениях прав человека, помешали Пекину ста столицей Олимпийских игр 2000 года, нормализовали отношения с Вьетнамом, осудили Китай за экспорт в Иран компонентов химического оружия, ввели торговые санкции отношении Китая за продажу ракетной техники Пакистану и угрожали Китаю дополнительными экономическими санкциями, одновременно препятствуя вступлению Китая во Всемирную торговую организацию. Каждая сторона обвиняла другую в вероломстве: Китай, если верить американцам, не придерживался договоренностей об экспорте ракетной техники, нарушал права на интеллектуальную собственность и использовал труд заключенных; США, по мнению китайцев, нарушили имевшиеся договоренности, разрешив посетить США президенту Ли и поставив Тайваню современные истребители.

В Китае наиболее влиятельной группой, занимавшей враждебную по отношению к США позицию, были военные, которые, по всей видимости, постоянно оказывали давление на правительство, чтобы оно проводило более жесткий курс. Говорят, в июне 1993 года 100 китайских генералов направили Дэн Сяопину письмо, в котором выражали недовольство “пассивной” политикой правительства по отношению к США и неспособностью сопротивляться стремлениям США “шантажировать” Китай. Осенью того же года в

конфиденциальном документе китайского правительства были в общих чертах изложены доводы военных для конфликта [с .354] с США: “Поскольку Китай и Соединенные Штаты Америки продолжительное время занимают конфликтные позиции относительно идеологии, социальных систем и внешней политики, то представляется невозможным коренным образом улучшить китайско-американские отношения”. Так как американцы полагают, что Восточная Азия станет “ядром мировой экономики... США не могут допустить существование в Восточной Азии могущественного соперника” . К середине 1990-х годов китайские чиновники и учреждения, как правило, относились к США как к враждебному государству.

В нагнетании враждебности между Китаем и США отчасти сыграла свою роль проводимая обеими странами внутренняя политика. Как и в случае с Японией, информированная американская общественность разделилась в своих мнениях. Многие видные фигуры истеблишмента доказывали необходимость конструктивного соглашения с Китаем, расширения экономических связей, вовлечения Китая в так называемое международное сообщество. Другие подчеркивали потенциальную китайскую угрозу американским интересам, убеждали, что шаги в сторону примирения с Китаем принесут отрицательные результаты, и настаивали на проведении политики решительного сдерживания. В 1993 году американская общественность среди стран, представляющих наибольшую опасность для США, ставила Китай на второе место после Ирана. Зачастую американские политики поступали так, будто провоцировали Китай: чего стоят хотя бы посещение президентом Ли Корнелльского университета или встреча Клинтона с далай-ламой, вызывавшая у китайцев негодование; в то же время администрация вынуждена была поступаться требованиями о соблюдении прав человека в пользу экономических интересов, как то было в случае пролонгации соглашения о статусе наибольшего благоприятствования. Что касается китайцев, то правительству необходим новый враг — чтобы было чем обосновывать обращение к китайскому национализму [с .355] и чтобы узаконить свою власть. Поскольку продолжалась “борьба за наследство”, то росло и политическое влияние военных, и потому президент Цзянь и другие участники борьбы за власть в эпоху после Дэн Сяопина не могли позволить себе слабости в отстаивании китайских интересов.

Итак, американские отношения как с Японией, так и с Китаем последовательно ухудшались на протяжении десятилетия. Это изменение в азиатско-американских отношениях затронуло столь обширную область, что казалось невероятным, чтобы причины происшедшего сдвига можно было отыскать в частных конфликтах интересов относительно автомобильных запчастей, продаж камер или сохранения военных баз, с одной стороны, или заключения в тюрьмы диссидентов, передаче вооружений или интеллектуальном пиратстве — с другой. Кроме того, нельзя было допускать, чтобы отношения с обеими ведущими азиатскими державами становились в то же время и более конфликтными — это очевидно противоречило национальным американским интересам. Элементарные правила дипломатии и политики с позиции силы диктуют, что США следовало бы попытаться заставить одну из сторон сыграть против другой или, по меньшей мере, хотя бы постараться улучшить свои отношения с одной из стран. Однако ничего подобного не произошло. На углубление конфликта в азиатско-американских отношениях оказывали свое воздействие более общие факторы, и они усложнили разрешение отдельных спорных вопросов. Это общее явление имело общие причины.

Во— первых, возросшее взаимодействие азиатских стран и США, развитие средств коммуникации, торговли, совместное размещение капиталов и пр. преумножало число спорных вопросов и тех областей, где интересы сторон могли столкнуться и сталкивались. Из-за этого стала реальностью угроза местных обычаев и убеждений, то есть то, что издавна кажется невинной экзотикой. Во-вторых, к заключению американо-японского договора о взаимной безопасности [с .356] в 1950-х годах привела советская угроза. Рост советской мощи в 1970-х годах привел к установлению в 1979 году дипломатических отношений между США и Китаем и к совместным действиям двух стран по нейтрализации этой угрозы.

С окончанием “холодной войны” этот важнейший вопрос, затрагивающий общие интересы Соединенных Штатов и азиатских стран, был снят с повестки дня, а взамен него не осталось ничего. Следовательно, на передний план выдвинулись другие вопросы, по которым имелись существенные конфликты интересов. В-третьих, экономическое развитие стран Восточной Азии сместило общий баланс сил. Азиаты, как мы видели, все в большей степени вставали на защиту значимости своих ценностей и институтов и утверждали превосходство своей культуры над западной. Для американцев же свойственно считать, тем более после победы в “холодной войне”, что их ценности и институты имеют всеобщий, универсалистский характер и приемлемы везде и что они по-прежнему обладают силой, чтобы формировать внешнюю и внутреннюю политику азиатских государств.

Изменяющаяся международная обстановка выдвинула на авансцену фундаментальные культурные различия между азиатской и американской цивилизациями. На самом общем уровне конфуцианский этос, пропитывающий большинство азиатских обществ, особый акцент делает на ценностях власти, иерархии, подчиненности личных прав и интересов, на важности консенсуса, нежелательности конфронтации, на “сохранении лица” и на верховенстве государства над обществом и общества над личностью. Кроме того, для азиатских народов свойственно рассматривать эволюцию своих стран в сроках веков и тысячелетий и отдавать приоритет долгосрочным целям. Подобное отношение резко контрастировало с доминирующими в американском общественном сознании приматам свободы, идеалами равенства, демократии и индивидуализма, тенденции американцев не доверять правительству и противостоять власти, [с .357] принципу взаимозависимости и взаимоограничения законодательной, исполнительной и судебной властей, поощрению конкуренции, возвеличиванию прав человека, а также привычке забывать прошлое, пренебрегать будущим, сосредоточивать внимание на сиюминутных целях. Источники конфликта кроются в фундаментальных различиях в обществе и культуре.

Для отношений США с ведущими азиатскими странами эти различия имели особые последствия. Дипломаты прилагали огромные усилия, стремясь разрешить американские противоречия с Японией по экономическим вопросам, особенно — активное торговое сальдо Японии и противодействие Японии американским товарам и капиталовложениям. Японо-американские торговые переговоры во многом приобрели характерные черты советско-американских переговоров по контролю над вооружениями времен “холодной войны”. И торговые переговоры с Японией в 1995 году дали еще меньшие результаты, чем переговоры с Советским Союзом о вооружениях, — потому что противоречия коренятся в фундаментальных отличиях двух экономик, а в особенности в уникальном характере японской экономики среди экономик ведущих индустриально развитых стран. Японский импорт промышленных товаров составляет около 3,1 процента ВВП, по сравнению со средним значением в 7,1 процента ВВП для других ведущих промышленно развитых стран. Прямые иностранные инвестиции в Японию в 0,7 процента ВВП выглядят микроскопическими, по сравнению с 28,6 процента для США и с 38,5 процента для Европы. Япония, единственная среди ведущих экономически стран, в начале 1990-х годов имела положительное бюджетное сальдо .

От начала и до конца японская экономика действует не так, как диктуют универсальные законы западной экономической науки. В 1980-х годах лежащее на поверхности предположение западных экономистов, что девальвация доллара должна уменьшить японское торговое сальдо, оказалось [с .358] неверным. Соглашение Plaza в 1985 году выправило американский дефицит в торговле с Европой, но оказало слабое влияние на торговый дефицит с Японией. Так как йена котировалась меньше, чем сто за доллар, японское торговое сальдо даже выросло. Таким образом, японцы оказались способны выдержать как сильную валюту, так и активное сальдо в торговле. Для западного экономического мышления характерно устанавливать отрицательную корреляцию между безработицей и инфляцией, причем уровень безработицы существенно ниже 5 процентов, как считается, инициирует инфляционное давление. Однако в Японии многие годы средний

уровень безработицы составляет менее 3 процентов, а уровень инфляции — 1,5 процента. К 1990-м годам как американские, так и японские экономисты определили основные различия двух экономических укладов. Единственный в своем роде низкий уровень импорта промышленных товаров в Японии, как было отмечено в заключении одного тщательного исследования, “нельзя объяснить на основе общепринятых экономических факторов”. “Японская экономика не следует западной логике, — утверждал другой аналитик, — и что бы ни говорили западные прогнозисты, самая простая причина кроется в том, что это не западная свободнорыночная экономика. Японцы... создали такой тип экономики, которая ведет себя так, что ставит в тупик западных наблюдателей и не позволяет им применять свои способности к предвидению” .

Чем же объясняются характерные особенности японской экономики? Среди ведущих промышленно развитых стран японская экономика является уникальной в своем Роде потому, что японское общество уникально не-западное. Японское общество и японская культура отличаются от западных, в особенности от американских. При всяком серьезном сравнительном анализе Японии и Америки эти отличия выходили на первый план . Разрешение экономических проблем между Японией и США зависит от коренных изменений в характере одного или обоих экономических [с .359] укладов, которые, в свою очередь, зависят от важнейших перемен в обществе и культуре одной или обеих стран. Подобные изменения не являются невозможными. Общества и культуры меняются. Это может быть результатом значительного и весьма болезненного события: безоговорочное поражение во Второй Мировой войне превратило две самые милитаристские страны в мире в две наиболее пацифистские. Однако представляется маловероятным, чтобы либо США, либо Япония навязали другой стороне экономическую Хиросиму. Экономическое развитие также может глубоко изменить социальную структуру и культуру, как случилось в Испании в период между началом 1950-х и концом 1970-х годов, и, вероятно, экономическое благосостояние превратит Японию в общество, более напоминающее американское, общество, ориентированное на потребление. В конце 1980-х годов люди и в Японии, и в США утверждали, что их страна все больше становится похожей на другую. В ограниченном виде японо-американское соглашение по структурным инициативам было направлено на содействие этой конвергенции. Неудача данного замысла и аналогичных ему усилий свидетельствует о степени укорененности экономических различий в обоих обществах.

Поскольку источник противоречий между США и Азией кроется в культурных различиях, то последствия этих конфликтов отражаются на изменяющемся соотношении сил между США и Азией. Соединенные Штаты одержали ряд побед в спорных вопросах, но общая тенденция складывалась в пользу Азии, и в дальнейшем сдвиг в расстановке сил обострил существующие конфликты. США ожидали, что азиатские правительства примут их как лидера “мирового сообщества”, и пусть без особого желания, но согласятся с применением к их обществам западных принципов и моральных ценностей. Азиаты же, с другой стороны, как заметил помощник государственного секретаря Уинстон Лорд, были “в большей степени уверены в себе и испытывали гордость от собственных достижений” и полагали, что с [с .360] ними станут обращаться как с равными, поскольку рассматривали США в качестве “если и не международного вышибалы, то международной няньки”. Тем не менее глубинные императивы американской культуры побуждали США в наименьшей степени выступать в международных отношениях нянькой; в результате американские надежды все в большей степени расходились с азиатскими чаяниями. По широкому кругу вопросов японские и другие азиатские лидеры научились говорить “нет” своим американским коллегам, иногда по-азиатски вежливо высказывая то, что можно интерпретировать как “вали отсюда!”. Символической поворотной точкой в азиатско-американских отношениях стало, наверное, событие, которое один высокопоставленный японский чиновник охарактеризовал как “большое крушение поезда”: в феврале 1994 года, когда премьер-министр Морихиро Хосокава ответил решительным отказом на требования президента Клинтона относительно стратегического увеличения

японского импорта американских промышленных товаров. “Даже год назад подобного мы себе и представить не могли” — так прокомментировало это событие еще одно японское официальное лицо. Годом позже японский министр иностранных дел подчеркнул произошедшую перемену, заявив, что в эпоху экономической конкуренции между государствами и регионами японские национальные интересы куда более важны, чем идентификация себя с Западом .

Постепенное приспособление Америки к изменившемуся балансу сил нашло отражение в политике, которую США проводили в Азии в 1990-х годах. Во-первых, фактически признавая, что им недостает воли и/или способности оказывать давление на азиатские государства, США отделили те вопросы, где они обладали средствами для достижения своих целей, от проблем, которые вызывали конфликты. Хотя Клинтон и провозгласил соблюдение прав Человека первоочередной задачей американской внешней политики в отношении Китая, в 1994 году он под влиянием [с .361] американских бизнесменов, Тайваня и других стран отделил проблему прав человека от экономических вопросов и отказался от попыток воспользоваться решением о продлении статуса наибольшего благоприятствования как средством для воздействия на поведение китайцев в отношении политических диссидентов. Аналогичным шагом администрация недвусмысленно отделила вопросы политики безопасности в отношении Японии, где, как предполагалось, имелись возможности оказать давление на партнера, торговых и прочих вопросов, где отношения с Японией были наиболее конфликтны. Таким образом, США сложили оружие, которым могли бы воспользоваться, пожелай они выдвинуть на первый план вопросы прав человека в Китае и торговые уступки от Японии.

Во— вторых, в отношениях с азиатскими странами США постоянно придерживались курса на опережающую взаимность, идя на уступки азиатам и предполагая, что и те предпримут аналогичные шаги. Зачастую оправданием подобному курсу служили ссылки на необходимость поддерживать с азиатской стороной “конструктивный диалог”. В большинстве случаев, однако, азиатская сторона истолковывала уступку как признак слабости американцев и, следовательно, продолжала и дальше отвергать американские требования. Подобное было особенно заметно в отношениях с Китаем, который на “делинкидж” статуса наибольшего благоприятствования ответил новым раундом нарушений прав человека. Из-за тенденции американцев определять “хорошие” отношения как “дружественные”, США оказываются в невыгодном положении в конкурентной борьбе с азиатскими странами, для которых “хорошие” отношения -те, которые приносят им победы. С точки зрения азиатских политиков, на американские уступки надо не взаимностью отвечать, а использовать их в своих интересах.

В— третьих, выработался определенный стереотип действий в американо-японских торговых спорах в процессе разрешения вопросов, по которым США могли бы выдвинуть [с .362] Японии свои требования и пригрозить санкциями, если те не будут выполнены. За этим шагом последовали бы продолжительные переговоры, а затем, в последний момент перед введением санкций, было бы объявлено о заключении соглашения. Как правило, соглашения были бы настолько двусмысленно сформулированы, что США имели бы право заявлять о победе, а японцы могли бы или придерживаться соглашения, или не выполнять его, если им того хотелось, и все шло бы, как раньше. Аналогичным образом китайцы могли без всякого желания соглашаться с заявлениями о широких принципах, касающихся прав человека, интеллектуальной собственности или распространения вооружений, только для того, чтобы истолковывать их совершенно отлично от США и продолжать свою прежнюю политическую линию.

Эти культурные различия и изменяющаяся расстановка сил между Азией и Америкой вселяют в азиатские страны смелость поддерживать друг друга в спорах с Соединенными Штатами. В 1994 году, например, практически все азиатские государства “от Австралии до Малайзии и Южной Кореи” поддержали Японию в ее сопротивлении требованиям США пересмотреть запланированные показатели импорта. Одновременно аналогичная поддержка

имела место при решении вопроса о статусе наибольшего благоприятствования Китаю, когда японский премьер-министр Хосокава заявил, что западную концепцию прав человека нельзя “слепо применять” в Азии, а Ли Кван Ю высказал предостережение, что, оказывая давление на Китай, “Соединенные Штаты рискуют остаться в одиночестве в Тихоокеанском регионе”. Другой пример: азиаты и африканцы выступили заодно с японцами в поддержку переизбрания японского представителя на пост главы Всемирной организации здравоохранения, в пику Западу, а Япония выдвинула южнокорейца на пост главы Всемирной торговой организации против американского кандидата, бывшего президента Мексики Карлоса Салинаса. Факты неоспоримо доказывают, [с .363] что к 1990-м годам все страны Восточной Азии полагали, что они имеют гораздо больше общего с соседями, чем с США.

Таким образом, в конце “холодной войны” углубляющиеся контакты между Азией и Америкой и относительный спад американского могущества сделали явным столкновение культур и дали восточно-азиатским странам возможность противостоять американскому нажиму. В результате подъема Китая США оказались перед лицом более фундаментального вызова. Американские противоречия с Китаем охватывают более широкий спектр вопросов, чем в случае Японией, в том числе экономические вопросы, права человека, ситуацию в Тибете, проблемы Тайваня и Южно-Китайского моря и распространение оружия. Почти по всем основным политическим проблемам у США и Китая нет общих взглядов. Однако противоречия между США и Китаем также включают в себя и более фундаментальные вопросы. Китай не желает принимать американское главенство; США не желают принимать китайскую гегемонию в Азии. На протяжении более чем двухсот лет США старались предотвратить появление в Европе страны, занимающей чрезмерно доминирующее положение. На протяжении почти ста лет, начиная с политики “открытых дверей” в отношении Китая, они пытались осуществить то же самое в Восточной Азии. Для достижения поставленных целей США приняли участие в двух мировых войнах и в “холодной войне” против имперской Германии, нацистской Германии, имперской Японии, Советского Союза и коммунистического Китая. Заинтересованность Америки в этом вопросе остается на повестке дня, и она была вновь подтверждена президентами Рейганом и Бушем. Пробуждение Китая как доминирующей региональной силы в Восточной Азии бросает вызов американским интересам. Подоплека конфликта между Америкой и Китаем заключается в кардинальном отличии их позиций относительно того, каким должен быть баланс сил в Восточной Азии. [с .364]

Китайская гегемония: балансирование и “подстраивание”

В начале двадцать первого века развитие межгосударственных отношений в Восточной Азии, где насчитывается шесть цивилизаций и восемнадцать стран, где быстрыми темпами развивается экономика, а между странами существуют коренные политические, экономические и социальные различия, может пойти по любому из нескольких вариантов. Понятно, что в крайне сложный комплекс отношений могут оказаться вовлеченными большинство ведущих и средних государств региона. Или появится одно ведущее государство, и тогда может сформироваться многополюсная международная система, когда между собой конкурировали бы и уравнивали бы друг друга Китай, Япония, США, Россия и, возможно, Индия. В качестве альтернативы, Восточная Азия может надолго превратиться в арену биполярного состязания между Китаем и Японией или между Китаем и США, в то время как другие страны будут вступать в союзы с той или с другой стороной или придерживаться курса на неприсоединение. Или же, что очевидно, восточно-азиатская политика может вернуться к своей традиционной однополюсной картине, где в центре иерархического распределения сил будет находиться Пекин. Если в двадцать первом столетии Китай сохранит свой высокий уровень экономического роста, не утратит единства в пост-сяопиновскую эру и не будет связан борьбой за престолонаследие, весьма вероятно, что

он попытается реализовать последний из указанных вариантов. Удастся ли ему преуспеть, будет зависеть от действий других игроков на политической шахматной доске.

История Китая, его культура, обычаи, размеры, динамизм экономики и самопредставление — все это побуждает Китай занять гегемонистскую позицию в Восточной [с .365] Азии. Эта цель — естественный результат быстрого экономического развития. Все остальные великие державы, Великобритания и Франция, Германия и Япония, США и Советский Союз, проходили через внешнюю экспансию, утверждение своих притязаний и империализм, совпадающий по времени с годами, когда шла быстрая индустриализация и экономический рост, или сразу после этого этапа. Нет оснований полагать, что обретение экономической и военной мощи не окажет такое же влияние на Китай. На протяжении двух тысяч лет Китай являлся исключительной силой в Восточной Азии. Теперь китайцы все в большей степени заявляют о своих намерениях вновь обрести эту историческую роль и положить конец слишком долгому периоду унижений и зависимости от Запада и Японии, который начался с навязанного Великобританией в 1842 году Нанкинского договора.

В конце 1980-х годов Китай начал превращать свои растущие экономические ресурсы в военную мощь и в политическое влияние. Если экономическое развитие продолжится, то процесс превращения примет значительные размеры. В соответствии с официальными цифрами, на протяжении большей части 1980-х годов китайские военные расходы уменьшались. Однако в период между 1988 и 1993 годом военные расходы выросли на 50 процентов в реальном выражении. На 1995 год был запланирован рост в 21 процент. Оценки китайских военных расходов на 1993 год разнятся в пределах от приблизительно 22 млрд. долларов до 37 млрд. долларов по официальным курсам валют и доходят до 90 млрд. долларов по паритету покупательной способности. В конце 1980-х годов Китай заново сформулировал свою военную стратегию, перейдя от концепции обороны в большой войне с Советским Союзом к региональной стратегии, в которой особое значение придается перспективной оценке сил. В соответствии с этой сменой акцентов Китай начал развивать свои военно-морские возможности, приобретать современные боевые самолеты дальнего радиуса действия, [с .366] совершенствовать средства дозаправки в воздухе и принял решение обзавестись авианосцем. Китай также стал на взаимовыгодных условиях покупать вооружения у России.

Ныне Китай находится на пути к доминирующей державе Восточной Азии. Экономическое развитие Восточной Азии все больше и больше ориентируется на Китай, что основывается на быстрых темпах роста материкового Китая и трех других Китаев, плюс на той основной роли, которую играют этнические китайцы в экономике Таиланда, Малайзии, Индонезии и Филиппин. Что представляет большую угрозу, Китай все с возрастающей энергичностью заявляет о своих притязаниях на Южно-Китайское море: расширение базы на Парасельских островах, война с вьетнамцами за горсточку островков в 1988 году, установление военного присутствия на рифе Мисчиф возле Филиппин и притязания на месторождения природного газа, примыкающих к индонезийскому острову Натуна. Китай также отказался от сдержанной поддержки американского присутствия в Восточной Азии и начал активно ему противодействовать. Аналогичным образом Китай, который на протяжении “холодной войны” втихомолку подталкивал Японию к наращиванию военной мощи, после “холодной войны” настойчиво выражает возросшую озабоченность развитием японского военного потенциала. Действуя в классической манере регионального гегемона, Китай пытается свести к минимуму препятствия, мешающие ему добиться регионального военного превосходства.

За редкими исключениями, как, возможно, в случае Южно-Китайского моря, маловероятно, чтобы китайская гегемония в Восточной Азии предполагала бы непосредственное использование военной силы для расширения территориального контроля. Однако это, скорее всего, означает, что Китай будет ожидать от остальных восточно-азиатских стран выполнения следующих условий (пусть и в различной степени и,

возможно, не всех сразу, а только части): [с.367]

- выступать в поддержку территориальной целостности Китая, китайского контроля над Тибетом и Синьцзяном и за интеграцию Гонконга и Тайваня с Китаем;
- соглашаться де факто с китайским суверенитетом над Южно-Китайским морем и, возможно, над Монголией;
- в большинстве случаев поддерживать Китай в конфликтах с Западом по вопросам экономики, прав человека, распространения вооружений и в других областях;
- признавать китайское военное господство в регионе и воздерживаться от обладания ядерным оружием или обычными вооруженными силами, способными стать вызовом этому превосходству;
- проводить в области торговли и инвестиций политику, совпадающую с китайскими интересами и благоприятную для китайского экономического развития;
- считаться с китайским лидерством при разрешении региональных проблем;
- проводить политику открытости в отношении иммиграции из Китая;
- запретить или подавлять в своих государствах движения, направленные против Китая или китайцев;
- уважать на своей территории права китайцев, включая право на поддержание тесных связей со своими родственниками в Китае и с китайскими провинциями, откуда они родом;
- не заключать военных союзов с другими государствами и не вступать в антикитайские коалиции;
- поддерживать использование мандаринского наречия китайского языка как второго языка и последовательную замену им английского в качестве языка межнационального общения в Восточной Азии.

Аналитики сравнивают подъем Китая с возвышением кайзеровской Германии в конце девятнадцатого столетия в качестве доминирующей силы в Европе. Возникновение новых великих держав — процесс всегда крайне дестабилизирующий, и если подобное произойдет, то выход Китая на [с.368] международную арену затмит собой любые сравнимые явления на протяжении второй половины второго тысячелетия. “Масштабы изменения положения Китая в мире, — отмечал в 1994 году Ли Кван Ю, — таковы, что мир обретет новый баланс сил в течение 30 или 40 лет. Невозможно делать вид, будто это просто еще один ведущий игрок. Это самый крупный игрок за всю человеческую историю”. Если развитие китайской экономики продолжится еще одно десятилетие, что кажется вполне реальным, и если Китай сохранит свою целостность в течение “смутного периода”, что представляется вероятным, странам Восточной Азии и всему миру придется как-то реагировать на все более напористое поведение крупнейшего игрока в истории человечества.

Вообще говоря, на возвышение какой-то страны прочие государства могут реагировать либо одним способом, либо комбинацией двух. В одиночку или в союзе с другими странами они могут попытаться обеспечить свою безопасность, противодействуя этому государству, изменяя баланс сил, сдерживая его и, при необходимости, вступая в войну, чтобы нанести ему поражение. В качестве же альтернативы они могут постараться примкнуть, или “подстроиться”, к возвышающемуся государству, приспособиться к его действиям и принять подчиненную роль, при этом надеясь на соблюдение своих интересов. Или же они могут попытаться каким-то образом сочетать политику сдерживания и “подстраивания”, хотя подобные действия сопряжены с риском: можно настроить возвышающееся государство против себя и лишиться всякой защиты. В соответствии с западной теорией международных отношений, противодействие обычно считается более удачным выбором, и на деле к нему прибегают гораздо чаще, чем к переходу на сторону сильного. Как утверждал Стивен Уолт, оценка намерений должна поощрять государства на политику противодействия. Следовать за лидером — рискованно, потому что такой шаг требует доверия; тот, кто [с.369] помогает доминирующей силе, лелеет надежду на сохранение благосклонности к себе. Безопаснее противостоять, сдерживать на тот случай, если доминирующая сила проявит агрессивность. Кроме того, коалиция какого-либо государства со слабой стороной увеличивает его влияние

в формирующейся коалиции, потому что слабейшая сторона испытывает большую необходимость в союзе .

Проведенный Уолтом анализ формирования союзов в Юго-Западной Азии продемонстрировал, что государства почти всегда пытаются противостоять внешним угрозам. Также в большинстве случаев тактика противодействия и балансирования являлась нормой на протяжении большей части европейской истории: несколько государств заключали союзы и меняли партнеров, чтобы нейтрализовать угрозу, которую, на их взгляд, представляли собой Филипп II, Людовик XIV, Фридрих Великий, Наполеон, кайзер Вильгельм и Гитлер. Тем не менее Уолт допускает, что “при определенных условиях” какие-то страны могут выбрать “подстраивание”, и, как свидетельствует Рэндалл Швеллер, страны-ревизионисты, вероятно, следуют в кильватере возвышающегося государства потому, что не удовлетворены сложившимся положением и надеются выиграть от перемен в статус-кво . Вдобавок, как предполагает Уолт, чтобы примкнуть к стороне, имеющей очевидный перевес, требуется определенная степень доверия — приходится надеяться, что у более могущественного государства нет недобрых намерений.

Противодействуя какой-либо стране, государства могут играть либо основную, либо второстепенную роли. Во-первых, если страна А полагает страну Б потенциальным противником, то она может попытаться изменить баланс сил, заключая союзы со странами В и Г, развивая собственную военную мощь и прочие возможности (что, по всей вероятности, ведет к гонке вооружений) или как-то комбинируя [с .370] эти варианты. В такой ситуации государства А и Б являются *основными* противниками друг для друга. Во-вторых, страна А может не осознавать любое другое государство в качестве непосредственного противника, но быть заинтересованной в поддержании баланса сил между странами Б и В, любая из которых, если станет слишком могущественной, могла бы представлять угрозу для страны А. В такой ситуации страна А действует как *второстепенный* противник относительно стран Б и В, которые друг для друга могут быть основными противниками.

Как будут реагировать другие государства, если Китай станет проявлять себя в Восточной Азии как гегемонистская держава? Несомненно, их реакция будет варьироваться в широких пределах. Поскольку Соединенные Штаты определены Китаем в качестве главного врага, то для США совершенно логично будет выступить основным противником Китая, чтобы предотвратить китайскую гегемонию. Подобная роль отвечала бы проведению традиционной американской политики, направленной на предотвращение господства какой-либо одной страны в Европе либо в Азии. В Европе эта цель уже не актуальна, но она значима для азиатской политики США. Аморфное объединение Западной Европы, которая тесно связана с США культурными, политическими и экономическими узами, не может представлять угрозы американской безопасности. А вот единый, могущественный и уверенный в своих силах Китай — может. В интересах ли США быть готовыми развязать войну, чтобы предотвратить китайскую гегемонию в Восточной Азии? Если экономическое развитие Китая продолжится, то одно это отдельно взятое обстоятельство может оказаться самой серьезной проблемой безопасности, с которой столкнутся в начале двадцать первого века американские лидеры. Если США намерены положить конец китайскому господству в Восточной Азии, то им необходимо переориентировать союз с Японией на достижение этой цели, необходимо налаживать тесные военно-политические связи с [с .371] другими азиатскими государствами, увеличивать свое военное присутствие в Азии и усиливать военную группировку, которую они могут пустить в ход. Если США не желают бороться с гегемонией Китая, тогда им придется отказаться от своего универсализма и примириться с явным сокращением своих возможностей влиять на события по ту сторону Тихого океана. Любой иной курс сопряжен со значительными издержками и риском. Наибольшая опасность заключается в том, что Соединенные Штаты так и не сделают определенного выбора и невзначай ввяжутся в войну с Китаем, не будучи готовы к эффективному ведению этой войны и не просчитав, отвечает ли она их национальным интересам.

Теоретически США могли бы предпринять попытку сдерживания Китая, играя

второстепенную роль в балансе сил, в том случае, если какая-то другая ведущая держава выступит в качестве главного противовеса Китаю. Единственная мыслимая возможность — Япония, и такая роль потребует кардинальных перемен в японской политике: ускорения перевооружения японской армии, овладения ядерным оружием и активного соперничества с Китаем за поддержку со стороны других азиатских государств. Хотя Япония, возможно, и пожелала бы участвовать в возглавляемой США коалиции стран, противостоящих Китаю, — хотя осуществление этого варианта тоже не гарантировано, — маловероятно, чтобы она взяла на себя роль основного противника Китая. Кроме того, США обычно стремятся к лидерству и не выказывают особых способностей играть второстепенную роль. В наполеоновскую эпоху, на заре своей истории, они попытались вести себя подобным образом; кончилось тем, что им пришлось воевать как с Великобританией, так и с Францией. В первой половине двадцатого века Соединенные Штаты прилагали минимальные усилия для поддержания баланса сил между европейскими и азиатскими странами; в результате, чтобы восстановить нарушенное равновесие, им пришлось ввязаться в мировые войны. Во время “холодной войны” у [с .372] США не было иной альтернативы, кроме как стать основным противовесом Советскому Союзу. Таким образом, США как великая держава никогда не выступали в роли второстепенного противника. От такого игрока требуется изворотливость, гибкость, способность “менять личины”. Такая политика означала бы поддержку то одной стороне, то другой, отказ от содействия или даже прямые угрозы той стране, которая, с точки зрения американских ценностей, является этически правой — и содействие тому, кто этически не прав. Даже если Япония выступит как основной противник Китая, то открытым останется вопрос о способности США поддерживать это равновесие. Куда чаще США мобилизуют свои ресурсы, чтобы противостоять одной непосредственной угрозе, нежели чем балансировать между двумя потенциальными угрозами. Да и, вдобавок, у азиатских стран существует тенденция к “подстраиванию”, что могло бы помешать любым попыткам США отойти на вторые роли в процессе сдерживания.

Поскольку масштабы “подстраивания” зависят от уровня доверия, то справедливы три следующих предположения. Во-первых, более вероятно, что страна примкнет к более сильной стране в том случае, если обе принадлежат к одной и той же цивилизации, или в том случае, если эти две страны связывает общность культур. Менее вероятен подобный исход, если у этих стран нет общих культурных ценностей. Во-вторых, степень доверия, вероятно, зависит от ситуации. Мальчик помладше последует за своим старшим братом с большей вероятностью в том случае, когда они противостоят другим мальчикам; менее вероятно, что он поверит старшему брату, когда они останутся дома одни. Следовательно, чем активнее будет взаимодействие между государствами, принадлежащими к различным цивилизациям, тем в большей степени они предрасположены к “подстраиванию” внутри своих цивилизаций. В-третьих, предрасположенность к “подстраиванию” различается в зависимости от цивилизации, потому что уровни доверия [с .373] различны. Например, распространенность на Ближнем Востоке политики “следования за сильным” может отражать вошедший в поговорку низкий уровень доверия в арабской и других ближневосточных культурах.

В дополнение к этим факторам на тенденции к “подстраиванию” или к балансированию будут оказывать влияние надежды и предпочтения в отношении складывающегося распределения сил. Европейские общества прошли через фазу абсолютизма, но избежали долговременных бюрократических империй или “восточных деспотий”, которые были характерны для Азии на значительном отрезке ее истории. Феодализм заложил базис политического плюрализма: некоторое рассредоточение власти является как естественным, так и желательным. Поэтому и на международном уровне баланс сил считался как естественным, так и желательным, и на политиках лежит задача сохранять и поддерживать его. Следовательно, когда равновесие оказывается под угрозой, для того чтобы восстановить его, обращаются к политике сдерживания. Короче говоря, европейская модель международного сообщества отражает европейскую модель внутренней структуры общества.

Наоборот, в азиатских бюрократических империях вряд ли нашлось бы место для идеи социального или политического плюрализма и принципа разделения властей. В отличие от Европы в истории самого Китая следование за сильным, как представляется, является куда более значимым по сравнению с политикой противодействия. На протяжении 1920-х годов, отмечает Люциан Пай, “военачальники в первую очередь стремились выяснить, что они получают, если присоединятся к силе, и только потом задумывались о том, каково окажется вознаграждение за союз со слабым... Для китайских военачальников независимость никогда не выступала как изначальная ценность, как то было в традиционных европейских раскладах; скорее, свои решения они основывали на присоединении к силе”. Эвери Голдштейн приводил аргументы в пользу того довода, что переход на [с .374] сторону сильного характеризовал политику коммунистического Китая, хотя с 1949 по 1966 год была в общем и целом очевидной авторитарная структура. Когда впоследствии “культурная революция” создала условия, близкие к анархии, породила неопределенность власти и угрожала самой жизни политических деятелей, доминирующим стало поведение, основанное на противостоянии. По-видимому, восстановление после 1978 года более четкой структуры власти также привело и к восстановлению линии на “примыкание к сильному” в качестве наиболее распространенного образчика политического поведения.

Исторически китайцы не проводят различия между отношениями внутри страны и за ее пределами. Их “образ мирового порядка был не более чем следствием внутреннего порядка Китая и потому является расширенной проекцией китайской цивилизационной идентичности, которая, “как предполагается, сама воспроизводится в концентрически расширяющемся круге в качестве представления правильного космического миропорядка”. Или, как выразился Родерик Макфаркер: “Традиционный взгляд китайцев на мир был отражением конфуцианского представления о четко структурированном иерархическом обществе. Иностранные монархи и страны считались данниками Средней империи: “На небе не бывает двух солнц, на земле не может быть двух императоров”. В результате китайцам не слишком импонируют “многополюсные или даже многосторонние концепции безопасности”. В принципе, азиаты готовы “принять иерархию” в международных отношениях, и в истории Восточной Азии не было войн за гегемонию, типичных для Европы. Действующая система равновесия сил, которая исторически типична для Европы, была чужда Азии. Вплоть до появления в регионе западных держав в середине девятнадцатого века, международные отношения в Восточной Азии были синоцентрическими, когда все остальные страны ранжировались в зависимости от различной степени подчиненности Пекину, сотрудничества с Пекином или [с .375] автономии от Пекина. Разумеется, конфуцианский идеал миропорядка никогда не был полностью воплощен на практике. Тем не менее азиатская — по иерархии сил — модель международной политики коренным образом отличается от европейской модели баланса сил.

Вследствие подобного представления мирового порядка неудивительно, что китайцы, склонные к “подстраиванию” во внутренней политике, переносят эту манеру поведения также и на международные отношения. Степень, в какой эта тенденция сказывается на формировании внешней политики отдельных государств, очевидно, зависит от того, насколько они разделяют конфуцианскую культуру, и от их исторических взаимоотношений с Китаем. В культурном отношении Корея имеет много общего с Китаем и исторически склоняется на сторону Китая. Для Сингапура в годы “холодной войны” коммунистический Китай был врагом. В 1980 году, однако, Сингапур начал пересматривать свою позицию, и лидеры Сингапура активно заявляют о необходимости принятия США и другими странами реалий китайского могущества. Имеющая значительную долю китайского населения Малайзия, под влиянием антизападно настроенных лидеров, также испытывает сильную тягу к Китаю. В девятнадцатом и двадцатом столетиях Таиланд сохранял свою независимость, приспособившись к европейскому и японскому империализму, и сейчас ведет себя схожим образом в отношениях с Китаем, и эта тенденция усугубляется потенциальной угрозой безопасности, которая, по мнению его лидеров, исходит от Вьетнама.

Индонезия и Вьетнам — две страны Юго-Восточной Азии, которые в наибольшей степени предрасположены к противодействию и сдерживанию Китая. Индонезия — страна крупная, мусульманская и удалена от Китая, но без помощи других государств ей не удастся противостоять китайским притязаниям на Южно-Китайское море. Осенью 1995 года Индонезия и Австралия заключили договор о безопасности, который связал их обязательством проводить [с .376] консультации друг с другом в случае “враждебных нападков”. Хотя обе стороны отрицали, что договоренность имеет антикитайскую направленность, именно Китай они определили наиболее вероятным источником враждебных поползновений. Вьетнам в значительной мере представляет собой страну с конфуцианской культурой, но исторически он находился в антагонистических отношениях с Китаем, и в 1979 году выдержал недолгую войну с ним. И Вьетнам, и Китай заявляли о своем суверенитете над островами Спрэтли, и в 1970-х и в 1980-х годах военные флоты обоих государств вступали в боевые столкновения друг с другом. В начале 1990-х годов военный потенциал Вьетнама относительно Китая уменьшился. В результате у Вьетнама более, чем у какой-либо восточно-азиатской страны, имеется мотив для поиска партнеров с целью нейтрализовать Китай. Его вступление в АСЕАН и нормализация отношений с США в 1995 году стали двумя шагами в этом направлении. Однако из-за разногласий внутри АСЕАН и явного нежелания этой организации бросать вызов Китаю крайне маловероятно, чтобы АСЕАН превратилась в антикитайский союз или чтобы она смогла оказать Вьетнаму значительную поддержку в случае конфронтации последнего с Китаем. Большую заинтересованность в сдерживании Китая проявляли США, но в середине 1990-х годов еще не ясно, насколько далеко они намерены зайти в борьбе с претензиями Китая на контроль над Южно-Китайским морем. В конце концов для Вьетнама “самая плохая из худших альтернатив” могла бы состоять в том, чтобы учесть интересы Китая и принять вариант “финляндизации”, что хотя и “задело бы гордость вьетнамцев, но... гарантировало бы выживание”.

В 1990—х годах практически все восточно-азиатские страны, за исключением Китая и Северной Кореи, выразили свою поддержку сохраняющемуся военному присутствию США в регионе. На поверку же, однако, не считая Вьетнама, они проявляли тенденцию учитывать интересы Китая. Филиппины добились закрытия на своей территории крупных [с .377] американских военно-воздушной и военно-морской баз, и на Окинаве усилилась оппозиция сохранению на острове сильной группировки войск США. В 1994 году Таиланд, Малайзия и Индонезия ответили США отказом, когда получили просьбу разрешить в их водах швартовку шести кораблей снабжения в качестве плавучих баз, предназначенных для обеспечения американского военного вмешательства либо в Юго-Восточной, либо в Юго-Западной Азии. Еще одним показательным примером показной почтительности стал Региональный форум АСЕАН, когда его участники на первой встрече согласились с требованиями Китая, чтобы из повестки дня был исключен вопрос об островах Спрэтли, а китайская оккупация рифа Мисчиф у Филиппин в 1995 году не вызвала протеста ни у одной страны-члена АСЕАН. В 1995 -1996 годах, когда Китай угрожал Тайваню как на словах, так и применением военной силы, азиатские правительства вновь ответили глухим молчанием. Об их стремлении встать на сторону сильного сделал ясный вывод Майкл Оксенберг: “Азиатские лидеры тревожатся, что баланс сил может сместиться в пользу Китая, но в тревожном ожидании будущего они не хотят конфликтовать с Пекином сегодня” и “к США в антикитайском крестовом походе они не присоединятся”.

Возвышение Китая станет главным вызовом для Японии, и японцы серьезно разойдутся во мнениях относительно того, какой стратегии необходимо следовать. Нужно ли пытаться подладиться к Китаю, возможно пойдя на какие-то уступки и признав китайское военно-политическое господство в обмен на признание японского главенства в экономической сфере? Следует ли попытаться придать новый смысл американско-японскому соглашению и вдохнуть в него новую жизнь как в основу союза с целью сдержать Китай? Нужно ли стремиться развивать собственную военную мощь для защиты своих интересов от

китайских посягательств? Вероятно, Япония станет, насколько получится, уклоняться от определенного ответа на эти вопросы. [с .378]

Ядром любых сознательных действий, направленных на противодействие Китаю и его сдерживание, должен был бы стать американо-японский военный союз. Понятно, что Япония мало-помалу могла бы согласиться на изменение целей договора. Ее согласие будет зависеть от уверенности в следующем: 1) в способности Америки вообще выступать в качестве единственной мировой сверхдержавы и оставаться активным лидером в мировых делах, 2) выполнении Америкой обязательств сохранять свое присутствие в Азии и активно бороться с усилиями Китая расширить сферу своего влияния и 3) способности Соединенных Штатов и Японии сдерживать Китай, но так, чтобы издержки в ресурсах были невелики, а риск войны — мал.

При отсутствии со стороны США серьезной — что маловероятно — демонстрации решимости и соответствующих обязательств Япония, по всей вероятности, пойдет навстречу Китаю. За исключением периода 1930-х и 1940-х годов, когда Япония проводила одностороннюю политику завоеваний в Восточной Азии, причем последствия этого оказались катастрофическими, страна исторически стремилась к обеспечению своей безопасности, вступая в союзы с тем, кто рассматривался как доминирующая в данный период времени сила. Даже в 1930-х годах, присоединившись к оси Берлин — Рим, Япония вступала в союз с тем, кто представлялся тогда наиболее динамичной военно-идеологической силой в глобальной политике. Ранее в том же веке она вполне осознанно вошла в англо-японский альянс, потому что Великобритания являлась страной-лидером на мировой арене. В 1950-х годах Япония аналогичным образом объединилась с США как с наиболее сильной в мире страной и как с одной из тех стран, которые могли обеспечить Японии безопасность. Как и китайцы, японцы рассматривают международную политику как иерархическую, потому что такова их внутренняя политика. Как высказался один ведущий японский ученый: “Когда японцы думают о месте своей нации в международном сообществе, [с .379] они часто находят аналогии в моделях внутреннего устройства японского общества. У японцев имеется склонность рассматривать международный порядок как внешнее выражение культурных паттернов, которые проявляются внутри японского общества, а для него характерна ведущая роль вертикально организованных структур. На подобное представление о международном порядке наложили отпечаток длительные китайско-японские отношения, оказывавшие влияние на Японию до нового времени (система дань)”.

Таким образом, японская политика в выборе союзников зиждилась “в своей основе на следовании за сильным, а не на противодействии ему” и состояла в “заключении альянса с наиболее влиятельной силой” . Японцы, как соглашался один давно живущий там представитель Запада, “быстрее, чем большинство, подчиняются *force majeure* и действуют заодно с теми, кого считают стоящими фактически выше себя... и еще быстрее обижаются на нападки со стороны фактически слабого, сдающего свои позиции гегемона”. Поскольку влияние США в Азии убывает, а роль Китая становится первостепенной, японская политика будет соответствующим образом изменяться, при-способливаясь к новым реалиям. На самом деле, она уже начала меняться. Ключевым вопросом в китайско-японских отношениях, как заметил Кишор Мабубани, является вопрос: “Кто главный?”. И ответ становится ясен. “Не будет никаких явно выраженных заявлений или договоренностей, но показательно, что в 1992 году, в то время когда Пекин все еще находился в относительной международной изоляции, японский император решил нанести визит в Китай” .

Теоретически японские лидеры и народ несомненно предпочли бы ту политику, которой следовали нескольких минувших десятилетий, то есть предпочли бы оставаться [с .380] под оберегающей дланью США. Однако поскольку влияние США в Азии падает, те силы в Японии, которые настаивают на том, чтобы Япония осознала свою принадлежность к азиатскому миру, рано или поздно обретут вес и японцы все же примут как неизбежность возрожденное господство Китая на восточно-азиатской сцене. Например, в 1994 году в ответ

на вопрос, какая страна будет иметь наибольшее влияние в Азии в двадцать первом веке, 44 процента японской общественности назвали Китай, 30 процентов — США, и только 16 процентов назвали Японию. Япония, как предрек в 1995 году один высокопоставленный японский политик, “дисциплинированно приспособится к возвышению Китая”. А затем предложил подумать над тем же вопросом Соединенным Штатам. Первое заявление звучит весьма правдоподобно; ответ же США до сих пор не получен.

Китайская гегемония уменьшит нестабильность и снизит напряженность в Восточной Азии. Она также сократит здесь влияние США и Запада и вынудит Соединенные Штаты принять факт, который они исторически стремились предотвратить: доминирование в ключевом регионе мира другой державы. Однако степень, в какой эта гегемония угрожает интересам других азиатских стран или США, зависит отчасти от того, что происходит в Китае. Экономический рост порождает военную мощь и политическое влияние, но он также способен стимулировать политический процесс и способствовать движению в направлении более открытой, плюралистической и, возможно, демократической политики. Экономические успехи уже произвели подобный эффект в Южной Корее и на Тайване. Однако в обеих странах политические лидеры, которые наиболее активно стремились провести демократические преобразования, были христианами.

Конфуцианское наследие Китая, в котором особое значение придается власти авторитетов, порядку, иерархии и верховенству коллектива над личностью, создает препятствия для демократизации. Тем не менее, благодаря подъему [с .381] экономики, в Китае все выше становится уровень благосостояния, экономический рост порождает динамичную буржуазию и быстро растущий средний класс, а также приводит к сосредоточению экономической власти вне правительственного контроля. Помимо того, через торговлю, капиталовложения и образование китайский народ оказывается “вовлечен” во внешний мир. Все эти процессы создают социальный базис для движения к политическому плюрализму.

Предпосылкой для политической открытости обычно является приход к власти реформистских элементов внутри авторитарной системы. Случится ли подобное в Китае? Вероятно, при первом преемнике Сяопина этого не будет, но уже при втором вероятность повышается. По всей видимости, новый век станет свидетелем возникновения на юге Китая групп, которые будут ставить перед собой политические цели и которые если не по названию, то фактически окажутся зародышами политических партий. Вероятно, такие группы будут иметь тесные связи с китайцами на Тайване, в Гонконге и Сингапуре и пользоваться их поддержкой. Если в южном Китае появятся подобные движения и если в Пекине власть окажется в руках фракции реформаторов, то в стране, возможно, произойдут политические перемены. Демократизация могла бы вдохновить политиков на националистические лозунги, что повысит вероятность войны, хотя в перспективе стабильная плюралистическая система в Китае, вероятнее всего, смягчит его отношения с другими странами.

Возможно, как и предполагал Фридберг, прошлое Европы есть будущее для Азии. Более вероятно, что прошлое Азии окажется будущим для Азии. Выбор таков: либо баланс сил ценой конфликта, либо мир, залог которого — гегемония одной страны. Западные государства могли выбирать между конфликтом и балансом. История, культура и реалии власти со всей определенностью подводят к предположению, что Азии предстоит сделать выбор в пользу мира [с .382] и гегемонии. Эра, которая началась с приходом Запада в 1840-х и в 1850-х годах, подходит к концу, Китай вновь занимает свое место регионального гегемона, а Восток начинает играть подобающую ему роль.

Цивилизации и стержневые страны: складывающиеся союзы

После “холодной войны” сложился многополюсный, полицивилизационный мир, в котором нет того всеохватного, господствующего во всех сферах раскола, что существовал в

прежние годы. Однако до тех пор, пока продолжают мусульманский демографический рост и азиатский экономический подъем, конфликты между Западом и цивилизациями-претендентами будут иметь в глобальной политике куда более важное значение, чем другие линии раскола. Весьма вероятно, правительства мусульманских стран и дальше будут все менее и менее дружественными Западу, а между исламскими группировками и западными государствами будут происходить стычки — временами, возможно, весьма ожесточенные. Отношения между США, с одной стороны, и Китаем, Японией и другими азиатскими странам будут носить весьма конфликтный характер, и попытка Соединенных Штатов Америки оспорить возвышение Китая как державы-гегемона в Азии может привести к крупномасштабной войне.

В таких условиях взаимосвязь конфуцианского и исламского миров будет, вероятно, расширяться и углубляться. Центральным моментом их взаимодействия являлось сотрудничество мусульманских и синских стран, занимавших противоположные Западу позиции по вопросам распространения вооружений, прав человека и т. д. По своей сути весьма тесными являлись взаимоотношения между Пакистаном, Ираном и Китаем, которые выкристаллизовались в [с .383] начале 1990-х годов после визитов президента Ян Шанькуня в Иран и Пакистан и президента Рафсанджани в Пакистан и Китай. Эти визиты “указали на возникновение зачаточного союза между Пакистаном, Ираном и Китаем”. В Исламабаде, направляясь в Китай, Рафсанджани заявил, что между Ираном и Пакистаном существует “стратегический союз” и что нападение на Пакистан будет рассматриваться как нападение на Иран. Подтверждая этот курс, в октябре 1993 года, сразу после своего вступления в должность премьер-министра, Иран и Китай посетила с визитом Беназир Бхутто. Сотрудничество между тремя странами включало регулярные обмены государственными и военными делегациями, визиты политических деятелей и объединение усилий в гражданской и военной сферах, в том числе и в области оборонных технологий, не говоря уже о поставках Китаем оружия другим странам. Развитие этих взаимоотношений было решительно поддержано в Пакистане теми, кто склонялся во внешней политике к курсу “независимости” и “мусульманства”, теми, кто ожидал возникновения “оси Тегеран — Исламабад — Пекин”, в то время как в Тегеране были убеждены, что “особенный характер современного мира” требует “тесного и последовательного сотрудничества” между Ираном, Китаем, Пакистаном и Казахстаном. К середине 1990-х годов возникло нечто вроде союза де-факто, корни которого уходили в противостояние Западу, озабоченность отношениями с Индией и стремление противостоять турецкому и российскому влиянию в Средней Азии .

Какова вероятность того, что эти три страны станут ядром более широкой группировки, в которую будут вовлечены другие мусульманские и азиатские страны? Неформальный “конфуцианско-исламский альянс”, как утверждал Грэм Фуллер, “мог бы обрести реальность не только потому, что учения Мухаммеда и Конфуция антизападны по сути, но и потому, что эти культуры предлагают средство реализации недовольства, за которое отчасти несет ответственность Запад, — Запад, чье политическое, [с .384] военное, экономическое и культурное господство все в большей мере вызывает озлобленность в мире, где государства чувствуют, что они больше не обязаны с этим мириться”. Наиболее страстный призыв к подобному сотрудничеству выразил Муаммар Каддафи, который в марте 1994 года заявил: “Новый мировой порядок означает, что евреи и христиане контролируют мусульман и, если им не помешать, скоро они будут доминировать над конфуцианством и другими религиями в Индии, Китае и Японии... Вот что теперь утверждают христиане и евреи: «Нам было суждено сокрушить коммунизм, и Запад теперь должен сокрушить ислам и конфуцианство». Ныне мы надеемся стать свидетелями конфронтации между Китаем, который возглавляет конфуцианский лагерь, и Америкой, которая возглавляет лагерь христиан-крестоносцев. У нас нет никаких гарантий, но у нас есть предубеждение против крестоносцев. Мы — заодно с конфуцианством, и, объединившись с ним и сплотившись в единый международный фронт, мы уничтожим нашего общего противника. Итак, мы, как мусульмане, поддержим Китай в его борьбе против нашего общего врага... Мы желаем победы Китаю...” .

Тем не менее бурный энтузиазм, порожденный тесным антизападным союзом конфуцианских и исламских стран, был охлажден китайской стороной, а именно — заявлением в 1995 году президента Цзянь Цземиня о том, что Китай не станет заключать союза с каким-либо государством. Предполагается, что такая позиция отражает классическое китайское мировоззрение, что, будучи Срединной империей, центральной державой, Китай не нуждается в формальных союзниках, и другим странам следовало бы понимать, что в их интересах сотрудничать с Китаем. Конфликты Китая с Западом, впрочем, означают, что он оценит партнерство с другими антизападными государствами, из которых [с .385] исламские — самые влиятельные и наиболее многочисленные. Кроме того, растущие потребности Китая в нефти, по всей вероятности, подталкивают его к расширению отношений с Ираном, Ираком и Саудовской Аравией, а также с Казахстаном и Азербайджаном. Подобная ось “оружие за нефть”, как отметил в 1994 году один специалист-энергетик, “больше не станет воспринимать указания из Лондона, Парижа или Вашингтона”.

Взаимоотношения прочих цивилизаций и их стержневых стран с Западом и с бросившими ему вызов претендентами будут складываться по-разному. У южных цивилизаций, Латинской Америки и Африки, нет стержневых стран, они находятся в зависимости от Запада и относительно слабы как в военном, так и в экономическом отношении (хотя последнее обстоятельство в случае с Латинской Америкой быстро меняется). В своих взаимоотношениях с Западом они, вероятно, двинутся противоположными курсами. В культурном отношении Латинская Америка близка к Западу. В течение 1980-х и 1990-х годов латиноамериканские политические и экономические структуры приобретали все большее сходство с западными. Два государства Латинской Америки, которые некогда стремились к обладанию ядерным оружием, отказались от своих попыток. Имея из всех цивилизаций самые низкие уровни совокупных военных расходов, латиноамериканцы могут испытывать недовольство военным превосходством США, но не выказывают никаких намерений к тому, чтобы оспорить его. Быстрый рост протестантизма во многих латиноамериканских странах придает им большее сходство со смешанными католически-протестантскими странами Запада и одновременно формирует новые религиозные связи Латинская Америка — Запад, выходящие за рамки тех, что проходят через Рим. Наоборот, приток в США мексиканцев, уроженцев стран Центральной Америки и Карибского бассейна и проистекающее отсюда испаноязычное воздействие на американское общество также вызывают культурную конвергенцию. К числу [с .386] принципиальных проблем, вызывающих конфликты между Латинской Америкой и Западом, которым на практике являются США, относятся иммиграция, наркотики и связанный с ними терроризм, и экономическая интеграция (т. е. прием латиноамериканских государств в НАФТА в противовес расширению таких латиноамериканских организаций, как Mercosur или Андский пакт). Судя по тем трудностям, которые возникли при вступлении Мексики в НАФТА, объединение цивилизаций Латинской Америки и Запада будет непростым, вероятно, этот союз будет постепенно обретать свою форму на протяжении большей части двадцать первого века, причем процесс может так никогда и не завершиться. Однако различия между Западом и Латинской Америкой незначительны по сравнению с теми, каковые существуют между Западом и другими цивилизациями. Взаимоотношения Запада с Африкой предполагают лишь немногим более высокий уровень напряженности, в первую очередь потому, что Африка чрезвычайно слаба. Однако нельзя забывать о ряде существенных аспектов. Южная Африка в отличие от Бразилии и Аргентины не отказалась от военной ядерной программы; она лишь уничтожила атомное оружие, которым уже обладала. Это оружие создавало правительство белых, для того чтобы предотвратить атаки извне на апартеид, и оно не пожелало оставить это оружие в наследство правительству черных, которое могло использовать его с иными целями. Тем не менее потенциал для создания атомного оружия уничтожить нельзя, и возможно, постапартеидное правительство сумеет обзавестись новым ядерным арсеналом, с тем чтобы с его помощью обеспечить себе роль

стержневого государства Африки и чтобы удержать Запад от вторжения в Африку. Права человека, иммиграция, экономические проблемы и терроризм также стоят на повестке дня в отношениях между Африкой и Западом. Вопреки стараниям Франции сохранить тесные узы со своими прежними колониями, в Африке, по-видимому, начался долговременный процесс [с .387] девестернизации: значимость и влияние западных стран падают, на первый план вновь выдвигается туземная культура, а Южная Африка на протяжении ряда лет проводит политику подчинения англо-африканерских элементов в своей культуре африканским. В то время как Латинская Америка все больше становится похожей на Запад, Африка становится на него похожей все менее. Однако и Латинская Америка, и Африка остаются в различных сферах зависимы от Запада и не способны, помимо голосования в ООН, решающим образом воздействовать на баланс сил между Западом и его противниками.

Очевидно, что в случае трех “колеблющихся” цивилизаций дело обстоит иначе. Их стержневые страны являются главными действующими лицами мировой политики, и с Западом и с его соперниками у них, по всей вероятности, установятся отношения смешанные, неустойчивые. Отношения этих стран друг с другом также претерпят изменения. Япония, как мы доказали, со временем, мучительно и критически переоценивая ценности, постепенно станет отходить от США, сближаясь с Китаем. Подобно прочим трансцивилизационным союзам периода “холодной войны”, узы в области безопасности, связующие Японию и США, ослабнут, хотя формально, по-видимому, никогда не будут прерваны. Взаимоотношения Японии с Россией останутся сложными, поскольку Россия отказывается идти на компромисс в вопросе Курильских островов, оккупированных ею в 1945 году. В конце “холодной войны” был момент, когда эта проблема могла быть разрешена, но он быстро миновал с подъемом российского национализма, и для США нет никаких причин поддерживать в будущем японские требования, как было прежде.

В последние десятилетия “холодной войны” Китай с успехом разыгрывал против Советского Союза и Соединенных Штатов Америки “китайскую карту”. После окончания “холодной войны” России стоит разыгрывать “российскую карту”. Совместными усилиями Россия и Китай способны [с .388] решающим образом изменить евразийский баланс в ущерб Западу и возродить все те опасения, которые существовали в 1950-х годах относительно китайско-советских отношений. Тесно сотрудничая с Западом, Россия в глобальных вопросах оказалась бы дополнительным противовесом конфуцианско-исламскому альянсу и вновь пробудила бы в Китае страхи времен “холодной войны” перед вторжением с севера. Но у России тоже есть проблемы с обеими соседними цивилизациями. Что касается ее взаимоотношений с Западом, то эти проблемы, по-видимому, носят краткосрочный характер: завершение “холодной войны” потребовало заново определить баланс сил между Россией и Западом, обеим сторонам необходимо также договориться о принципиальном равенстве и разделении сфер влияния. На практике это означало бы, что:

- Россия дает согласие на расширение Европейского Союза и НАТО, с вхождением в них западно-христианских стран Центральной и Восточной Европы, а Запад обязуется не расширять НАТО дальше на восток, если только Украина не расколется на два государства;

- Россия и НАТО заключают между собой договор о партнерстве, в котором будет заявлено о соблюдении принципа ненападения, о проведении регулярных консультаций по проблемам безопасности, о совместных усилиях по предотвращению гонки вооружений и о переговорах по заключению договоренностей об ограничении вооружений, которые отвечали бы требованиям безопасности в эпоху после “холодной войны”;

- Запад соглашается с ролью России как государства, несущего ответственность за поддержание безопасности среди православных стран и в тех районах, где доминирует православие;

- Запад признает существование проблем безопасности, реальных и потенциальных, которые есть у России в отношениях с мусульманскими народами на своих южных рубежах, [с .389] и выражает готовность пересмотреть Договор по обычным вооружениям в Европе,

а также положительно отнестись к другим шагам, на которые России, возможно, потребуется пойти перед лицом подобных угроз;

- Россия и Запад заключают соглашение о паритетном сотрудничестве в разрешении проблем наподобие Боснии, где затрагиваются как западные, так и православные интересы.

Если по этим или подобным вопросам будет достигнуто согласие, то ни Россия, ни Запад, по всей вероятности, не станут представлять друг для друга угрозы в достаточно долгосрочной перспективе. Европа и Россия в демографическом отношении являются зрелыми странами с низким уровнем рождаемости и стареющим населением; у подобных обществ не бывает юношеской энергии для экспансионистской политики.

Сразу после окончания “холодной войны” российско-китайские отношения заметно улучшились. Пограничные споры были улажены; военные группировки по обе стороны границы сокращены; торговля расширялась. Обе страны более не нацеливают друг на друга свои ракеты с ядерными зарядами; министры иностранных дел приступили к изучению общей заинтересованности в борьбе с исламским фундаментализмом. Что более важно, Россия нашла в Китае заинтересованного и солидного покупателя военной техники и технологий, включая танки, истребители, дальние бомбардировщики и ракеты класса “земля — воздух” . С точки зрения России, такое потепление отношений представляло собой осознанное решение сотрудничать с Китаем в качестве “партнера” в Азии, принимая во внимание застойный холодок в отношениях с Японией, а также и реакцию на конфликты с Западом по вопросам расширения НАТО, проведения экономической реформы, контролю над вооружениями, экономической помощи и членства в западных международных организациях. Со своей стороны, Китай получил возможность продемонстрировать Западу, что он [с .390] не одинок в мире и что он может приобрести военный потенциал, необходимый ему для реализации своей региональной стратегии. Для обеих стран российско-китайская связь является, подобно конфуцианско-исламской, средством противодействия мощи и универсализму Запада.

Продлится ли это сотрудничество достаточно долго, во многом зависит от двух факторов. Во-первых, от того, стабилизируются ли отношения России с Западом на взаимовыгодной основе, и, во-вторых, от того, в какой мере стремление Китая к гегемонии в Восточной Азии станет угрожать российским интересам — экономическим, демографическим, военным. Экономический динамизм Китая перекинулся на Сибирь, и китайские бизнесмены, вместе с корейскими и японскими, изучают и используют имеющиеся там возможности. Русские в Сибири видят, что их экономическое будущее в большей степени связано с Восточной Азией, а не с европейской Россией. Большую угрозу для России представляет нелегальная китайская иммиграция в Сибирь, причем в 1995 году китайцев здесь якобы насчитывалось от 3 до 5 миллионов (для сравнения, российских граждан в Восточной Сибири — 7 миллионов человек). “Китайцы, — предупреждал российский министр обороны Павел Грачев, — проводят мирное завоевание российского Дальнего Востока”. Ему вторил высокопоставленный российский чиновник, занимающейся иммиграцией: “Мы должны оказать сопротивление китайскому экспансионизму” . Кроме того, осложнить отношения с Россией может и развитие Китаем экономических отношений с бывшими советскими республиками Средней Азии. Китайская экспансия способна превратиться в военную — если Китай сочтет, что ему следует попытаться вернуть Монголию, которую русские отделили от Китая после Первой Мировой войны и которая эти десятилетия была советским сателлитом. В какой-то момент “желтые орды”, которые пугали воображение русских со времен монгольского нашествия, могут вновь обернуться реальностью. [с .391]

На отношения России с исламом наложило свой отпечаток ее историческое наследие — несколько веков экспансии и войны с турками, народами Северного Кавказа и эмиратами Средней Азии. Ныне Россия сотрудничает со своими православными союзниками, Сербией и Грецией, стремясь противостоять турецкому влиянию на Балканах, и с еще одним православным союзником, Арменией, чтобы ограничить влияние Турции в Закавказье.

Россия активно пыталась сохранять свое политическое, экономическое и военное влияние в среднеазиатских республиках, убедила их войти в Содружество Независимых Государств, развернула в каждой из них свои войска. Наибольший интерес для России представляют запасы нефти и газа в Каспийском море и маршруты, по которым эти природные ресурсы будут поступать на Запад и в Восточную Азию. Россия также вела войну на Северном Кавказе против мусульманского народа Чечни и вторую войну в Таджикистане, где она поддерживала правительство против повстанцев, в числе которых действуют исламские фундаменталисты. Эти проблемы безопасности служат еще одним стимулом для сотрудничества с Китаем в сдерживании “исламской угрозы” в Средней Азии, они же являются главным мотивом для сближения России с Ираном. Россия продала Ирану подводные лодки, новейший самолет-истребитель, истребители-бомбардировщики, ракеты класса “земля — воздух”, разведывательное и электронное военное оборудование. Помимо этого, Россия согласилась построить в Иране атомные реакторы на легкой воде и поставить Ирану установку для обогащения урана. Взамен Россия недвусмысленно ожидает, что Иран будет сдерживать распространение фундаментализма в Центральной Азии и станет косвенным образом помогать в противодействии распространению там же и на Кавказе влияния Турции. В ближайшие десятилетия взаимоотношения России с исламом будут формироваться главным образом под влиянием того, как она воспримет угрозы, исходящие от быстрого роста мусульманского населения на ее южных окраинах. [с .392]

Во время “холодной войны” Индия, третье “колеблющееся” стержневое государство, выступала союзником Советского Союза и вела одну войну с Китаем и несколько — с Пакистаном. Ее взаимоотношения с Западом, особенно с США, оставались холодными. В мире, сформировавшемся после “холодной войны”, отношения Индии с Пакистаном, по всей вероятности, останутся крайне конфликтными — из-за Кашмира, ядерного оружия и общего военного соотношения на полуострове Индостан. До тех пор пока Пакистан способен обеспечивать себе поддержку других мусульманских стран, взаимоотношения Индии с исламом будут сложными. Чтобы противостоять Пакистану, Индия, вероятно, предпримет усилия — как уже происходило в прошлом, — чтобы убедить отдельные мусульманские страны дистанцироваться от Пакистана. С окончанием “холодной войны” попытки Китая установить более дружественные отношения с соседями распространились на Индию, и напряженность между двумя странами ослабла. Однако маловероятно, что эта тенденция сохранится. Китай активно участвует в южно-азиатской политике и, по всей видимости, будет и дальше проводить этот курс: поддерживать тесные отношения с Пакистаном, укреплять пакистанский военный потенциал, как ядерный, так и обычный, обхаживать Мьянму, оказывая ей экономическую помощь и военное содействие и поддерживая инвестициями, а одновременно обзаводясь там военно-морскими базами. В настоящее время китайская мощь нарастает; мощь Индии может существенно возрасти в начале двадцать первого века. Вероятность конфликта представляется высокой. “Скрытое соперничество между двумя азиатскими гигантами и их представление о самих себе как о естественных великих державах и центрах цивилизации и культуры, — отмечал один аналитик, — будут и дальше подталкивать их к тому, чтобы придерживаться различных курсов. Индия будет стремиться стать не только независимым средоточием силы в многополюсном мире, но и противовесом китайскому могуществу и влиянию”. [с .393]

Очевидно, что при противостоянии если и не широкому конфуцианско-исламскому альянсу, то, по меньшей мере, союзу Китай — Пакистан, в интересах Индии сохранять ее тесные взаимоотношения с Россией и оставаться основным покупателем российской военной техники. В середине 1990-х годов Индия закупала у России почти все основные виды вооружений, включая авианосец и криогенную ракетную технологию, что повлекло за собой санкции со стороны США. Помимо распространения вооружений, между Индией и США существуют и другие спорные проблемы, среди которых — соблюдение прав человека, Кашмир и либерализация экономики. Со временем, однако, охлаждение американо-пакистанских отношений и общая заинтересованность в сдерживании Китая,

весьма вероятно, сблизят Индию и США. Распространение индийской мощи на Южную Азию не может повредить американским интересам, но могло бы послужить им.

Взаимоотношения между цивилизациями и их стержневыми государствами являются сложными, нередко двойственными и подвержены изменениям. Формируя свои взаимоотношения со странами, принадлежащими другой цивилизации, большинство государств, как правило, следуют примеру стержневой страны своей цивилизации. Но так будет не всегда, и, разумеется, не у всех стран одной цивилизации сложатся идентичные отношения со всеми странами другой цивилизации. Общие интересы, обычно наличие общего врага в третьей цивилизации, могут рождать сотрудничество между странами, принадлежащими к разным цивилизациям. Понятно, что в рамках одной цивилизации, особенно внутри исламской, также случаются и конфликты. Кроме того, взаимоотношения между группами, располагающимися у линий разлома, могут существенно отличаться от отношений между стержневыми государствами тех же цивилизаций. Тем не менее общие тенденции вполне очевидны, и можно сделать достаточно правдоподобные предположения о том, какие [с.394] складываются союзы между цивилизациями и стержневыми странами и какие между ними возникают антагонизмы. Выводы см. на рис. 9.1. Относительно простая двухполюсная картина “холодной войны” уступает место намного более сложным отношениям в многополюсном, полицивилизационном мире. [с.395]

Примечания

* Следует заметить, что, по крайней мере в США, существует терминологическая путаница относительно межгосударственных отношений. “Хорошими” считаются отношения сотрудничества, дружественные; “плохие” отношения — враждебные, антагонистические. Подобное употребление терминов соединяет в себе два в высшей степени различных аспекта: дружественные отношения против враждебных и желательность их или нежелательность. Это обстоятельство отражает исключительно американское допущение, что гармония международных отношениях — всегда хорошо, а конфликт — всегда плохо. Отождествление хороших отношений с дружественными, однако, обосновано только в том случае, если конфликт не является желательным. Большинство американцев полагает “хорошим”, что администрация Буша превратила отношения США с Ираком в “плохие”, вступив в войну за Кувейт. Чтобы избежать путаницы, означает ли слово “хорошие” желательные или гармоничные отношения, а слово “плохие” — нежелательные или враждебные, я буду употреблять “хорошие” и “плохие” исключительно в смысле желательных и нежелательных. Примечательно, хотя это и озадачивает, что американцы приветствуют в американском обществе конкуренцию мнений, групп, партий, ветвей государственной власти, фирм. Почему американцы убеждены, что конфликт в их собственной стране — хорошо, и тем не менее считают, что плохо, если конфликт имеет место между странами? Вот интереснейший вопрос, который, насколько мне известно, всерьез никто не изучал.

Глава 10. От войн переходного периода к войнам по линии разлома

Войны переходного периода: Афганистан и Персидский залив

“ *La premiere guerre civilisationnelle* ” — так известный марокканский ученый Махди Эльманджра назвал шедшую в Персидском заливе войну. На самом деле она была второй. Первая — это советско-афганская война 1979-1989 годов. Обе войны начались с непосредственного вторжения одной страны в другую, но трансформировались в войны цивилизаций и именно в таком качестве получили новое определение. В сущности, они

представляли собой войны переходного периода — периода перехода к эпохе, когда будут преобладать этнические конфликты и войны по линиям разлома между группами из различных цивилизаций.

Афганская война начиналась как попытка Советского Союза поддержать режим-сателлит. Она превратилась в войну эпохи “холодной войны”, когда последовал решительный ответ США, которые организовали, субсидировали и вооружили афганских мятежников, оказывавших сопротивление советским войскам. Для американцев в поражении Советов нашла подтверждение доктрина Рейгана о поощрении вооруженного сопротивления коммунистическим режимам, и США ощутили уверенность от унижения Советов, сравнимого с тем, какое американцы испытали во [с.396] Вьетнаме. Последствия этого поражения сказались на всем советском обществе и на его политическом истеблишменте и сыграли значительную роль в дезинтеграции Советской империи. Для американцев и для людей Запада вообще Афганистан был окончательной, решающей победой в “холодной войне”, ее своеобразным Ватерлоо. Однако для тех, кто сражался с Советами, афганская война была не просто Ватерлоо. Как отметил один западный ученый, эта война показала “первый пример успешного сопротивления иностранной державе, основанного ни на националистических, ни на социалистических принципах, но на исламских принципах; сопротивления, представлявшего собой джихад и придавшего уверенности исламу. Воздействие афганской войны на исламский мир оказалось сравнимо с тем влиянием, которое оказало на восточный мир поражение, нанесенное японцами России в 1905 году. То, что Запад полагал победой свободного мира, мусульмане рассматривали как победу ислама.

Без американских долларов и ракет не было бы поражения Советов, однако другим решающим фактором оказалась объединенная борьба ислама, когда целый ряд правительств и различных групп соперничали друг с другом, стремясь одержать победу, которая послужила бы их интересам. Со стороны мусульман финансовую поддержку войны осуществляла главным образом Саудовская Аравия. В период между 1984-м и 1986 годами саудовцы выделили для движения сопротивления 525 млн. долларов США; в 1989 году они согласились восполнить 61% от 715 млн. долларов, или 436 млн. долларов, с тем, чтобы оставшуюся часть суммы дали США. В 1993 году они предоставили афганскому правительству 193 млн. долларов. Общая сумма средств, которые они выделили в ходе войны, превышала 3 млрд. долларов, а возможно, была даже больше. Для сравнения: США потратили на эти цели 3,3 млрд. долларов. Во время войны в боевых действиях участвовало около 25000 добровольцев из других исламских стран, главным [с.397] образом арабских. Добровольцы были набраны большей частью в Иордании и обучены пакистанским Объединенным управлением военной разведки. Пакистан также выступал в качестве зарубежной базы для сопротивления и обеспечивал материально-техническую и прочую поддержку. Кроме того, Пакистан был доверенным посредником и каналом для поступления американских денег и целенаправленно переводил 75 процентов денежного потока наиболее фундаменталистским исламистским группировкам, причем 50 процентов из этих средств получила самая экстремистская суннитская фундаменталистская фракция, возглавляемая Гульбеддином Хекматияром. Арабы хотя и участвовали в борьбе с Советами, но были настроены крайне антизападно и осуждали оказывающие гуманитарную помощь западные организации, клеймя их за безнравственность и подрыв ислама. В конце концов, Советы потерпели поражение из-за совокупности трех факторов, которым не сумели противостоять: американская технология, саудовские деньги и мусульманский фанатизм.

После войны сложилась неустойчивая коалиция исламистских организаций, преисполненных решимости бороться за распространение ислама против всех немусульманских сил. В наследство от войны также достались хорошо обученные и опытные бойцы, тренировочные лагеря и полигоны, служба тылового обеспечения, разветвленные транслисламские сети личных и организационных отношений, большое количество военного снаряжения, в том числе от 300 до 500 ракет к установкам “Стингер”, и, что наиболее важно, опьяняющее чувство силы и уверенности в себе, гордость от совершенных деяний и горячее

стремление к новым победам. “Верительные грамоты джихада, религиозные и политические” афганских добровольцев, как сказал в 1994 году один американский чиновник, “поистине безупречны. Они нанесли поражение одной из двух мировых сверхдержав, и теперь у них на очереди вторая” .

Афганская война превратилась в войну цивилизаций потому, что мусульмане во всем мире считали ее таковой и [с .398] сплотились в борьбе против Советского Союза. Война в Персидском заливе превратилась в войну цивилизаций потому, что Запад осуществил военное вмешательство в мусульманский конфликт, представители Запада в подавляющем большинстве поддержали это вмешательство, а мусульмане во всем мире восприняли интервенцию как войну против ислама и выступили единым фронтом против западного империализма.

Первоначально арабские и мусульманские правительства не занимали единой позиции в отношении войны. Саддам Хусейн нарушил неприкосновенность границ, и в августе 1990 года Лига арабских государств подавляющим большинством голосов (четырнадцать “за”, два “против” и пять воздержались либо не голосовали) осудила действия Ирака. Для участия в военных действиях организованной США антииракской коалиции Египет и Сирия согласились предоставить значительные по численности контингента, к их решению присоединились Пакистан, Марокко и Бангладеш, правда, численность их контингентов была существенно меньше. Турция перекрыла проходящий по ее территории трубопровод из Ирака к Средиземному морю и дала разрешение коалиции использовать свои авиабазы. Взамен она с новой энергией стала обосновывать свои претензии на вхождение в Европу; Пакистан и Марокко вновь подтвердили тесное сотрудничество с Саудовской Аравией; Египет добился аннулирования долга; а Сирия получила Ливан. В отличие от этих стран, правительства Ирана, Иордании, Ливии, Мавритании, Йемена, Судана и Туниса, а также такие организации, как ООП, “Хамас”, Фронт исламского спасения, несмотря на ту финансовую поддержку, которую многим из них оказывает Саудовская Аравия, поддержали Ирак и осудили западное вторжение. Правительства других мусульманских стран, как, например, индонезийское, заняли компромиссные позиции или попытались отмолчаться.

В то время как в решениях мусульманских правительств на первых порах обнаружилось разногласия, мнение арабов [с .399] и мусульман с самого начала было в подавляющем большинстве антизападным. “Арабский мир, — сообщил в своем репортаже один американский обозреватель после посещения Йемена, Сирии, Египта, Иордании и Саудовской Аравии три недели спустя после оккупации Кувейта, —... бурлит от возмущения действиями США. Он едва сдерживает свое ликование от того, что появился арабский лидер, настолько смелый, чтобы бросить вызов величайшей державе на земле” . Миллионы мусульман от Марокко до Китая поддержали Саддама Хусейна и “провозгласили его мусульманским героем” . Парадокс демократии выразился в “великом парадоксе этого конфликта”: поддержка Саддама Хусейна оказалась наиболее “горячей и широкой” в тех арабских странах, где проводилась открытая политика и где свобода выражений была наименее ограничена . В Марокко, Пакистане, Иордании, Индонезии и других странах массовые демонстрации осуждали Запад и таких политических лидеров, как король Хассан, Бе-назир Бхутто и Сухарто — их называли лакеями Запада. Оппозиция коалиции обнаружила себя даже в Сирии, где “граждане самых разных убеждений выступили против присутствия иностранных войск в Персидском заливе”. Семьдесят пять процентов из 100 миллионов мусульман Индии возлагали на США вину за войну, и 171 миллион мусульман Индонезии “почти единодушно” был против военной акции США в Персидском заливе. В том же духе и арабские интеллектуалы выразили свою поддержку Саддаму и сформулировали замысловатые логические обоснования для того, чтобы можно было сквозь пальцы смотреть на зверство Саддама и осудить западную интервенцию .

Арабы и другие мусульмане, как правило, соглашались с тем, что Саддам Хусейн — кровавый тиран, но, проводя параллель с выражением Франклина Делано Рузвельта, “он — наш кровавый тиран”. С их точки зрения, агрессия Ирака против Кувейта была семейным

делом, которое следует уладить в родственном кругу, а те, кто вмешивается в [с .400] него, прикрываясь некоей теорией международной справедливости, поступают так, чтобы защитить собственные эгоистические интересы и сохранить зависимость арабов от Запада. Арабские интеллектуалы, как сообщается в одной монографии, “презирают иракский режим и сожалеют о проявленной им жестокости, но относятся к нему с уважением за то, что он превратился в центр сопротивления главному врагу арабского мира — Западу”. Они “характеризуют арабский мир как противоположность Западу”. “То, что совершил Саддам, плохо, — сказал один палестинский профессор, — но мы не можем вменить в вину Ираку то, что он противостоит военному вмешательству Запада”. Мусульмане на Западе и во всем мире осуждают присутствие немусульманских войск в Саудовской Аравии и проистекающее из этого “осквернение” мусульманских святынь. Господствующее мнение таково: совершив агрессию, Саддам поступил плохо, а Запад поступил еще хуже, начав интервенцию, поэтому Саддам прав, что борется с Западом, и мы правы, поддерживая его. Точно так же, как и основные участники других войн, происходящих по линиям разломов, Саддам Хусейн отождествил свой прежде безусловно светский режим с идеей, которая имеет самое широкое распространение, — с исламом. Учитывая U-образное распределение идентичностей в мусульманском мире, другой реальной альтернативы у Саддама не было. То, что выбор пал на ислам, а не на арабский национализм или на неопределенное антизападничество “третьего мира”, по наблюдению одного египетского комментатора, “является свидетельством ценности ислама как политической идеологии, способной мобилизовать широкие массы”. Хотя Саудовская Аравия является куда бо-лее строгим ревнителем всего мусульманского в повседневной жизни и в общественных институтах, чем большинство мусульманских стран, за исключением, возможно, Ирана и Судана, и хотя она финансирует исламские организации во всем мире, ни одно исламское движение ни в одной стране [с .401] не поддержало западную коалицию против Ирака, и, по существу, все они выступили против вмешательства Запада.

Для мусульман война, таким образом, в скором времени превратилась в войну между цивилизациями, в которой на кону оказалась святость ислама. Группы исламских фундаменталистов из Египта, Сирии, Иордании, Пакистана, Малайзии, Афганистана, Судана и других стран осудили ее как войну, которая направлена против “ислама и его цивилизации” и которую ведет альянс “крестоносцев и сионистов”, и провозгласили свою поддержку Ираку перед лицом “военной и экономической агрессии против его народа”. Осенью 1990 года Сафар аль-Хавали, декан Исламского колледжа в Мекке, заявил, что это не “война мира против Ирака. Это война Запада против ислама”; магнитофонная пленка с его заявлением имела широкое хождение в Саудовской Аравии. В сходных выражениях король Иордании Хусейн утверждал, что это “война против всех арабов и против всех мусульман, а не против одного Ирака”. Кроме того, как подчеркивала Фатима Мернисси, частые высокопарные обращения президента Буша к Богу от имени США только утвердили арабов во мнении, что это “религиозная война”; к тому же, замечания Буша о “расчетливых, корыстных нападениях доисламских орд седьмого века и о более поздних крестовых походах христиан” пахивали расизмом. В свою очередь, доводы в подтверждение того, что эта война — крестовый поход, инспирированный заговором Запада и сионистов, служили оправданием для объявления в ответ джихада.

Отношение мусульман к этой войне как к войне Запада против ислама способствовало ослаблению или временному прекращению конфликтов внутри мусульманского мира. Прежние разногласия между мусульманами утратили свою значимость рядом с важнейшим спором между исламом и Западом. В ходе войны мусульманские правительства и группировки последовательно дистанцировались от Запада. Подобно своей афганской предшественнице, война в [с .402] Персидском заливе примирила мусульман, которые раньше подчас готовы были вцепиться друг другу в глотку: арабских антиклерикалов, националистов и фундаменталистов; иорданское правительство и палестинцев; ООП и “Хамас”; Иран и Ирак; оппозиционные партии и правительства вообще. “Эти баасисты в

Ираке, — обронил Сафар аль-Хавали, — наши враги всего на несколько часов, а Рим — наш враг до дня Страшного суда” . Эта война также положила начало процессу примирения между Ираком и Ираном. Иранские шиитские лидеры осудили интервенцию Запада и призвали к джихаду. Иранское правительство дистанцировалось от мер, направленных против его бывшего врага, и после войны отношения между двумя режимами постепенно стали улучшаться.

Внешний враг также ослабляет конфликт и внутри страны. Как сообщалось, в январе 1991 года, например, Пакистан “охватила антизападная полемика”, которая примирила, пусть и ненадолго, страну. “Пакистан никогда не был настолько един. В южной провинции Синд, где коренные синдхи и иммигранты из Индии убивали друг друга на протяжении пяти лет, люди, стоявшие по разные стороны конфликта, рука об руку участвовали в демонстрациях против американцев. В ультраконсервативных племенных районах Северо-Западной Пограничной провинции даже женщины в знак протеста вышли на улицы, причем часто подобное происходило в местах, где люди никогда не собирались вместе для чего бы то ни было, разве только на пятничную молитву” .

По мере того как общественное мнение все в большей степени склонялось к неприятию войны, правительства, которые вначале присоединились к коалиции, либо, сменив курс, шли на попятную, либо погружались в разногласия, либо измышляли сложные объяснения своим действиям. Лидеры, которые, подобно Хафезу Асаду, выделили для коалиции войска, теперь утверждали, что их солдаты — противовес западной армии и со временем сменят последнюю [с .403] в Саудовской Аравии и что эти контингенты в любой случае имели задачей только оборону святых мест. В Турции и Пакистане высшие военные лидеры публично денонсировали договоренности правительств об участии в коалиции. Египетское и сирийское правительства, которые выделили большую часть войск, в достаточной мере контролировали обстановку внутри своих стран и имели достаточно средств для подавления оппозиции, а потому могли пренебречь антизападными выступлениями. Правительства в других, несколько более открытых мусульманских странах под нажимом общественности вынужденно отошли от Запада и выбрали курс, который мало-помалу становился антизападным. В Магрибе “всплеск поддержки Ирака” был “одной из самых больших неожиданностей войны”. Общественное мнение в Тунисе носило решительно антизападный характер, и президент Бен-Али поспешил осудить западное вторжение. Правительство Марокко первоначально заявило о выделении коалиции воинского контингента в 1500 человек, но потом, когда активизировались антизападные группировки, также поддержало Ирак. В Алжире проиракская демонстрация численностью в 400.000 человек вынудила президента Бенджедид, который вначале склонялся на сторону Запада, изменить свою позицию, осудить Запад и заявить, что “Алжир встанет на сторону братского Ирака” . В августе 1990 года три правительства стран Магриба проголосовали в Лиге арабских государств за осуждение Ирака. Осенью, откликаясь на широкие народные выступления, они проголосовали за предложение осудить американское вторжение.

Военные усилия Запада также получили незначительную поддержку со стороны народов, принадлежащих к цивилизациям не-западным, не-мусульманским. Согласно анкетному опросу населения в январе 1991 года 53% японцев выступали против войны, а 25% поддерживали ее. Индусы разделились поровну: одна половина винила Саддама Хусейна, другая половина возлагала на Джорджа Буша [с .404] ответственность за войну, которая, как предостерегала газета The Times of India, способна привести к “куда более широкой конфронтации между сильным и бесцеремонным иудео-христианским миром и слабым мусульманским миром, охваченным религиозным пылом”. Война в Персидском заливе, таким образом, началась как война между Ираком и Кувейтом, затем превратилась в войну между Ираком и Западом, а потом — в войну между исламом и Западом, и в конце концов многие из тех, кто не принадлежал к западной цивилизации, стали рассматривать ее как войну Востока против Запада, “войну белого человека, новую вспышку старомодного империализма” .

Кроме кувейтцев, никакой другой исламский народ не выказывал энтузиазма в отношении войны, и в подавляющем большинстве они выступали против вмешательства Запада. Когда война завершилась, парады победы состоялись только в Лондоне и Вашингтоне — больше нигде. “Завершение войны, — отмечал Сохайль Х. Хашми, — не дало арабам никаких поводов для ликования”. Вместо победных настроений царил атмосфера глубокого разочарования, смятения, унижения и возмущения. Опять победил Запад. Еще раз последний Саладдин, возродивший было надежды арабов, потерпел поражение, пал под натиском мощи Запада, который грубо и бесцеремонно вмешался в дела исламского сообщества. “Что худшего могло случиться с арабами, чем произошедшая война, — задавалась вопросом Фатима Мерниси, — когда Запад, во всеоружии своей техники, сбрасывал бомбы на наши головы? Это был просто ужас” .

После окончания войны за пределами Кувейта арабское общественное мнение по отношению к военному присутствию США в Персидском заливе все в большей степени становилось критическим. После освобождения Кувейта не осталось каких бы то ни было оснований для противостояния Саддаму Хусейну и почти не осталось причин для продолжительного военного присутствия США в районе [с .405] Персидского залива. С этого времени даже в таких странах, как Египет, общественное мнение все с большим и большим сочувствием относится к Ираку. Правительства арабских стран, которые входили в антииракскую коалицию, изменили свою позицию . В августе 1992 года Египет и Сирия, а также другие государства воспротивились введению запретной для полетов авиации зоны на юге Ирака. Арабские правительства плюс Турция возражали также против авиационных ударов по Ираку в январе 1993 года. Если авиационную мощь Запада оказалось возможно использовать в качестве ответной меры на нападения мусульман-суннитов на мусульман-шиитов и на курдов, то почему ее нельзя применить против православных сербов — в ответ на нападения на боснийских мусульман? В июне 1993 года, когда президент Клинтон отдал приказ о бомбардировке Багдада, объявив ее возмездием за попытку иракцев убить бывшего президента Буша, реакция мирового сообщества прошла строго по цивилизационным линиям. Израильское и западноевропейские правительства решительно выступили в поддержку рейда; Россия восприняла его как “оправданную” меру самозащиты; Китай выразил “глубокую озабоченность”; Саудовская Аравия и эмираты Персидского залива промолчали; другие мусульманские правительства, включая и египетское, осудили эту акцию как еще один пример западной политики двойных стандартов, а Иран охарактеризовал ее как “возмутительный факт агрессии”, вызванной американским “неоэкспансионизмом и эгоизмом” . Неоднократно поднимался вопрос, почему США и “международное сообщество” (под которым подразумевался, естественно, Запад) не реагировали таким же образом на вызывающее поведение Израиля и вопиющие нарушения им резолюций ООН?

Война в Персидском заливе была первой после “холодной войны” войной за ресурсы между цивилизациями. Решался вопрос: будет ли большая часть крупнейших в мире нефтяных запасов контролироваться саудитами и [с .406] правительствами эмиратов, чья безопасность зависит от западной военной мощи, или независимыми антизападными режимами, которые в состоянии воспользоваться “нефтяным оружием” против Запада? Запад потерпел неудачу в свержении Саддама Хусейна, но добился определенного успеха, продемонстрировав зависимость безопасности государств Персидского залива от себя и увеличив свое военное присутствие в районе Персидского залива. До войны за влияние в этом регионе соперничали Иран, Ирак, Совет стран Персидского залива и США. После войны Персидский залив превратился в “американское озеро”.

Особенности войн по линиям разлома

Во все эпохи и во всех цивилизациях самыми распространенными были войны между кланами, племенами, этническими группами, религиозными общинами и народами; причины

таких войн коренятся в несхожести людей между собой. Обычно эти столкновения носят локальный характер, то есть не затрагивают более широкие идеологические или политические вопросы или непосредственные интересы не участвующих в конфликте сторон, хотя и могут вызывать гуманитарные проблемы у стоящих в стороне от конфликта групп. Для них также свойственны жесточенность и кро-вопролитность, поскольку на кону — фундаментальные вопросы идентичности. Вдобавок все подобные конфликты продолжительны; их могут приостановить перемирия или соглашения, но последние обычно нарушаются? и конфликт возобновляется. С другой стороны, решающая военная победа одного из участников гражданской войны увеличивает вероятность геноцида. Конфликты по линиям разлома — национально-религиозные, или межобщинные, конфликты между государствами или группами государств, принадлежащими к различным [с .407] цивилизациям. Войны по линиям разлома — конфликты, которые переросли в насильственные действия. Подобные войны могут происходить между государствами, между неправительственными группировками и между государствами и неправительственными группами. В конфликты по линиям разлома в пределах одной страны могут быть вовлечены группы, которые расположены в географически удаленных районах; в этом случае группировка, которая не контролирует правительство, обычно сражается за независимость и на что-то меньшее либо готова согласиться, либо нет. В конфликты по линиям разлома в пределах одной страны могут также быть втянуты и группы, которые географически перемешаны. В этом случае постоянная напряженность отношений время от времени взрывается насилием, как то происходит с индусами и мусульманами в Индии и с мусульманами и китайцами в Малайзии; возможна и полномасштабная война — в особенности когда возникают новые государства и устанавливаются их границы, — и тогда народы разделяют насильно, прибегая к крайней жестокости.

Иногда конфликты по линиям разломов представляют собой борьбу за контроль над народом. Гораздо чаще борьба идет за обладание территорией. Целью по меньшей мере одного из участников конфликта является завоевание территории и освобождение ее от другого народа путем изгнания или физического уничтожения, или и того и другого вместе, что представляет собой “этническую чистку”. Такие конфликты обычно принимают самые отвратительные формы, и обе стороны оказываются причастны к массовым убийствам, террору и пыткам. Являющаяся объектом спора территория часто рассматривается одной или обеими сторонами как крайне важный символ их истории и идентичности, как некая священная земля, на которую они имеют незыблемое право: Западный берег реки Иордан, Кашмир, Нагорный Карабах, долина Дрины, Косово.

Как правило, войнам по линиям разломов присущи некоторые, но не все черты особенности национально-религиозных [с .408] войн. Они являются затянувшимися конфликтами. Когда такие войны происходят внутри государств, то длятся они в среднем в шесть раз дольше, чем войны между государствами. Затрагивая существенные вопросы групповой идентичности и власти, они с большим трудом поддаются разрешению посредством переговоров и компромиссов. Если соглашение достигнуто, часто случается так, что его подписывают не все группы с обеих сторон конфликта, и обычно этому соглашению следуют недолго. Войны по линиям разломов являются войнами переменного характера: они могут взорваться акциями массового насилия и затем угаснуть до вялотекущих боевых действий или вылиться в угрюмую враждебность только для того, чтобы полыхнуть вновь. Костры общинной идентичности и ненависти редко затухают полностью, если не считать случаев геноцида. Так как войны по линиям разломов, подобно другим межобщинным войнам, имеют затянувшийся характер, следствием этого обычно является большое число погибших и беженцев. К оценкам численности тех и других следует подходить с осторожностью, но признанные цифры для погибших в идущих в настоящее время войнах по линиям разломов в начале 1990-х годов таковы: 50.000 чел. на Филиппинах, 50.000-100.000 чел. на Шри-Ланке, 20.000 чел. в Кашмире, 500.000-1,5 млн. чел. в Судане, 100.000 чел. в Таджикистане, 50.000 чел. в Хорватии, 50.000-200.000 чел. в Боснии,

30.000-50.000 чел. в Чечне, 100.000 чел. в Тибете, 200.000 чел. в Восточном Тиморе . Численность беженцев в результате всех этих конфликтов в действительности намного больше.

Многие из современных войн представляют собой последний по времени раунд затянувшейся истории кровавых конфликтов, и насилие конца двадцатого века постоянно не дает положить им конец. Вооруженная борьба в Судане, например, вспыхнула в 1956 году, продолжалась до 1972 года, когда заключенное соглашение предоставило Южному Судану некоторую автономию, но в 1983 году [с .409] война разразилась вновь. Тамильское сопротивление на Шри-Ланке началось в 1983 году; мирные переговоры, призванные прекратить насилие, провалились в 1991 году, но были возобновлены в 1994 году, и в январе 1995 года было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако четыре месяца спустя повстанцы-“тигры” нарушили перемирие и отказались от переговоров о мире, и война приняла еще более ожесточенный характер. Восстание мусульман-моро на Филиппинах вспыхнуло в начале 1970-х годов и пошло на убыль в 1976 году после заключенного соглашения, которое дало некоторое самоуправление отдельным районам на острове Минданао. К 1993 году, однако, вспышки насилия повторялись все чаще и приобретали все больший размах, по мере того как от восставших откалывались различные группы диссидентов, отвергавших усилия по заключению мира. В июле 1995 года российские и чеченские лидеры пришли к соглашению о демилитаризации, призванному положить конец насилию, которое вспыхнуло в декабре предыдущего года. Война ненадолго затихла, но затем возобновилась: чеченцы стали нападать на отдельных российских и пророссийски настроенных лидеров, русские предприняли ответные действия, в январе 1996 года произошел чеченский набег на Дагестан, а затем началось массированное российское наступление.

В то время как войны вдоль линий разлома сходны с другими рационально-религиозными войнами по затянувшемуся характеру, высокому уровню насилия и идеологической двойственности, отличаются они в двух аспектах. Во-первых, в межобщинных войнах могут участвовать этнические, религиозные, расовые или языковые группы. Однако поскольку религия является основным определяющим признаком цивилизации, войны вдоль линий разломов почти всегда происходят между людьми, принадлежащими к различным цивилизациям. Некоторые аналитики преуменьшают важность этого фактора. Они обращают внимание, к примеру, на общую этническую принадлежность и [с .410] язык, на прошлое мирное сосуществование и широкую распространенность браков между сербами и мусульманами в Боснии и отбрасывают в сторону религиозный фактор, ссылаясь на фрейдовский “нарциссизм маленьких отличий” . Но в основе подобного суждения лежит мирская близорукость. Тысячелетия человеческой истории доказывают, что религия — не “маленькое отличие”, а, возможно, глубочайшее различие, какое только существует между людьми. Повторяемость, масштабы и ожесточенность войн вдоль линий разломов значительно увеличиваются верой в разных богов.

Во— вторых, прочие межобщинные войны имеют локальный характер, и, следовательно, вероятность их разрастания и вовлечения в конфликт дополнительных участников относительно мала. В войнах же, происходящих по линиям разломов, наоборот, по определению участвуют группы, которые представляют собой часть более крупных культурных сущностей. В обычном межобщинном конфликте группа А ведет борьбу с группой В, а у групп С, D и E нет никаких причин для участия в нем, если только А или В не посягнут непосредственно на интересы С, D или E. В войнах вдоль линий разломов, наоборот, группа А-1 борется с группой В-1, и каждая старается расширить войну и добиться поддержки от цивилизационно родственных групп -А-2, А-3, А-4 и В-2, В-3 и В-4, и эти группы будут отождествлять себя со своими борющимися родичами. Развитие транспортного сообщения и средств коммуникации способствовало установлению этих взаимосвязей и, следовательно, “интернационализации” конфликтов вдоль линий разломов.

Благодаря процессам миграции возникли диаспоры в третьих цивилизациях. Благодаря средствам связи борющимся партиям стало проще обращаться с просьбами о помощи, а родственные им группы могут теперь сразу же узнавать о судьбе этих партий. Таким образом, “общее уплотнение” мира позволяет родственным группам обеспечивать борющимся партиям моральную, [с .411] дипломатическую, финансовую и материальную поддержку — и намного труднее стало этого не делать. Для предоставления подобной помощи развиваются международные сети, и эта помощь намного продлевает конфликт. По меткому выражению Г.Д.С. Гринуэя, основным признаком войн, идущих по линиям разломов, является “синдром родственных стран” . Более того, даже малые проявления насилия между людьми, принадлежащими к различным цивилизациям, как правило, дают такие результаты и имеют такие далеко идущие последствия, каких не бывает в случаях внутрицивилизационного насилия. Когда в феврале 1995 года в Карачи террористы-сунниты расстреляли молившихся в мечети шиитов, они нарушили закон и создали проблему для Пакистана. Когда ровно год спустя еврейский поселенец убил двадцать девять мусульман, молившихся в Пещере патриархов в Хевроне, он сорвал переговорный процесс на Ближнем Востоке и создал проблему для всего мира.

Сфера распространения: кровавые границы ислама

Межобщинные конфликты и войны по линиям разломов являются предметом изучения истории; последняя насчитывает тридцать два этнических конфликта, случившихся во время “холодной войны”, включая войны по линиям разломов — между арабами и израильтянами, индийцами и пакистанцами, суданскими мусульманами и христианами, шри-ланкийскими буддистами и тамилами, ливанскими шиитами и маронитами. Войны идентичностей составили около половины всех гражданских войн в период 1940-х и 1950-х годов, но на протяжении последующих десятилетий эта доля составила уже около трех четвертей, и сила восстаний, в которых участвовали этнические группы, утроилась [с .412] за период между началом 1950-х годов и концом 1980-х годов. Поскольку упорное соперничество сверхдержав затмевало эти конфликты, они, не считая отдельных примечательных исключений, привлекали сравнительно мало внимания и зачастую рассматривались сквозь призму “холодной войны”. По мере того как “холодная война” близилась к завершению, межобщинные конфликты все более бросались в глаза и, что далеко не бесспорно, стали более распространенными, чем прежде. В истории этнических конфликтов на самом деле наблюдалось нечто очень похожее на “подъем” .

Эти этнические конфликты и войны вдоль линий разломов не были распространены в равной степени среди цивилизаций. Основные конфликты происходили между сербами и хорватами в бывшей Югославии и между буддистами и индусами на Шри-Ланке, в то время как конфликты, сопряженные с меньшим уровнем насилия, отмечались между не-мусульманскими группами в ряде других мест. Однако преобладающее большинство конфликтов по линиям разломов имело место вдоль границы, петлей охватывающей Евразию и Африку, — вдоль границы, которая разделяет мусульман и не-мусульман. В то время как на глобальном, или на макроуровне мировой политики основное столкновение цивилизаций происходит между Западом и остальным миром, на локальном, или на микроуровне, оно происходит между исламом и другими религиями.

Между соседствующими мусульманскими и не-мусульманскими народами — глубокий антагонизм и ожесточенные конфликты. В Боснии мусульмане вели кровавую и разрушительную войну с православными сербами и участвовали в вооруженной борьбе с католиками-хорватами. В Косово албанские мусульмане страдают под сербским правлением и сформировали собственное подпольное параллельное правительство, и между двумя группами сохраняется высокая вероятность насилия. Албанское и греческое правительства оказались в ссоре друг с другом, [с .413] причиной чего стал вопрос о правах албанского и греческого меньшинств в этих странах. На протяжении всей истории турки и греки готовы

вцепиться друг другу в глотку. На Кипре существуют враждебные друг другу государства турок-мусульман и православных греков. На Кавказе Турция и Армения являются историческими врагами, азербайджанцы и армяне вели войну за контроль над Нагорным Карабахом. На Северном Кавказе на протяжении двухсот лет чеченцы, ингуши и другие мусульманские народы сражались за свою независимость от России, эта борьба возобновилась в 1994 году. Столкновения имели место также между ингушами и православными осетинами. В бассейне Волги татары-мусульмане в прошлом вели борьбу с русскими и в начале 1990-х годов добились от России ненадежного компромисса в виде ограниченного суверенитета.

В течение всего девятнадцатого столетия Россия силой оружия постепенно расширяла свой контроль над мусульманскими народами Средней Азии. На протяжении 1980-х годов афганцы и русские вели крупномасштабную войну; с отступлением России эта война нашла свое продолжение в Таджикистане — между поддерживающей существующее правительство российской армией и повстанцами-исламистами. В Синцзяне уйгуры и другие мусульманские группы ведут борьбу против китаизации и углубляют отношения со своими этническими и религиозными собратьями в бывших советских республиках. В Индостане Пакистан и Индия сражались между собой в трех войнах, мусульманское восстание ставит под сомнение индийское правление в Кашмире, переселенцы-иммигранты воюют с племенами в Ассаме, а мусульмане и индусы участвуют в периодически вспыхивающих по всей Индии беспорядках и в актах насилия, эти вспышки подпитываются ростом влияния фундаменталистских движений в обеих религиозных общинах. В Бангладеш буддисты протестуют против дискриминации, проводимой по отношению к ним мусульманским большинством, в [с .414] то время как мусульмане Мьянмы протестуют против дискриминации буддистским большинством. В Малайзии и Индонезии мусульмане время от времени принимают участие в антикитайских бунтах, протестуя против господства китайцев в экономике. В Южном Таиланде мусульманские группировки вовлечены в восстание против буддистского правительства, в то время как в южной части Филиппин повстанцы-мусульмане борются за независимость от католического государства и правительства. С другой стороны, в Индонезии католики Восточного Тимора ведут борьбу против гнета мусульманского правительства.

На Ближнем Востоке конфликт между арабами и евреями в Палестине ведет свое начало с создания еврейского государства. Четырежды вспыхивали войны между Израилем и арабскими государствами, а палестинцы участвовали в *интифаде* против израильского господства. В Ливане христиане-марониты вели безнадежную борьбу против шиитов и других мусульман. В Эфиопии православные амхары на протяжении всей истории угнетали группы этнических мусульман и боролись с восстанием мусульман-оромо. По всему Африканскому Рогу имел место ряд конфликтов между арабскими и мусульманскими народами на севере и анимистами-христианами из чернокожих народов на юге. Самая кровопролитная мусульманско-христианская война шла в Судане, она продолжалась десятилетия и ее жертвами стали сотни тысяч человек. В нигерийской политике главной темой остается конфликт между мусульманскими народностями фульбе и хауса на севере и христианскими Племенами на юге: постоянные восстания и государственные перевороты и одна крупная война. В Чаде, Кении и Тан-вании сопоставимые по размаху столкновения происходили между группами мусульман и христиан.

Во всех этих районах отношения между мусульманами и народами иных цивилизаций — католической, протестантской, православной, индуистской, китайской, буддистской, еврейской — носили, как правило, антагонистический [с .415] характер; в прошлом в большинстве случаев напряженность в какой-то момент выплескивалась в насильственные действия, и 1990-е годы также не стали исключением. На какой бы участок периметра ислама ни взглянуть, мусульмане никак не могут мирно ужиться со своими соседями. Естественно, возникает вопрос — будет ли в равной мере справедлива подобная модель конфликта конца двадцатого века между мусульманскими и не-мусульманскими группами,

если ее перенести на отношения между группами, принадлежащими к другим цивилизациям? На самом деле это не так. Мусульмане составляют около одной пятой от всего населения земного шара, но в 1990-х годах они участвовали в намного большем числе межгрупповых актов насилия, чем люди из любой другой цивилизации. Свидетельств тому — множество.

1. Мусульмане были участниками двадцати шести из пятидесяти этнополитических конфликтов 1993-1994 годов, проанализированных Тэдом Робертом Гурром (Таблица 10.1). Двадцать из этих конфликтов происходили между группами из различных цивилизаций, пятнадцать из них между мусульманами и не-мусульманами. Короче говоря, имело место втрое больше межцивилизационных конфликтов с участием мусульман, чем конфликтов между всеми не-мусульманскими цивилизациями. Конфликты внутри ислама также были более многочисленны, чем внутри любой другой цивилизации, включая племенные конфликты в Африке. В противоположность исламу, Запад был вовлечен всего лишь в два внутрицивилизационных и в два межцивилизационных конфликта. Для конфликтов с участием мусульман также характерны многочисленные жертвы. Из шести войн, в которых, по оценкам Гурра, погибло 200 000 или больше человек, три (Судан, Босния, Восточный Тимор) происходили между мусульманами и не-мусульманами, два (Сомали, Ирак-курды) между мусульманами и только в одном (Ангола) участвовали исключительно немусульмане. [с .416]

2. Газета *New York Times* привела список из сорока восьми районов, в которых в 1993 году происходило примерно пятьдесят девять этнических конфликтов. В половине из названных мест мусульмане сталкивались с другими мусульманами или с не-мусульманами. В тридцати одном случае из пятидесяти девяти конфликты происходили между группами из различных цивилизаций, и, согласуясь с данными Гурра, две трети (двадцать один) из этих межцивилизационных конфликтов разворачивались между мусульманами и остальными (Таблица 10.2).

3. В исследовании Рут Леджер Сивард показано, что в 1992 году шло двадцать девять войн (такowymi, по определению, считались конфликты, приводившие к гибели 1000 или более человек в год). Девять из двенадцати межцивилизационных конфликтов были между мусульманами и не-мусульманами, и снова мусульмане принимали участие в большем числе войн, чем люди из какой бы то ни было другой цивилизации .

Я воспользовался классификацией конфликтов по Гурру, за исключением того, что переставил китайско-тибетский конфликт, который он классифицировал как нецивилизационный, в межцивилизационную категорию, поскольку очевидно, что это — столкновение конфуцианских ханьских китайцев и тибетцев-буддистов ламаистского толка. [с .417]

Таким образом, эти разные статистические данные приводят к одному и тому же заключению: в начале 1990-х годов мусульмане были вовлечены в большее число актов межгруппового насилия, чем не-мусульмане, и от двух третей до трех четвертей межцивилизационных войн происходило между мусульманами и не-мусульманами. Границы ислама и в самом деле кровавы .

К выводу о предрасположенности мусульман к насилию в конфликтах подталкивает и степень милитаризма мусульманских государств. В 1980-х годах процентные соотношения вооруженных сил (которые определяются численностью военнослужащих на 1000 человек) и индексы военных усилий (соотношение вооруженных сил с поправкой на национальное богатство страны) в мусульманских странах были существенно выше, чем у других. В христианских странах все с точностью до наоборот. Средние значения соотношений вооруженных сил и индексы военных усилий у мусульманских стран примерно вдвое превышают те же показатели [с .418] христианских стран (Таблица 10.3). “Вполне очевидно, — заключает Джеймс Пэйн, — что существует прямая связь между исламом и милитаризмом” .

Для мусульманских государств также характерна ярко выраженная тенденция прибегать к насилию в международных кризисах; так, из 142 кризисов, в которые были вовлечены мусульманские страны в период между 1928-м и 1979 годами, они воспользовались силой для разрешения 76 из них. В 25 случаях сила была главным средством разрешения кризисной ситуации; в 51 кризисе мусульманские страны использовали насилие в качестве дополнительной меры. Когда мусульманские государства использовали насилие, то степень его была весьма высока: к полномасштабной войне они прибегали в 41 % случаев и вступали в крупные столкновения еще в 38% случаев. В то время как мусульманские страны прибегали к насилию в 53,5% кризисов, силовые методы были использованы Соединенным королевством всего лишь в 11,5%, США — в 17,9% и Советским Союзом — в 28,5% кризисов, в которые были вовлечены эти страны. Среди великих держав только у Китая тенденция применять силовые способы разрешения своих споров больше, чем у мусульманских стран: он использовал силу в [с .419] 76,9% кризисов . Мусульманская воинственность и предрасположенность к силовым решениям конфликтов являются реальностью конца двадцатого века, и этого не могут отрицать ни мусульмане, ни не-мусульмане.

Причины: история, демография, политика

Какими факторами обусловлен всплеск в конце двадцатого века войн вдоль линий разлома и ведущая роль мусульман в таких конфликтах? Во-первых, эти войны имеют свои корни в истории. В прошлом бывало, что между разными цивилизационными группами периодически случались акты насилия по линии разломов, и в настоящем живут воспоминания о прошлых событиях, что, в свою очередь, по обе стороны конфликта порождает страхи и чувство тревоги. Мусульмане и индусы на полуострове Индостан, кавказские народы и русские на Северном Кавказе, армяне и турки в Закавказье, арабы и евреи в Палестине, католики, мусульмане и православные на Балканах, русские и турки от Балкан до Средней Азии, сингалы и тамилы на Шри-Ланке, арабы и черные по всей Африке — все это примеры взаимоотношений, когда на протяжении веков периоды взаимной подозрительности чередовались с жестокими вспышками насилия. Историческое наследие конфликтов существует, и им пользуются те, кто считает это выгодным для себя. В подобных взаимоотношениях история оживает и вселяет страх.

Однако история то затихающей, то вновь разгорающейся бойни не способна сама по себе объяснить, почему в конце двадцатого века вновь началась полоса насилия. Ведь, как указывали многие, сербы, хорваты и мусульмане десятилетиями спокойно уживались вместе в Югославии. Мусульмане и индусы вполне мирно соседствовали в Индии. [с .420] В Советском Союзе жили вместе многие этнические и религиозные группы, не считая нескольких явных исключений (но тому причиной была политика советского правительства). Тамилы и сингалы также спокойно сосуществовали на острове, который часто описывали как тропический рай. Ход истории не мешал тому, чтобы эти относительно миролюбивые отношения преобладали на значительных отрезках времени; следовательно, история сама по себе не может объяснить нарушения мира. Должно быть, в последние десятилетия двадцатого века в процесс вмешались другие факторы. Одним из таких факторов стали изменения в демографическом балансе. Численный рост одной группы порождает политическое, экономическое и социальное давление на другие группы и вызывает ответное противодействие. Что более важно, он вызывает военное давление на демографически менее динамичные группы. Крушение в начале 1970-х годов тридцатилетнего конституционного

порядка в Ливане в значительной мере стало результатом резкого прироста шиитского населения относительно христиан-маронитов. На Шри-Ланке, как показал Гэри Фуллер, пик сингалезского националистического мятежа в 1970-х годах и тамильского восстания в конце 1980-х годов в точности совпал с годами, когда “молодежная волна” людей от пятнадцати до двадцати четырех лет в этих группах превосходил 20 процентов от общей численности группы (см. рисунок 10.1) . Как подметил один американский дипломат на Шри-Ланке, практически все сингалезские повстанцы были не старше двадцати четырех лет, и “Тигры Тамила”, как сообщалось, были “уникальны в своем роде, поскольку опорой им служила, по сути, детская армия”, ряды которой пополняли “мальчики и девочки, едва достигшие одиннадцати лет”, а погибшие в боях даже “еще были подростками на момент гибели, лишь несколькими исполнилось восемнадцать”. “Тигры”, как отмечал “Экономист”, вели “войну несовершеннолетних” . Аналогичным [с .421] образом войны по линии разлома между русскими и мусульманскими народами на юге подпитывались значительной разницей в приросте населения. В начале 1990-х годов общий коэффициент рождаемости в Российской Федерации составлял 1,5, в то время как в мусульманских среднеазиатских республиках бывшего СССР этот коэффициент равнялся 4,4, а показатель общего прироста населения (общая, т.е. из расчета на 1000 человек, рождаемость минус общая смертность) в конце 1980-х годов у последних в пять-шесть раз превосходил показатель России. В 1980-х годах численность чеченцев увеличилась на 26 процентов, и Чечня была одним из самых густонаселенных мест в России; высокая рождаемость в республике привела к появлению переселенцев и боевиков . Аналогично высокие показатели рождаемости мусульман и миграция в Кашмир из Пакистана стали причиной возобновления сопротивления индийскому правлению.

У непростых процессов, которые привели к межцивилизационным войнам в бывшей Югославии, было много причин и много отправных точек. Однако вероятно, самым важным фактором были демографические изменения в Косово. Косово являлось автономным краем в границах Сербской республики, имея де-факто те же права, что и шесть югославских республик, за исключением права на отделение. [с .422] В 1961 году население края на 67% было албано-мусульманским и на 24% -православно-сербским. Однако коэффициент рождаемости у албанцев был наивысшим в Европе, и Косово стало самым густонаселенным районом Югославии. К 1980-м годам около 50% албанцев находились в возрасте менее двадцати лет. Оказавшись перед лицом такого численного превосходства, сербы эмигрировали из Косово, переезжали в Белград и в другие районы в поисках экономических перспектив. И в результате в 1991 году Косово на 90% стало мусульманским и лишь на 10% — сербским . Тем не менее, сербы рассматривали Косово как свою “святую землю” или “Иерусалим” — место, где, среди прочего, 28 июня 1389 года произошло знаменитое сражение, в котором они потерпели поражение от турок-осман и почти на пять веков оказались под турецким владычеством.

К концу 1980-х годов изменяющийся демографический баланс привел к тому, что албанцы выдвинули требование о повышении статуса Косово до статуса югославской республики. Сербы и югославское правительство возражали из опасения, что, как только Косово обретет право на отделение, оно именно так и поступит и, возможно, соединится с Албанией. В марте 1981 года в поддержку требований за республиканский статус начались акции протестов, разразились беспорядки. Согласно заявлениям сербов, все больший размах приобретала дискриминация в отношении сербов, усиливались гонения на них, учащались акты насилия. “В Косово, начиная с конца 1970-х годов, — замечал хорватский протестант, -...имели место многочисленные инциденты и факты насилия, в числе которых — нанесение ущерба собственности, лишение работы, харассмент, изнасилования, драки и убийства”. И как следствие, “сербы заявили, что угроза приняла масштабы геноцида и что они не станут больше этого терпеть”. Тяжелое положение косовских сербов находило отклик во всей

Сербии, и в 1986 году на свет появилась декларация, подписанная 200 ведущими [с .423] сербскими интеллектуалами, включая редакторов журнала либеральной оппозиции “Praxis”, политическими деятелями, религиозными лидерами и военными, в которой от правительства требовали предпринять решительные меры и положить конец геноциду сербов в Косово. Если взять любое приемлемое определение геноцида, то это обвинение было значительно преувеличено, хотя, по утверждению одного иностранного наблюдателя, не скрывавшего симпатий к албанцам, “в 1980-х годах албанские националисты несли ответственность за ряд вооруженных нападений на сербов и за уничтожение некоторых объектов собственности, принадлежащих сербам” .

Все это вызвало подъем сербского национализма, и Слободан Милошевич воспользовался подходящим для себя случаем. В 1987 году он произнес в Косово большую речь, обратившись к сербам с призывом заявить о правах на свою землю и свою историю. “Тотчас вокруг него стали собираться сербы — коммунисты, некоммунисты и даже антикоммунисты, — преисполненные решимости не только защитить сербское меньшинство в Косово, но и подавить албанцев и превратить их в граждан второго сорта. Вскоре Милошевич был признан национальным лидером” . Два года спустя, 28 июня 1989 года, Милошевич вернулся в Косово вместе с одним или двумя миллионами сербов, чтобы отметить шестисотую годовщину знаменитой битвы, символизирующей непрекращающуюся войну с мусульманами.

Страхи сербов и сербский национализм, спровоцированные растущей численностью и силой албанцев, еще больше усугубились демографическими изменениями в Боснии. В 1961 году сербы составляли 43 процента, а мусульмане — 26 процентов населения Боснии и Герцеговины. К 1991 году соотношение изменилось почти в точности на противоположное: доля сербов упала до 31 процента, а доля мусульман возросла до 44%. В течение этих тридцати лет численность хорватов снизилась от 22 процентов [с .424] до 17%. Этническая экспансия одной группы привела к этническим чисткам со стороны другой. “Почему мы убиваем детей?” — задавал вопрос в 1992 году один сербский боец и сам же отвечал на него: “Потому что когда-нибудь они вырастут, и нам придется убивать уже взрослых”. Власти боснийских хорватов, стремясь не допустить “демографической оккупации” мусульманами своих населенных пунктов, действовали лишь с незначительно меньшей жестокостью .

Изменения в демографических соотношениях и “молодежные пики” в двадцать или более процентов ответственны за многие межцивилизационные конфликты конца двадцатого столетия. Тем не менее, всего эти факторы не объясняют. Например, нельзя объяснить с точки зрения демографии войну между сербами и хорватами; только отчасти ее можно объяснить историческими причинами, поскольку эти два народа жили вместе относительно мирно до Второй Мировой войны, когда хорватские усташа стали устраивать массовые убийства сербов. Везде и всюду причиной конфликта также была политика. Распад в конце Первой Мировой войны Австро-Венгерской, Турецкой и Российской империй способствовал разжиганию этнических и цивилизационных конфликтов между государствами, возникшими на их обломках, и между населявшими их народами. После Второй Мировой войны сходные результаты имело крушение Британской, Французской и Голландской империй. С окончанием “холодной войны” к тем же последствиям привело падение коммунистических режимов в Советском Союзе и Югославии. Люди больше не имели возможности идентифицировать себя как коммунисты, советские граждане или югославы и отчаянно нуждались в обретении новых идентичностей. Они нашли их в прежних опорах — в этнической принадлежности и в религии. Репрессивный, но мирный порядок государств, провозгласивших идею отсутствия бога, сменился насилием людей, приверженных разным богам. [с .425] Этот процесс усугубился необходимостью для новообразовавшихся политических существ усвоить процедуры демократии. Как только начался развал Советского Союза и Югославии, находившиеся у власти элиты не стали организовывать общенациональных выборов. Поступи они так, политическим лидерам пришлось бы состязаться за власть в центре и они могли бы попытаться выйти к электорату на основе

многоэтнической и полицивилизационной программы и собрать в парламенте коалиции соответствующего большинства. Вместо этого и в Советском Союзе, и в Югославии сначала выборы были организованы на республиканской основе, из-за чего у политических лидеров возник чрезвычайно мощный стимул вести направленную против центра избирательную кампанию, взывая к этническому национализму и поощряя независимость своих республик. Даже в Боснии на выборах 1990 года население голосовало строго согласно этническим границам. Многоэтническая Реформистская партия и бывшая Коммунистическая партия получили менее 10 процентов голосов каждая. Количество поданных голосов за Мусульманскую демократическую партию действия (34 процента), Сербскую демократическую партию (30 процентов) и Хорватский демократический союз (18 процентов) более или менее точно соответствует долям мусульман, сербов и хорватов в населении бывшей Югославии. На первых выборах, в которых участвовало несколько кандидатов, почти во всех бывших советских и югославских республиках победу одержали политические лидеры, которые обращались к националистическим чувствам и обещали энергичную защиту своих национальностей против других этнических групп. Соперничество на выборах поощрило националистические настроения и, таким образом, содействовало усилению конфликтов вдоль линий разлома и их превращению в войны по линиям разломов. Когда, по выражению Богдана Денича, “этнос становятся демосом”, первым результатом является *polemos*, или война.

Остается вопрос — почему с окончанием двадцатого века мусульмане оказались вовлечены в намного большее [с .426] число актов межгруппового насилия, чем те, кто принадлежит другим цивилизациям? Всегда ли дело обстояло именно так? В прошлом христиане убивали своих братьев-христиан и других людей, и число этих жертв было весьма значительно. Чтобы оценить предрасположенность к насилию у каждой цивилизации на протяжении истории, потребовалось бы обширное исследование. Здесь возможно следующее — определить возможные причины того, почему в настоящее время мусульманские группы прибегают к насилию, причем как в рамках ислама, так и за его границами. Затем нужно отделить причины, которые объясняют большую склонность к групповым конфликтам на протяжении истории, буде таковые существуют, от тех, которые объясняют такую тенденцию только для событий конца двадцатого века. Сразу напрашиваются шесть возможных причин. Три объясняют исключительно насилие между мусульманами и не-мусульманами, а еще тремя возможно объяснить как эти факты, так и насилие внутри ислама. Три причины объясняют только современную предрасположенность мусульман к насилию, в то время как три другие объясняют и историческое тяготение мусульман к насилию. Однако в случае, если такого тяготения все же не существует, эти предположительные причины, по всей вероятности, не объяснят современную тенденцию мусульман к межгрупповому насилию. Значит, последнее может быть объяснено только причинами, которые характерны для двадцатого века и которых не существовало в предыдущие столетия (таблица 10.4).

Во— первых, следует помнить, что ислам с самого начала был религией меча и что он прославляет военную доблесть. Истоки ислама -среди “воинственных племен бедуинов-кочевников”, и это “происхождение в среде насилия отпечаталось в фундаменте ислама. Самого Мухаммеда помнят как закаленного воина и умелого военачальника” . (Подобного нельзя сказать ни о Христе, ни о Будде.) Догматы ислама, как утверждается, предписывают войну против неверных, и когда первоначальная экспансия ислама со временем сошла на нет, мусульманские группы, вопреки религиозной доктрине, стали сражаться между собой. Соотношение фитна, или внутренних столкновений, и джихада коренным образом переменялось в пользу первого. Коран и прочие установления мусульманской веры содержат единичные запреты насилия, и в мусульманском учении и практике отсутствует концепция отказа от применения насилия.

Во— вторых, начиная с места его возникновения в Аравии, распространение ислама по Северной Африке и по большей части Среднего Востока, а позже и в Средней Азии, по Индостанскому полуострову и на Балканах приводило мусульман в тесный контакт со многими народами, которые были завоеваны и обращены, и наследие этого процесса сохраняется. После завоевания турками Балкан проживавшие в тамошних городах южные славяне часто переходили в ислам, в отличие от живших в деревнях крестьян, и таким образом возникло различие между боснийцами-мусульманами и православными сербами. Наоборот, экспансия Российской империи к Черному морю, на Кавказ, в Среднюю Азию, втянула ее в продолжающийся несколько веков конфликт с рядом мусульманских народов. Поддержка Западом, находившимся на вершине своего могущества, еврейского государства на Ближнем Востоке в противовес исламу заложила основу для непрекращающегося арабо-израильского противостояния. Таким образом, сухопутная мусульманская и не-мусульманская экспансии привели к [с .428] тому, что мусульмане и не-мусульмане живут по всей Евразии в тесном физическом соседстве друг с другом. Наоборот, морская экспансия Запада обычно не приводила западные народы к проживанию в территориальной близости с не-западными народами: либо правление ими осуществлялось из Европы, либо, за исключением случая с Южной Африкой, они фактически были истреблены западными поселенцами.

Третий возможный источник конфликта мусульмане — не-мусульмане заключается в том, что между ними существует некое отношение, которое один государственный деятель, говоря о собственной стране, назвал термином “не-перевариваемость”. Трудности, с которыми сталкиваются мусульманские страны в отношениях с не-мусульманскими меньшинствами, сопоставимы с теми проблемами, с которыми приходится иметь дело не-мусульманским странам в отношениях со своими мусульманскими меньшинствами. Ислам даже больше, чем христианство, — абсолютистское вероисповедание. Он соединяет вместе религию и политику и проводит четкую грань между теми, кто находится в дар ал-ислам, и теми, кто относится к дар ал-гарб. В результате последователи конфуцианства, буддисты, индуисты, западные христиане и христиане православные испытывают меньше трудностей, приспособляясь к совместной жизни друг с другом, чем те из них, кому приходится приспособляться к жизни с мусульманами. Этнические китайцы, например, являются экономически преобладающим меньшинством в большинстве стран Юго-Восточной Азии. Они успешно ассимилировались в обществах буддистского Таиланда и католических Филиппин; в этих странах практически не наблюдалось значительных случаев насилия, направленного против китайцев, со стороны большинства. Напротив, антикитайские беспорядки и/или акты насилия имели место в мусульманской Индонезии и в мусульманской Малайзии, и положение китайцев в этих странах остается потенциально взрывоопасным. [с .429]

Милитаризм, “неперевариваемость” и близкое соседство не-мусульманских групп являются постоянными характерными особенностями ислама и могли бы послужить для объяснения мусульманской конфликтности на протяжении истории. Три других, ограниченных во времени фактора могли бы в конце двадцатого века внести свою лепту в эту тенденцию. Одно объяснение, выдвинутое мусульманами, заключается в том, что западный империализм вкупе с зависимым положением мусульманских обществ в девятнадцатом и двадцатом столетиях породил представление о мусульманской военной и экономической слабости, а значит, способствовал тому, что не-исламские группы стали рассматривать мусульман как привлекательную цель. Согласно этому доводу, мусульмане являются жертвой широко распространенного предубеждения, сопоставимого с антисемитизмом, который исторически пронизывал западные общества. Мусульманские группы, такие как палестинцы, боснийцы, кашмирцы и чеченцы, утверждает Акбар Ахмед, все равно что “краснокожие, угнетенные группы, лишённые достоинства, загнанные в резервации, оторванные от унаследованных от предков земель” . Однако представление мусульман жертвами не объясняет конфликтов между мусульманским большинством и

не-мусульманскими меньшинствами в таких странах, как Судан, Египет, Ирак и Индонезия.

Более убедительным фактором, объясняющим как внутриисламские конфликты, так и конфликты вне его границ, является отсутствие в исламе одной или нескольких стержневых стран. Защитники ислама часто утверждают, что западные политики ссылаются на существование некой руководящей силы, мобилизующей исламский мир и координирующей действия против Запада. Это воззрение ошибочно. Ислам является источником нестабильности в мире потому, что у него отсутствует доминантный центр. Государства, претендующие на роль лидеров ислама, такие, как Саудовская Аравия, Иран, Пакистан, Турция и, в потенциале, [с .430] Индонезия, соперничают между собой за влияние в мусульманском мире. Ни одно из них не занимает достаточно сильной позиции, чтобы вмешиваться в конфликты внутри границ ислама; и ни одно из них не способно выступать от лица всего ислама в конфликтах между мусульманскими и не-мусульманскими группами.

Наконец, что самое важное, демографический взрыв в мусульманских странах и значительная доля в общей численности населения мужчин в возрасте от пятнадцати до тридцати лет, зачастую не имеющих работы, является естественным источником нестабильности и насилия как внутри самого ислама, так и в отношении не-мусульман. Каковы бы ни были другие причины, одного этого фактора достаточно для объяснения мусульманского насилия в 1980-х и 1990-х годах. Старение поколения “слона в удаве” к третьему десятилетию двадцать первого века и экономическое развитие мусульманских стран, если и когда таковое произойдет, могли бы, следовательно, привести к существенному снижению тенденции мусульман к насилию, а значит, и к общему спаду в повторяемости и напряженности войн по линиям разломов. [с .431]

Примечания

Ни одно взятое в отдельности утверждение в моей статье, опубликованной в *Foreign Affairs*, не навлекло на меня больше критических стрел, чем это: “У ислама — кровавые границы”. Такую оценку я сделал на основе беглого обзора межцивилизационных конфликтов. Количественные данные, взятые из любого незаинтересованного источника, убедительно демонстрируют ее обоснованность.

Глава 11. Динамика войн по линиям разлома

Идентичность: подъем цивилизационного самосознания

Войны по линиям разломов проходят через этапы усиления, всплеска, сдерживания, временного прекращения и — изредка — разрешения. Эти процессы обычно последовательны, но часто они накладываются один на другой и могут повторяться. Единожды начавшись, войны по линиям разломов, подобно другим межобщинным конфликтам, имеют тенденцию жить собственной жизнью и развиваться по образцу “действие — отклик”. Идентичности, которые прежде были множественными и случайными, фокусируются и укореняются; общинные конфликты соответствующим образом получают название “войн идентичностей”. По мере нарастания насилия поставленные на карту первоначальные проблемы обычно подвергаются переоценке исключительно в терминах “мы” против “них”, группа спланивается все сильнее и убеждения крепнут. Политические лидеры активизируют призывы к этнической и религиозной лояльности, и цивилизационное самосознание укрепляется по отношению к другим идентичностям. Возникает “динамика ненависти”, сравнимая с “дилеммой безопасности” в международных отношениях, в которой взаимные опасения, [с .432] недоверие и ненависть подпитывают друг друга. Каждая сторона, сгущая краски, драматизирует и преувеличивает различие между силами добра и зла и в конечном счете пытается превратить это различие в основополагающее различие

между живыми и мертвыми.

По мере развития революций умеренные, жирондисты и меньшевики проигрывают радикалам, якобинцам и большевикам. Аналогичные процессы обычно происходят и в войнах по линиям разломов. Умеренные, ставящие перед собой узкие цели, как, например, автономия, а не независимость, не добиваются своих целей посредством переговоров — которые почти всегда на начальной стадии терпят неудачу, — и их дополняют или вытесняют радикалы, стремящиеся к достижению куда более отдаленных целей насильственным путем. В конфликте между моро и филиппинским правительством основную группировку мятежников, Фронт национального освобождения моро, поначалу дополнял Фронт исламского освобождения моро, который занимал намного более крайнюю позицию, а затем — “Абу Сайяф”, отличавшийся еще большим радикализмом и отказавшийся соглашаться с договоренностями о прекращении огня, к которым пришли на переговорах с филиппинским правительством другие группы. В Судане на протяжении 1980-х годов правительство занимало все более и более происламистские позиции, и в начале 1990-х годов христианское движение раскололось, появилась новая группа, Движение за независимость Южного Судана, ставящая своей целью не просто автономию, а независимость. В продолжающемся противостоянии между израильянами и арабами, стоило поддерживаемой большинством Организации освобождения Палестины сделать несколько шагов в сторону переговоров с израильским правительством, как радикальная группировка “Хамас” поставила под сомнение ее верность палестинцам. В то же время согласие израильского правительства на участие в переговорах вызвало в Израиле протесты и акты насилия со стороны экстремистских религиозных групп. Когда в 1992-1993 годах обострился [с .433] конфликт чеченцев с Россией, в правительстве Дудаева преобладающее влияние приобрели “наиболее радикальные фракции чеченских националистов, выступающие против какого бы то ни было примирения с Москвой, причем умеренные силы были вытеснены в оппозицию”. В Таджикистане произошли аналогичные перемены. “По мере эскалации конфликта в 1992 году таджикские националистическо-демократические группы понемногу уступили исламистским группам, которые оказались более сноровисты в мобилизации сельской бедноты и недовольной городской молодежи. Проповедь ислама также постепенно приобретала все более радикальный характер, по мере того как молодые лидеры бросали вызов традиционной и более прагматической религиозной иерархии”. Как заявил один таджикский лидер: “Я закрываю словарь дипломатии. Я начинаю говорить на языке битвы — это единственно уместный язык, учитывая обстановку, созданную Россией в моей родной стране” . В Боснии внутри Мусульманской демократической партии действия (SDA) большее влияние приобрела экстремистская националистическая фракция во главе с Алией Изетбеговичем, а не ориентированная на сосуществование различных культур фракция, которую возглавлял Харис Силайджич .

Экстремисты не всегда будут праздновать победу. Насилие экстремистов — не более чем умеренный компромисс, чтобы положить конец войне по линии разлома. По мере того как растет число жертв и увеличиваются разрушения, зачастую напрасные, с каждой стороны опять появляются умеренные, указывают на “бесмысленность” происходящего и настойчиво добиваются новой попытки переговоров.

В ходе войны многочисленные идентичности постепенно исчезают, и преобладающей становится идентичность, наиболее значимая в конфликте. Такая идентичность почти всегда определяется религией. Психологически религия предоставляет наиболее убедительное и обоснованное оправдание [с .434] для борьбы с “безбожными” силами, которые, как считается, и несут в себе угрозу. Практически это религиозное или цивилизационное сообщество — та более широкая общность, к которой вовлеченная в конфликт местная группа может обратиться за поддержкой. Если в локальной войне между двумя африканскими племенами одно сумеет идентифицировать себя как мусульмане, а другое — как христиане, первое племя может надеяться на саудовские деньги, афганских муджахеддинов и иранское оружие и военных советников, а второе племя может

рассчитывать на экономическую и гуманитарную помощь Запада и политическую и дипломатическую поддержку западных правительств. Если только группа не сумеет поступить так, как боснийские мусульмане, и убедительно изобразить себя жертвой геноцида и таким образом возбудить сочувствие Запада, то существенное содействие она может получить только от своих цивилизационных собратьев. Войны вдоль линий разломов по определению являются локальными войнами между локальными группами, имеющими более широкие связи, и значит, они актуализируют цивилизационные идентичности участников конфликта.

Упрочение цивилизационных идентичностей происходило у участников войн по линиям разломов, принадлежащих и к другим цивилизациям, но особенно было заметно у мусульман. Войны по линиям разломов могут иметь начало в семейном, клановом или племенном конфликтах, но поскольку в мусульманском мире идентичности обычно имеют U-образную форму распределения, то по мере борьбы участники-мусульмане расширяют свою идентичность и апеллируют ко всему исламскому сообществу, как бывало даже в случае с таким антифундаменталистом и приверженцем антиклерикализма, как Саддам Хусейн. Азербайджанское правительство подобным же образом, как отметил один западный наблюдатель, разыгрывало “исламскую карту”. В Таджикистане, в войне, которая началась как внутритаджикистанский региональный конфликт, повстанцы [с .435] все в большей степени представляют себя борцами за дело ислама. В войнах девятнадцатого века между народами Северного Кавказа и русскими мусульманский лидер Шамиль объявил себя исламистом и объединил десятки этнических и языковых групп “на основе ислама и сопротивления русскому завоеванию”. В 1990-х годах Дудаев, последовав сходной стратегии, использовал в своих целях Исламское возрождение, происходившее на Кавказе в 1980-х годах. Его поддержали мусульманские священнослужители и исламистские партии, при вступлении в должность он принес присягу на Коране (точно так же, как Ельцин благословил православный патриарх) и в 1994 году внес предложение о преобразовании Чечни в исламское государство, подчиненное законам шариата. Чеченские войска носили зеленые повязки “с написанным на них словом “газават”, что на чеченском значит “священная война”, и, отправляясь в бой, выкрикивали “Аллах акбар” . Аналогичным образом изменилась самоидентификация кашмирских мусульман: вместо либо региональной идентичности, заключающей в себе мусульман, индусов и буддистов, либо отождествления себя с индийским антиклерикализмом у них появилась третья идентичность, отражающаяся в “возвышении мусульманского национализма в Кашмире и в распространении транснациональных исламских фундаменталистских ценностей, благодаря чему кашмирские мусульмане стали ощущать себя частью как исламского Пакистана, так и исламского мира вообще”. Восстание 1989 года против Индии на первых этапах возглавляла “относительно светская” организация, поддерживаемая пакистанским правительством. Затем поддержкой Пакистана начали пользоваться исламские фундаменталистские группировки, которые стали преобладающими. В эти группы входили “закоренелые мятежники”, которые, по-видимому, “считали долгом продолжать свой джихад ради него самого, каковы бы ни были надежды на исход и сам результат”. Другой наблюдатель сообщал: “Националистические чувства усугублялись религиозными различиями; глобальный подъем исламской воинственности [с .436] придавал мужества кашмирским повстанцам и подрывал кашмирскую традицию индусо-мусульманской терпимости” .

Резкий рост цивилизационных идентичностей произошел в Боснии, в особенности в мусульманской общине. Исторически общинным различиям в Боснии не придавалось большого значения; сербы, хорваты и мусульмане жили мирно, как соседи; обычны были межгрупповые браки; слабостью отличалась и религиозная самоидентификация. Мусульмане, как поговаривали, суть боснийцы, которые не ходили в мечеть, хорваты — боснийцы, которые не посещали храм, а сербы — боснийцы, которые не ходили в православную церковь. Однако едва распалась более широкая югославская идентичность, как эти случайные религиозные идентичности обрели новую значимость и, едва начались

столкновения, новые связи упрочились. Многообщинность испарилась, и каждая группа все в большей степени идентифицировала себя с более широкой культурной общностью и определяла себя в религиозных терминах. Боснийские сербы превратились в крайних сербских националистов, отождествляющих себя с Великой Сербией, сербской православной церковью и с более широким православным сообществом. Боснийские хорваты были наиболее пламенными хорватскими националистами, рассматривали себя как граждан Хорватии, упирали на свой католицизм и, вместе с хорватами Хорватии, идентифицировали себя с католическим Западом.

Сдвиг мусульман к цивилизационному самоосознанию оказался даже еще более заметен. До тех пор, пока не разгорелась война, боснийские мусульмане были крайне светскими в своих взглядах, полагали себя европейцами и считались самыми убежденными сторонниками мультикультурного боснийского общества и государства. Однако с распадом Югославии ситуация начала меняться. Подобно сербам и хорватам, на выборах 1990 года мусульмане отвергли многообщинные партии, подавляющее число голосов отдав за Мусульманскую демократическую партию действия [с .437] во главе с Изетбеговичем. Он — убежденный мусульманин, при коммунистическом правительстве за свою исламскую деятельность подвергался тюремному заключению. В своей книге “Исламская декларация”, опубликованной в 1970 году, Изетбегович утверждал о “несовместимости ислама с неисламскими системами. Не может быть ни мира, ни сосуществования между исламской религией и неисламскими социальными и политическими институтами”. Когда исламское движение обладает достаточной силой, оно обязано взять власть и создать исламскую республику. Особенно важно, чтобы в этом новом государстве образование и средства массовой информации “были бы в руках людей, чей исламский моральный и интеллектуальный авторитет бесспорен” .

Когда Босния добилась независимости, Изетбегович поддерживал идею многоэтнического государства, в котором мусульмане стали бы доминирующей группой, хотя и не составляли бы подавляющего большинства. Тем не менее, он вовсе не стал противодействовать вызванной войной исламизации своей страны. Его нежелание публично и недвусмысленно отказаться от идей, изложенных в “Исламской декларации”, породило опасения у немусульман. По мере продолжения войны боснийские сербы и хорваты уходили из районов, контролируемых боснийским правительством, а те, кто оставался, обнаруживали, что их постепенно вытесняют с рабочих мест и отстраняют от участия в общественной жизни. “В мусульманском национальном обществе ислам приобретал все большую значимость, и... ясно определенная мусульманская национальная идентичность стала частью политики и религии”. Мусульманский национализм в противопоставление боснийскому мультикультурному национализму все в большей степени отражался в средствах массовой информации. В школах распространялось религиозное обучение, в новых учебниках особо подчеркивались преимущества османского правления. Поощрялся боснийский язык как совершенно отличный [с .438] от сербскохорватского, и в него включалось все больше и больше турецких и арабских слов. Правительственные чиновники подвергали критике смешанные браки и трансляцию по радио и телевидению сербской музыки — музыки “агрессоров”. Правительство поощряло исламскую религию и отдавало предпочтение мусульманам при найме на работу и при повышении в должности. Что более важно, исламизировалась боснийская армия, и к 1995 году мусульмане составляли свыше 90 процентов ее личного состава. Все больше и больше армейских частей отождествляли себя с исламом, соблюдали исламские обряды и использовали мусульманские символы, причем элитные части были в наибольшей степени исламизированными, а численность их увеличивалась. Эта тенденция привела к протесту, направленному Изетбеговичу пятью членами боснийского президентского совета (включая двух хорватов и двух сербов), который он отклонил, и к отставке в 1995 году премьер-министра Хариса Силайджича, известного своей ориентацией на мультикультурное общество .

Постепенно мусульманская партия Изетбеговича распространяла свой контроль над

боснийским государством и обществом. К 1995 году она доминировала “в армии, на государственной службе и на государственных предприятиях”. Как сообщалось, “для мусульман, которые не принадлежат к партии, не говоря уже о не-мусульманах, трудно получить достойную работу”. Партия, как заявляли критики, “превратилась в орудие исламского авторитаризма, перенявшего привычки коммунистического правительства”. Еще один наблюдатель сообщал: “Мусульманский национализм приобретает все более крайние формы. Теперь он не обращает внимания на национальные чувства других; это — собственность, привилегия и политический инструмент недавно ставшей преобладающей мусульманской нации... Главным результатом этого нового мусульманского национализма является [с .439] движение в сторону национальной гомогенизации... Все в большей мере исламский религиозный фундаментализм приобретает также влияние и на определение мусульманских национальных интересов” .

Усиление религиозной идентичности, вызванное войной и этническими чистками, предпочтения лидеров страны и поддержка и давление, оказываемые другими мусульманскими государствами, медленно, но верно превращали Боснию из балканской Швейцарии в балканский Иран.

В войнах по линии разломов у каждой стороны есть стимулы не только для того, чтобы выделить собственную цивилизационную самобытность, но и подчеркнуть особенности другой стороны. В своей локальной войне она рассматривает себя не просто как сторону, сражающуюся с другой местной этнической группой, но как сражающуюся с другой цивилизацией. Таким образом, грозящая опасность увеличивается и усиливается за счет ресурсов большей цивилизации, и поражение будет иметь последствия не только для самой группы-участницы, но и для всех, кто принадлежит к ее собственной цивилизации. Следовательно, для цивилизации, к которой принадлежит эта группа, необходимо поддержать своего члена. Локальная война становится войной религий, столкновением цивилизаций, чреватых последствиями для громадных сегментов человечества. В начале 1990-х годов, когда православная религия и православная церковь стали центральными элементами в российской национальной идентичности (православие “выжимает другие российские конфессии, из которых ислам — наиболее существенная”), русские обнаружили, что в их интересах определить войну между кланами и областями в Таджикистане и войну с Чечней как части более обширного столкновения, которое длится на протяжении веков между православием и исламом, а местных противников представить как приверженцев исламского фундаментализма и джихада и проводников политики Исламабада, Тегерана, Эр-Рияда и Анкары. [с .440]

В бывшей Югославии хорваты считали себя стражами границ Запада, доблестно оберегающими их от натиска православия и ислама. Сербь определяют своих врагов не просто как боснийских хорватов и мусульман, но как “Ватикан” и как “исламских фундаменталистов” и “подлых турок”, которые веками угрожали христианству. Как отзывался один западный дипломат о лидере боснийских сербов, “Караджич рассматривает конфликт как антиимпериалистическую войну в Европе. Он говорит, что его миссия — искоренить в Европе последние следы турецкой Османской империи” . Боснийские мусульмане, в свою очередь, называют себя жертвами геноцида; Запад игнорирует их из-за религиозной принадлежности, а значит, они вправе рассчитывать на поддержку мусульманского мира. Все партии в Югославии и большинство наблюдателей со стороны пришли, таким образом, к выводу, что необходимо рассматривать югославские войны как религиозные или этнорелигиозные. Конфликт, как указывал Миша Гленни, “все в большей мере уподобляется по своим признакам религиозной борьбе, ход которой определяют три великих европейских вероисповедания — римско-католическое, восточно-православное и исламское, конфессиональные осколки империй, чьи рубежи столкнулись в Боснии” .

Определение войн, идущих по линиям разломов, как цивилизационных столкновений дает также новую жизнь “теории домино”, которая существовала в эпоху “холодной войны”. Однако теперь именно ведущие страны цивилизаций видят необходимость не допустить

поражения в локальном конфликте, ибо это поражение способно послужить пусковым механизмом для череды нарастающих потерь и в итоге привести к катастрофе. Занятая Индией позиция по Кашмиру в значительной мере проистекает из опасения, что утрата этой области подтолкнет остальные этнические и религиозные меньшинства к движению за независимость и таким образом приведет к распаду Индии. Если Россия не положит конец политическому насилию в [с .441] Таджикистане, предостерегал министр иностранных дел Козырев, оно, весьма вероятно, перекинется на Кыргызстан и Узбекистан. Что, как утверждалось, могло бы затем способствовать сепаратистским движениям в мусульманских республиках Российской Федерации, причем некоторые предполагали, что конечным результатом мог бы стать исламский фундаментализм на Красной площади. Следовательно, афгано-таджикская граница, как сказал Ельцин, есть “по существу, граница России”. Европейцы, в свою очередь, выражают обеспокоенность тем, что возникновение мусульманского государства в бывшей Югославии создаст основу для распространения мусульманской иммиграции и исламского фундаментализма и усилит, по выражению Жака Ширака, “les odeurs d'Islam” в Европе . Граница Хорватии есть, по существу, граница Европы.

Когда война по линии разлома обостряется, каждая сторона демонизирует своих противников, зачастую изображая их недостойными звания человека, и тем самым узаконивает их убийство. “Бешеных собак пристреливают”, — сказал Ельцин о чеченских партизанах. “Этот неотесанный народ нужно бы расстрелять... и мы их перестреляем”, — говорил индонезийский генерал Три Сутрисно, имея в виду резню в Восточном Тиморе в 1991 году. Демоны прошлого воскресают в настоящем: хорваты превращаются в “ушастей”, мусульмане — в “турок”, сербы — в “четников”. Массовые убийства, пытки, изнасилования и жестокое изгнание гражданского населения из мест постоянного проживания — все возможно оправдать, так как межобщинную ненависть питает межобщинная ненависть. Мишенями становятся и основные символы и памятники культуры противника. Сербы систематически уничтожали мечети и францисканские монастыри, а хорваты взрывали монастыри православные. Как кладези культуры, весьма уязвимы музеи и библиотеки, и сингалские силы безопасности сожгли публичную библиотеку Джаффны, уничтожив “невосполнимые литературные и исторические [с .442] документы”, относящиеся к тамильской культуре, а сербские артиллеристы обстреляли и разрушили Национальный музей в Сараево. Сербы очистили боснийский городок Зворник от проживавших там 40.000 мусульман и установили крест на месте османской башни, которую они только что взорвали и которая была возведена вместо православной церкви, снесенной турками в 1463 году . В войне между цивилизациями потери несет культура.

Сплочение цивилизаций: родственные страны и диаспоры

На протяжении сорока лет “холодной войны” конфликт распространялся по нисходящей, по мере того как сверхдержавы стремились вербовать союзников и партнеров и пытались низвергнуть, перетянуть на свою сторону или нейтрализовать союзников и партнеров другой сверхдержавы. Разумеется, соперничество наиболее интенсивно проходило в “третьем мире”, новообразовавшиеся и слабые страны подвергались давлению со стороны сверхдержав, старавшихся втянуть их в грандиозную глобальную борьбу. В мире, сложившемся после “холодной войны”, многочисленные межобщинные конфликты на религиозной или национальной почве пришли на смену единственному конфликту сверхдержав. Когда в эти межобщинные столкновения втягиваются группы из различных цивилизаций, конфликт приобретает тенденцию к расширению и обострению. По мере того как он углубляется, каждая сторона стремится заручиться поддержкой стран и группировок, принадлежащих к ее цивилизации. Поддержку в той или иной форме, официальную или неофициальную, открытую или тайную, материальную, общественную, дипломатическую, финансовую, символическую или военную, всегда предоставляет одна или несколько

родственных стран или [с .443] групп. Чем дольше длится конфликт по линии разлома, тем больше, по всей вероятности, родственные страны окажутся вовлечены в него как помощники, как средство сдерживания или как посредники. В результате такого “синдрома родственных стран” конфликты по линии разлома обладают более высоким потенциалом эскалации, чем внутрицивилизационные, и для их погашения обычно требуются совместные межцивилизационные действия. Если сравнивать с “холодной войной”, то конфликт не “стекает” сверху вниз, он бьет ключом снизу вверх.

Уровни вовлеченности стран и групп в войны, идущие по линиям разлома, различны. На главном уровне находятся те участники, которые фактически ведут боевые действия и убивают друг друга. Ими могут быть государства, как в войне между Индией и Пакистаном и между Израилем и его соседями, а также местные группировки, которые являются, в лучшем случае, государствами в зачаточном состоянии, как в случае с Боснией и с армянами Нагорного Карабаха. В эти конфликты могут быть в то же время вовлечены второстепенные участники; обычно это государства, напрямую связанные с главными участниками, как, например, правительства Сербии и Хорватии в бывшей Югославии и правительства Армении и Азербайджана на Кавказе. Еще более отдаленно связаны с конфликтом третьестепенные участники, находящиеся много дальше от реальных сражений, но имеющие цивилизационные узы с его участниками; таковыми, к примеру, являются Германия, Россия и исламские страны по отношению к бывшей Югославии и Россия, Турция и Иран — в случае армяно-азербайджанского спора. Эти участники третьего уровня часто оказываются стержневыми государствами своих цивилизаций. Диаспоры участников первого уровня — там, где они существуют, — также играют определенную роль в войнах по линиям разломов. Принимая во внимание, что обычно на первичном уровне непосредственно задействовано небольшое число людей и вооружений, то относительно скромная [с .444] внешняя помощь, в виде денежных средств, оружия или добровольцев, часто способна оказывать существенное воздействие на исход войны.

Ставки других участников конфликта — не те же самые, что у участников первого уровня. Наиболее активно и искренне участников первого уровня обычно поддерживают различные объединения в диаспорах, которые в высшей степени ревностно выступают за дело своих “родичей” и становятся “большими католиками, чем сам Папа Римский”. Более сложна заинтересованность правительств стран второго и третьего уровня участия. Обычно они оказывают поддержку участникам первого уровня и, даже если они так не поступают, противостоящие группы подозревают их в подобных действиях, что оправдывает для последних помощь своим “родичам”. Но, кроме того, правительства второго и третьего уровней заинтересованы в том, чтобы сдержать разрастание войны и самим не оказаться непосредственно в ней замешанными. Следовательно, одновременно поддерживая участников первого уровня, они также стремятся обуздать последних и вынудить их умерить свои амбиции. Обычно они еще и пытаются вести переговоры со своими противниками второго и третьего уровней по другую сторону линии разлома и таким образом не допустить перерастания локальной войны в более крупную, в которую окажутся втянутыми стержневые государства. На рисунке 11.1 показаны взаимоотношения потенциальных участников войн по линии разлома. Не во всех случаях можно выделить полный спектр действующих лиц, но для ряда конфликтов, включая и те, что происходили в бывшей Югославии или в Закавказье, он выявлен, и едва ли не все войны по линиям разломов имели потенциальную возможность для эскалации и вовлечения в нее участников всех уровней.

Тем или иным образом, во все войны по линиям разломов в 1990-х годах были вовлечены диаспоры и родственные страны. Принимая во внимание ведущую роль мусульманских группировок в подобных войнах, мусульманские [с .445] правительства и объединения являются наиболее частыми участниками второго и третьего уровней. Наибольшую активность проявляли правительства Саудовской Аравии, Пакистана, Ирана,

Турции и Ливии, которые совместно, а иногда с другими мусульманскими странами, в различной степени оказали поддержку борьбе мусульман против немусульман в Палестине, Ливане, Боснии, Чечне, Закавказье, Таджикистане, Кашмире, Судане и на Филиппинах. Вдобавок к правительственной поддержке, многим мусульманским группам первого уровня помогали “летучие отряды” исламистского интернационала бойцов-ветеранов афганской войны, которые участвовали в целом ряде конфликтов, от гражданской войны в Алжире до Чечни и Филиппин. Согласно выводам одного аналитика, этот исламистский интернационал был причастен к таким действиям, как “отправка добровольцев для установления правления исламистов в Афганистане, Кашмире и Боснии; совместные пропагандистские войны против правительств, [с .446] противостоящих исламистам в той или иной стране; создание исламистских центров в диаспорах, которые одновременно выступают и как политическая штаб-квартира для всех этих партий” . Лига арабских государств и Организация исламской конференции также обеспечивали поддержку и старались координировать усилия своих членов для помощи мусульманским группировкам в межцивилизационных конфликтах.

Советский Союз являлся главным участником афганской войны, а в годы после “холодной войны” Россия была первостепенным участником в чеченской войне, второстепенным — в столкновениях в Таджикистане и третьестепенным — в войнах в бывшей Югославии. Индия выступала как основной участник в Кашмире и как второстепенный — на Шри-Ланке. Ведущие страны Запада являлись третьестепенными участниками в югославских столкновениях. Диаспоры играли большую роль по обе стороны затянувшейся борьбы между израильтянами и палестинцами, а также в поддержке армян, хорватов и чеченцев в их конфликтах. Через телевидение, факсы, электронную почту “постоянный контакт со своим бывшим отечеством вновь и вновь подкреплял диаспоры и иногда формировал их политику определенным образом; “бывшее” больше не имело того значения, какое в него вкладывали раньше” .

В Кашмирской войне Пакистан открыто и недвусмысленно оказывал дипломатическую и политическую поддержку повстанцам и, согласно пакистанским военным источникам, оказывал помощь значительными денежными средствами и крупными поставками оружия, а также осуществлял обучение, материально-техническое обеспечение и предоставлял убежище. Он также подталкивал другие мусульманские правительства последовать своему примеру. Как сообщалось, к 1995 году мятежники получили подкрепление как минимум из 1200 муджахеддинов, которые прибыли из Афганистана, Таджикистана и Судана и были вооружены ракетами “Стингер” и другим оружием, [с .447] которое американцы поставляли им для войны с Советским Союзом . Моро на Филиппинах какое-то время получали денежные средства и снаряжение из Малайзии; арабские правительства обеспечивали приток дополнительных финансов; несколько тысяч повстанцев прошли подготовку в Ливии; а пакистанскими и афганскими фундаменталистами была организована экстремистская повстанческая группировка “Абу Сайяф” . В Африке Судан регулярно оказывал помощь мусульманским эритрейским мятежникам, сражавшимся в Эфиопии; в ответ Эфиопия оказывала помощь “материально-техническим обеспечением и возможностью убежища восставшим христианам”, ведущим вооруженную борьбу в Судане. Последние также получали помощь того же рода от Уганды, в чем отчасти проявлялись “сильные религиозные, расовые и этнические узы с суданскими повстанцами”. Суданское правительство, в свою очередь, получило из Ирана помощь на 300 млн. долларов — в виде оружия китайского производства и обучения местных солдат иранскими военными советниками, благодаря чему в 1992 году стало возможным крупное наступление. Целый ряд западных христианских организаций поставляли продовольствие, медикаменты, запчасти и, если верить суданскому правительству, оружие для повстанцев-христиан .

В войне на Шри-Ланке между индуистскими тамильскими повстанцами и буддистским сингалезским правительством индийское правительство первоначально оказывало значительную помощь повстанцам, обучая их в южной Индии и передавая им оружие и деньги. В 1987 году, когда правительственные шри-ланкийские войска вот-вот должны были

разгромить тамильских “тигров”, индийское общественное мнение выразило протест против этого “геноцида”, и индийское правительство стало по воздуху перебрасывать тамилам продовольствие, “по существу сигнализируя [президенту] Джайявардене, что Индия не намерена позволить ему сокрушить “тигров” силой оружия” . [с .448] Затем индийское и шри-ланкийское правительства пришли к соглашению, что Шри-Ланка предоставит тамильским районам значительную автономию, а повстанцы сдадут оружие индийской армии. Для обеспечения соглашения Индия разместила на острове пятидесятитысячный воинский контингент, но “тигры” отказались сложить оружие, и индийские военные вскоре обнаружили, что оказались втянутыми в войну с партизанскими отрядами, которых они прежде поддерживали. Начиная с 1988 года, индийские войска выводились с острова. В 1991 году премьер-министр Индии Раджив Ганди был убит, если верить индийцам, сторонницей тамильских повстанцев, и отношение индийского правительства к восстанию переросло во враждебное. Однако правительство было не в силах бороться с сочувствием повстанцам и их поддержкой со стороны 50 миллионов тамилы на юге Индии. Отражая это мнение, представители правительства штата Тамилнад, с явным пренебрежением к Нью-Дели, позволили тамильским “тиграм” действовать практически беспрепятственно вдоль 500-мильного побережья своего штата и переправлять через узкий Полкский пролив на Шри-Ланку снаряжение и оружие для повстанцев .

Начиная с 1979 года, Советы, а затем Россия оказались вовлечены в три крупные войны вдоль линии разлома со своими мусульманскими соседями на юге: афганская война 1979-1989 годов, ее продолжение — война в Таджикистане, которая началась в 1992 году, и чеченская война, начавшаяся в 1994 году. С распадом Советского Союза в Таджикистане к власти пришло коммунистическое правительство. Весной 1992 года этому правительству бросила вызов оппозиция, состоявшая из соперничающих региональных и этнических групп, включая как сторонников светского государства, так и исламистов. Эта оппозиция, поддерживаемая оружием из Афганистана, в сентябре 1992 года изгнала пророссийское правительство из столицы страны, Душанбе. Российское и узбекское правительства, [с .449] предупреждая распространение исламского фундаментализма, ответили быстро и решительно. Российская 201-я мотострелковая дивизия, которая оставалась в Таджикистане, передала вооружение проправительственным войскам, и Россия развернула дополнительные войска для охраны границы с Афганистаном. В ноябре 1992 года Россия, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан согласились на ввод в Таджикистан российских и узбекских сил якобы в миротворческих целях, но на самом деле дали согласие на участие в войне. Заручившись такой поддержкой, обеспеченные российскими оружием и деньгами, войска бывшего правительства оказались в состоянии вернуть Душанбе и установить контроль над большей частью страны. Последовал процесс этнической чистки, и войска оппозиции и беженцы отступили в Афганистан.

Мусульманские правительства Ближнего Востока возражали против военного вмешательства России. Иран, Пакистан и Афганистан все в большей мере поддерживали исламистскую оппозицию деньгами и оружием, помогали ей в обучении солдат. По сообщениям прессы, в 1993 году многие тысячи боевиков прошли подготовку у афганских муджахеддинов, и весной и летом 1993 года таджикские повстанцы предприняли из Афганистана несколько набегов через границу, убив при этом значительное число российских пограничников. Россия ответила размещением в Таджикистане еще большего числа войск, а также осуществляя “массированный артиллерийский и минометный” заградительный огонь и проводя воздушные атаки по целям в Афганистане. Однако арабские правительства снабдили повстанцев финансами, на которые те приобрели ракеты “Стингер” для противодействия авианалетам. К 1995 году Россия развернула в Таджикистане войска численностью в 250 тысяч человек и обеспечивала более половины средств, необходимых для поддержки правительства. С другой стороны, повстанцев активно поддерживали правительство Афганистана и другие мусульманские страны. [с .450] Как указывал Барнетт Рубин, если международные организации или Запад не сумеют оказать существенную

помощь либо Таджикистану, либо Афганистану, то первый окажется в полной зависимости от русских, а второй — от своих мусульманских цивилизационных братьев. “Любой афганский полевой командир, который надеется на иностранную помощь, сегодня либо должен угождать желаниям арабских и пакистанских хозяев финансовых фондов, которые желают распространить джихад на Среднюю Азию, либо вынужден присоединиться к торговле наркотиками” .

Прологом к третьей антимусульманской войне России, на Северном Кавказе с чеченцами, послужили столкновения в 1992 — 1993 годах, произошедшие между православными осетинами и ингушами-мусульманами. Последние во время Второй Мировой войны вместе с чеченцами и другими мусульманскими народами были депортированы в Среднюю Азию. Оставшиеся осетины захватили собственность ингушей. В 1956-1957 годах депортированным народам было разрешено вернуться, и начались раздоры из-за прав на собственность и из-за контроля над территорией. В ноябре 1992 года на Пригородный район, который Советское правительство передало осетинам и который ингуши хотели вернуть себе, начались нападения с территории Ингушской республики. Чтобы поддержать православных осетин, русские ответили массированным вторжением с участием, в том числе, и казачьих формирований. Как описывал один наблюдатель: “В ноябре 1992 года ингушские деревни в Осетии были окружены и обстреляны русскими танками. Те, кто выжил после обстрела, были убиты или уведены. Резня была проведена подразделениями осетинского ОМОНа [специальных полицейских частей], но российские войска, отправленные в регион “для поддержания мира”, обеспечивали их прикрытие” . Как сообщал “Экономист”, “трудно представить, чтобы столь громадные разрушения имели место меньше чем за неделю”. Это [с .451] была “первая операция по этнической чистке в Российской Федерации”. Затем Россия использовала конфликт, чтобы пригрозить союзникам ингушей, чеченцам, что, в свою очередь, “привело к немедленной мобилизации Чечни и [в подавляющем большинстве мусульманской] Конфедерации народов Кавказа (КНК). КНК угрожала послать 500.000 добровольцев против российских войск, если они не отступят с чеченской территории. После напряженного противостояния Москва отступила, чтобы избежать перерастания северо-осетино-ингушского конфликта в региональный пожар” .

Более напряженный и обширный пожар вспыхнул в декабре 1994 года, когда Россия предприняла полномасштабное военное наступление на Чечню. Лидеры двух православных республик, Грузии и Армении, поддержали действия России, в то время как украинский президент был “дипломатически вежлив и просто призвал к мирному урегулированию кризиса”. Действия России также одобрили правительство православной Северной Осетии и 55-60 процентов народа Северной Осетии . Наоборот, мусульмане в Российской Федерации и за ее пределами в подавляющем большинстве приняли сторону чеченцев. Исламский интернационал немедленно отправил в Чечню боевиков из Азербайджана, Афганистана, Пакистана, Судана и других районов. Мусульманские страны поддержали чеченцев, а Турция и Иран, как сообщалось, оказали им материальную помощь, что придало России дополнительные стимулы для попыток примириться с Ираном. Из Азербайджана в Российскую Федерацию начал поступать непрерывный поток вооружения для чеченцев, что заставило Россию закрыть свою границу с этой страной, таким образом, заодно отсекая возможность снабжения Чечни медикаментами и прочим .

Мусульмане в Российской Федерации поднялись в поддержку чеченцев. Хотя призывы ко всекавказской священной [с .452] войне мусульман против России не дали результата, главы шести республик Волжско-Уральского региона потребовали от России прекратить военные действия, а представители мусульманских кавказских республик призвали к кампании гражданского неповиновения. Президент Чувашской республики освободил чувашских призывников от службы в частях, действующих против их братьев-мусульман. “Наиболее мощные акции протеста против войны” имели место в двух соседних с Чечней республиках — Ингушетии и Дагестане. Ингуши напали на российские войска во время движения последних к Чечне, что вызвало заявление российского министра обороны о том,

что ингушское правительство “фактически объявило войну России”; нападения на российские войска происходили также и в Дагестане. Русские ответили обстрелами ингушских и дагестанских селений. Враждебность дагестанцев по отношению к русским возросла еще больше, когда после чеченского рейда на город Кизляр в январе 1996 года русские разрушили деревню Первомайское.

Борьбе своего народа помогала чеченская диаспора, которая по большей части была порождена российской агрессией против горских народов Кавказа в девятнадцатом веке. Диаспора организовывала сбор финансовых средств, приобретала оружие и набирала добровольцев для чеченских войск. Диаспора была особенно многочисленна в Иордании и Турции, что вынудило Иорданию занять решительно антироссийскую позицию и укрепило готовность Турции оказывать помощь чеченцам. В январе 1996 года, когда война перекинулась в Турцию, турецкое общественное мнение благожелательно отнеслось к захвату членами диаспоры парома с российскими туристами. С помощью кавказских лидеров турецкое правительство договорилось о разрешении этого кризиса, причем таким образом, что эта договоренность еще больше ухудшила и без того натянутые отношения между Турцией и Россией. [с .453]

Чеченское вторжение в Дагестан, ответ России и захват парома в начале 1996 года высветили возможность перерастания конфликта в более крупный конфликт между русскими и горскими народами по тем рубежам, война на которых десятилетиями шла в девятнадцатом столетии. “Северный Кавказ — это пороховой погреб, — предупреждала в 1995 году Фиона Хилл, — где конфликт в одной республике обладает потенциальной возможностью воспламенить региональный пожар, который распространится за его границы на остальную Российскую Федерацию и спровоцирует вовлечение в него Грузии, Азербайджана, Турции и Ирана и их северокавказских диаспор. Как продемонстрировала война в Чечне, конфликт в регионе не так-то просто сдержать... и борьба выплескивается на соседние с Чечней республики и области”. С ней соглашается и российский аналитик, утверждая, что вдоль цивилизационных линий складываются “неформальные коалиции”. “Христианские Грузия, Армения, Нагорный Карабах и Северная Осетия выстраиваются против мусульманских Азербайджана, Абхазии, Чечни и Ингушетии”. Уже ведя войну в Таджикистане, Россия “идет на риск оказаться втянутой в длительную конфронтацию с мусульманским миром” .

В другой православно-мусульманской войне главными участниками были армяне Нагорно-Карабахского анклава и правительство и народ Азербайджана, при этом первые боролись за независимость от вторых. Правительство Армении выступало как второстепенный участник, а Россия, Турция и Иран были вовлечены в конфликт на третьих ролях. Кроме того, значительную роль играла многочисленная армянская диаспора в Западной Европе и в Северной Америке. Борьба началась в 1988 году, еще до крушения Советского Союза, обострилась в течение 1992-1993 годов и утихла после договоренности о прекращении огня в 1994 году. Турки и другие мусульмане поддерживали Азербайджан, а Россия — армян, но она затем использовала свое влияние на последних также и для того, чтобы компенсировать [с .454] турецкое влияние в Азербайджане. Эта война стала последним по времени эпизодом как в идущей несколько веков борьбе между Российской и Османской империями за контроль над Черным морем и Кавказом, так и глубокого антагонизма между армянами и турками, который уходит корнями к массовой резне, устроенной вторыми над первыми в самом начале двадцатого века.

В этой войне Турция выступала последовательным сторонником Азербайджана и противником армян. Из всех стран мира Турция стала первой, кто признал независимость какой-либо из неприбалтийских советских республик, и признала она независимость именно Азербайджана. На протяжении всего конфликта Турция оказывала финансовую и материальную помощь Азербайджану и осуществляла обучение азербайджанских солдат. Когда в 1991-1992 годах ситуация обострилась и армяне стали развивать наступление на территорию Азербайджана, в турецком обществе поднялась волна возмущения, и турецкое

правительство оказалось под давлением требований о необходимости поддержать этнически и религиозно родственный народ. Но турецкое правительство также опасалось, что подобным шагом оно привлечет внимание к делению мира на мусульман и христиан, вызовет поток западной помощи Армении и восстановит против себя своих союзников по НАТО. Таким образом, Турция столкнулась с классическим случаем перекрестного давления на второстепенного участника в войне вдоль линии разлома. Тем не менее, турецкое правительство обнаружило, что в его интересах поддерживать Азербайджан и противодействовать Армении. “Когда убивают твоих родственников, то это не может тебя не касаться”, — заявил один турецкий чиновник, а другой прибавил: “Мы находимся под давлением. Наши газеты пестрят фотографиями зверств... Возможно, нам стоило бы продемонстрировать Армении, что в этом регионе есть большая Турция”. Президент Тургут Озал был согласен с этим мнением; он заявил, что Турции “следует немного [с .455] припугнуть армян”. Турция совместно с Ираном предостерегла армян, что не станет мириться с какими-либо изменениями границ. Озал заблокировал поставки продовольствия и других грузов в Армению через территорию Турции, в результате чего зимой 1992-1993 годов население Армении оказалось на грани голода. В результате этих действий российский маршал Евгений Шапошников предупредил, что в случае, “если другая сторона [т.е. Турция] будет вовлечена” в войну, “мы окажемся на грани Третьей Мировой войны”. Годом позже Озал был по-прежнему воинственен. “На что способны армяне, — насмеялся он, — если начнется стрельба?... Маршем войти в Турцию?” Турция “покажет свои клыки”.

Летом и осенью 1993 года армянское наступление, приближавшееся к иранской границе, вызвало дополнительные ответные действия со стороны как Турции, так и Ирана: ведь две эти страны соперничают между собой за влияние в Азербайджане и среди мусульманских государств Средней Азии. Турция выступила с заявлением, что наступление угрожает безопасности Турции, потребовала, чтобы армянские войска “немедленно и безусловно” были отведены с азербайджанской территории, и отправила подкрепления к границе с Арменией. Имеются сообщения, что через эту границу российские и турецкие войска обменялись артиллерийским огнем. Премьер-министр Турции Тансу Чиллер заявила, что если бы армянские войска вступили в азербайджанский анклав Нахичевань, находящийся рядом с Турцией, она обратилась бы к парламенту за объявлением войны. Иран также выдвинул к границе войска и ввел их на территорию Азербайджана якобы для организации лагерей беженцев, спасающихся от армянского наступления. Действия иранцев, как сообщают, привели турок к убеждению, что они могли бы предпринять дополнительные шаги, которые не вызвали бы контрмер со стороны России и одновременно придали бы Турции новые стимулы для конкуренции [с .456] с Ираном в обеспечении защиты Азербайджана. В конце концов кризис был разрешен в результате переговоров в Москве между лидерами Турции, Армении и Азербайджана, при этом американцы оказали давление на армянское правительство, а армянское правительство — на армян Нагорного Карабаха.

Армяне, которые населяют маленькую, закрытую со всех сторон горами страну со скудными ресурсами, граничащую с враждебными тюркскими народами, на протяжении всей своей истории искали защиты у православных братьев, у Грузии и России. Причем именно к России они относились как к старшему брату. Однако когда разваливался Советский Союз и армяне Нагорного Карабаха начали свой путь к независимости, режим Горбачева отказал им в удовлетворении их требований и разместил в регионе войска, как считалось, для поддержания власти лояльного коммунистического правительства в Баку. После крушения Советского Союза эти соображения уступили место историческим и культурным соображениям, имеющим более продолжительную историю, и азербайджанцы стали обвинять российское правительство в том, что “оно развернулось на 180 градусов” и активно поддержало христианскую Армению. На самом деле военное содействие русских армянам началось раньше, еще в СССР, когда армяне, к примеру, получали армейские звания выше и назначались в боевые части намного чаще, чем мусульмане. После начала войны 366-й мотострелковый полк российской армии, базировавшийся в Нагорном Карабахе,

сыграл ведущую роль в армянской атаке на город Ходжалы, в котором, как заявлялось, было убито 1000 азербайджанцев. Впоследствии в боевых действиях также участвовали части российского спецназа. Зимой 1992-1993 годов, когда Армения страдала от турецкого эмбарго, она была “спасена от абсолютного экономического краха вливанием миллиардов рублей в виде кредитов от России”. Той же весной российские войска [с .457] совместными действиями помогли регулярным армянским войскам пробить коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом. Затем, как сообщалось, российские бронетанковые части общим числом в сорок танков участвовали в карабахском наступлении летом 1993 года . У Армении, в свою очередь, как отмечают Хилл и Джуитт, “не было иного выбора, кроме как связать себя тесными союзническими узами с Россией. Она зависит от России в том, что касается поставок сырья, электроэнергии и продовольствия и обороны от исторических врагов на своих границах, таких как Азербайджан и Турция. Армения подписала все экономические и военные соглашения СНГ, дала разрешение на размещение российских войск на своей территории и отказалась от всех претензий на имущество бывшего СССР в пользу России” .

Поддержка армян Россией усилила российское влияние на Азербайджан. В июне 1993 года азербайджанский националистический лидер Абульфаз Эльчибей был свергнут в результате государственного переворота, его заменил бывший коммунист и предположительно пророссийски настроенный Гейдар Алиев. Алиев понял необходимость расположить к себе Россию, чтобы обуздать Армению. Он аннулировал отказ Азербайджана присоединиться к Содружеству Независимых Государств и позволил разместить на своей территории российские войска. Также он открыл для России возможность участия в международном консорциуме по разработке азербайджанской нефти. В ответ Россия взяла на себя обучение азербайджанских войск и оказала давление на Армению, чтобы та прекратила поддержку карабахских войск и убедила их отступить с азербайджанской территории. Оказывая нажим то на одну сторону, то на другую, Россия получила возможность добиваться результатов и в пользу Азербайджана, и противодействовать иранскому и турецкому влиянию в этой стране. Таким образом, российская помощь Армении не только содействовала укреплению ее ближайшего союзника на Кавказе, но [с .458] также ослабляла ее главных мусульманских соперников в этом регионе.

Не считая России, основным источником поддержки Армении была обширная, состоятельная и влиятельная диаспора в Западной Европе и в Северной Америке, которая включает в себя приблизительно 1 миллион армян в США и 450 тысяч во Франции. Их помощь деньгами и продовольствием помогла Армении пережить турецкую блокаду, они предоставили чиновников для армянского правительства и добровольцев для вооруженных сил. В середине 1990-х годов размер помощи армянам со стороны американского общества составлял от 50 до 75 миллионов долларов в год. Представители диаспоры также оказывали заметное политическое влияние на правительства стран, которые стали их второй родиной. Самые крупные армянские общины в США находятся в ключевых штатах — в Калифорнии, Массачусетсе и Нью-Джерси. В результате Конгресс наложил запрет на любую иностранную помощь Азербайджану, а Армения стала третьей страной в мире по размеру американской помощи в пересчете на душу населения. Эта поддержка из-за границы сыграла важную роль в выживании Армении, отсюда понятна вся справедливость прозвища “Израиль Кавказа” . Как продвижение России на Северный Кавказ в девятнадцатом веке породило диаспору, которая помогала чеченцам оказывать сопротивление русским, так и турецкая резня армян в самом начале двадцатого века породила диаспору, которая дала возможность Армении противостоять Турции и нанести поражение Азербайджану.

Бывшая Югославия стала ареной самого сложного, самого запутанного и самого показательного комплекса войн по линии разлома, происходивших в начале 1990-х годов. На главном уровне в Хорватии хорватское правительство и хорваты воевали с хорватскими сербами, в Боснии и Герцеговине боснийское правительство боролось с боснийскими сербами и боснийскими хорватами, которые, к тому же, [с .459] воевали между собой. На

втором уровне сербское правительство провозгласило идею “Великой Сербии”, помогая боснийским и хорватским сербам, а хорватское правительство стремилось к “Великой Хорватии” и поддерживало боснийских хорватов. На третьестепенном уровне на грандиозный цивилизационный сбор откликнулись Германия, Австрия, Ватикан, другие европейские католические страны и группировки и, позже, США — от лица Хорватии; Россия, Греция и другие православные страны и группы — на стороне Сербии; Иран, Саудовская Аравия, Турция, Ливия, исламский интернационал и исламские страны вообще — от имени боснийских мусульман. Последние также получали помощь от США — нецивилизационная аномалия в универсальной во всех прочих отношениях модели, когда родич помогает родичу. Свои родные страны поддерживали хорватская диаспора в Германии и боснийская диаспора в Турции. На всех трех сторонах активно выступали духовенство и религиозные группы. На действия по меньшей мере германского, турецкого, российского и американского правительств существенное влияние оказывали “группы давления” и общественное мнение этих стран.

Поддержка, которую оказывали второстепенные и третьестепенные участники конфликта, играла существенную роль в ходе войны, и меры сдерживания, которые навязывали эти же участники, сыграли существенную роль в прекращении войны. Хорватское и сербское правительства снабжали, соответственно, хорватов и сербов, сражавшихся в других республиках, оружием, продовольствием, финансами, предоставляли им убежище и — иногда — вооруженные силы своих народов. И сербы, и хорваты, и мусульмане получали солидную помощь от цивилизационных собратьев за пределами бывшей Югославии в виде денежных средств, оружия, продовольствия, Еоенного обучения и политической и дипломатической поддержки. На неправительственном первом уровне сербы и хорваты отличались, как правило, крайним экстремизмом в своем национализме, неуступчивостью [с .460] в требованиях и наибольшей воинственностью в достижении своих целей. На втором уровне хорватское и сербское правительства вначале решительно поддерживали своих родичей на первом уровне, но собственные, более многообразные интересы заставили их играть посреднические и сдерживающие роли. Аналогичным образом, третьестепенные российское, германское и американское правительства подталкивали правительства второго уровня, которые они поддерживали, в направлении сдерживания конфликта и поиска компромисса.

Распад Югославии начался в 1991 году, когда Словения и Хорватия сделали первые шаги в сторону независимости и обратились к западноевропейским странам с просьбой о поддержке. Ответ Запада был определен Германией, а ответ Германии определялся, в основном, католическими взаимосвязями. Правительство в Бонне оказалось под нажимом — от него требовали действий немецкие католические церковные власти, партнер по правящей коалиции — баварская партия Христианско-социалистический союз, газета “Франкфуртер альгемайне цайтунг” и другие средства массовой информации. Причем ключевую роль в формировании немецкого общественного мнения по вопросу признания Хорватии и Словении сыграли баварские СМИ. “Когда всерьез началась война [с сербами], — отмечала Флора Льюис, — телевизионные репортажи для всей Германии предоставляло баварское телевидение, которое во многом находилось под сильным влиянием в высшей степени консервативного баварского правительства и уверенной в себе баварской католической церкви, имеющей тесные связи с церковью в Хорватии. Освещение событий было крайне предвзятым”. Германское правительство испытывало заметные колебания, не решалось удовлетворить просьбы о признании, но, учитывая давление, которое на него оказывалось в немецком обществе, выбора у него фактически не было. “Решение о признании Хорватии в Германии было принято под нажимом общественного мнения, а [с .461] не под давлением правительства”. Германия оказала нажим на Европейский Союз, чтобы тот признал независимость Словении и Хорватии, а затем, обеспечив принятие этого решения, поспешила сама признать их, причем раньше, чем это сделал Союз в декабре 1991 года. “Все время конфликта, — поделился в 1995 году своими наблюдениями один немецкий

ученый, — Бонн рассматривал Хорватию и ее главу Франьо Туджмана как протезе германской внешней политики; его сумасбродное поведение раздражает, но он по-прежнему может рассчитывать на неизменную поддержку Германии” .

Австрия и Италия немедленно предприняли шаги по признанию двух новых государств, и их примеру очень быстро последовали другие западные страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Ведущую роль в процессе также сыграл и Ватикан. Папа заявил, что Хорватия является “оплотом [западного] христианства”, и поспешил с дипломатическим признанием двух государств раньше, чем то успел сделать Европейский Союз . Таким образом, Ватикан превратился в участника конфликта, что имело свои последствия в 1994 году, когда Папа планировал посетить с визитом три республики. Оппозиция со стороны Сербской православной церкви воспрепятствовала его приезду в Белград, а нежелание сербов гарантировать безопасность Папы привело к отмене его визита в Сараево. Тем не менее, Папа направился в Загреб, где его чествовал кардинал Алоизий Септинав. В годы Второй Мировой войны кардинал был тесно связан с фашистским хорватским режимом, который преследовал и безжалостно истреблял сербов, цыган и евреев.

Заручившись гарантией независимости, Хорватия приступила к наращиванию численности своих вооруженных сил вопреки введенному в сентябре 1991 года эмбарго ООН на поставки оружия во все республики бывшей Югославии. Оружие текло в Хорватию из европейских католических стран, таких, как Германия, Польша и Венгрия, а также из [с .462] латиноамериканских стран наподобие Панамы, Чили и Боливии. Когда война в 1991 году обострилась, экспорт испанского оружия, якобы “в основном контролируемый Opus Dei”, за короткое время вырос в шесть раз, причем большая его часть, предположительно, находила дорогу в Люблян и Загреб. В 1993 году, как сообщалось, Хорватия закупила несколько МиГ-21 у Германии и Польши с ведома их правительств. В хорватские силы обороны влились сотни, а возможно, и тысячи добровольцев “из Западной Европы, хорватской диаспоры и католических стран Восточной Европы”, которые изъявили желание сражаться в “крестовом походе против сербского коммунизма и исламского фундаментализма”. Техническое содействие осуществляли профессионалы-военные из западных стран. Отчасти благодаря этой помощи со стороны родственных стран, хорваты оказались способны укрепить свои вооруженные силы и создать противовес югославской армии, в которой преобладали сербы” .

Западная поддержка Хорватии выражалась также и в том, что Запад сквозь пальцы смотрел на этнические чистки и нарушения прав человека и законов и обычаев войны, в чем постоянно обвиняли сербов. Запад хранил молчание, когда в 1995 году переформированная хорватская армия предприняла наступление на сербов Краины, которые жили там веками, и изгнала сотни тысяч сербов в Боснию и Сербию. Хорватия также получала помощь от своей диаспоры. Богатые хорваты в Западной Европе и Северной Америке предоставляли денежные средства для закупки оружия и снаряжения. Объединения хорватов в США лоббировали интересы родины в Конгрессе и президентской администрации. Чрезвычайно важную роль сыграли 600 тысяч хорватов в Германии. Направив сотни добровольцев в хорватскую армию, “хорватские общины в Канаде, США, Австралии и Германии провели мобилизацию для защиты своей только что обретшей независимости родины” . [с .463]

В 1994 году США присоединились к усилиям по наращиванию хорватской военной мощи. Игнорируя серьезные нарушения Хорватией введенного ООН эмбарго на ввоз оружия, США осуществляли военную подготовку хорватов и дали разрешение высокопоставленным отставным американским генералам консультировать их. Правительства США и Германии дали зеленый свет хорватскому наступлению на Краину в 1995 году. Американские военные советники участвовали в планировании этого проведенного в американском стиле наступления, при котором, по утверждениям хорватов, были использованы разведывательные данные, полученные с американских спутников-шпионов. Хорватия превратилась, как заявил один чиновник государственного департамента, “de facto в нашего стратегического союзника”. Как утверждалось, такое

развитие процесса отражает “перспективное предположение, что, в конечном счете, в этой части мира будут господствовать две локальные силы — одна в Загребе, другая в Белграде; одна связана узами с Вашингтоном, другая входит в славянский блок, простирающийся до Москвы” .

Югославские войны привели и к практически единодушному объединению православного мира на стороне Сербии. Русские националисты, армейские офицеры, парламентарии и лидеры православной церкви откровенно выражали свою поддержку Сербии, не стеснялись в поношении боснийских “турок” и в своем критическом отношении к империализму Запада и НАТО. Русские и сербские националисты действовали сообща, возбуждая в обеих странах оппозицию западному “новому мировому порядку”. В значительной мере эти настроения разделяли и российские массы, причем летом 1995 года свыше 60 процентов москвичей, например, высказывались против воздушных ударов НАТО. Российские националистические группы в нескольких крупных городах с успехом вербовали молодых русских для участия в “деле славянского братства”. По сообщениям, тысяча или больше русских, вместе с добровольцами из [с .464] Румынии и Греции, вступили в вооруженные силы Сербии, чтобы сражаться с теми, кого они характеризовали как “католиков-фашистов” и “исламских активистов”. Как сообщалось, в 1992 году русская часть “в казачьей форме” действовала в Боснии. В 1995 году русские служили в элитных подразделениях сербских войск, и, согласно докладу ООН, русские и греческие бойцы участвовали в сербском нападении на зону безопасности ООН возле Жепы .

Несмотря на эмбарго на поставки оружия, православные друзья снабжали Сербию оружием и боевой техникой, в которых та нуждалась. В начале 1993 года российские военные и разведывательные организации продали сербам на 300 млн. долларов танки Т-55, ракеты и зенитные управляемые ракеты. Как сообщалось, в Сербию отправились русские военные специалисты — для обслуживания этой техники и для обучения сербов пользованию ею. Сербия приобретала оружие и у других православных стран, причем “наиболее деятельными” поставщиками были Румыния и Болгария, источником оружия служила также и Украина. Кроме того, российские миротворческие войска в Восточной Славонии переправляли поставки ООН сербам, облегчали передвижение сербских военных и помогали сербским войскам приобретать оружие .

Несмотря на экономические санкции, Сербия оказалась в состоянии перенести их, благодаря широкомасштабному контрабандному ввозу топлива и других товаров из Тимишоары, где контрабанда была организована румынскими государственными служащими, и из Албании, где пункт переброски организовали сначала итальянские, а затем греческие компании с попустительства правительства Греции. Продовольствие, химические препараты, компьютеры и другие товары из Греции поступали в Сербию через Македонию, и через Македонию же проходил сравнимый по объему с этими поставками сербский экспорт . Сочетание соблазна в виде долларов и сочувствия к собратьям по культуре превратили в посмешище экономические санкции [с .465] ООН против Сербии, точно так же, как это произошло и с введенным ООН эмбарго на поставки оружия во все республики бывшей Югославии.

На протяжении всех югославских войн греческое правительство дистанцировалось от мероприятий, одобренных западными членами НАТО, выступало против военных действий в Боснии, поддерживало сербов в Организации Объединенных Наций и лоббировало отмену экономических санкций против Сербии. В 1994 году премьер-министр Греции Андреас Папандреу, подчеркивая важность православного родства с Сербией, публично подверг нападкам Ватикан, Германию и Европейский Союз за поспешность в осуществлении ими дипломатического признания Словении и Хорватии в конце 1991 года .

Как глава третьестепенного участника конфликта, Борис Ельцин оказался под перекрестным давлением: с одной стороны, он желал сохранить, расширить и с выгодой использовать хорошие отношения с Западом, а с другой — помочь сербам и обезоружить свою политическую оппозицию, которая регулярно обвиняла его в постоянных уступках

Западу. Последнее стремление взяло верх; российская дипломатическая поддержка сербов была постоянной и последовательной. В 1993 и 1995 годах российское правительство энергично выступало против введения строгих экономических санкций против Сербии, российский парламент проголосовал практически единогласно в пользу отмены действовавших санкций против Сербии. Россия также постоянно добивалась ужесточения эмбарго на поставки оружия мусульманам и применения экономических санкций против Хорватии. В декабре 1993 года Россия настаивала на ослаблении экономических санкций с тем, чтобы ей разрешили поставить в Сербию на зиму природный газ; это предложение было заблокировано США и Великобританией. В 1994 году и год спустя Россия твердо выступила против воздушных ударов НАТО по боснийским сербам. Во второй половине года российская Дума почти единодушно [с .466] осудила бомбардировки и потребовала ухода в отставку министра иностранных дел Андрея Козырева за его неэффективную защиту российских национальных интересов на Балканах. Также в 1995 году Россия обвинила НАТО в “геноциде” в отношении сербов, а президент Ельцин предупредил, что продолжение бомбардировок коренным образом скажется на сотрудничестве России с Западом, включая ее участие в программе НАТО “Партнерство во имя мира”. “Как мы можем заключать соглашение с НАТО, — спрашивал он, — когда НАТО бомбит сербов?” Запад, очевидно, использовал двойные стандарты: “Почему тогда, когда нападают мусульмане, против них не предпринимают никаких действий? Или когда нападают хорваты?”. Россия также последовательно противодействовала попыткам временно приостановить действие эмбарго на поставки оружия в бывшие республики Югославии, которое сказывалось, главным образом, на боснийских мусульманах, и регулярно предпринимала усилия для ужесточения этого эмбарго.

Различными способами Россия использовала свое положение в ООН и в других международных организациях для защиты сербских интересов. В декабре 1994 года она наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, выдвинутую мусульманскими странами, которая запретила бы переброску топлива из Сербии боснийским и хорватским сербам. В апреле 1994 года Россия заблокировала резолюцию ООН, осуждавшую сербов за проведение этнических чисток. Она также помешала назначению представителя какой-либо страны НАТО на должность обвинителя ООН по военным преступлениям из-за возможного предубеждения против сербов, возражала против предъявления Международным трибуналом по военным преступлениям обвинения командующему войсками боснийских сербов Ратко Младичу и предложила Младичу убежище в России . В сентябре 1993 года Россия поддержала продление срока действия мандата ООН для [с .467] 22000 миротворцев ООН в бывшей Югославии. Летом 1995 года Россия выступила против резолюции Совета Безопасности, разрешающей размещение еще 12000 миротворцев ООН, хотя и не воспользовалась правом вето, и осудила как хорватское наступление на сербов Краины, так и неспособность западных правительств предпринять действия по пресечению этого наступления.

Самым широким и наиболее эффективным цивилизационным фронтом выступил мусульманский мир, вставший на сторону боснийских мусульман. Борьбе боснийцев повсюду в мусульманских странах оказывалась широкая поддержка; помощь боснийцам поступала из многочисленных источников, как общественных, так и частных; мусульманские правительства, среди которых особо выделялись Иран и Саудовская Аравия, соперничали друг с другом в предоставлении различной помощи, заодно стремясь добиться за счет нее политического влияния. Суннитские и шиитские, фундаменталистские и сугубо светские, арабские и неарабские мусульманские страны от Марокко до Малайзии — все сплотились воедино в поддержку Боснии. Мусульманская помощь боснийцам проявлялась по-разному: начиная от гуманитарной помощи (включая собранные в Саудовской Аравии в 1995 году 90 млн. долларов) и дипломатического содействия и значительной военной помощи вплоть до актов насилия, как, например, убийство в 1993 году исламскими экстремистами двенадцати хорватов в Алжире — “в ответ на гибель наших мусульманских братьев по вере, которым

перерезали горло в Боснии” . Единение мусульман в поддержку Боснии имело огромное влияние на ход войны. Без него боснийское государство могло и не выжить; оно сыграло существенную роль в успехах боснийцев по возвращению районов, потерянных после первоначальных сокрушительных побед сербов. В значительной мере это цивилизационное единение послужило стимулом к исламизации боснийского общества и отождествлению боснийских мусульман с мировым исламским сообществом. [с .468] И благодаря ему у США появилась причина с сочувствием отнестись к нуждам боснийцев.

И по отдельности, и сообща мусульманские правительства постоянно выражали свою солидарность с боснийскими собратьями по вере. В 1992 году инициативу проявил Иран, определивший эту войну как религиозный конфликт с сербами-христианами, повинными в геноциде в отношении боснийских мусульман. Взяв на себя лидерство, как отмечал Фуад Аджамиде, Иран “сделал первый взнос в расчете на признательность боснийского государства” и, показав пример для подражания, подтолкнул к действию другие мусульманские страны, такие как, например, Турция и Саудовская Аравия. С подачи Ирана Организация исламской конференции (ОИК) поставила на рассмотрение боснийский вопрос и создала группу для его лоббирования в ООН. В августе 1992 года на Генеральной ассамблее ООН исламские представители осудили якобы имевший место геноцид и от имени ОИК Турция поставила на обсуждение резолюцию, призывавшую к военному вмешательству согласно Статье 7 Устава ООН. В начале 1993 года мусульманские страны установили предельный срок, к которому Запад должен был предпринять действия для защиты боснийцев и после истечения которого они сочтут себя свободными от обязательств не поставлять оружие в Боснию. В мае 1993 года ОИК осудила разработанный западными странами и Россией план, направленный на обеспечение зон безопасности для мусульман и на контроль границы с Сербией, но не предусматривающий никакого военного вмешательства. ОИК потребовала отмены эмбарго на поставки оружия, применения силы в отношении сербского тяжелого вооружения, активного патрулирования сербской границы и включения в миротворческие силы войск, выделенных мусульманскими государствами. В следующем месяце ОИК, преодолев возражения Запада и России, добилась от Конференции ООН по правам человека одобрения резолюции, осудившей сербскую и хорватскую агрессию и [с .469] призвавшей отказаться от эмбарго на поставки оружия. В июле 1993 года, к некоторому замешательству Запада, ОИК предложила предоставить в распоряжение ООН 18-тысячный корпус миротворческих войск, причем солдаты должны были быть из Ирана, Турции, Малайзии, Туниса, Пакистана и Бангладеш. США отвергли кандидатуру Ирана, а сербы яростно возражали против турецких войск. Тем не менее, летом 1994 года последние прибыли в Боснию, и к 1995 году силы ООН по поддержанию мира численностью в 25000 человек включали 7000 солдат из Турции, Пакистана, Малайзии, Индонезии и Бангладеш. В августе 1993 года делегация ОИК, возглавляемая министром иностранных дел Турции, оказывала закулисное давление на Бутроса Гали и Уоррена Кристофера в пользу экстренных воздушных ударов НАТО, чтобы защитить боснийцев от атак сербов. Западу не удалось этого сделать, что, как сообщалось, создало серьезную напряженность между Турцией и ее союзниками по НАТО .

Впоследствии премьер-министры Турции и Пакистана совершили преданный широкой гласности визит в Сараево, которым стремились подчеркнуть поддержку мусульман, а ОИК вновь повторила свои требования о военной помощи боснийцам. Летом 1995 года неспособность Запада защитить зоны безопасности от нападений сербов привела к тому, что Турция санкционировала военное содействие Боснии и подготовку боснийских войск, Малайзия взяла на себя обязательство продать Боснии оружие в нарушение международного эмбарго, а Объединенные Арабские Эмираты согласились предоставить денежные средства для военных и гуманитарных целей. В августе 1995 года министры иностранных дел девяти стран — членов ОИК объявили недействительным эмбарго ООН на поставку оружия, и в сентябре пятьдесят два члена ОИК одобрили экономическую помощь боснийцам и поставки им оружия.

Хотя никакая другая проблема не обернулась более единодушной поддержкой во всем

исламском мире, особый [с .470] резонанс положение боснийских мусульман вызывало в Турции. Фактически вплоть до 1878 года (а до 1908 года — на бумаге) Босния являлась частью Османской империи, и боснийские иммигранты и беженцы составляют примерно 5 процентов населения Турции. Турецкий народ в подавляющем большинстве выражал сочувствие боснийскому делу и возмущался очевидной неспособностью Запада защитить боснийцев, чем не замедлила с выгодой воспользоваться оппозиционная правительству Исламская партия благоденствия. В свою очередь, официальные лица делали упор на особую ответственность Турции по отношению к балканским мусульманам, и правительство постоянно подталкивало ООН к военной интервенции для спасения боснийских мусульман .

До сих пор самая важная поддержка, оказанная уммой боснийским мусульманам, заключалась в военной помощи: оружие, деньги на его закупку, военная подготовка и добровольцы. Сразу же после начала войны боснийское правительство пригласило муджахеддинов, и общая численность добровольцев, как сообщалось, достигла 4000 — их было больше, чем иностранцев, сражавшихся за сербов или хорватов. В их число входили части из иранских “республиканских стражей” и множество тех, кто воевал в Афганистане. Среди них были уроженцы Пакистана, Турции, Ирана, Алжира, Саудовской Аравии, Египта и Судана, плюс албанские и турецкие гастарбайтеры из Германии, Австрии и Швейцарии. Многих добровольцев отправили саудовские религиозные организации; две дюжины саудовцев были убиты в самые первые месяцы войны в 1992 году; а раненых боевиков обратно в Джидду для лечения перевозила по воздуху Всемирная ассамблея мусульманской молодежи. Осенью 1992 года для обучения боснийской армии прибыли партизаны из шиитского ливанского движения “Хезболлах”, в последующем обучением занимались в основном иранские “республиканские стражи”. Весной 1994 года западная разведка сообщила, что отряд иранских “республиканских [с .471] стражей” численностью в 400 человек организует экстремистские партизанские и террористические подразделения. “Иранцы, — как заявил американский чиновник, — рассматривают эту ситуацию как способ проникнуть в мягкое подбрюшье Европы”. Согласно ООН, муджахеддины обучили для специальных исламских бригад 3000-5000 боснийцев. Боснийское правительство использовало муджахеддинов для “террористических, противозаконных действий и в качестве ударных частей”, хотя эти подразделения зачастую причиняли беспокойство местному населению и создавали правительству другие проблемы. По условиям Дейтонских соглашений все иностранные участники боевых действий обязаны были покинуть Боснию, но боснийское правительство помогло некоторым боевикам остаться, предоставив им боснийское гражданство и записав иранских “республиканских стражей” как общественных работников. “Боснийское правительство многим обязано этим группам, особенно иранским”, — предупреждал в начале 1996 года американский чиновник. “Правительство оказалось неспособным противостоять им. Через двенадцать месяцев мы уйдем, но муджахеддины намерены остаться” 49 .

Богатые страны уммы, возглавляемые Саудовской Аравией и Ираном, выделили огромные денежные средства для наращивания боснийской военной мощи. В первые месяцы войны в 1992 году саудовское правительство и частные лица собрали 150 млн. долларов для помощи боснийцам, якобы на гуманитарные цели, но известно, что использовали эти деньги в основном для военных надобностей. По сообщениям прессы, за два первых года войны боснийцы получили вооружений на общую сумму в 160 млн. долларов. В период 1993-1995 годов боснийцы дополнительно получили от саудовцев 300 млн. долларов на закупки оружия, плюс еще 500 млн. долларов было выделено предположительно на гуманитарную помощь. Иран также выступал источником военной помощи и, согласно американским официальным [с .472] лицам, тратил сотни миллионов долларов в год на закупки оружия для боснийцев. Согласно еще одному сообщению, из направленного в Боснию в первые годы войны оружия на общую стоимость в 2 млрд. долларов мусульманам досталось от 80 до 90 процентов. В результате предоставленной финансовой поддержки боснийцы оказались в состоянии закупить тысячи тонн вооружения. Среди перехваченных грузов были такие

поставки: одна — 4000 винтовок и миллион патронов, вторая — 11.000 винтовок, 30 минометов и 750.000 патронов, а третья включала в себя ракеты “земля — земля”, боеприпасы, джипы и пистолеты. Все эти грузы были отправлены из Ирана, который выступал основным поставщиком оружия, но Турция и Малайзия также внесли существенный вклад в поставку вооружений. Некоторая часть военных грузов была направлена по воздуху прямо в Боснию, но большая часть поставок осуществлялась через Хорватию: либо по воздуху в Загреб, а затем по суше, либо морем через Сплит или другие хорватские порты, а затем по суше. Разрешение на подобный маршрут транспортировки хорваты дали не бескорыстно: определенную долю оружия — по сообщениям, одну треть всех грузов — они оставляли себе, и, помня о том, что в будущем им, возможно, и самим придется воевать с Боснией, наложили запрет на транспортировку через свою территорию танков и тяжелой артиллерии **50** .

Деньги, люди, помощь в военной подготовке и оружие из Ирана, Саудовской Аравии, Турции и других мусульманских стран дали возможность боснийцам превратить то, что все называли армией “сброта”, в достаточно хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы. К зиме 1994 года зарубежные наблюдатели сообщали о впечатляющем росте организационной связности и боевой эффективности боснийской армии **51** . Пустив в ход новообретенную военную мощь, боснийцы нарушили соглашение о прекращении огня и предприняли успешное наступление, сначала против хорватского ополчения, а затем, позже, весной, против сербов. [с .473]

Осенью 1994 года боснийский Пятый корпус выдвинулся из зоны безопасности ООН у Бихача и отбросил сербские войска, одержав самую крупную на то время боснийскую победу и вернув себе значительную территорию, прежде занятую сербами. Последних стесняло введенное президентом Милошевичем эмбарго на оказание помощи. В марте 1995 года боснийская армия вновь нарушила перемирие и начала крупное наступление возле Тузлы, за которым в июне последовало наступление в районе Сараево. Поддержка мусульманских собратьев оказалась необходимым и решающим фактором, позволившим боснийскому правительству осуществить эти изменения в балансе вооруженных сил в Боснии.

Война в Боснии являлась войной цивилизаций. Три главных участника принадлежали к различным цивилизациям и исповедывали разные религии. За одним частичным исключением, участники второго и третьего уровней в точности следовали цивилизационной модели. Мусульманские страны и организации повсеместно спланивались в поддержку боснийских мусульман и противостояли хорватам и сербам. Православные страны и организации во всем мире поддерживали сербов и противостояли хорватам и мусульманам. Западные правительства и элиты оказывали содействие хорватам, жестоко критиковали сербов и были в общем-то индифферентны к мусульманам или опасались их. По мере продолжения войны ненависть и раскол между группами углублялись, а их религиозные и цивилизационные идентичности усиливались, причем наиболее заметно — у мусульман. Общие уроки боснийской войны состоят, во-первых, в том, что главные участники войн по линии разлома могут рассчитывать на получение помощи — которая может быть значительной — от своих цивилизационных собратьев; во-вторых, в том, что подобная помощь может оказать существенное влияние на ход войны; и в-третьих, в том, что правительства и народы одной цивилизации не тратят ни материальных, ни человеческих ресурсов для [с .474] того, чтобы помогать вести войну по линии разлома народу, принадлежащему к другой цивилизации.

Единственным частичным исключением в этом цивилизационном раскладе были Соединенные Штаты Америки, чьи лидеры на словах склонялись на сторону мусульман. Однако на практике их поддержка была ограничена. Администрация Клинтона одобрила использование американской воздушной мощи, но не наземных войск для защиты зон безопасности ООН и настаивала на отмене эмбарго на поставки оружия. Она не оказывала серьезного нажима на своих союзников, чтобы те поддержали отмену эмбарго, но закрывала

глаза как на поставки Ираном оружия боснийцам, так и на финансирование саудовцами закупок боснийцами вооружений, а в 1994 году США прекратили следить за соблюдением эмбарго **52** . Подобными действиями США восстановили против себя своих союзников и вызвали серьезный — как многие посчитали — кризис в НАТО. После подписания Дейтонских соглашений США дали согласие сотрудничать с Саудовской Аравией и другими мусульманскими странами в обучении и в обеспечении оружием и боевой техникой боснийских вооруженных сил. Таким образом, возникает вопрос: почему во время и после войны именно США оказались единственной страной, которая нарушила цивилизационную модель, и стали единственной немусульманской страной, отстаивавшей интересы боснийских мусульман и действовавшей от их имени вместе с мусульманскими странами? Что объясняет эту аномалию?

Один из возможных ответов заключается в том, что на самом деле это не аномалия, а, скорее, тщательно просчитанная цивилизационная *realpolitik*. Встав на сторону боснийцев и предлагая, пусть безуспешно, отменить эмбарго, США стремились уменьшить влияние фундаменталистских мусульманских стран, подобных Ирану и Саудовской Аравии, на прежде светских и европейски ориентированных боснийцев. Однако если таковы были их мотивы, почему США не возражали против иранской и саудовской помощи [с .475] и почему с большей энергичностью не добивались отмены эмбарго, что узаконило бы помощь Запада? Почему американские официальные лица публично предупреждали об опасности исламского фундаментализма на Балканах? Альтернативным объяснением поведения Америки является то, что правительство США находилось под давлением своих друзей в исламском мире, среди которых наиболее заметны Турция и Саудовская Аравия, и соглашалось с их просьбами, чтобы сохранить с ними хорошие отношения. Однако коренятся эти отношения в общих интересах, не имеющих отношения к Боснии, и маловероятно, чтобы существующие связи претерпели существенный ущерб из-за неспособности американцев помочь Боснии. Кроме того, такое объяснение не дает ответа на вопрос, почему США неявным образом одобряли громадный поток иранского оружия, направляемого в Боснию, в то время как сами регулярно бросали вызов Ирану на других фронтах, а Саудовская Аравия была соперником Ирана в борьбе за влияние в Боснии.

Хотя соображения цивилизационной *realpolitik* и способны были сыграть некоторую роль в формировании американского курса, по-видимому, большее влияние имели другие факторы. В любом конфликте за пределами своей страны американцы стремятся определить силы добра и силы зла и встать на сторону первых. Жестокости сербов в начале войны привели к тому, что их изображали как “плохих парней”, которые убивают невинных и творят геноцид, в то время как боснийцам удалось выставить себя в образе беспомощных жертв. На протяжении всей войны американская пресса уделяла мало внимания хорватским и мусульманским этническим чисткам и их военным преступлениям или нарушениям зон безопасности ООН и договоренностей о прекращении огня со стороны боснийских войск. Для американцев боснийцы, по выражению Ребекки Уэст, превратились в “любимчиков, в тот балканский народ, который укоренился в их душах как страдающий и невинный, [с .476] который вечно оказывается жертвой резни и никогда — ее устроителем” **53** .

Американская элита также с благосклонностью отнеслась к боснийцам, потому что ей импонировала идея мультикультурной страны, и на ранних стадиях войны боснийское правительство с успехом эксплуатировало этот образ. На протяжении войны американская политика оставалась неизменно связанной с многоэтнической Боснией, вопреки тому факту, что боснийские сербы и боснийские хорваты в подавляющем большинстве отвергали подобное государственное устройство. Несмотря на то, что создание многоэтнического государства со всей очевидностью невозможно, если — как полагали американцы — одна этническая группа проводит геноцид по отношению другой, в умах американской элиты эти противоречивые представления мирно уживались, рождая глубокое сочувствие борьбе боснийцев. Американский идеализм, страсть к морализированию, гуманистические инстинкты, наивность и невежество относительно Балкан привели, таким образом, к тому,

что Америка заняла позицию пробоснийскую и антисербскую. В то же время Босния не представляла существенного интереса с точки зрения обеспечения безопасности США и между этими странами отсутствовала какая-либо культурная связь, поэтому у правительства США не было причин предпринимать сколько-нибудь значительные шаги для помощи боснийцам, за исключением того, чтобы позволить иранцам и саудовцам вооружать их. Не желая признавать войну таковой, какая она была, американское правительство оттолкнуло своих союзников, затянуло кровопролитие и содействовало появлению на Балканах мусульманского государства, на которое огромное влияние имеет Иран. В конечном счете боснийцы испытывали только горечь и разочарование по отношению к США, которые рассуждали возвышенно, но помогали мало, и глубочайшую благодарность к своим мусульманским братьям, которые предоставили деньги и оружие, ставшие залогом выживания и важных военных побед. [с .477]

“Босния — это наша Испания”, — заметил Бернар-Анри Леви, а саудовский редактор согласился: “Война в Боснии и Герцеговине превратилась в эмоциональный эквивалент борьбы с фашизмом во время гражданской войны в Испании. Тех, кто там погиб, почитают за мучеников, которые старались спасти своих братьев-мусульман” 54 . Сравнение вполне уместно. По возрасту цивилизаций Босния — для всех Испания. Гражданская война в Испании шла между политическими системами и идеологиями, а боснийская война — война между цивилизациями и религиями. Демократы, коммунисты и фашисты отправлялись в Испанию, чтобы сражаться плечом к плечу со своими идейными товарищами, и демократические, коммунистические и — наиболее активно — фашистские правительства оказывали помощь сражающимся сторонам. Войны в Югославии продемонстрировали схожий пример разнообразной внешней поддержки со стороны западных христиан, православных и мусульман в интересах своих цивилизационных родственников. В процесс оказания помощи оказались глубоко вовлечены ведущие державы православия, ислама и Запада. После четырех лет сражений, с победой сил Франко, гражданская война в Испании окончательно завершилась. Войны среди религиозных общин на Балканах, возможно, стихнут и даже на время приостановятся, но, вероятно, ни одна сторона не одержит полную победу, и никакая победа не будет означать конца вражде. Гражданская война в Испании стала прелюдией ко Второй Мировой войне. Боснийская война является наиболее кровавым эпизодом в продолжающемся столкновении цивилизаций.

Прекращение войн по линиям разлома

“Все войны должны кончаться”, — таков традиционный образ мыслей. Верно ли подобное суждение в случае войн, которые [с .478] идут вдоль цивилизационных разломов? И да, и нет. На какое-то время насилие по линии разлома остановить возможно, но надолго его прекратить удастся редко. Для войн по линиям разлома свойственны частые периоды затишья, договоренности о прекращении огня, перемирия, но вовсе не всеобъемлющие соглашения о мире, которые призваны разрешить основополагающие политические вопросы. Подобный переменчивый характер такие войны имеют потому, что корни их — в глубоком конфликте по линии разлома, который приводит к длительным враждебным отношениям между группами, принадлежащими к различным цивилизациям. В основе конфликтов, в свою очередь, лежат географическая близость, различные религии и культуры, разные социальные структуры и разная историческая память двух обществ. В течение столетий они могут эволюционировать, и лежащий в первооснове конфликт может исчезнуть без следа. Или же конфликт будет исчерпан быстро и жестоко — если одна группа уничтожит другую. Однако если ничего из вышесказанного не произойдет, то конфликт продолжится, как продолжатся и повторяющиеся периоды насилия. Войны по линиям разлома являются периодическими, они то вспыхивают, то затухают; а конфликты по линиям разломов являются нескончаемыми.

Войну, идущую по линии разлома, возможно прекратить хотя бы на время; обычно это

зависит от двух факторов. Первый — истощение главных участников. В какой-то момент, когда людские потери возрастают до десятков тысяч, число беженцев исчисляется сотнями тысяч, а города — Бейрут, Грозный, Вуковар — превращаются в руины, люди взывают: “Безумие, безумие! Хватит, натерпелись!”, а радикалы по обе стороны больше не способны разжечь народную ярость, переговоры, которые до того вяло и непродуктивно велись годами, оживают, на переднем плане вновь возникают умеренные, и достигается некая разновидность соглашения для приостановки кровавой бойни. К весне 1994 года шестилетняя война за Нагорный Карабах [с .479] истощила как армян, так и азербайджанцев, и поэтому они согласились на перемирие. Аналогичным образом, как сообщалось, осенью 1995 года в Боснии “все стороны выдохлись”, и в жизнь были претворены Дейтонские договоренности 55 . Тем не менее, подобные приостановки ограничены по срокам. Они дают возможность обеим сторонам собраться с силами и пополнить ресурсы. Затем, когда одна из сторон сочтет, что настал благоприятный для нее момент, война возобновляется.

Для достижения временной паузы также требуется наличие второго фактора: вовлеченность участников неглавных уровней, заинтересованных в урегулировании и обладающих значительным политическим весом, чтобы свести вместе воюющие стороны. Войны по линиям разломов почти никогда не удается остановить непосредственными переговорами между одними только главными участниками и крайне редко — при посредничестве незаинтересованных сторон. Для главных участников чрезвычайно сложно сесть за стол переговоров и начать продуктивное обсуждение с тем, чтобы рассчитывать на какую-то форму прекращения огня — слишком велика культурная дистанция между ними, слишком сильна взаимная ненависть и жестокость. На первом месте продолжают оставаться лежащие в основе конфликта политические проблемы — кто и на каких условиях какую территорию и каких людей контролирует, — и это обстоятельство мешает достичь согласия по более узким вопросам.

Войны по линиям разлома прекращают вовсе не бескорыстные личности, группы или организации, а заинтересованные второстепенные и третьестепенные участники конфликта, которые объединились в поддержку родственных им главных участников и которые имеют, с одной стороны, возможность вести переговоры о соглашениях со своими противниками и, с другой стороны, средства оказать воздействие на своих цивилизационных родичей, чтобы те приняли эти соглашения. В то время как сплочение [с .480] обостряет и затягивает войну, оно, как правило, является также необходимым, хотя и недостаточным условием для ограничения и приостановления войны. Страны, участвующие в конфликте на втором и третьем уровнях, обычно не хотят превращаться в воюющие стороны первого уровня, и, следовательно, стараются удержать войну под контролем. Интересы у них также более разнообразны, чем у основных участников, которые сосредоточены исключительно на войне, и в своих взаимоотношениях друг с другом у этих стран есть и другие насущные вопросы. Следовательно, на каком-то этапе они, вероятно, придут к выводу, что в их интересах остановить вооруженную борьбу. Поскольку они поддержали своего цивилизационного родича, то у них имеются рычаги воздействия на него. Таким образом, те, кто оказывал поддержку воюющей стороне, превращаются в тех, кто стремится сдержать и обуздать войну.

Эскалация войн, в которых не принимают участия второстепенные и третьестепенные стороны, менее вероятна по сравнению с прочими, но и остановить их труднее; таковыми являются войны между группами, принадлежащими к разным цивилизациям, в которых недостает стержневых государств. Отдельные проблемы возникают и в тех случаях войн по линиям разломов, которые представляют собой восстание в пределах признанного государства или конфликт с недостаточным числом сплотившихся стран-родичей. Чем дольше длится восстание, тем безмернее становятся аппетиты его участников, от автономии в каком-то виде — к полной независимости, на что правительство отвечает отказом. Обычно в качестве первого шага по урегулированию конфликта, правительство выдвигает

требование, чтобы повстанцы сложили оружие, от чего отказываются уже восставшие. Правительство, вполне естественно, оказывает противодействие привлечению участников извне в то, что оно рассматривает как сугубо внутреннюю проблему, связанную с “преступными элементами”. Характеристика происходящего как внутреннего дела страны [с .481] служит для других государств оправданием тому, чтобы держаться в стороне от войны, как то имело место в случае западных держав и Чечни.

Подобные проблемы осложняются в том случае, если у участвующих в конфликте цивилизаций отсутствуют стержневые страны. Например, война в Судане, которая началась в 1956 году, была приостановлена в 1972 году, когда участники конфликта оказались истощены, и Всемирный совет церквей и Всеафриканский совет церквей — практически единственное в своем роде достижение неправительственных международных организаций — с успехом заключили Аддис-Абебское соглашение, предоставлявшее самоуправление Южному Судану. Тем не менее, десять лет спустя правительство аннулировало соглашение, война возобновилась, требования восставших стали больше, позиция правительства ужесточилась, и переговорные усилия по очередной приостановке боевых действий потерпели неудачу. Ни в арабском мире, ни в Африке нет стержневых государств, имеющих определенные интересы и обладающих необходимым влиянием, чтобы оказывать давление на участников конфликта. Посреднические усилия Джимми Картера и ряда африканских лидеров не принесли успеха, как и старания комитета восточно-африканских стран в составе Кении, Эритреи, Уганды и Эфиопии. Соединенные Штаты Америки, которые с Суданом находятся в глубоко враждебных отношениях, не могли ни действовать напрямую, ни обратиться с просьбой взять на себя посредническую миссию ни к Ирану, ни к Ираку, ни к Ливии, имеющим тесные связи с Суданом; следовательно, в сократившемся списке оставалась лишь Саудовская Аравия, но саудовское влияние на Судан тоже было ограниченным 56 .

В общем, чтобы переговоры о прекращении огня были успешны, к ним одновременно и в равной мере должны быть привлечены второстепенные и третьестепенные участники с обеих сторон. Тем не менее, в некоторых обстоятельствах одно-единственное стержневое государство может оказаться [с .482] достаточно влиятельным, чтобы добиться прекращения войны. В 1992 году Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) предприняло попытку посредничать в армяно-азербайджанской войне. В специально созданный комитет, так называемую Минскую группу, вошли главные, второстепенные и третьестепенные участники конфликта (армяне Нагорного Карабаха, Армения, Азербайджан, Россия, Турция), плюс Франция, Германия, Италия, Швеция, Чехия, Беларусь и США. Не считая США и Франции, где есть заметная армянская диаспора, остальные страны были мало заинтересованы в результате переговоров, а их способность добиться окончания боевых действий была мала или отсутствовала вовсе. Когда два третьестепенных участника, Россия и Турция, совместно с США согласовали план урегулирования, его отвергли армяне Нагорного Карабаха. Однако Россия независимо выступила спонсором длительного ряда переговоров в Москве между Арменией и Азербайджаном, которые “создали альтернативу Минской группе, и... потому усилия международного сообщества пропали втуне” 57 . В конце концов, после того, как главные соперники истощили силы и русские заручились поддержкой переговоров со стороны Ирана, усилия России привели к заключению соглашения о прекращении огня. Как второстепенные участники, Россия и Иран также действовали сообща в имевших переменный успех попытках достичь прекращения огня в Таджикистане.

Россия сохранит свое присутствие в Закавказье, и у нее будут средства для обеспечения соблюдения договора о прекращении огня, заключенного при ее участии, до тех пор, пока она в нем заинтересована. Положение США по отношению к Боснии совершенно иное. Дейтонские договоренности основывались на предложениях, которые были разработаны контактной группой заинтересованных стержневых государств (Германии, Великобритании, Франции, России и США), но для разработки окончательного соглашения не была

привлечена ни одна страна из числа участвовавших в [с .483] войне на третьем уровне, а два из трех главных участников войны оказались на обочине переговорного процесса. Обеспечение соглашения возлагается на силы НАТО, в которых ведущую роль играют американцы. Если США выведут из Боснии свои войска, ни у европейских держав, ни у России не будет мотивировки для продолжения выполнения соглашения, и у боснийского правительства, сербов и хорватов, как только они восстановят свои силы, будут развязаны руки для возобновления войны, а сербское и хорватское правительства будет одолевать искушение воспользоваться возможностью воплотить в жизнь свои мечты о Великой Сербии и Великой Хорватии.

Роберт Путнэм придавал большое значение тому, в какой степени переговоры между государствами являются “играми на двух уровнях”, в которых дипломаты ведут переговоры одновременно с избирателями в своих странах и со своими коллегами из другой страны. В аналогичном анализе Хантингтон показал, что реформаторы в авторитарном правительстве, договаривающиеся с умеренными оппозиционерами о переходе к демократии, должны вести переговоры со сторонниками жесткой линии в правительстве или противостоять им, в то время как умеренные должны вести себя схожим образом по отношению к радикалам в оппозиции 58 . В эти игры на двух уровнях вовлечено как минимум четверо участников, и между ними складываются по меньшей мере три, а чаще четыре связи. Однако усложненная война по линии разлома является игрой на трех уровнях, по меньшей мере с шестью участниками и по меньшей мере с семью связями между ними (см. рисунок 11.1). Горизонтальные связи через линию разлома существуют между парами основных, второстепенных и третьестепенных участников. Вертикальные связи существуют между участниками на различных уровнях в рамках каждой цивилизации. Следовательно, для достижения прекращения боевых действий в войне в случае “полной модели”, вероятно, требуется, чтобы: [с .484]

- в процессе активно действовали участники второго и третьего уровней;
- участники третьего уровня вели переговоры об общих принципах прекращения боевых действий;
- третьестепенные участники проводили политику “кнута и пряника”, вынуждая участников второго уровня принять условия договора и оказать, со своей стороны, давление на основных участников, чтобы заставить и тех принять условия соглашения;
- второстепенные участники прекратили поддерживать главных участников, таким образом, в сущности, предав их;
- в результате оказанного давления основные участники должны согласиться на условия соглашения, которые, разумеется, они нарушат, когда сочтут, что это в их интересах.

Процесс мирного урегулирования ситуации в Боснии включал в себя все эти элементы. Для выработки соглашения усилиям отдельных действующих сторон — Соединенным Штатам Америки, России, Европейскому Союзу — заметно недоставало успеха. Западным державам не хотелось включать Россию в процесс достижения мира как полноправного партнера. Русские энергично возражали против своего неучастия, приводя те доводы, что их связывают с сербами исторические узы и что они непосредственно заинтересованы в Балканах, причем больше, чем какая-либо другая великая держава. Россия настаивала на своей роли полноправного игрока в усилиях по разрешению конфликта и решительно осуждала “стремление со стороны США диктовать собственные условия”. Необходимость включить русских в мирный процесс стала очевидна в феврале 1994 года. Без консультаций с Россией НАТО предъявило боснийским сербам ультиматум: вывести тяжелые вооружения из района вокруг Сараево, в противном случае по ним будут нанесены воздушные удары. Сербь не поддавались этому требованию, и вооруженное столкновение с НАТО казалось весьма вероятным. Ельцин предупредил, [с .485] что “кое-кто пытается разрешить боснийский вопрос без участия России” и что “мы этого не позволим”. Затем российское правительство перехватило инициативу и уговорило сербов на отвод тяжелого вооружения, при условии, что Россия разместит в районе Сараево войска по поддержанию мира. Этот

удачный дипломатический ход предотвратил эскалацию насилия, продемонстрировал Западу влияние России на сербов, российские войска оказались в самом сердце спорного района между боснийскими мусульманами и сербами **59** . Посредством этого маневра Россия действенным образом подкрепила свое требование на “равное партнерство” с Западом в отношении Боснии.

Однако в апреле НАТО, без консультаций с Россией, вновь санкционировало бомбардировку сербских позиций. Этот шаг вызвал негативную реакцию всего российского политического истеблишмента и усилил националистическую оппозицию Ельцину и Козыреву. Немедленно после этого имеющие отношение к поискам мира третьестепенные страны — Великобритания, Франция, Германия, Россия и США — сформировали контактную группу для выработки условий перемирия. В июне 1994 года группа предложила план, по которому 51 процент Боснии передавался мусульманско-хорватской федерации, а 49 процентов — боснийским сербам и который заложил основу для последующих Дейтонских соглашений. На следующий год оказалось необходимым разработать договоренности по участию российских войск в обеспечении выполнения Дейтонских соглашений.

Теперь нужно было склонить к принятию договоренностей, согласованных между третьестепенными участниками, второстепенных и основных действующих лиц. Американцы, как сказал российский дипломат Виталий Чуркин, должны были оказать нажим на боснийцев, немцы — на хорватов, а русские — на сербов **60** . На ранних стадиях югославских войн Россия пошла на важнейшую уступку, [с .486] согласившись на введение экономических санкций против Сербии. Как родственная страна, которой сербы могли доверять, Россия также иногда была способна сдерживать сербов и оказывать на них давление, чтобы заставить тех пойти на компромисс, от которого они иначе отказались бы. В 1995 году, например, Россия вместе с Грецией обратилась с просьбой к боснийским сербам гарантировать освобождение голландских миротворцев, которых те удерживали в качестве заложников. Тем не менее, при благоприятной возможности боснийские сербы нарушали соглашения, которые заключали под нажимом России, и, таким образом, создавали проблемы для России, которую обвиняли в неспособности контролировать своего цивилизационного родича. В апреле 1994 года, например, Россия добилась от боснийских сербов отказа от нападений на Горажде, но сербы нарушили договоренность. Русские пришли в бешенство: как заявил один российский дипломат, боснийские сербы “помешались на войне”; Ельцин настаивал на том, что “сербское руководство должно выполнить обязательства, данные им России”, и Россия сняла свои возражения против авиационных ударов НАТО **61** .

Поддерживая и усиливая Хорватию, Германия и другие западные страны имели возможность воздействовать на поведение Хорватии. Президент Туджман был глубоко озабочен тем, чтобы его католическая страна была принята как европейская и ее допустили в европейские организации. Западные державы воспользовались и дипломатической, и экономической, и военной поддержкой, которую они оказывали Хорватии, и хорватским желанием быть принятой в “клуб” и сумели вынудить Туджмана пойти на компромисс по многим вопросам. В марте 1995 года до сведения Туджмана было доведено, что если он хочет стать частью Запада, то должен дать согласие на пребывание в Крайне сил безопасности ООН. “Для Туджмана очень важно присоединиться к Западу, — говорил один европейский дипломат. — Он [с .487] не хочет, чтобы его оставили наедине с сербами и русскими”. Когда войска Туджмана захватили ряд населенных сербами территорий в Крайне и в других местах, его предупредили о недопустимости этнических чисток и потребовали воздержаться от продолжения наступления на Восточную Славонию. По другому спорному вопросу хорватам было заявлено, что если они не присоединятся к федерации с мусульманами, то, как выразился один американский чиновник, “для них двери на Запад будут закрыты навсегда” **62** . В качестве основного внешнего источника финансовой подпитки Хорватии Германия занимала особенно надежную позицию для оказания влияния

на поведение хорватов. Тесные взаимосвязи, которые установили с Хорватией США, также помогали удерживать Туджмана, по крайней мере, на протяжении 1995 года, от претворения в жизнь его неоднократно высказанного желания разделить Боснию и Герцеговину между Хорватией и Сербией.

В отличие от России и Германии, США не доставало культурной общности с Боснией, следовательно, слабая позиция не позволяла им оказывать давление на мусульман, чтобы склонить тех к компромиссу. Кроме того, если оставить в стороне риторические пассажи, США помогали боснийцам единственно тем, что закрывали глаза на поставки оружия Ираном и другими мусульманскими государствами в обход эмбарго. А значит, боснийские мусульмане все в большей степени чувствовали благодарность к исламскому сообществу и все больше соотносили себя с ним. Одновременно они осуждали США за приверженность “двойным стандартам” и за то, что те не предприняли для отражения агрессии против боснийцев таких же шагов, на которые американцы пошли после нападения на Кувейт. И личина жертвы, под которую боснийцам удалось укрыться, по-прежнему затрудняла для США оказание давления на несговорчивых. Таким образом, боснийцы могли отвергать предложения о мире, с помощью своих мусульманских друзей [с .488] наращивали военную мощь и в конечном счете перехватили инициативу и вернули потерянные ими ранее значительные территории.

Труднее всего склонить к компромиссу главных участников. В войне в Закавказье ультранационалистический Армянский революционный союз (“Дашнак”), чья позиция в армянской диаспоре была очень сильна, имел преобладающее влияние в Нагорно-Карабахской области и отверг турецко-российско-американское предложение о мире от мая 1993 года, принятое армянским и азербайджанским правительствами. Затем он предпринял военное наступление, которое вызвало обвинения в этнических чистках, встревожило перспективами более широкой войны и обострило отношения с более умеренным армянским правительством. Успех нагорно-карабахского наступления породил проблемы для Армении, которая была озабочена улучшением своих отношений с Турцией и Ираном — ей необходимо было ослабить дефицит продовольствия и энергии, явившийся следствием войны и турецкой блокады. “Чем лучше идут дела в Карабахе, тем хуже ситуация для Еревана”, — прокомментировал один западный дипломат 63 . Подобно президенту Ельцину, президенту Армении Левону Тер-Петросяну приходилось противостоять натиску националистов в законодательном органе страны на учитывающий более широкие интересы внешнеполитический курс, направленный на примирение с другими странами, и в конце 1994 года его правительство запретило в Армении деятельность дашнакской партии.

Подобно армянам Нагорного Карабаха, боснийские сербы и хорваты заняли жесткую позицию и отказались от компромисса. В результате, когда на хорватское и сербское правительства для содействия в процессе мирного урегулирования оказали давление, вскрылись проблемы в их взаимоотношениях с боснийскими единоплеменниками. В случае с хорватами эти проблемы оказались менее серьезны, [с .489] так как боснийские хорваты согласились хотя бы формально присоединиться к федерации с мусульманами. Конфликт между президентом Милошевичем и лидером боснийских сербов Радованом Караджичем, подстегиваемый личной враждебностью, наоборот, углубился и стал публичным. В августе 1994 года Караджич отверг план мирного урегулирования, одобренный Милошевичем. Сербское правительство, озабоченное тем, чтобы добиться снятия санкций, заявило, что оно прекращает все торговые операции с боснийскими сербами, сделав исключение для продовольствия и медикаментов. В ответ ООН ослабил санкции в отношении Сербии. На следующий год Милошевич позволил хорватской армии изгнать сербов из Краины, а хорватским и мусульманским войскам отеснить их обратно в северозападную Боснию. Он также согласился с Туджманом и дал разрешение на постепенное возвращение оккупированной сербами Восточной Славонии под хорватский контроль. С одобрения великих держав, впоследствии он, в сущности, “ввел” боснийских сербов в Дейтонский переговорный процесс, включив их представителей в свою делегацию.

Благодаря действиям Милошевича, с Сербии сняли санкции ООН. Благодаря этим же действиям, он удостоился осторожной похвалы от несколько удивленного международного сообщества. Агрессивный националист, сторонник этнических чисток, радетьель Великой Сербии, милитарист образца 1992 года превратился в миротворца образца 1995 года. Но для многих сербов он стал предателем. В Белграде его осудили сербские националисты и главы православной церкви, и сербы Краины и Боснии в резких выражениях обвинили его в измене. В этом отношении они, разумеется, были неоригинальны: такие же обвинения бросали израильскому правительству за его соглашение с ООП поселенцы Западного берега реки Иордан. Предательство родича — вот цена мира в войне по линии разлома. [с.490]

Усталость от войны и давление и посулы третьестепенных участников вынуждают уступить второстепенных и главных участников. И либо умеренные сменяют у власти экстремистов, либо экстремисты, подобно Милошевичу, понимают, что в их интересах стать умеренными. Однако подобные действия сопряжены с риском. Те, кого считают предателями, возбуждают куда более неистовую ненависть, чем враги. Лидеров кашмирских мусульман, чеченцев и шри-ланкийских сингальцев не единожды постигала судьба Садата и Рабина за предательство и попытку добиться компромисса с врагом рода человеческого. В 1914 году сербский националист убил австрийского эрцгерцога. После Дейтонских соглашений его наиболее вероятной мишенью может стать Слободан Милошевич.

Соглашению о прекращении войны по линии разлома будет сопутствовать успех — пусть всего лишь на время — в той мере, в какой оно отражает локальный баланс сил среди первостепенных участников и интересы третьестепенных и второстепенных участников. Разделение Боснии в пропорции 51 процент — 49 процентов не было осуществимым в 1994 году, когда сербы контролировали 70 процентов страны; оно стало реальным, когда наступления хорватов и мусульман уменьшили контролируемую сербами территорию почти до половины. Мирному процессу также способствовали происходившие этнические чистки, причем доля сербов сократилась менее чем до 3 процентов населения Хорватии, а в Боснии члены всех трех групп оказались разъединены, насильно либо добровольно. Кроме того, чтобы предлагать практически осуществимое решение, второстепенным и третьестепенным участникам войны — причем в качестве последних чаще всего выступают стержневые страны цивилизаций — необходимо иметь реальную заинтересованность, основанную на обеспечении своей безопасности или на религиозно-национальной общности. В одиночку главные участники не в состоянии [с .491] остановить войны, которые идут вдоль линий цивилизационных разломов. Остановить их и предотвратить их перерастание в глобальные войны — разрешение этой задачи зависит главным образом от интересов и действий стержневых стран основных мировых цивилизаций. Войны вдоль линии разлома закипают снизу, мир по линии разлома просачивается сверху. [с .492]

ЧАСТЬ 5. БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Глава 12. Запад, цивилизации и Цивилизация

Возрождение Запада?

Для каждой цивилизации, по крайней мере, единожды, а временами и чаще, история заканчивается. Когда возникает универсальное государство, его народ обычно бывает ослеплен тем, что Тойнби называл “миражом бессмертия”, и убежден, что их государство есть последняя форма человеческого общества. Так было с Римской империей, с халифатом Аббасидов, с империей Великих Моголов, с Оттоманской империей. Граждане подобных универсальных государств “совершенно пренебрегая очевидными фактами... склонны считать его не пристанищем на ночь в пустыне, а землей обетованной, целью человеческих стремлений”. То же самое было верно, когда вершины своего расцвета достиг Pax Britannica.

Для английского среднего класса в 1897 году “как они себе это представляли, история закончилась... И у них имелись все причины, чтобы поздравить себя с постоянным государством благоденствия, которым подобное окончание истории их одарило” . Однако государства, предполагающие, будто для них история закончилась, обычно суть те государства, история которых начинает клониться к закату.

Является ли Запад исключением из общей схемы? Мелко удачно сформулировал два ключевых вопроса. [с.495]

Первое: является ли западная цивилизация новым видом цивилизации, единственной в своем роде, несравнимой со всеми прочими цивилизациями, которые когда-либо существовали?

Второе: угрожает ли (или сулит ли) всемирная экспансия исчерпать возможности развития всех прочих цивилизаций? .

Вполне естественно, что большинство жителей Запада склонно на оба этих вопроса отвечать утвердительно. И, возможно, они правы. Однако в прошлом народы других цивилизаций полагали точно так же, и полагали неверно.

Очевидно, Запад отличается от всех прочих когда-либо существовавших цивилизаций тем, что он имел преобладающее влияние на все другие цивилизации, которые существовали в мире, начиная с 1500 года. Он также знаменовал собой процессы модернизации и индустриализации, которые охватили весь мир, и, как следствие этого, государства в иных цивилизациях пытаются нагнать Запад, стать столь же современными и богатыми. Но означают ли подобные характеристики Запада, что развитие западной цивилизации фундаментально отличается от моделей, которые главенствуют во всех иных цивилизациях? Свидетельства истории и суждения ученых, занимающихся сравнительной историей цивилизаций, заставляют предполагать иное. По сегодняшний день развитие Запада существенно не отклонялось от эволюционных схем, обычных для цивилизаций на протяжении всей истории. Исламское возрождение и экономический динамизм Азии наглядно демонстрируют, что и другие цивилизации жизнеспособны, активны и, по меньшей мере, потенциально угрожают Западу. Нельзя сказать, что большая война с участием Запада и стержневых государств, принадлежащих к другим цивилизациям, является неизбежной, но она может случиться. В качестве альтернативы, постепенный и неравномерный процесс упадка Запада, начавшийся в начале двадцатого века, продолжался бы десятилетия, а возможно, и грядущие столетия. Или [с .496] же Западу суждено пройти через период возрождения, обрести свое прежнее влияние на международные отношения, ныне пошедшее на спад, и вновь утвердить положение лидера, за которым следуют другие цивилизации и которому они подражают.

Вероятно, наиболее пригодной является периодизация эволюции исторических цивилизаций, в которой Кэрролл Куигли рассматривает общую схему из семи фаз . По ее представлению, западная цивилизация постепенно начала приобретать свой вид между 370 и 750 годами н.э. через смешение элементов классической, семитской, мавританской и варварской культур. За периодом созревания, продлившимся от середины восьмого века до конца десятого столетия, последовало поведение, необычное для цивилизаций, — колебания между фазами экспансии и конфликта. По терминологии Куигли, как и по терминологии ученых-гуманитариев из других цивилизаций, Запад теперь, по-видимому, выходит из фазы конфликта. Западная цивилизация становится зоной безопасности; войны внутри Запада, не считая случающихся изредка тресковых войн, практически немыслимы. Запад развивает, как показано в главе 2, свой эквивалент универсальной империи в форме сложной системы конфедераций, федераций, различных режимов и иных разновидностей объединенных институтов, каковые на цивилизационном уровне воплощают его приверженность демократической и плюралистической политике. Короче говоря, Запад превратился в зрелое общество, и оно вступает в эпоху, которую будущие поколения, согласно повторяющейся схеме развития цивилизаций, будут вспоминать как “золотой век”, как период мира, являющегося результатом, в терминах Куигли, “отсутствия всяких конкурирующих единиц в

пределах сферы самой цивилизации и отдаленности или даже отсутствия борьбы с другими государствами вне оной”. Это период процветания, к которому приводит “окончание внутреннего агрессивного уничтожения, сокращение внутренних торговых барьеров, установление единой системы мер и весов и общей монетной [с .497] системы и сложная система правительственных расходов, что связано с установлением универсальной империи”.

В предшествовавших цивилизациях эта фаза благословенного золотого века с его образами бессмертия завершалась либо драматично и скоротечно, победой внешнего государства, либо медленно и в равной мере болезненно из-за внутреннего разложения. Происходящее внутри цивилизации жизненно важно как для ее способности противостоять разрушению со стороны внешних источников, так и для способности сдерживать разложение внутри. Цивилизации растут, как утверждала Куигли в 1961 году, потому что у них имеется “инструмент для экспансии”, а именно, военная, религиозная, политическая или экономическая организация, которая аккумулирует излишек и вкладывает его в производительную инновацию. Цивилизации приходят в упадок, когда прекращают “использование избытка для новых способов производства. В современных терминах мы говорим, что уменьшается темп инвестирования”. Это происходит потому, что у контролирующих излишек социальных групп имеется привилегированная верхушка, которая использует его для “непроизводительных, но удовлетворяющих эго целей... которая распределяет излишки для потребления, но не обеспечивает более эффективных методов производства”. Люди проживают свой капитал, и цивилизация движется от стадии универсального государства к стадии загнивания. Это период сильной экономической депрессии, падения жизненного уровня, гражданских войн между различными привилегированными классами и нарастающей неграмотности. Общество становится все слабее. Предпринимаются тщетные усилия законодательно прекратить напрасные траты. Но упадок продолжается. Религиозные, интеллектуальные, социальные и политические уровни общества начинают терять поддержку народных масс в больших масштабах. В обществе начинают [с .498] широко распространяться новые религиозные течения. Наблюдается нарастающее нежелание бороться за государство или даже поддерживать его посредством уплаты налогов.

Затем разложение приводит к стадии вторжения, “когда цивилизация, более не способная защищать себя, потому что она более не хочет защищать себя, оказывается беззащитной перед “захватчиками-варварами”, которые часто приходят из “другой, более молодой, более сильной цивилизации” .

Однако важнейший урок истории цивилизаций состоит в том, что многие события вероятны, но нет ничего неизбежного. Цивилизации могут меняться и на самом деле меняются и обновляются. Важнейший вопрос для Запада заключается в том, способен ли он, оставляя в стороне все прочие внешние вызовы, остановить и обратить вспять внутренние процессы разложения. Может ли Запад обновиться или будет вынужден претерпевать внутреннее загнивание, просто ускоряя конец и/или подчинение другой, экономически и демографически более динамичной цивилизации?

В середине 1990-х годов у Запада отмечались многие характерные черты, определенные Куигли как свойственные [с .499] зрелой цивилизации на грани разложения. Экономически Запад был намного богаче любой другой цивилизации, но у него также были низкие темпы экономического роста, норма сбережений и темпы прироста капиталовложений, особенно по сравнению со странами Восточной Азии. Личное и совокупное потребление имеет приоритет над созданием возможностей для будущей экономической и военной мощи. Естественный прирост населения невысок, особенно по сравнению с тем же показателем в исламских странах. Однако ни одна из этих проблем не влечет неизбежно катастрофических последствий. Экономика стран Запада по-прежнему росла; в целом западные народы богатели, и Запад по-прежнему оставался лидером в научных исследованиях и технологических новшествах. Маловероятно, чтобы ситуацию с

низкой рождаемостью удалось поправить мерами правительств (чьи усилия в этом направлении, как правило, еще менее успешны, чем старания уменьшить рост населения). Иммиграция, тем не менее, является потенциальным источником новой энергии и человеческого капитала только при выполнении двух условий: первое, если приоритет отдается способным, квалифицированным, энергичным людям с талантами и знаниями, в которых нуждается принимающая сторона; второе, если новые мигранты и их дети ассимилировались в культуру конкретной страны и Запада вообще. Соединенные Штаты, по всей видимости, сталкиваются с проблемами при реализации первого условия, а европейские страны — с проблемами, связанными с выполнением второго. Тем не менее, определение политики, выявляющей уровни, источники, особенности иммиграции и ассимиляции иммигрантов, находится всецело в компетенции западных правительств.

Куда более важными, чем экономика и демография, являются проблемы падения нравов, культурного суицида и политической разобщенности на Западе. Среди наиболее часто отмечаемых проявлений морального упадка: [с.500]

1. Рост антисоциального поведения — преступность, употребление наркотиков и насилие вообще;

2. Распад семьи, включая возросший процент разводов, незаконнорожденных детей, подростковой беременности и неполных семей;

3. По крайней мере в США, упадок в “общественном капитале”, то есть сокращение членства в добровольных объединениях и снижение межличностного доверия, связанное с подобным членством;

4. Общее ослабление “рабочей этики” и рост культа персональных привилегий;

5. Падение интереса к образованию и к интеллектуальной деятельности, проявляющееся в США в более низких уровнях научной работы.

Будущее процветание Запада и его влияние на другие страны зависят в значительной мере от успешного преодоления этих тенденций, которые, разумеется, дают повод к притязаниям мусульман и азиатов на моральное превосходство.

Западной культуре бросают вызов и группы внутри западных обществ. Один из них исходит от тех иммигрантов из других цивилизаций, кто отказывается ассимилироваться и продолжает оставаться верен духовным ценностям, обычаям и культуре своих родных стран и передает их из поколения в поколение. Данный феномен наиболее заметен среди мусульман в Европе, где они, однако, составляют небольшое меньшинство. В меньшей степени он также проявляется в США у латиноамериканцев, которые являются значительным меньшинством. Если в этом случае не произойдет ассимиляции, то США превратятся в расколотую страну, обладающую всеми потенциальными возможностями для внутренних раздоров, влекущих за собой разобщение. В Европе западная цивилизация также может быть расшатана ослаблением своего центрального компонента, христианства. Все меньшую долю составляют те европейцы, [с .501] которые заявляют о своих религиозных убеждениях, следуют религиозной практике и участвуют в религиозной деятельности. Эта тенденция отражает не столько враждебное отношение к религии, сколько равнодушие к ней. Христианские идеи, нравственные ценности и обычаи, тем не менее, пропитывают европейскую цивилизацию “Шведы, пожалуй, самый нерелигиозный народ в Европе, — заметил один из них, — но вы совершенно не поймете эту страну, если только не осознаете, что наши общественные институты, социальные обычаи, семьи, политика и образ жизни зиждутся на фундаменте, сформированном нашим лютеранским наследием”. Американцы, в отличие от европейцев, в преобладающем большинстве веруют в Бога, считают себя религиозным народом и в массовом порядке посещают церковь. Хотя в середине 1980-х годов было не слишком много свидетельств возрождения религии в Америке, в следующее десятилетие, по-видимому, религиозная активность возросла. Эрозия христианства среди жителей западных стран, вероятно, даже в самом худшем случае является лишь далеко отстоящей по времени угрозой жизнеспособности западной цивилизации.

США оказались перед более непосредственным и опасным вызовом. Исторически

американская национальная идентичность определялась в культурном отношении традициями западной цивилизации, а политически — принципами “американского идеала”, с которыми согласно подавляющее большинство американцев: свобода, демократия, индивидуализм, равенство перед законом, конституционализм, частная собственность. В конце двадцатого века оба компонента американской идентичности подвергались непрерывным нападкам мелких, но влиятельных групп интеллектуалов и публицистов. Во имя мультикультурности они избрали объектом своей критики отождествление США с западной цивилизацией, отрицая существование единой американской культуры, и поддерживают расовые, этнические и другие субнациональные культурные особенности и группировки. Они осуждают, как сказано в одном из их [с .502] докладов, “систематическое пристрастие к европейской культуре и ее производным” в образовании и “преобладание европейско-американской монокультурной перспективы”. Мультикультураллисты являются, как сказал Артур М. Шлезингер-младший, “этноцентрическими сепаратистами, которые в наследии Запада видят разве что преступления Запада”. Их “отношение — одно из тех, которые лишают американцев грешного европейского наследия и отправляют на поиски искупительного вливания от не-западных культур” .

Тенденция к мультикультурности проявилась также в ряде законов, которые были приняты после актов о гражданских правах в 1960-х годах, и в 1990-х годах администрация Клинтона провозгласила поощрение многообразия культур одной из своих целей. Полная противоположность прошлому! Отцы-основатели понимали разнообразие как реальность и как проблему: отсюда и национальный девиз, *e pluribus unum* , выбранный комитетом Континентального конгресса, состоявшим из Бенджамина Франклина, Томаса Джефферсона и Джона Адамса. Позже политические лидеры, которые также испытывали опасения в отношении расового, группового, этнического, экономического и культурного многообразия (каковое фактически и вызвало крупнейшую войну века между 1815-м и 1914 годами), отозвались на призыв “объединиться” и сделали своей важнейшей обязанностью сохранение национального единства. “Абсолютно надежный способ привести эту нацию к гибели — воспрепятствовать всякой возможности ее существования как нации вообще, — предостерегал Теодор Рузвельт, — и он состоит в том, чтобы позволить ей превратиться в клубок вздорящих народов” . Но в 1990-х годах лидеры Соединенных Штатов не только создали такую возможность, но и с настойчивостью утверждали идею многообразия нации, которой они управляют.

Руководители других стран, как мы видели, иногда предпринимали попытки отречься от культурного наследия и изменить идентичность своей страны, перенеся ее из одной [с .503] цивилизации на другую. До сих пор ни в одном случае успеха не наблюдалось, вместо этого получались шизофренически разорванные страны. Американские мультикультураллисты сходным образом отказываются от культурного наследия своей страны. Но вместо попытки идентифицировать США с другой цивилизацией они желают создать страну из множества цивилизаций, иначе говоря, страну, не принадлежащую ни к какой цивилизации и лишенную культурного ядра. История показывает, что ни одна страна, так составленная, не просуществует достаточно долго как связное общество. Полицивилизационные Соединенные Штаты Америки не будут Соединенными Штатами; это будут Объединенные Нации.

Мультикультураллисты также бросают вызов стержневому элементу “американского идеала”, заменяя права личностей правами групп, определенных в значительной мере в терминах расы, этнической принадлежности, пола и сексуальной ориентации. Как сказал в 1940-х годах Гуннар Мурдал, подтверждая замечания иностранных наблюдателей, начиная с Эктора Сент-Джона де Кревекера и Алексиса де Токвиля, идеал служил “цементом в здании этой великой и не сравнимой ни с кем нации”. “Такова наша судьба, — соглашался Ричард Хофштадер, — не иметь идеологии, но быть ею” . Тогда что происходит с США, если от этой идеологии отказывается значительная часть ее граждан? Судьба Советского Союза,

другой великой державы, чье единство, даже больше, чем единство США, определялось в идеологических терминах, должна стать отрезвляющим примером для американцев. “Абсолютная неудача марксизма... и стремительный распад Советского Союза, — высказывал предположение японский философ Такеши Умехара, — являются предвестниками краха западного либерализма, основного течения современности. Далеким от того, чтобы быть альтернативой марксизму, господствующая идеология конца истории, либерализм станет следующей костяшкой домино, которой суждено упасть” . В эру, [с .504] когда люди во всем мире определяют себя в терминах культуры, каким будет место общества без культурного ядра, общества, определяемого только посредством политического кредо? Политические принципы — слишком хлипкое основание, чтобы на нем строить прочное общество. В полицивилизационном мире, где основой является культура, США рискуют стать последним аномальным пережитком угасающего западного мира, где за основу бралась идеология.

Отказ от идеала и от западной цивилизации означает конец тех Соединенных Штатов Америки, которые мы знали. Фактически это означает и конец западной цивилизации. Если США девестернизируются, Запад съжится до размеров Европы и еще нескольких мало населенных европейскими поселенцами заокеанских стран. Без Соединенных Штатов Запад превратится в очень маленькую, исчезающую часть мирового населения на небольшом и не имеющем значения полуострове на оконечности громадного Евразийского континента.

Столкновение между мультикультуралистами и защитниками западной цивилизации и “американского идеала” является, по выражению Джеймса Курта, “настоящим столкновением” внутри американского сектора западной цивилизации . Американцам не уйти от вопроса: являемся ли мы народом Запада или мы — нечто иное? Будущность США и Запада зависит от американцев, которые вновь подтверждают свою приверженность западной цивилизации. Внутри страны это означает отказ от сеющих распри, чарующих призывов к мультикультурности. На международном уровне это означает отказ от расплывчатых и иллюзорных призывов отождествить США с Азией. Какие бы экономические связи ни существовали между ними, фундаментальная культурная брешь между азиатскими и американскими обществами препятствует их соединению в общем доме. Американцы в культурном отношении являются частью западной семьи; мультикультуралисты способны нанести ущерб и даже разрушить это родство, но они не смогут [с .505] заменить его. Когда американцы начинают искать свои культурные истоки, то находят они их в Европе.

В середине 1990-х годов прошла новая дискуссия о природе Запада и о его будущем, вновь возникло понимание, что таковая реальность существует, и на передний план выдвинулась обеспокоенность тем, что могло бы надолго гарантировать его существование. Отчасти это было вызвано предугадываемой необходимостью расширить главный западный институт, НАТО, и включить в него западные страны на Востоке и серьезными разногласиями, которые возникли на Западе относительно того, как реагировать на распад Югославии. Также эта проблема отражает вообще тревогу о будущем единстве Запада в отсутствие советской угрозы и в особенности стремление понять, что это означает для обязательств США в отношении Европы. Так как западные страны все в большей степени взаимодействуют с наращивающими свою мощь не-западными странами, они все более и более осознают свое общее западное культурное ядро, которое связует их воедино. Главы стран по обе стороны Атлантики подчеркивают необходимость вдохнуть новую жизнь в атлантическое сообщество. В конце 1994 года и в 1995 году немецкий и английский министры обороны, французский и американский министры иностранных дел, Генри Киссинджер и многие другие видные деятели Запада выступили с поддержкой этой идеи. Высказанные ими соображения в сжатом виде выразил английский министр обороны Малкольм Рифкинд, который в ноябре 1994 года приводил доводы о необходимости создания “Атлантического сообщества”, опирающегося на четыре столпа: оборона и безопасность, олицетворенные НАТО; “общая вера в нормы закона и в парламентскую

демократию”; “либеральный капитализм и свободная торговля” и “общее европейское культурное наследие, восходящее от Греции и Рима через Ренессанс к общим ценностям, убеждениям и цивилизации нашего собственного века” . В 1995 году Европейская комиссия начала проект, призванный “оживить” [с .506] трансатлантические взаимоотношения, который привел к подписанию важного пакта между Евросоюзом и США. Одновременно многие европейские политические и деловые лидеры одобрили создание трансатлантической зоны свободной торговли. Хотя АФТ-КПП противятся деятельности НАФТА и другим мерам по либерализации торговли, его глава горячо поддержал соглашение о трансатлантической зоне свободной торговли, которое не будет угрожать американским рабочим местам конкуренцией со стороны низкооплачиваемых стран. Его также поддержали консерваторы, как европейские (Маргарет Тэтчер), так и американские (Ньют Гингрич), а также канадские и английские политики.

Запад, как было показано в главе 2, миновал первую, европейскую, фазу развития и экспансии, которая длилась несколько столетий, а затем прошел через вторую, американскую, фазу в двадцатом веке. Если Северная Америка и Европа вновь обратятся к “добродетельной жизни”, основанной на их культурной общности, и создадут тесные формы экономической и политической интеграции, дополнив свое сотрудничество во имя безопасности в НАТО, то они способны породить третью, евро-американскую, фазу западного экономического изобилия и политического влияния. Содержательная политическая интеграция в какой-то мере уравнивала бы относительное падение доли Запада в мировом народонаселении, экономической продукции и военном потенциале и воскресила бы мощь Запада в глазах лидеров других цивилизаций. “Имея подобное влияние на торговлю, — предупреждал Азию премьер-министр Махатхир, — конфедерация Евросоюза и НАФТА смогла бы диктовать условия остальному миру” . Однако объединятся ли Запад политически и экономически, в огромной мере зависит от того, подтвердят ли Соединенные Штаты свою идентичность как западной нации и заявят ли о своей глобальной роли лидера Западной цивилизации. [с .507]

Запад в мире

В мире, где культурные идентичности — этнические, национальные, религиозные, цивилизационные — занимают главное место, а культурные сходства и различия формируют союзы, антагонизмы и политические линии государств, Западу вообще и Соединенным Штатам в частности следует опираться на три основания в своей политике.

Во— первых, только принимая и понимая реальный мир, государственные деятели способны конструктивно изменять его. Складывающаяся ныне политика, основанная на культуре, возвышение и усиление могущества не-западных цивилизаций и растущая культурная уверенность в себе этих стран широко признаны не-западным миром. Европейские лидеры указывали на культурные силы, сближающие людей и отдаляющие их друг от друга. Американская же элита, наоборот, чересчур медлит с признанием возникающих реалий. Администрации Клинтона и Буша поддерживали единство полицивилизационных Советского Союза, Югославии, Боснии и России, в тщетных усилиях сдерживать мощные этнические и культурные силы, подталкивающие эти государства к разделению. Они выступали в поддержку планов полицивилизационной экономической интеграции, которые либо оказывались бессмысленными, как в случае с АПЕК, либо приводили к значительным непредвиденным экономическим и политическим издержкам, как в случае с НАФТА и Мексикой. Они стремились развивать тесные взаимоотношения со стержневыми странами других цивилизаций в форме “глобального партнерства” с Россией или “конструктивного привлечения” с Китаем, вопреки существующему между США и вышеупомянутыми странами естественному конфликту интересов. В то же самое время администрации Клинтона не удалось полностью привлечь Россию к поискам мира в Боснии, несмотря на то, что эта война непосредственно затрагивала интересы России как [с .508]

стержневой страны православной цивилизации. Гонимая за химерой полицивилизационного государства, администрация Клинтона отвергла самоопределение сербского и хорватского меньшинств и помогла создать на Балканах однопартийного исламистского партнера Ирана. Сходным образом правительство США поддержало подчинение мусульман православному правлению, придерживаясь тезиса, что “Чечня, вне всякого сомнения, является частью Российской Федерации”.

Хотя европейцы ясно осознают значимость разделительной линии между западным христианством, с одной стороны, и православием и исламом — с другой, Соединенные Штаты Америки, как заявлял их государственный секретарь, “не признают каких бы то ни было фундаментальных рубежей между католической, православной и исламской частями Европы”. Однако те, кто не признает важнейших границ, обречен постоянно испытывать разочарование. Первоначально администрация Клинтона, по-видимому, не обращала внимания на изменение баланса сил между США и восточно-азиатскими странами и в результате снова и снова провозглашала цели в области торговли, прав человека, нераспространения ядерного оружия и других сфер, которых не способны была осуществить. Вообще правительство США исключительно тяжело приспосабливалось к эпохе, в которой глобальная политика формируется культурными и цивилизационными течениями.

Во— вторых, американское внешнеполитическое мышление страдало от нежелания изменить, а иногда и пересмотреть политический курс, отвечавший потребностям времен “холодной войны”. Некоторым по-прежнему мерещится потенциальная угроза возрождения Советского Союза. Обычно люди склонны относиться к альянсам времен “холодной войны” и к соглашениям по контролю над вооружениями как к святыне. НАТО должно сохраняться таким, каким оно было в “холодную войну”. Японо-американский договор о безопасности -краеугольный камень системы безопасности Восточной Азии. Договор по ПРО нерушим. Договор об [с .509] обычных вооружениях в Европе должен соблюдаться. Понятно, нельзя просто отбросить в сторону ни один из этих договоров, как и другие остатки наследия “холодной войны”. Однако интересы США и Запада не требуют того, чтобы все эти договоренности сохранялись неизменными в том же виде, какими они были в эпоху “холодной войны”. Реалии полицивилизационного мира предполагают, что НАТО следует расширять, включать в себя желающие присоединиться к пакту западные страны. Нужно также признать, что по сути бессмысленно иметь в качестве членов организации два государства, каждое из которых является злейшим врагом другого, при том, что обоим недостает культурного сродства с прочими членами блока. Договор по ПРО, заключенный в эпоху “холодной войны” и призванный гарантировать взаимную уязвимость советского и американского государств и таким образом не допустить советско-американскую ядерную войну, может серьезно помешать США и другим государствам защитить себя от непредсказуемой ядерной угрозы или от нападения со стороны террористических движений и неблагоприятных диктаторов. Американо-японский договор о безопасности способствовал сдерживанию советской агрессии против Японии. Каким целям он призван служить в эпоху после “холодной войны”? Чтобы сдерживать Китай и внушить ему страх? Задержать процесс приспособления Японии к возвышению Китая? Предотвратить дальнейшую милитаризацию Японии? Все больше и больше возникает сомнений: в Японии — относительно необходимости американского военного присутствия в стране, а в США — по поводу целесообразности односторонних обязательств по защите Японии. Договор об обычных вооруженных силах в Европе был призван ослабить конфронтацию, ныне исчезнувшую, между НАТО и Варшавским договором в Центральной Европе. Теперь это соглашение главным образом создает трудности для России, когда ей приходится противостоять тому, что, по ее мнению, является угрозой безопасности страны со стороны мусульманских народов на южных границах. [с .510]

В— третьих, культурные и цивилизационные различия ставят под сомнение западную и в особенности американскую веру в универсальную значимость западной культуры. Подобная убежденность выражается как в описательном, так и в нормативном видах.

Описательно она основывается на том, что люди всех обществ стремятся воспринять западные ценности, институты и обычаи. Если же оказывается, что у них нет такого желания и что они привержены своим традиционным культурам, то этих людей считают жертвами “ложного сознания” -сравнимого с тем, какое марксисты обнаруживали у пролетариев, поддерживающих капитализм. Нормативно же убежденность западных универсалистов исходит из постулата, что людям во всем мире следует усвоить западные ценности, институты и культуру, потому что те воплощают в себе самое высшее, самое просвещенное, самое либеральное, самое рациональное, самое современное и самое цивилизованное мышление человечества.

В возникающем мире этнических конфликтов и столкновения цивилизаций западная вера в универсальность западной культуры страдает от трех недостатков: она неверна; она аморальна и она опасна. Ошибочность ее — краеугольная идея этой книги; этот тезис хорошо резюмировал Майкл Говард: “Широко распространенное на Западе представление, что культурное разнообразие — некий исторический курьез, который быстро исчезает в результате экспансии всеобщей, ориентированной на Запад, англофонной мировой культуры, который изменяется, воспринимая наши основные ценности... является попросту неверным” . Читатель, которого к настоящему моменту не убедили доводы сэра Майкла, живет в мире, совершенно не похожем на тот, какой описывается в этой книге.

Вера в то, что не-западным народам нужно усвоить западные ценности, институты и культуру, аморальна, если подумать о том, что необходимо для реализации такой задачи. Почти всемирное господство европейской мощи в конце девятнадцатого века и глобальное доминирование США в [с .511] конце двадцатого века привели к распространению по всему миру многих элементов западной цивилизации. Однако европейского глобализма более не существует. Американская гегемония отступает, хотя бы потому, что больше нет необходимости защищать США от советской военной угрозы, как то было в эпоху “холодной войны”. Культура, как мы показали, следует за могуществом. Если не-западным государствам суждено еще раз сформироваться под влиянием западной культуры, то это произойдет только в результате экспансии, воздействия западного могущества. Империализм является неизбежным логическим следствием универсализма. Помимо того, будучи зрелой цивилизацией, Запад более не обладает экономическим или демографическим динамизмом, необходимым для навязывания своей воли другим государствам, а любые попытки добиться этого также противоречат западным ценностям самоопределения и демократии. И поскольку азиатская и мусульманская цивилизации все громче заявляют об универсальной значимости своих культур, то на Западе все больше начинают осознавать значение связи между универсализмом и империализмом.

Западный универсализм опасен для мира, потому что может привести к крупной межцивилизационной войне между стержневыми государствами, и он опасен для Запада, потому что может привести к поражению Запада. На Западе с крушением Советского Союза полагают, что их цивилизация достигла беспрецедентного господства, в то время как более слабые азиатские, мусульманские и другие страны начинают набирать силу. Таким образом, на Западе могут руководствоваться знакомой и преисполненной силы логикой Брута:

...наши легионы

Здесь в полном сборе; наш успех созрел,

Враг на подъеме, набирает силы;

А нам с вершины под уклон идти.

В делах людей прилив есть и отлив, [с.512]

С приливом достигаем мы успеха.

Когда ж отлив наступит, лодка жизни

По отмелям несчастий волочится.

Сейчас еще с приливом мы плывем.

Воспользоваться мы должны теченьем

Иль потеряем груз**.

Однако такая логика привела к поражению Брута при Филиппах, и благоразумным для Запада курсом была бы не попытка остановить перемены в балансе сил, а понять, как провести корабль через отмели, вытерпеть несчастья, умерить груз и охранить свою культуру.

Все цивилизации проходят через сходные процессы возникновения, возвышения и упадка. Запад отличается от прочих цивилизаций не тем, как он развивался, а особенным характером своих духовных ценностей и общественных институтов. Среди них наиболее яркими являются западное христианство, плюрализм, индивидуализм и верховенство закона, что позволило Западу создать современный мир, осуществить мировую экспансию и превратиться в объект зависти других стран. В своем единстве и целостности эти характеристики являются присущими Западу. Европа, как говорил Артур М. Шлезингер-младший, является “источником — *уникальным* источником представлений об индивидуальной свободе, политической демократии, господстве закона, правах человека и свободы в культуре... Это — *европейские* идеи, не азиатские, не африканские, не ближневосточные — за исключением случаев заимствования”. Именно они делают западную цивилизацию уникальной, и западная цивилизация ценна не потому, что универсальна, а потому, что действительно уникальна. Следовательно, главная ответственность западных лидеров состоит вовсе не в том, чтобы пытаться изменять другие цивилизации по образу и подобию Запада — что выше его [с .513] клонящегося к упадку могущества, — но чтобы сохранить, защитить и обновить уникальные качества западной цивилизации. Поскольку Соединенные Штаты Америки — наиболее могущественная страна Запада, то ответственность за это ложится главным образом именно на них.

Чтобы оберечь западную цивилизацию, вопреки ослаблению могущества Запада, в интересах США и европейских стран:

- добиться большей политической, экономической и военной интеграции и координировать свою политику таким образом, чтобы помешать странам, принадлежащим к другим цивилизациям, воспользоваться разногласиями между западными странами;
- принять в Европейский Союз и НАТО западные страны Центральной Европы, а именно: страны Вышеградской группы, прибалтийские республики, Словению и Хорватию;
- поддерживать “вестернизацию” Латинской Америки и, насколько это возможно, тесное блокирование латиноамериканских стран с Западом;
- сдерживать развитие военной мощи исламских и синских стран — как обычных видов вооружения, так и средств массового поражения;
- замедлить “дрейф” Японии от Запада в сторону приспособления к Китаю;
- признать Россию как стержневую страну православной цивилизации и крупную региональную державу, имеющую законные интересы в области обеспечения безопасности своих южных рубежей;
- сохранить западное технологическое и военное превосходство над другими цивилизациями;
- что наиболее важно, осознать, что вмешательство Запада в дела других цивилизаций является, вероятно, единственным наиболее опасным источником нестабильности и потенциального глобального конфликта в полицивилизационном мире. [с .514]

После окончания “холодной войны” в Соединенных Штатах Америки шли бурные дебаты о правильном курсе американской внешней политики. Но в наступившую эпоху США не имеют возможности ни доминировать в мире, ни отгородиться от него. Ни интернационализм, ни изоляционизм, ни многосторонность, ни односторонность не способны наилучшим образом послужить интересам США. Наилучшим для них будет воздержаться от крайностей и принять на вооружение атлантистскую политику — политику тесного сотрудничества с европейскими партнерами, чтобы защищать и отстаивать интересы и ценности уникальной цивилизации, которую они разделяют.

Цивилизационная война и порядок

Глобальная война, в которую будут втянуты стержневые страны основных цивилизаций мира, хотя и крайне маловероятна, но не исключена. Подобная война, как мы предположили, может произойти в результате эскалации идущей по линии разлома войны между группами, принадлежащими к различным цивилизациям, и наиболее вероятно, что с одной стороны в ней будут участвовать мусульмане, а с другой — не-мусульмане. Вероятность расширения войны окажется выше, если честолюбивые мусульманские стержневые страны будут соперничать между собой в оказании поддержки своим выстроившимся в боевой порядок единоверцам. Вероятность эскалации будет меньше, если у родственных стран второго и третьего уровней не будет заинтересованности в своем участии в войне. Более опасная причина глобальной межцивилизационной войны — изменение расстановки сил между цивилизациями и их стержневыми странами. Если этот процесс будет продолжаться, то возвышение Китая и растущая самоуверенность “самого крупного игрока в человеческой истории” окажет огромное [с .515] влияние на международную стабильность в начале двадцать первого века. Появление Китая как наиболее влиятельной силы в Восточной и Юго-Восточной Азии войдет в противоречие с американскими интересами в том виде, как их исторически интерпретировали.

Как могла бы, с учетом американских интересов, развиваться война между США и Китаем? Допустим, что сейчас 2010 год. Из объединившейся Кореи ушли американские войска, а военное присутствие США в Японии значительно сократилось. Тайвань и континентальный Китай достигли примирения, при этом Тайвань продолжает *de facto* сохранять большую часть своей независимости, но открыто признает сюзеренитет Пекина и при поддержке Китая допущен в Организацию Объединенных Наций — по той же схеме, что Украина и Белоруссия в 1946 году. Быстрыми темпами осуществляется разработка американскими компаниями нефтяных месторождений в Южно-Китайском море, в основном, под покровительством Китая, но отдельные зоны находятся под вьетнамским контролем. Благодаря новым возможностям военного присутствия уверенность Китая окрепла, и он объявляет, что намерен установить полный контроль над всем Южно-Китайским морем — Китай всегда претендовал на суверенитет над ним. Вьетнамцы оказывают сопротивление, происходит вооруженное столкновение между китайскими и вьетнамскими военными кораблями. Китайцы, горя желанием отомстить за унижение 1979 года, вторгаются во Вьетнам. Вьетнамцы обращаются с просьбой о помощи к американцам. Китайцы предупреждают США от вмешательства. Япония и другие страны Азии пребывают в крайнем смятении. США заявляют, что не могут согласиться с завоеванием китайцами Вьетнама, призывают к экономическим санкциям в отношении Китая и направляют в Южно-Китайское море одну из нескольких оставшихся у них авианосных оперативных групп. Китайцы осуждают этот шаг, объявляют его вторжением в китайские территориальные воды и наносят воздушные удары по авианосной [с .516] группировке. Попытки Генерального секретаря ООН и японского премьер-министра добиться договоренности о прекращении огня терпят крах, и боевые действия распространяются на всю Восточную Азию. Япония запрещает использовать находящиеся на своей территории американские базы для ведения боевых действий против Китая, США игнорируют этот запрет, Япония объявляет о своем нейтралитете и подвергает базы изоляции. Китайские подводные лодки и самолеты наземного базирования, действующие как с Тайваня, так и из континентального Китая, наносят серьезный ущерб американским кораблям и объектам в Восточной Азии. Тем временем китайские сухопутные войска входят в Ханой и оккупируют большую часть Вьетнама.

Так как и Китай, и США располагают ракетами, способными нести ядерное оружие и достигать территории друг друга, то ситуация заходит в тупик и это оружие на ранних фазах войны не используется. Тем не менее, обе страны испытывают страх перед ядерными ударами, особенно силен он в США. Это заставляет многих американцев задаваться вопросом, почему они должны подвергаться подобной опасности? Какое нам дело, если

Китай будет контролировать Южно-Китайское море, Вьетнам или даже всю Юго-Восточную Азию? Особенно сильна оппозиция войне в штатах на юго-западе США с преобладающим испаноязычным населением. И жители, и правительства этих штатов заявляют, что “это не наша война” и пытаются уклониться, по примеру Новой Англии в войне 1812 года. После того как китайцы закрепят свои первоначальные победы в Восточной Азии, американское общественное мнение начнет меняться — в том направлении, на какое надеялись японцы в 1942 году: слишком высока цена, которую нужно заплатить за отражение самых последних по времени притязаний гегемонистской державы; давайте завершим войну переговорами и положим конец sporadическим боевым действиям или “странной войне”, идущей ныне в западной части Тихоокеанского региона. [с .517]

Однако война тем временем оказывает свое воздействие на основные страны других цивилизаций. Индия воспользуется благоприятной возможностью и, пока Китай связан в Восточной Азии, нанесет опустошительный удар по Пакистану с намерением полностью уничтожить его ядерный и обычный военный потенциал. На первых порах наступление имеет успех, но в действие вступает военный союз между Пакистаном, Ираном и Китаем, и на выручку Пакистану приходит Иран, со своими оснащенными новейшей техникой современными вооруженными силами. Индия увязает в боях с иранскими войсками и пакистанскими партизанами, принадлежащими к нескольким различным этническим группам. Как Пакистан, так и Индия обращаются за поддержкой к арабским государствам, причем Индия предупреждает об опасности иранского господства в Юго-Западной Азии, — но благодаря первоначальному успеху Китая против США активизировались в мусульманских странах основные антизападные движения. Одно за другим немногие оставшиеся у власти в арабских странах и в Турции прозападные правительства низвергаются под натиском исламистских движений, черпающих силы в последних поколениях мусульманского “молодежного пика”. Спровоцированный слабостью Запада вал антизападных настроений вызывает массированное арабское нападение на Израиль, которое не в состоянии остановить сильно ослабленный Шестой флот США.

Китай и Соединенные Штаты пытаются заручиться поддержкой других ключевых государств. Так как Китай добивается военных успехов, Япония слабовольно начинает пристраиваться в хвост к Китаю, меняя свою позицию формального нейтралитета на прокитайский позитивный нейтралитет, затем она, уступая требованиям Китая, становится воюющей стороной. Японские войска занимают оставшиеся в Японии американские базы, и США поспешно выводят свои войска. США объявляют о блокаде Японии, и американские и японские корабли вступают в sporadические дуэли в западной части Тихого океана. В начале войны [с .518] Китай предложил России договор о взаимной безопасности (смутно напоминающий пакт Молотова — Риббентропа). Однако китайские успехи произведут на Россию впечатление в точности обратное тому, какое они произвели на Японию. Перспектива победы Китая и его абсолютного господства в Восточной Азии внушает страх Москве. Поскольку политика России принимает антикитайский уклон и она предпринимает шаги по усилению группировки войск в Сибири, многочисленные китайские поселенцы в Сибири начинают мешать действиям России. Затем Китай осуществляет военную интервенцию для защиты своих соотечественников и оккупирует Владивосток, долину Амура, занимает другие ключевые части Восточной Сибири. И когда в центральной Сибири разворачиваются боевые действия между российскими и китайскими войсками, происходят восстания в Монголии, над которой Китай раньше установил свой “протекторат”.

Важнейшее значение для всех воюющих сторон имеет контроль над нефтью и доступ к ней. Несмотря на существенные капиталовложения в ядерную энергетику, Япония по-прежнему сильно зависит от импорта нефти, что не может не сказаться на тенденции к примирению с Китаем и стремлении обезопасить транспортировку нефти из Персидского залива, Индонезии и Южно-Китайского моря. По ходу войны, поскольку арабские страны подпадают под контроль исламских активистов, поставки нефти из Персидского залива на Запад уменьшаются, превратившись в тонкую струйку, из-за чего Запад все в большей

степени попадает в зависимость от российских, кавказских и среднеазиатских источников. Это приводит к тому, что Запад интенсифицирует попытки перетянуть Россию на свою сторону и поддержать ее в стремлении распространить свой контроль над богатыми нефтью мусульманскими странами к югу от нее.

Тем временем США энергично пытаются мобилизовать своих европейских союзников. Но те, расширяя дипломатическое и экономическое содействие, не желают позволить [с .519] вовлечь себя в боевые действия. Однако Китай и Иран опасаются, что западные страны в конце концов сплотятся с США, как в свое время США приходили на помощь Великобритании и Франции в двух мировых войнах. Чтобы предотвратить это, Китай и Иран тайно разворачивают в Боснии и Алжире ракеты промежуточной дальности, способные нести ядерные боеголовки, и предупреждают европейские державы, чтобы те не вмешивались в войну. Такой шаг, как это почти всегда бывало с китайскими попытками запугать другие страны — за исключением Японии, — привел к последствиям совершенно противоположным тому, чего добивался Китай. Американская разведка узнает о развертывании ракет и сообщает о нем, и Совет НАТО заявляет, что ракеты должны быть немедленно убраны. Однако опередив какие-либо действия НАТО и желая вернуть себе свою историческую роль защитницы христианства от турок, Сербия вторгается в Боснию. Хорватия присоединяется к ней, и эти две страны оккупируют и делят между собой Боснию, захватывают ракеты и энергично приступают к завершению этнических чисток, которые они вынуждены были прекратить в 1990-х годах. Албания и Турция пытаются помочь боснийцам; Греция и Болгария начинают вторжение на европейскую часть Турции, и паника охватывает Стамбул, когда турки бегут через Босфор. Тем временем оснащенная ядерной боеголовкой ракета, запущенная из Алжира, взрывается в районе Марселя, и НАТО отвечает опустошительными воздушными ударами по целям в Северной Африке.

Таким образом, США, Европа, Россия и Индия окажутся втянуты в поистине глобальную борьбу против Китая, Японии и большинства исламских стран. Как может закончиться подобная война? Обе стороны обладают крупными ядерными потенциалами, и ясно, что если их применение перешагнет некий минимальный уровень, то ведущие страны обеих сторон будут существенно разрушены. Если сработает механизм взаимного сдерживания, то взаимное истощение сторон может привести к переговорам, а затем и к [с .520] заключению перемирия, которое, тем не менее, не разрешит фундаментальный вопрос о китайской гегемонии в Восточной Азии. В качестве альтернативы Запад может попытаться нанести поражение Китаю с использованием обычной военной мощи. Но сближение с Китаем Японии предоставит Китаю защиту в виде островного “санитарного кордона”, препятствующего США использовать свои военно-морские силы против расположенных на побережье китайских городов и промышленных центров. Альтернативой этому варианту является наступление на Китай с запада. Боевые действия между Россией и Китаем способствуют тому, что НАТО приветствует прием России в число ее полноправных членов. НАТО начинает сотрудничать с Россией, они вместе противодействуют китайскому вторжению в Сибирь, обеспечивают сохранение российского контроля над мусульманскими нефтяными и газовыми странами Средней Азии, оказывают поддержку восстаниям тибетцев, уйгуров и монголов против китайского господства. Постепенно происходит мобилизация и развертывание западных и российских войск в восточном направлении и в сторону Сибири для последнего удара через Великую Китайскую стену на Пекин, в Манчжурию и в ханьское сердце Китая.

Каким бы ни был непосредственный исход этой глобальной цивилизационной войны — взаимное ядерное опустошение, пауза для переговоров как следствие взаимного истощения или завершающий марш российских и западных войск по площади Тяньаньмынь, — наиболее заметным долгосрочным результатом почти неизбежно станет радикальный упадок экономической, демографической и военной мощи всех основных участников войны. Вследствие этого глобальная сила, каковая веками перемещалась с Востока на Запад, а затем вновь стала смещаться с Запада на Восток, теперь передвинется с Севера на Юг. Львиную

долю выгод от войны цивилизаций получают те цивилизации, которые воздерживаются от участия в ней. Если опустошение, в различной степени, постигнет Запад, Россию, Китай и Японию, то перед Индией откроется возможность придать [с .521] миру новый вид согласно индусскому плану — если ей, несмотря даже на участие в войне, удастся избежать серьезных разрушений. Значительная часть американской общественности возложит вину за серьезное ослабление США на белую англосаксонскую протестантскую элиту, узко ориентированную на Запад. К власти приходят испаноговорящие лидеры, заручившиеся обещанием значительной помощи, наподобие плана Маршалла, со стороны переживающих экономический бум латиноамериканских стран, не принявших участия в войне. С другой стороны, Африка, которая мало что способна предложить для восстановления Европы, наоборот, оттуда устремляются орды социально подвижных людей, стремящихся поживиться на пепелище. В Азии, в случае, если Китай, Япония и Корея будут разорены войной, центр силы также сдвинется в южном направлении; остававшаяся нейтральной Индонезия превращается в доминирующее государство и, при руководстве австралийских советников, станет определять ход событий на пространстве от Новой Зеландии на востоке до Мьянмы и Шри-Ланки на западе и Вьетнама на севере. Все это предвещает в будущем конфликт с Индией и с возрожденным Китаем. Так или иначе, средоточие мировой политики сдвигается на юг.

Если приведенный сценарий представляется читателю дикой и неправдоподобной фантазией, оно и к лучшему. Будем надеяться, что и все прочие сценарии глобальной цивилизационной войны будут не более правдоподобны. Однако в этом сценарии наиболее правдоподобны, а значит, и более всего тревожат, причины войны: вмешательство стержневой страны одной цивилизации (США) в спор между стержневой страной другой цивилизации (Китай) и страной-членом той же цивилизации (Вьетнам). США сочтут подобное вмешательство необходимым — для того, чтобы утвердить международные законы, отразить агрессию, защитить свободу открытого моря, обеспечить себе доступ к нефти Южно-Китайского моря и предотвратить доминирование в Восточной Азии единственной державы. Для Китая [с .522] такое вмешательство будет совершенно нетерпимым: типичная наглая попытка ведущей западной державы унижить и запугать Китай, спровоцировать противодействие Китаю в его законной сфере влияния и отказать Китаю в праве играть в мировой политике соответствующую ему роль.

Короче говоря, чтобы избежать в будущем крупных межцивилизационных войн, стержневые страны должны воздерживаться от вмешательства в конфликты, происходящие в других цивилизациях. Несомненно, с этой истиной некоторым государствам, в особенности США, будет трудно смириться. Это правило воздержания, когда стержневые страны воздерживаются от вмешательства в конфликты в других цивилизациях, является первым необходимым условием сохранения мира в полицивилизационном, многополюсном мире. Второе условие, правило совместного посредничества, состоит в том, что стержневым странам необходимо договариваться между собой с целью сдерживания или прекращения войн по линиям разлома между государствами или группами государств, относящимися к их цивилизациям.

Западу или тем цивилизациям, которые, возможно, стремятся встать рядом с Западом или занять его доминирующее место, будет не так-то просто принять и эти правила, и мир, где цивилизации будут обладать большим равноправием. В таком мире, например, стержневые страны могут считать лишь своей прерогативой обладание ядерным оружием и отказывать в праве иметь подобное оружие другим членам своих цивилизаций. Вспоминая об усилиях Пакистана по обретению “полномасштабного ядерного потенциала”, Зульфикар Али Бхутто находил оправдание таким попыткам: “Мы знаем, что Израиль и Южная Африка обладают полномасштабным ядерным потенциалом. У христианской, еврейской и индуистской цивилизаций есть такие возможности. Только исламская цивилизация не имеет ее, но это положение в скором времени изменится” . Конкуренция за лидерство внутри цивилизаций, в которых нет единственного стержневого [с .523] государства, также может

способствовать соревнованию за обладание ядерным оружием. Даже несмотря на крайне тесное сотрудничество с Пакистаном, Иран недвусмысленно полагает, что ядерное оружие ему необходимо; точно так же по отношению к себе считает и Пакистан. С другой стороны, Бразилия и Аргентина отказались от своих программ, и Южная Африка уничтожила свое ядерное оружие, хотя у нее вполне может возникнуть желание вновь обзавестись им, в случае если Нигерия начнет развивать свою атомную программу. Несмотря на то, что распространение ядерного оружия со всей очевидностью сопряжено с риском, как указывал Скотт Саган и другие, вполне может оказаться более или менее стабильным мир, в котором ядерным оружием обладают только одно или два стержневых государства в каждой из основных цивилизаций.

Большинство важнейших международных организаций было создано вскоре после Второй Мировой войны и сформировано в соответствии с западными интересами, ценностями и практикой. По мере того, как могущество Запада убывает по сравнению с мощью других цивилизаций, все сильнее будет давление с целью изменить эти учреждения, приспособив их к интересам других цивилизаций. Наиболее очевидная, наиболее важная и, вероятно, наиболее спорная проблема касается постоянного членства в Совете Безопасности ООН. В число постоянных членов входят победившие во Второй Мировой войне великие державы, и в настоящее время это слабо связано с реалиями расстановки сил в мире. В конце концов, либо будут осуществлены изменения в составе членов Совета Безопасности, либо, по всей вероятности, для разрешения вопросов безопасности будут созданы другие, менее формальные процедуры — ведь, например, глобальные экономические вопросы уже обсуждаются на встречах “большой семерки”. В полицивилизационном мире в идеальном случае каждой крупной цивилизации следовало бы иметь по меньшей мере одно постоянное место в Совете Безопасности. В настоящее время [с .524] их имеют только три цивилизации. Соединенные Штаты Америки согласны с членством Японии и Германии, но, очевидно, постоянными членами они станут только в том случае, если это решение также одобряют и другие страны. Бразилия предложила пять новых постоянных членов, пусть и не имеющих права вето: Германию, Японию, Индию, Нигерию и свою кандидатуру. Однако тогда остался бы без представительства 1 миллиард мусульман мира, если не принимать в расчет то, что подобную ответственность могла бы взять на себя Нигерия. С цивилизационной точки зрения понятно, что место постоянных членов должны занять Япония и Индия, а Африке, Латинской Америке и мусульманскому миру необходимо иметь место постоянного представителя, которое на основе ротации могли бы занимать ведущие страны этих цивилизаций, а отбор проводили бы Организация исламской конференции, Организация африканского единства и Организация американских государств (при воздержавшихся США). Также было бы уместно объединить в одно места, занимаемые Великобританией и Францией, его будет занимать представитель Европейского Союза, определяемый Союзом на основе ротации. Таким образом, семь цивилизаций получили бы по одному постоянному месту, а у Запада было бы два, что в общих чертах отражает распределение населения, материальных ценностей и баланса сил в мире.

Общности цивилизации

Отдельные американцы поощряют мультикультурность на родине; некоторые поддерживают универсализм за границей; а некоторые содействуют и тому, и другому. Мультикультурность на родине угрожает Соединенным Штатам и Западу; универсализм за границей угрожает Западу и миру. Оба отрицают уникальность западной культуры. Глобальные [с .525] монокультураллисты стремятся весь мир сделать похожим на Америку. Доморожденные мультикультураллисты хотят сделать Америку похожей на мир. Мультикультурная Америка невозможна, потому что не-западная Америка — уже не американская. Мультикультурный мир неизбежен, потому что глобальная империя невозможна. Сохранение США и Запада требует обновления западной идентичности.

Безопасность мира требует признания глобальной мультикультурности.

Приведут ли неизбежно и окончательно к духовному и культурному релятивизму бессодержательность западного универсализма и реальность глобального культурного многообразия? Если универсализм легитимирует империализм, легитимирует ли релятивизм репрессии? И вновь ответ на эти вопросы — и “да”, и “нет”. Культуры — относительны; мораль — абсолютна. Культуры, как утверждал Майкл Уолзер, являются “мощными”; они описывают институты и задают поведенческие шаблоны, служащие для людей ориентиром, направляющие их на те пути, какие считаются правильными в каждом отдельно взятом обществе. Однако за пределами этой максималистской этики находится “маломощная” минималистская этика, которая содержит в себе “повторенные особенности отдельных “мощных”, или максимальных, принципов поведения”. Минимальные нравственные понятия правды и справедливости можно обнаружить во всех “мощных” моральных системах, и они неразделимы. Существуют также минимальные моральные “запретительные принципы, которые, вероятно, запрещают убийства, обман, пытки, угнетение и тиранию. Общее у людей то, что является “скорее осознанием общего врага [или зла], чем приверженностью общей культуре. Человеческое общество универсально потому, что оно — человеческое, а особенное потому, что оно — общество. Иногда мы шагаем вместе с другими; по большей части, мы шагаем в одиночку”. Однако “маломощная” этика на самом деле проистекает из общего человеческого состояния, [с .526] и во всех культурах можно найти “универсальные права”. Вместо того чтобы поддерживать универсальные — предположительно — особенности какой-то одной цивилизации, важнейшие предпосылки для сосуществования культур требуют поисков истинно общего, того, что есть в большинстве цивилизаций. В полицивилизационном мире курс на созидание состоит в отказе от универсализма, признании разнообразия и в поиске общих ценностей.

В маленьком Сингапуре в начале 1990-х годов имела место актуальная попытка определить подобные общности. Население Сингапура — приблизительно 76 процентов китайцев, 15 процентов — малайцев и мусульман и 6 процентов индийцев — индусов и сикхов. В прошлом правительство пыталось способствовать распространению в народе “конфуцианских ценностей”, но не менее настоятельно оно добивалось всеобщего обучения и свободного владения английским языком. В январе 1989 года президент Ви Ким Ви в своем обращении на открытии парламента обратил внимание на то, что 2,7 миллиона сингапурцев чересчур подвержены внешнему культурному влиянию Запада, что “дает им возможность ближе знакомиться с новыми идеями и технологиями из-за границы”, но “также делает их подверженными” воздействию “чуждых ценностей и уклада жизни”. “Традиционные азиатские представления о морали, долге и обществе, которые придавали нам силы в прошлом, — предостерегал он, — уступают место более вестернизированным, индивидуалистическим и эгоистичным взглядам на жизнь”. Необходимо, убеждал он, определить основные духовные ценности, которые являются общими для различных этнических и религиозных общин Сингапура и “которые ухватывают сущность того, что есть сингапурец”.

Президент Ви предложил четыре таких критерия: “ставить общество выше своего “я”, поддерживать семью как главный структурный элемент общества, разрешать основные вопросы посредством консенсуса, а не споров, соблюдать расовую и религиозную терпимость и гармонию”. Его [с .527] речь вызвала широкое обсуждение, и два года спустя была опубликована “Белая книга”, сформулировавшая правительственную точку зрения. “Белая книга” подтвердила все четыре предложенных президентом критерия, но присовокупила пятый пункт, о поддержке личности, в значительной мере исходя из необходимости подчеркнуть приоритет индивидуальных достоинств, в противоположность конфуцианским ценностям иерархии и семьи, которые могли бы привести к nepoтизму. “Белая книга” определила “общие ценности” сингапурцев следующим образом:

Нация превышает [этнической] группы, а общество превышает индивида;
Семья есть основная ячейка общества;

Уважение и общественная поддержка личности;
Консенсус вместо спора;
Расовая и религиозная гармония.

Декларация “общих ценностей” хоть и упоминает о приверженности Сингапура парламентской демократии, но явным образом исключает из их сферы политические ценности. Правительство особо отметило, что Сингапур — “во всех важнейших отношениях азиатское общество” и таковым и должен оставаться. “Сингапурцы — не американцы и не англосаксы, хотя мы говорим по-английски и носим западную одежду. Если с течением лет сингапурцы станут неотличимы от американцев, англичан или австралийцев или, еще хуже, станут их бледной копией [т.е. разорванной страной], то мы утратим наше преимущество перед этими западными странами, которое позволяет нам занимать твердую позицию на международной арене”.

Сингапурский проект был амбициозной попыткой определить сингапурскую культурную идентичность, которую разделяют все этнические и религиозные общины и которая отличает их от Запада. Несомненно, в формулировке западных, а в особенности американских, ценностей намного [с .528] большее значение придавалось бы правам личности в противовес правам общества, свободе самовыражения и истине, рождающейся в борьбе идей, политическому соучастию и состязательности и верховенству закона, как противоположности правлению знающих, мудрых и ответственных правителей. Но все равно, пусть они и могли бы дополнить список сингапурских ценностей, а некоторым из них придать меньшее значение, мало кто на Западе отверг бы эти ценности как никчемные. По меньшей мере, на “мощном” базовом уровне этики между Азией и Западом существуют некие общности. Кроме того, как указывали многие, в какой бы степени основные мировые религии — западное христианство, православие, индуизм, буддизм, ислам, конфуцианство, даосизм, иудаизм — ни разделяли человечество, им также свойственны общие для всех ключевые ценности. Если когда-нибудь человечество эволюционирует в универсальную цивилизацию, то она возникнет постепенно, через выявление и распространение этих общностей. Таким образом, вдобавок к правилам воздержания и совместного посредничества, для сохранения мира в полицивилизационном мире нужно выполнение третьего правила — правила общностей: людям всех цивилизаций следует искать и стремиться распространять ценности, институты и практики, которые являются общими и для них, и для людей, принадлежащих к другим цивилизациям.

Попытки достичь этих целей не только внесли бы вклад в ограничение столкновения цивилизаций, но и в укрепление Цивилизации как цивилизованности. Под Цивилизацией вообще обычно подразумевают сложную смесь более высоких уровней морали, религии, образования, искусства, философии, технологии, материального благополучия и, наверное, многого другого. Понятно, что эти составляющие необязательно изменяются вместе. Тем не менее, ученые без труда определяют звездные мгновения и моменты наибольшего упадка уровня цивилизованности в историческом развитии цивилизаций. Тогда вопрос в следующем: можно [с .529] ли составить схему взлетов и падений в развитии Цивилизации? Существует ли некий общий, извечный тренд, выходящий за границы отдельных цивилизаций, ведущий к более высоким уровням цивилизованности? Если подобный тренд имеется, является ли он продуктом процессов модернизации, которые повышают человеческий контроль над окружающей средой и, следовательно, порождают все более и более высокие уровни технологической сложности и материального благосостояния? Таким образом, является ли для текущей эпохи более высокий уровень соответствия времени необходимой предпосылкой для более высокого уровня цивилизованности? Или уровень цивилизованности претерпевает изменения, главным образом, в рамках истории отдельных цивилизаций?

Эти вопросы представляют собой еще одно проявление спора о линейном или циклическом характере истории. Понятно, что модернизация и нравственное развитие человека, основанные на более высоком уровне образования, информированности,

понимания человеческого общества и его естественного окружения приводят к постоянному движению все к более и более высоким ступеням Цивилизации. Или же уровни Цивилизации могут просто отражать фазы эволюции цивилизаций. Когда впервые появляются цивилизации, то их народы обычно энергичны, динамичны, жестоки, подвижны и склонны к экспансии. Они сравнительно нецивилизованы. По мере своей эволюции цивилизация становится более “степенной” и совершенствует умения и технические приемы, которые делают ее более цивилизованной. По мере того как конкуренция среди составляющих ее элементов уменьшается и возникает универсальное государство, цивилизация достигает своего наивысшего уровня развития Цивилизации, своего “золотого века”, сопровождающегося расцветом морали, искусства, литературы, философии, технологии и максимумом военных, экономических и политических возможностей. Когда она начинает клониться к упадку как цивилизация, уровень цивилизованности [с .530] также снижается, до тех пор, пока она не исчезает под стремительным натиском другой нарастающей цивилизации с более низкими уровнями цивилизованности.

Благодаря модернизации по всему миру, как правило, возрастает материальный уровень Цивилизации. Но способствует ли она также увеличению моральных и культурных измерений Цивилизации? В некоторых отношениях это кажется верным. Рабство, пытки, жестокое обращение с личностью — все это менее и менее приемлемо в современном мире. Однако является ли данное обстоятельство просто результатом воздействия западной цивилизации на другие культуры, и, следовательно, произойдет ли по мере заката западной мощи возврат к прошлому в моральном отношении? В 1990-х годах накопилось немало доказательств в пользу актуальности парадигмы “сущего хаоса” в международных отношениях: глобальное пренебрежение к закону и порядку, обанкротившиеся государства и нарастающая анархия во многих частях света, глобальная волна преступности, транснациональные мафии и наркокартели, увеличение употребления наркотиков во многих странах, общий кризис и упадок семьи, снижение уровня доверия и социального единства во многих странах, этническое, религиозное и цивилизационное насилие и управление с опорой на вооруженную силу — примерам этих широко распространенных в мире явлений несть числа. Кажется, что едва ли не во всех городах мира — в Москве, Рио-де-Жанейро, Бангкоке, Шанхае, Лондоне, Риме, Варшаве, Токио, Йоханнесбурге, Дели, Карачи, Каире, Боготе, Вашингтоне — стремительно растет преступность, а основные элементы Цивилизации угасают. Люди говорят о мировом кризисе власти. Подъем транснациональных корпораций, производящих экономические товары, все в большей степени сопровождается ростом транснациональных криминальных мафий, наркокартелей и банд террористов, яростно нападающих на Цивилизацию. Закон и порядок — первейшие предпосылки Цивилизации, а во многих частях [с .531] мира — Африке, Латинской Америке, бывшем Советском Союзе, Южной Азии, Ближнем Востоке — они как будто бы испаряются, в то время как в Китае, в Японии и на Западе они также подвергаются серьезной угрозе. На мировой основе Цивилизация, как кажется, во многих отношениях уступает под натиском варварства, отчего возникает впечатление о возможно поджидающем человечество беспрецедентном явлении — наступлении глобальных Темных веков.

В 1950— х годах Лестер Пирсон высказывал предостережение: человечество движется к “эпохе, когда различные цивилизации научатся жить рядом в мире, обмениваясь друг с другом, учась друг у друга, изучая историю, идеалы, искусство и культуру друг друга, взаимно обогащая жизнь каждой из них. Альтернативой в этом переполненном маленьком мирке будет непонимание, напряженность, столкновение и катастрофа” . Будущее и мира, и Цивилизации зависит от понимания и сотрудничества между политическими, духовными и интеллектуальными лидерами главных мировых цивилизаций. В столкновении цивилизаций Европа и Америка будут держаться вместе -либо погибнут поодиночке. В более масштабном столкновении, глобальном “настоящем столкновении” между Цивилизацией и варварством, великие мировые цивилизации, обогащенные своими достижениями в религии, искусстве, литературе, философии, науке, технологии, морали и сочувствии, также должны держаться

вместе, или же они погибнут поодиночке. В нарождающейся эпохе столкновения цивилизаций представляют величайшую угрозу миру во всем мире, и международный порядок, основанный на цивилизациях, является самой надежной мерой предупреждения мировой войны. [с.532]

Примечания

В прогнозе, который может быть верным, но фактически не подтверждается теоретическим и эмпирическим анализом, Куигли делает вывод: “Западной цивилизации не существовало около 500 года Р.Х.; она существовала в полном расцвете около 1500 года Р.Х. и в будущем она наверняка прекратит существование в какой-то момент времени, возможно, ранее 2500 года Р.Х.” Как она утверждает, новые цивилизации в Китае и Индии, сменяя те, что уничтожены Западом, затем перейдут на новые стадии экспансии и будут угрожать как западной, так и православной цивилизациям. Carroll Quigley, *The Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis*. Indianapolis: Liberty Press, 1979.

У. Шекспир. “Юлий Цезарь”. Акт 4, сцена 3. Пер. Мих. Зенкевича.

Послесловие

О спектроскопии цивилизаций, или Россия на геополитической карте мира

Лейтмотивом этой статьи станет геополитика, хотя новому тысячелетию пристало мыслить в более современных — геоэкономических и геокультурных категориях. Да и феномен России столь сложен, что его истолкование — даже на столь примитивном смысловом уровне, как политика, — представляет серьезные трудности. Сегодня нельзя однозначно определить место, которое наша страна занимает на “мировой шахматной доске”, некогда описанной польским американцем, культурологом, теоретиком постиндустриализма и политиком З. Бжезинским.

Границы русского геополитического субконтинента

Текст С. Хантингтона, хотя он имеет некоторые черты научной работы и все “родовые признаки” публицистики, следует отнести к разряду “стратегий”. В сущности, речь идет о военно-политическом планировании в запредельном масштабе, когда государство/этнос играет роль минимальной тактической единицы.

Всякая стратегия есть использование уникального ресурса системы во имя достижения [с .579] уникальных целей Пользователя . Ресурсы западной цивилизации используются С.Хантингтоном в полной мере, что же касается цели, то она, по сути, сводится к сохранению существующего положения дел. То есть речь идет о долговременной стратегической обороне.

Такое планирование не имеет позитивной цели, ибо представляет собой “движение от...”, а не “стремление к...”, характерное для живой содержательной стратегии. Можно, впрочем, согласиться с доктором З.Таррашем: “...это дело темперамента и характера — некоторым вместо прямолинейной наступательной стратегии больше подойдет ее противоположность”.

Здесь следует заметить, что оборонительная стратегия возможна далеко не всегда; кроме того, в долгосрочной перспективе она представляет собой вполне ясную перспективу глобального поражения. Но, наверное, нельзя порицать С.Хантингтона за то, что он не смог

предложить новые пути развития Запада, не сумел объяснить, во имя чего Западу жить. В конце концов, если уж философы пишут о “конце истории”, велик ли спрос с политолога? Стратегическая оборона может быть предпринята для выигрыша времени и поиска новых структурообразующих идей.

Разговор о реалистичности оборонительной стратегии С.Хантингтона впереди. Прежде следует разобраться в ее предпосылках. Стратегия вырастает из географии, и для геополитических построений это верно вдвойне. Насколько же цивилизационная схема С.Хантингтона географически обоснована? На мировой геополитической карте Океан представляет собой глобальное “пространство коммуникации”, в то [с .580] время как производство, в том числе демографическое, носит почти исключительно континентальный характер. Само по себе это предопределяет деление этносов/ государств/ культур/ цивилизаций... на преимущественно океанические (торговые) и преимущественно континентальные (производящие).

Геополитический чертеж земного шара несколько отличается от географической карты.

Понятно, что Антарктида, где нет ни постоянного населения, ни промышленности, на этом чертеже вообще отсутствует. Это в значительной степени относится и к Африке, хотя в последние десятилетия на Черном континенте явно происходит формирование самостоятельной геополитической общности.

Граница между Азией и Австралией проходит, отнюдь, не по побережью австралийского материка: сложнейшее переплетение островов и морей в районе Зондского и Соломонова архипелагов издавна выделяется в самостоятельную геополитическую общность — Австралазию. Несколько неожиданным может показаться то обстоятельство, что к Австралазии следует отнести также Малаккский полуостров и сопровождающие его островные дуги, а также северное побережье самой Австралии. Заметим в этой связи, что Тихоокеанская война 1941-1945 гг. включила в свою орбиту всю Австралазию и совершенно не коснулась Австралийского материка: геополитические границы охраняются значительно лучше, нежели государственные.

Обе Америки — Северная и Южная объединяются в единый суперконтинент, в границы которого попадают также Огненная Земля и острова Канадского архипелага.

В этой связи выделение С.Хантингтоном самостоятельной латиноамериканской цивилизации выглядит достаточно странно. Из его собственных построений вытекает, что при [с .581] наличии цивилизационного противоречия между Северной и Южной Америкой “доктрина Монро” не могла бы претворяться в жизнь столь успешно. Между тем она более ста лет рассматривалась как структурирующий принцип для Западного полушария; американский геополитический континент сохранил единство и во всех “горячих” и “холодных” конфликтах XX века, несмотря на очевидное влияние Великобритании и Германии на ряд южноамериканских стран.

Исландия и острова Вест-Индии (Багамы, Бермуды, Большие и Малые Антильские острова, Ямайка), географически и геологически несомненно принадлежащие к американскому суперконтиненту, образуют самостоятельную структуру, которую по аналогии с Австралазией можно назвать Еврамерикой. Близость Еврамерики к американскому материка предопределяет ее роль в системе мировых противоречий наступившего столетия.

Сложнее всего обстоит дело с нашим Евроазиатским суперконтинентом, распадающимся на несколько геополитических “блоков”, которые местами накладываются друг на друга, а иногда разделены тысячами “пустошами”.

Наиболее устойчивой сущностью Евразии является делящийся “из вечности в вечность” Китай, территория которого структурирует Азиатско-Тихоокеанский регион. Зона влияния АТР включает в себя Алеутские острова, Аляску (которая в некоторых историко-стратегических “вариантах” оказывается “Русской Америкой”), Японские острова, Филиппины, Вьетнам и Таиланд.

Очень устойчивым “блоком” является Индийский субконтинент, включающий остров

Цейлон (Шри-Ланка). Сегодня, как и во время Второй Мировой войны, территория Бангладеш, Бирмы, Лаоса и Камбоджи представляет собой геополитическую “пустыню”, непригодную для развертывания крупных операций — неважно, военных или [с .582] инвестиционных.

При всей важности Европейского субконтинента (а он представляет собой “расширенный центр” “мировой шахматной доски”) вопрос о его геополитических очертаниях далеко не очевиден. Так, неясно, следует ли понимать Ирландию как часть Европы, или она должна — вместе с Фарерскими островами и Исландией — быть отнесена к Евразии? Рассматривая в качестве “протоевропы” территорию Римской Республики, мы приходим к выводу, что вся Северная Африка: Египет, Ливия, Тунис, Марокко, — должна быть отнесена к Европе. Что же касается “восточной границы Европы”, то эта проблема уже столетиями обсуждается публицистами и политиками. Сегодня, следуя модели С.Хантингтона, принято проводить ее по линии раздела между восточным и западным христианством, то есть по границе Польши.

Заметим здесь, что, во-первых, непонятно, какая именно граница (и какой именно Польши) имеется в виду. Во-вторых, расхождения между католицизмом и православием носят в основном догматический характер, то есть они касаются, прежде всего, ритуальной стороны христианства. Соответственно, они намного менее существенны, нежели этическая пропасть между католичеством и протестантизмом. Наконец, в-третьих, с геополитической точки зрения конфессиональные “разломы” вторичны по отношению к географическим.

Естественным геополитическим барьером, замыкающим с востока европейский субконтинент, является линия Западная Двина — Днепр, стратегическое значение которой проявилось во всех войнах между Россией и европейскими государствами. Необходимо, однако, иметь в виду, что территория между меридианами Днестра и Одера прорезана крупными реками (Висла, Сан, Неман) и труднопроходимой горной системой Карпатских гор. Иными словами, она представляет собой типичный “слабый пункт”, владение [с .583] которым может оспариваться. Здесь русский и европейский субконтиненты накладываются друг на друга, и, подобно тому, как граница столкновения литосферных плит обозначена землетрясениями и вулканическими извержениями, зона взаимодействия геополитических субконтинентов отличается крайней нестабильностью. Здесь появляются и исчезают не только государства, но и сами народы.

Русский субконтинент продолжается на восток вплоть до Уральских гор и далее. Где-то между долинами Оби и Енисея он переходит в пустошь, простирающуюся до побережья Тихого океана. Вопрос о естественной восточной границе Руси весьма важен с исторической и этнографической точек зрения, но не представляет никакого практического интереса. Представляется правильным связать восточную границу русского субконтинента с той условной линией, восточнее которой исчезают “классические” русские города, включающие ядро, посад и контролирующую округу крепость.

Район генезиса исламской цивилизации, включающий Аравийский полуостров, Малую Азию, Переднюю Азию, Иранское нагорье, а также Сомали и Судан, является самостоятельной геополитической структурой (Афразией). В настоящее время Афразия не только достигла своих естественных границ (Инд, Нил, южное побережье Черного, Каспийского, Мраморного морей), но и проникла на территорию геополитической Европы, закрепившись в зоне Проливов и установив контроль над Северной Африкой. В районе Кавказских гор Афразия сталкивается с Русским субконтинентом.

Наконец, уже в наши дни формируется как геополитическая общность Центрально-азиатский субконтинент, включающий район Памира, территорию Афганистана и так называемые “прикаспийские страны”. Вполне понятно, что эта “зона разлома” и ее непосредственное окружение обречены стать в первой половине XXI столетия полем [с .584] политических и военных конфликтов.

Что касается геополитических океанов, то из водных просторов максимальное значение имеют “средиземные моря”, разделяющие/ соединяющие этносы, наиболее экономически

развитые для данной эпохи. Последовательно роль таких “открытых линий” мировой “шахматной доски” играло собственно Средиземное море, Северное море — Ла-Манш, Северная Атлантика. В наши дни роль главной коммуникационной структуры постепенно переходит к Тихому океану; во времена нового климатического оптимума возрастет (хотя и незначительно) роль Полярных морей.

Геополитические структуры, отнюдь, не являются неизменными. Они рождаются и умирают, и в этой связи современное положение русского субконтинента вызывает тревогу. На его западную и южную оконечность оказывается раскалывающее давление. Восточный край тонет в “пустоши”: среди богатейших земель Сибири и Дальнего Востока — все больше антропопустынь — ландшафтов, некогда освоенных людьми и брошенных ими. Что же касается северной оконечности, то здесь судьба русских культурных и цивилизационных смыслов всецело определяется двумя обстоятельствами: функционированием Северного Морского Пути и статусом Санкт-Петербурга.

Структурообразующие принципы цивилизации.

Мета-онтологическая “доска”

Игроками на “мировой шахматной доске” сегодня являются только Империи — государства, для которых выполняются следующие условия: [с .585]

- есть осознанная и отрефлектированная ассоциированность с одной из самостоятельных геополитических структур (“Америка для американцев”);
- существует один или несколько этносов, соотносящих себя с данным государством;
- хотя бы одним из этих этносов проявлена пассионарность (идентичность) в форме господствующей идеологии;
- у государства наличествует определенное место в мировой системе разделения труда;
- государство смогло сформировать собственную уникальную цивилизационную миссию, иными словами, оно способно ответить на вопрос, зачем оно существует?

Из национальных государств такими “обобщенными Империями” являются сегодня только Соединенные Штаты Америки, Япония и Китай. Региональные объединения также способны создавать имперские структуры, и не подлежит сомнению, что Европейский Союз должен рассматриваться как один из ведущих мировых игроков. Внесем в этот весьма привилегированный список также Россию, несмотря на ее крайне низкий экономический и политический статус в современном мире. Хотя бы по традиции: Россия имела все отличительные признаки Империи, по крайней мере последние двести лет. Даже если сейчас она утратила некоторые из них (что не очевидно), она должна учитываться в среднесрочном геополитическом реестре. На этом, кстати, настаивают и С.Хантингтон, и З.Бжезинский (хотя, ни того ни другого это обстоятельство не радует).

При всей важности “спектроскопии по Империям”, позволяющей ввести в геополитику субъектность и назвать поименно “игроков” за “мировой шахматной доской”, можно согласиться с С.Хантингтоном, что эта классификация вторична по отношению к разбиению, задаваемом понятием цивилизации.

Представление о различных цивилизациях (культурно-исторических общностях), сосуществующих на земном [с .586] шаре, было введено в науку Н.Данилевским. Он же связал формирование цивилизации с особенностями господствующих ландшафтов и показал, что цивилизации не смешиваются между собой и изменяются только в исторических масштабах времен.

Для А.Тойнби цивилизации всегда являлись “ответом на вызов”. Тем самым и классифицировались они по типам вызовов (вызов моря, вызов пустыни, вызов тропического леса...). К сожалению, великий английский историк не опубликовал свои представления об иерархии вызовов, поэтому построить эвристическую картину цивилизаций в рамках модели А.Тойнби затруднительно.

Но не эвристичен и С. Хантингтон, который подошел к понятию цивилизации, скорее, с позиции Н.Данилевского или О.Шпенглера, нежели А.Тойнби. Американский исследователь не определяет само понятие, вернее, определяет очень подробно и только описательно, что, по сути, одно и то же.

С. Хантингтон понимает под признаками цивилизации “культурную общность”: язык, историю, религию, обычаи. В рамках такого подхода решительно невозможно объяснить, почему между Испанией и Ирландией есть “культурная общность”, а между Россией и Польшей ее нет. Чтобы защититься от подобных возражений, автор выкладывает на стол следующую карту: каждый сам знает, к какой цивилизации он принадлежит. Иными словами, спектроскопия цивилизаций вытекает, по С. Хантингтону, из рамки идентичности.

Заметим, что здесь налицо формальная логическая ошибка: в лучшем случае каждый знает, к какой цивилизации он хочет принадлежать. В рамках подхода Н. Данилевского (и, насколько можно судить, С. Хантингтона) цивилизационные признаки маркируются архетипами, то есть “прописаны” на уровне коллективного бессознательного. Которое, конечно же, совершенно не обязательно согласуется с индивидуальным созданием. [с .587]

Очень сложное понятие идентичности американский исследователь также не определяет. Строго говоря, он его даже не вводит. Между тем без моделирования социальной идентичности совершенно невозможно как-то разумно ввести в геополитические построения процедуру самоидентификации. Сугубо формально, идентичность есть онтологическое убеждение (личности, группы, социосистемы), проявленное в процессе взаимодействия с некоторой “инаковостью” . Процессы формирования, проявления, утраты идентичности очень сложны, по-видимому, именно идентичности представляют собой социальное “горючее”, источник общественных движений.

Выдвигая свой тезис, С. Хантингтон оказывается перед необходимостью, во-первых, ответить на вопрос, какие идентичности образуют, а какие не образуют цивилизаций (ибо последних в рамках модели С. Хантингтона насчитывается только восемь) , и, во-вторых, доказать, что никакие идентичности никогда не смешиваются. Ни того ни другого автор не делает.

По всей видимости, С. Хантингтон считает первичным [с .588] признаком, порождающим расслоение Человечества на цивилизации, этноконфессиональную идентичность. Во всяком случае, он говорит: “Можно быть наполовину арабом и наполовину французом, сложнее быть наполовину католиком и мусульманином”.

Но почему? В эпохи Халифата или реконквисты такая самоидентификация была устоявшейся и довольно распространенной практикой. Да и позднее конфессиональные различия отступали перед опасностью или выгодой. Отец Мушкетона из бессмертного романа А.Дюма “избрал для себя смешанную протестантско-католическую веру”. В это же время на островах Карибского моря произошло столкновение идентичностей, и ответом на фразу: “мы повесили их не как французов, а как еретиков” было: “вас повесят не как испанцев и католиков, а как бандитов и убийц”. В сущности, автор делает очень далеко идущие выводы из такого случайного и преходящего явления, как развернувшийся на рубеже тысячелетий “парад конфессиональных идентичностей”. И даже одной, а именно мусульманской, конфессиональной идентичности. Можно согласиться с автором, когда он настаивает на судьбоносности “мусульманского возрождения” для Запада (во всяком случае, с необходимостью учитывать современный политический ислам как стратегический фактор спорить не приходится), но вот имеет ли это социальное явление теоретическое значение? В конце концов, никто не доказал, что распространение политического ислама представляет собой естественный, а не сконструированный социальный процесс.

Вероятно, построения С. Хантингтона можно исправить и конкретизировать (в результате “Конфликт цивилизаций” превратится, скорее всего, в осовремененную форму “России и Европы” Н. Данилевского), однако и модернизированная версия будет содержать все “родовые признаки” индуктивного подхода, малопригодного для геополитического анализа. [с .589]

Попытаемся мыслить в аналитической парадигме.

Определим “цивилизацию”, как образ жизни, заданный в виде совокупности общественно используемых технологий и рамочных ограничений, наложенных на эти технологии. Иными словами, “цивилизация” есть способ взаимодействия носителей разума с окружающей средой.

Рамочные принципы, маркирующие цивилизации, можно выбирать различными способами. Таким образом, можно построить несколько цивилизационных разложений, которые — при одинаковом числе параметров отбора — должны быть эквивалентными. Собственно, те инварианты, которые будут оставаться неизменными при любых “вращениях” в пространстве параметров и должны рассматриваться нами как наиболее фундаментальные социальные общности, формы существования Человечества.

В рамках восьмиаспектной структуры информационного пространства, модель рамочных принципов цивилизации может быть построена дихотомическими разложениями:

время — пространство;

личность — масса;

рациональное — трансцендентное;

духовное — материальное.

Такой подход выделяет 16 возможных цивилизаций, не все из которых, однако, существуют в реальности. Эквивалентное распределение по цивилизациям предлагает анализ по мирам-экономикам А.Кондратьева; А.Некlessа использует спектроскопию, основанную на мировом разделении труда.

Современный подход к понятию цивилизации отказывается от обязательной аналитической дихотомии, используя взамен сложную мыслеконструкцию, известную как метаонтологическая система координат. Эта система, представляющая собой единство трех “ортогональных” миров: “плана” идей, “плана” вещей и “плана” людей (носителей [с .590] разума). В каждом из этих миров задается своя системная иерархия. Например, для “плана” людей такая иерархия может иметь вид: человек — семья — этнос — государство — Человечество.

Категория времени в этой модели не задана явно и рассматривается как мера взаимодействия мета-онтологических миров. Такое взаимодействие по построению имеет тройственную природу и разбивается на мыследействие (“план” вещей + “план” идей), социодействие (“план” людей + “план” идей), онтодействие (“план” вещей + “план” людей).

В рамках построенной модели технология есть любая маршрутизация, сшивающая мысле-, социо — и онтодействие. Соответственно цивилизация определяется начальной (и она же конечная) точкой обхода, направлением обхода, уровнем иерархии, по которому производится обход.

Теоретически, таких уровней может быть сколько угодно. Практически, ни одна цивилизация не оперирует отдельными людьми или, напротив, всем человечеством, и реально выделяются три структурных уровня, соответствующих различным административным организованностям.

Наиболее простой из этих организованностей является ПОЛИС, самоуправляющаяся и самообеспечивающаяся община, жизнь которой регулируется гражданским правом, освященном религией, но не сводящимся к ней. ПОЛИСная структура тяготеет к демократичности, отделению науки и искусства от религии и права. Как правило, ПОЛИС поддерживает “принцип развития” и включает в семантический оборот понятие “личности”.

Обычно, число граждан ПОЛИСа ограничено количеством людей, которые умещаются на центральной площади (7! — по Аристотелю). ПОЛИСы тяготеют к открытости, смешиванию различных деятельностей, охотно развивают торговлю.

Альтернативой ПОЛИСу служит НОМОС, для которого характерно единство физических законов (законов [с .591] природы), социальных законов (права) и трансцендентных законов (воли Богов). Соответственно различие между природой, обществом и Божеством не проводится. Высший общественный иерарх не замещает Бога на

земле, он сам есть такой Бог. Он повелевает миром данного НОМОСа, дарует жизнь, обрекает на смерть, поддерживает мировое равновесие.

Жизнь в социосистемах-НОМОСах регулируется одним структурообразующим процессом, являющим собой единство природного явления и производственной деятельности. НОМОС замкнут и ограничен как в пространстве, так и во времени.

Наконец, наиболее сложным иерархичным уровнем является КОСМОС — организованность, объединяющая в единую структуру неоднородные государства, разные области которых управляются разными смысловыми, правовыми, религиозными системами.

Характерным признаком КОСМического государства является наличие некоего зародыша “мета-права”: рамочных принципов, порождающих любое частное (“областное”) право. Часто космическое мета-право принимает форму идеологической или трансцендентной системы, иногда оно сводится к единой сакральной фигуре “символа империи”.

КОСМические государства с неуклонностью порождают развитую бюрократию, “переводящую” мета-закон в управленческие решения. Соответственно КОСМОС тяготеет к аристократическим системам управления, которые в каких-то случаях маскируются под демократические представительные структуры, а в каких-то — под абсолютную монархию, но во всех случаях сохраняют основополагающий принцип — существование “номенклатуры” и “ведомств”.

Понятно, что КОСМические государства не имеют и не могут иметь единого структурообразующего процесса, кроме процесса управления. Динамические противоречия системы складываются из зон напряженности на областных [с .592] границах — административных, экономических, смысловых — и постоянной борьбы областей с имперским метаправом. Соответственно КОСМические структуры динамически неустойчивы: они либо пульсируют с характерными периодами порядка поколения, либо порождают внешнюю экспансию в форме агрессии или эмиграции

Предложенная модель позволяет выделить девять возможных цивилизаций (с точностью до направления обхода), что меньше, нежели в классической дихотомической схеме (шестнадцать), но явно больше, чем наблюдается в действительности.

Схема “мета-онтологических вращений” показывает, что природа цивилизаций может меняться, хотя и очень медленно, поскольку изменение подразумевает многократный обход “координатной системы”, накопление изменений и затем трансформацию господствующей технологии. Наиболее вероятен переход на другой иерархический уровень: например, развитие от ПОЛИСа к КОСМОСу, либо, напротив, деградация КОСМОСа до НОМОСа. Цивилизация может выстроить некий промежуточный структурный уровень. Чаще всего это свидетельствует о системной катастрофе и редукции “государственной административной картинке”. Так, НОМОС может истончиться до ЛЕГОСа, цивилизационной структуры, в которой единый закон, пронизывающий все стороны жизни и порождающий внятные поведенческие стандарты, редуцируется до юридического, установленного людьми и для людей закона. Человек, существующий внутри ЛЕГОСа, считает, что “правовое общество” охватывает не только носителей разума, но также животных и даже мертвую природу. Мир НОМОСа довольно неуютен (с точки зрения КОСМического мышления), но он самосогласован и способен к развитию. Мир ЛЕГОСа можно понять как пародию, карнавал, шутку, но эта шутка повторяется из года в год, из десятилетие в десятилетие — с совершенно серьезным видом. Конечно, рано или поздно “больная” цивилизация либо выздоровеет: восстановит у [с .593] себя НОМОС, создаст КОСМОС или найдет новую жизнеспособную цивилизационную структуру, — либо умрет.

Современные Западные культуры больны ЛЕГОСом, что характерно для США и большей части Западной Европы, ТЕУСом (изолированная, но вместе с тем едва ли не самая Западная из всех культура Ватикана), ТЕХНОСом (исчезнувшая советская цивилизационная структура).

КОСМОС и ПОЛИС также имеют свои “больные” подуровни. Так, первый может

вырождаться в ЛИНГВОС (культура, построенная на сугубо языковом формате) или ЭТНОС (это рождает совершенно фантастический, но короткоживущий оксюморон — моноэтническую империю). Второй, обычно, сводится к потерявшей трансцендентную составляющую МУНИЦИПИИ — самоуправляющейся общине, не имеющей информационного гения-покровителя своего существования, утратившей миссию развития и смысл существования.

В процессе естественного развития цивилизации (например, от НОМОСа к КОСМОСу) могут возникнуть весьма необычные ситуации, когда маршрутизация, задающая господствующую технологию и вместе с ней цивилизацию, проходит “план” людей на уровне КОСМОСа, в то время как мир идей еще сохраняет характерные для НОМОСа структуры. Такое противоречие есть повод и причина развития.

В этой связи нет необходимости беспокоиться (в долгосрочной перспективе) по поводу деятельности современного [с .594] политического ислама. Он — всего лишь структура, временно пытающаяся на КОСМическом уровне оперировать НОМОСными смыслами.

Домен, социальная форма северной цивилизации

“Невооруженным глазом” в современном глобализованном мире можно разглядеть три основные цивилизации, причем если различие между “Западом” и “Востоком” прослеживается на протяжении всей мыслимой истории, то цивилизация “Юга” существенно более молода. Заметим, что “Юг” занимает всего одну геополитическую “единицу” — Афразию, а “Восток” — две. Все остальные геополитические блоки либо находятся под прямым управлением “Запада”, либо так или иначе соотносятся с ним.

В рамках традиционного дихотомического подхода Запад есть цивилизация, базисными принципами которой является развитие (время), личность, рациональное и материальное. Восток отличен от Запада во всем: это цивилизация “дао” (пространство, соответствие), ориентирована на коллектив, трансцендентное и духовное. Отношения между Западом и Востоком могут быть выражены формулой “интерес, но не конфликт”: этим цивилизациям нечего делить — каждая из них владеет той “половиной” мета-онтологической системы координат, которая представляет для нее ценность. [с .595]

Юг гораздо ближе к Западу, чем к Востоку, и не зря ислам рассматривается рядом исследователей как христианская по своей сути цивилизационная структура. Ориентиры Юга — время, рациональность, материальность. Но — масса вместо личности.

Теория идентичностей предсказывает, что чем меньше различия в аксиологии (системе ценностей) и чем они при этом существеннее, тем ярче конфликт идентичностей. С этой точки зрения Югу есть что делить с Западом, и тревога С.Хантингтона вполне оправдана.

В рамках нового мета-онтологического подхода вырисовывается следующая картина. Запад весь лежит на КОС-Мическом уровне, но его культуры имеют “родимые” пятна своего различного происхождения. Если Североамериканские Соединенные Штаты изначально строили у себя КОСМОС, то средневековая Европа представляла собой царство ПОЛИСов, а Ватикан и Франция, “старшая дочь католической церкви”, все время воссоздавали классические НОМОСные системы отношений. Так что сегодняшнее единство вполне может вылиться в серьезный раскол по линии господствующей архетипической иерархии.

Для Запада начальной и конечной точкой маршрутизации является человек (ориентация на личность), направление мета-онтологического вращения рационально — онто-деятельность предшествует мыследеятельности, а последняя социодеятельности.

Для Востока маршрутизация начинается в мире идей, направление обхода рационально — от мира идей в мир людей и лишь затем в мир вещей: социодействие предшествует онтодействию, оргпроект — проекту. Характерный иерархический уровень — НОМОС.

Наконец, Юг начинает технологические маршруты в мире вещей, находится на иерархии НОМОСа и обходит [с .596] координатную систему в том же направлении, что и все остальные, — рационально. Можно себе представить Юг, овладевший КОСМическим

уровнем иерархии, но это будет уже совсем другая цивилизация, и “совсем другая история”.

Итак, восемь цивилизаций С.Хантингтона свернулись в три, причем Запад остался Западом, и в этом смысле название одной из глав труда американского исследователя идеально отражает содержание: “Запад против всех остальных”. Различие между замкнутыми, живущими в остановленном (с точки зрения европейца) времени буддистской и конфуцианской культурами мы определили как цивилизационно несущественное. Может быть, зря. Исторически Китай всегда придерживался “рационального” направления обхода, в то время как в культуре Индии прослеживаются трансцендентные устремления. В перспективе это может оказаться важным, но, впрочем, не в рамках стратегического подхода С.Хантингтона.

Что действительно вызывает недоумение, так это выделение в самостоятельную сущность Японской цивилизации. Даже сами японцы не скрывают, что их утонченная культура представляет собой крайнюю, “островную” форму культуры Китая, из которого Страна Восходящего Солнца заимствовала все — от иероглифов до единоборств. Если считать особенности японской культуры настолько существенными, то и Запад придется разделить на несколько фракций: различие между США и Германией заведомо сильнее, нежели между Китаем и Японией.

Относительно латиноамериканской “цивилизации” все уже сказано. Нельзя же в самом деле использовать страницы геополитического трактата для обоснования империалистических устремлений, к тому же давно удовлетворенных... Проблема Африки остается открытой. Можно согласиться с С.Хантингтоном, что “там” что-то формируется, но это “что-то” станет кризисом завтрашнего дня.

И еще остается Россия, которую С.Хантингтон, вероятно по договоренности с РПЦ, именуется “православной [с .597] цивилизацией”, хотя едва ли 10% ее населения серьезно относится к религии, и вряд ли более 1 % из числа “относящихся” способны внятно объяснить, чем православные отличаются от католиков.

Россия, в особенности Россия Петра, как правило, претендовала на роль самостоятельной культуры в рамках Западной цивилизации. Это стремление стать частью Запада подогревали тесные контакты петербургской элиты с европейскими столицами. Как следствие, Петербург, столица и воплощение Империи, быстро приобрел имидж города более западного, нежели сам Запад. В советское время этот образ несколько потускнел, но до конца не стерся.

Постперестроечные события похоронили надежды российской интеллигенции на действительную унию с западным миром. Во-первых, выяснилось, что никто не ждет Россию в этом мире. Во-вторых, оказалось, что именно теперь Евро-Атлантическая цивилизация вступила в период глубокого кризиса, да к тому же оказалась на грани войны. Наконец, в-третьих, определилось, что, следуя путем “конкордата”, Россия не только найдет, но и потеряет. Может быть, не столько найдет, сколько потеряет.

Исторически сложилось так, что Россия выполняет роль “цивилизации-переводчика”, транслируя смыслы между Востоком и Западом (а в последние десятилетия — между Югом и Западом). Таково ее место в общемировом разделении труда. Положение “мирового переводчика” привело к своеобразному характеру российских паттернов (образов) поведения: они всегда неосознанно маскировались под чисто западные.

В результате русский поведенческий паттерн оказывается скрытым от взгляда социолога: он воспринимается — в зависимости от системы убеждений исследователя — либо как “недозападный”, либо же — как “перезападный”. [с .598]

В действительности этот паттерн просто другой, что, как мы увидим, дает нам возможность отнести Россию к совершенно самостоятельной и уникальной культуре, имеющей предпосылки к формированию на своей основе четвертой основной цивилизации современности — Севера.

Первой из таких предпосылок является наличие в сугубо российской иерархии мира людей отдельного структурного уровня. Если Восток (а в известной мере, и Юг) есть

цивилизации этносов/ НОМОСов, если Запад представляет собой цивилизацию нуклеарной семьи, развившуюся до КОСМических размеров, то характерным российским явлением является домен.

Домен представляет собой группу людей численностью обычно 10-20 человек, идущих по жизни как единое целое. Домен всегда имеет лидера, разумеется неформального, и вся структура домена выстраивается через взаимодействие с лидером. Интересно, что связи внутри домена не носят национальной, религиозной, родовой, групповой, семейной окраски. Вернее, каждый человек связан с лидером (и с другими членами домена) по-разному: для каждой конкретной пары можно указать природу связующей силы, но придумать единое правило для всего домена невозможно. В отличие от кланов домены динамически неустойчивы: они живут ровно одно поколение.

Структура домена выглядит довольно рыхлой, что не мешает домену реагировать на любые внешние события как единое целое. Это проявилось, в частности, после дефолта 1998 года, когда социальные паттерны восстановились удивительно быстро — примерно на порядок быстрее, чем это должно было произойти по расчетам западных социологов, ориентирующихся на иерархический уровень семьи.

Идентичность домена является скрытой, поэтому его существование можно установить только тонкими косвенными [с .599] исследованиями. Очень похоже, однако, что именно доменной структуре русский этнос обязан своей эластичностью (“ванька-встанька”, как известно, один из общепризнанных символов русского народа), а также высочайшим потенциалом социокультурной переработки.

Россия как трансцендентная цивилизация

Второй важнейшей особенностью России является трансцендентный характер русской культуры. В рамках трехмерной мета-онтологической модели для России, как и для Запада, отправной/конечной точкой является мир людей. Однако обход осуществляется в противоположных направлениях: Евро-Атлантическая цивилизация сначала связывает мир людей с миром вещей (рациональная, предметная деятельность), а затем мир вещей с миром идей. Для русской культуры характерно первичное связывание мира людей с миром идей (иррациональная, информационная деятельность).

Таким образом, наши различия с Западом очень существенны. Но:

- уровень домена лежит между ПОЛИСОМ и НОМОСОМ и, как правило, очень трудно обнаружим (особенно, в те периоды истории, когда Россия занимает привычную для себя нишу Империй и существует на иерархическом уровне КОСМОСА);

- еще сложнее определить “направление обхода” мета-онтологической доски — различается не столько сама деятельность, сколько трансцендентное обоснование этой деятельности, которое, как правило, не рефлектируется.

То есть при минимальном желании Россию можно воспринять как “неправильный Запад” и приступить к исправлению ошибок. Проблема, однако, в том, что исправить “ошибки”, вытекающие из цивилизационной парадигмы, практически невозможно: за каждым исправлением будет вырастать новая задача.

Так, при всем желании невозможно инициализировать в России западное отношение к авторскому праву. И, равным образом, — восточное отношение к государству. Внутри некоторых пределов устойчивости (как показал опыт монголо-татарского нашествия, эти пределы очень широки) при любых операциях с русским социумом будет восстанавливаться доменная структура общества и трансцендентный характер его существования.

Это обстоятельство, наряду с выраженным кризисом Евро-Атлантической общности, ставит на повестку дня вопрос о самостоятельной русской (северной) цивилизации: ее провозглашении, ее парадигмальных принципах, ее жизненных форматах и производственных стандартах.

Санкт-Петербург — “окно в Европу” или город-миф

Такое провозглашение может, на мой взгляд, состояться только в Санкт-Петербурге, городе инноватики, городе имперских смыслов, трансграничном городе .

Петербург можно и должно рассматривать в качестве примера города, который правильно размещен на мета-онтологической “доске”. Как и всякий живой город, он социален и материален. Как очень немногие города, он образует собственную “астральную проекцию” на мир идей, “небесный Санкт-Петербург”. Более того, Санкт-Петербург [с .601] нарочито трансцендентен, нарочито литературен. Даже для наших гостей с запада Санкт-Петербург — это город-текст.

В действительности, возможно, дело обстоит даже сложнее.

Применение системного оператора к миру идей позволяет выделить три уровня высокоструктурированной информации.

Простейшим из них является уровень Текста. Тексты создаются при помощи символов, обретают литературную, живописную, музыкальную или иную семиотическую форму. На уровне текстов существуют такие информационные конструкты, как голем, эгрегор, душа города. На этом уровне естественное превращается в искусственное и наоборот.

Глубже расположен уровень Мифа, заархивированного в текстах нарративами, а в коллективном бессознательном — архетипами. Известно, что структурообразующих Мифов существует всего два: о бродяге, умирающем на Голгофе, и о страннике, потерявшем свой дом и скитающемся в Средиземном море.

Мифы порождают столь сложные информационные объекты, как динамические сюжеты. И здесь более чем уместно вспомнить, что Петербург — в ряду таких городов, как Александрия и Константинополь, — сам по себе образует динамический сюжет.

Мифы смешивают возможное и невозможное, модифицируя вероятности. Создаются мифы при помощи языка образов (паттернов).

Санкт— Петербург представляет собой город-миф “по построению”. Он остается таковым и сегодня, и, очень может быть, скоро мы будем говорить не о реальном Петербурге вещей и зданий и не об объективном Петербурге обывателей и гениев, но о мифологическом Петербурге. Городе сюжетов и текстов. [с .602] Наконец, еще выше находится уровень сказки, о котором мы не знаем практически ничего, кроме того, что на этом уровне смешивается живое и неживое.

Северная цивилизация станет явью, если Санкт-Петербург откажется от амбиций имперской столицы, от снобизма столицы культуры и даже от мифа столицы Петра. Тогда город проникнет на уровень сказки и превратит мертвые цивилизационные принципы в живую ткань бытия.

Сергей Переслегин

[с .603]

Примечания

Здесь Пользователь — это, скорее, определенная “позиция”, обозначающая человека или группу людей, отождествляющих свои интересы с интересами данной системы. Это не подразумевает обязательной принадлежности к высшим политическим элитам.

Используется материал статьи: *Переслегин С.* Самоучитель игры на мировой шахматной доске. // Геополитика. М.; СПб.: Act, Terra Fantastica, 2002.

Все наблюдательные данные по так называемому “глобальному потеплению” укладываются в картину короткопериодической (около 1000) пульсации криосферы Земли: климатический оптимум — малый ледниковый период.

Переслегин С, Переслегина Е., Боровиков С. Социальная термодинамика и проблема идентичностей. Тезисы к докладу. (Март 2002 г.) // Проблемы и перспективы междисциплинарных фундаментальных исследований. Материалы Второй научной конференции Санкт-Петербургского союза ученых 10-12 апреля 2002 г. Санкт-Петербург, 2002.

Утверждая, что каждый знает, к какой он цивилизации принадлежит, С.Хантингтон, конечно, не предполагает услышать в ответ на вопрос “Кто ты?” чеканный ответ “Я — представитель Западной, Православной, Конфуцианской, Мусульманской, Латиноамериканской, Японской, Буддистской, Африканской (нужное подчеркнуть) цивилизации”. В лучшем случае такой ответ можно получить “наводящими вопросами”. Мне неоднократно приходилось работать с системой убеждений человека (в рамках психологического тренинга), и я должен сказать, что цивилизационную идентичность люди рефлектируют и, тем более, проявляют крайне редко.

Цивилизации стратифицируются в виде культур, которые различаются между собой не базовыми принципами (обычно связанными аналогом соотношения неопределенности — либо человек живет в парадигме развития /времени, либо “дао”/пространства), но всего лишь господствующими убеждениями.

Подмена единого закона НОМОСа Божественным законом.

Редукция всей трансценденции до законов природы.

Это, кстати, сразу зачеркивает оборонительную стратегию С.Хантингтона. Время-ориентированная цивилизация либо развивается, то есть растет вглубь и вширь, осуществляет экспансию в физическом и смысловом слое, либо же — деградирует. Запад погибнет в тот момент, когда он “остановится”. “Конец истории” и наступление “общества мечты”, которое уже не будет меняться, поскольку и так прекрасно, станет концом для Запада.

Поэтому в мире нет единого Ислама, есть очень много разных исламов.

Такова, конечно, позиция С. Хантингтона. Трудолюбиво сработанная из одного слова “православная цивилизация” — всего лишь лейбл, призванный объяснить полное отсутствие у Запада желания взаимодействовать с Россией иначе чем на условиях полной блокады транслируемых ею смыслов.

Может быть, Империя для того и была разрушена, чтобы мы смогли, наконец, оказаться лицом к лицу с собой. И — понять себя.

Переслегин С. Санкт-Петербург как транслятор культур. Доклад на конференции “Феномен Петербурга”, август, 2001 г.

ФРЭНСИС ФУКУЯМА

КОНЕЦ ИСТОРИИ?

Наблюдая, как разворачиваются события в последнее десятилетие или около того, трудно избавиться от ощущения, что во всемирной истории происходит нечто фундаментальное. В прошлом году появилась масса статей, в которых был провозглашён

конец холодной войны и наступление “мира”. В большинстве этих материалов, впрочем, нет концепции, которая позволяла бы отделять существенное от случайного; они поверхностны. Так что если бы вдруг г-н Горбачев был изгнан из Кремля, а некий новый аятолла — возвестил 1000-летнее царство, эти же комментаторы кинулись бы с новостями о возрождении эры конфликтов.

И все же растет понимание того, что идущий процесс имеет фундаментальный характер, внося связь и порядок в текущие события. На наших глазах в двадцатом веке мир был охвачен пароксизмом идеологического насилия, когда либерализму пришлось бороться сначала с остатками абсолютизма, затем с большевизмом и фашизмом и, наконец, с новейшим марксизмом, грозившим втянуть нас в апокалипсис ядерной войны. Но этот век, вначале столь уверенный в триумфе западной либеральной демократии, возвращается теперь, под конец, к тому, с чего начал: не к предсказывавшемуся еще недавно “концу идеологии” или конвергенции капитализма и социализма, а к неоспоримой победе экономического и политического либерализма.

Триумф Запада, *западной идеи* очевиден прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив. В последнее десятилетие изменилась интеллектуальная атмосфера крупнейших коммунистических стран, в них начались важные реформы. Этот феномен выходит за рамки высокой политики, его можно наблюдать и в широком распространении западной потребительской культуры, в самых разнообразных ее видах: это крестьянские рынки и цветные телевизоры — в нынешнем Китае вездесущие; открытые в прошлом году в Москве кооперативные рестораны и магазины одежды; переложенный на японский лад Бетховен в токийских лавках; и рок-музыка, которой с равным удовольствием внимают в Праге, Рангуне и Тегеране.

То, чему мы, вероятно, свидетели, — не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления. Это не означает, что в дальнейшем никаких событий происходить не будет и страницы ежегодных обзоров “Форин Аффферз” по международным отношениям будут пустовать, — ведь либерализм победил пока только в сфере идей, сознания; в реальном, материальном мире до победы еще далеко. Однако имеются серьезные основания считать, что именно этот, идеальный мир и определит *в конечном счете* мир материальный. Чтобы понять, почему это так, следует вначале рассмотреть некоторые теоретические вопросы, связанные с природой происходящих в истории изменений.

I

Представление о конце истории нельзя признать оригинальным. Наиболее известный его пропагандист — это Карл Маркс, полагавший, что историческое развитие, определяемое взаимодействием материальных сил, имеет целенаправленный характер и закончится, лишь достигнув коммунистической утопии, которая и разрешит все противоречия. Впрочем, эта концепция истории — как диалектического процесса с началом, серединой и концом — была позаимствована Марксом у его великого немецкого предшественника, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.

Плохо ли, хорошо ли это, но многое из гегелевского историцизма вошло в сегодняшний интеллектуальный багаж. Скажем, представление о том, что сознание человечества прошло ряд этапов, соответствовавших конкретным формам социальной организации, таким как родоплеменная, рабовладельческая, теократическая и, наконец, демократически-эгалитарная. Гегель первым из философов стал говорить на языке современной социальной науки, для него человек — продукт конкретной исторической и социальной среды, а не совокупность тех или иных “естественных” атрибутов, как это было для теоретиков “естественного права”. И это именно гегелевская идея, а не собственно марксистская — овладеть естественной средой и преобразовать ее с помощью науки и техники. В отличие от позднейших историков,

исторический релятивизм которых выродился в релятивизм *tout court* * , Гегель полагал, что в некий абсолютный момент история достигает кульминации — в тот именно момент, когда побеждает окончательная, разумная форма общества и государства.

К несчастью для Гегеля, его знают ныне как предтечу Маркса и смотрят на него сквозь призму марксизма; лишь немногие из нас потрудились ознакомиться с его работами напрямую. Впрочем, во Франции предпринималась попытка спасти Гегеля от интерпретаторов-марксистов и воскресить его как философа, идеи которого могут иметь значение для современности. Наиболее значительным среди этих французских истолкователей Гегеля был, несомненно, Александр Кожев, блестящий русский эмигрант, который вел в 30-х гг. ряд семинаров в парижской *Ecole Pratique des Hautes Etudes* . Почти не известный в Соединенных Штатах, Кожев оказал большое влияние на интеллектуальную жизнь европейского континента. Среди его студентов числились такие будущие светила, как Жан-Поль Сартр слева и Раймон Арон — справа; именно *через Кожева* послевоенный экзистенциализм позаимствовал у Гегеля многие свои категории.

Кожев стремился воскресить Гегеля периода “Феноменологии духа”, — Гегеля, провозгласившего в 1806 г., что история подходит к концу. Ибо уже тогда Гегель видел в поражении, нанесенном Наполеоном Прусской монархии, победу идеалов Французской революции и надвигающуюся универсализацию государства, воплотившего принципы свободы и равенства. Кожев настаивал, что по существу Гегель оказался прав . Битва при Йене означала конец истории, так как именно в этот момент с помощью *авангарда* человечества (этот термин хорошо знаком марксистам) принципы Французской революции были претворены в действительность. И хотя после 1806 г. предстояло еще много работы — впереди была отмена рабства и работорговли, надо было предоставить избирательные права рабочим, женщинам, неграм и другим расовым меньшинствам и т. д., — но сами *принципы* либерально-демократического государства с тех пор уже не могли быть улучшены. В нашем столетии две мировые войны и сопутствовавшие им революции и перевороты помогли пространственному распространению данных принципов, в результате провинция была поднята до уровня форпостов цивилизации, а соответствующие общества Европы и Северной Америки выдвинулись в авангард цивилизации, чтобы осуществить принципы либерализма.

Появляющееся в конце истории государство либерально — поскольку признает и защищает, через систему законов, неотъемлемое право человека на свободу; и оно демократично — поскольку существует с согласия подданных. По Кожеву, это, как он его называет, “общечеловеческое государство” **3** нашло реально-жизненное воплощение в странах послевоенной Западной Европы — в этих вялых, пресыщенных, самодовольных, интересующихся только собою, слабых государствах, самым грандиозным и героическим проектом которых был Общий рынок **4** . Но могло ли быть иначе? Ведь человеческая история с ее конфликтами зиждется на существовании “противоречий”: здесь стремление древнего человека к признанию, диалектика господина и раба, преобразование природы и овладение ею, борьба за всеобщие права и дихотомия между пролетарием и капиталистом. В общечеловеческом же государстве разрешены все противоречия и утолены все потребности. Нет борьбы, нет серьезных конфликтов, поэтому нет нужды в генералах и государственных деятелях; а что осталось, так это главным образом экономическая деятельность. Надо сказать, что Кожев следовал своему учению и в жизни. Посчитав, что для философов не осталось никакой работы, поскольку Гегель (правильно понятый) уже достиг абсолютного знания, Кожев после войны оставил преподавание и до самой своей смерти в 1968 г. служил в ЕЭС чиновником.

Для современников провозглашение Кожевым конца истории, конечно, выглядело как типичный эксцентрический солипсизм французского интеллектуала, вызванный последствиями мировой войны и начавшейся войны холодной. И все же, как Кожеву хватило дерзости утверждать, что история закончилась? Чтобы понять это, мы должны уяснить связь этого утверждения с гегелевским идеализмом.

II

Для Гегеля противоречия, движущие историей, существуют прежде всего в сфере человеческого сознания, т. е. на уровне идей **5**, — не в смысле тривиальных предвыборных обещаний американских политиков, но как широких объединяющих картин мира; лучше всего назвать их идеологией. Последняя, в этом смысле, не сводится к политическим доктринам, которые мы с ней привычно ассоциируем, но включает также лежащие в основе любого общества религию, культуру и нравственные ценности.

Точка зрения Гегеля на отношение идеального и реального, материального мира крайне сложна; начать с того, что для него различие между ними есть лишь видимость **6**. Для него реальный мир не подчиняется идеологическим предрассудкам профессоров философии; но нельзя сказать, что идеальное у него ведет независимую от “материального” мира жизнь. Гегель, сам будучи профессором, оказался на какое-то время выбитым из колеи таким весьма материальным событием, как битва при Йене. Однако если писания Гегеля или его мышление могла оборвать пуля, выпущенная из материального мира, то палец на спусковом крючке в свою очередь был движим идеями свободы и равенства, вдохновившими Французскую революцию.

Для Гегеля все человеческое поведение в материальном мире и, следовательно, вся человеческая история укоренены в предшествующем состоянии сознания, — похожую идею позже высказывал и Джон Мейнард Кейнс, считавший, что взгляды деловых людей обыкновенно представляют собой смесь из идей усопших экономистов и академических бумагомарак предыдущих поколений. Это сознание порой недостаточно продуманно, в отличие от новейших политических учений; оно может принимать форму религии или простых культурных или моральных обычаев. Но *в конце концов* эта сфера сознания с необходимостью воплощается в материальном мире, даже — творит этот материальный мир по своему образу и подобию. Сознание — причина, а не следствие, и оно не может развиваться независимо от материального мира; поэтому реальной подоплекой окружающей нас событийной путаницы служит идеология.

У позднейших мыслителей гегелевский идеализм стал влачить убогое существование. Маркс перевернул отношение между реальным и идеальным, отписав целую сферу сознания — религию, искусство и самую философию — в пользу “надстройки”, которая полностью детерминирована у него преобладающим материальным способом производства. Еще одно прискорбное наследие марксизма состоит в том, что мы склонны предаваться материальным или утилитарным объяснениям политических и исторических явлений; мы не расположены верить в самостоятельную силу идей. Последним примером этого служит имевшая большой успех книга Пола Кеннеди “Возвышение и упадок великих держав” (*Kennedy P. “The Rise and Fall of the Great Powers”*); в ней падение великих держав объясняется просто — экономическим перенапряжением. Конечно, доля истины в этом имеется: империя, экономика которой еле-еле справляется с тем, чтобы себя содержать, не может до бесконечности расписываться в своей несостоятельности. Однако на что именно общество решит выделить 3 или 7 процентов своего ВВП (валового национального продукта) — на оборону либо на нужды потребления, есть вопрос политических приоритетов этого общества, а последние определяются в сфере сознания.

Материалистический уклон современного мышления характерен не только для левых, симпатизирующих марксизму людей, но и для многих страстных антимарксистов. Так, скажем, на правом крыле находится школа материалистического детерминизма журнала “Уолл стрит джорнэл”, не признающая значения идеологии и культуры и рассматривающая человека как, в сущности, разумного, стремящегося к максимальной прибыли индивида. Именно человека такого типа вместе с движущими им материальными стимулами берут за основу экономической жизни и учебники по экономике **7**. Проиллюстрируем сомнительность этих материалистических взглядов на примере.

Макс Вебер начинает свою знаменитую книгу “Протестантская этика и дух капитализма” указанием на различия в экономической деятельности протестантов и католиков. Эти различия подытожены в пословице: “Протестанты славно вкушают, католики мирно почивают”. Вебер отмечает, что в соответствии с любой экономической теорией, по которой человек есть разумное существо, стремящееся к максимальной прибыли, повышение расценок должно вести к повышению производительности труда. Однако во многих традиционных крестьянских общинах это дает обратный эффект — *снижения* производительности труда: при более высоких расценках крестьянин, привыкший зарабатывать две с половиной марки в день, обнаруживает, что может заработать ту же сумму, работая меньше, и так и поступает. Выбор в пользу досуга, а не дохода, в пользу, далее, военизированного образа жизни спартанского гоплита, а не благополучного жития-бытия афинского торговца, или даже в пользу аскетичной жизни предпринимателя периода раннего капитализма, а не традиционного времяпрепровождения аристократа, — никак нельзя объяснить безликим действием материальных сил; выбор происходит преимущественно в сфере сознания, в идеологии. Центральная тема работы Вебера — доказать вопреки Марксу, что материальный способ производства — не “базис”, а, наоборот, “надстройка”, имеющая корни в религии и культуре. И если мы хотим понять, что такое современный капитализм и мотив прибыли, следует, по Веберу, изучать имеющиеся в сфере сознания предпосылки того и другого.

Современный мир обнажает всю нищету материалистических теорий экономического развития. Школа материалистического детерминизма журнала “Уолл стрит джорнэл” любит приводить в качестве свидетельства жизнеспособности свободной рыночной экономики ошеломляющий экономический успех Азии в последние несколько десятилетий; делается вывод, что и другие общества достигли бы подобных успехов, позволь они своему населению свободно следовать материальным интересам. Конечно, свободные рынки и стабильные политические системы — неперемное условие экономического роста. Но столь же несомненно и то, что культурное наследие дальневосточных обществ, этика труда, семейной жизни, бережливость, религия, которая, в отличие от ислама, не накладывает ограничений на формы экономического поведения, и другие прочно сидящие в людях моральные качества никак не менее значимы при объяснении их экономической деятельности **8** . И все же интеллектуальное влияние материализма таково, что ни одна из серьезных современных теорий экономического развития не принимает сознание и культуру всерьез, не видит, что это, в сущности, материнское лоно экономики.

Непонимание того, что экономическое поведение обусловлено сознанием и культурой, приводит к распространенной ошибке: объяснять даже идеальные по природе явления материальными причинами. Китайская реформа, например, а в последнее время и реформа в Советском Союзе обычно трактуются как победа материального над идеальным, — как признание того, что идеологические стимулы не смогли заменить материальных и для целей преуспевания следует апеллировать к низшим формам личной выгоды. Однако глубокие изъяны социалистической экономики были всем очевидны уже тридцать или сорок лет назад. Почему же соцстраны стали отходить от централизованного планирования только в 80-х? Ответ следует искать в сознании элиты и ее лидеров, решивших сделать выбор в пользу “протестантского” благополучия и риска и отказаться от “католической” бедности и безопасного существования **9** . И это ни в коем случае не было неизбежным следствием материальных условий, в которых эти страны находились накануне реформы. Напротив, изменение произошло в результате того, что одна идея победила другую **10** .

Для Кожева, как и для всех гегельянцев, глубинные процессы истории обусловлены событиями, происходящими в сознании, или сфере идей, поскольку в итоге именно сознание переделывает мир по своему образу и подобию. Тезис о конце истории в 1806 г. означал, что идеологическая эволюция человечества завершилась на идеалах Французской и Американской революций; и, хотя какие-то режимы в реальном мире полностью их не осуществили, теоретическая истинность самих идеалов абсолютна и улучшить их нельзя.

Поэтому Кожева не беспокоило, что сознание послевоенного поколения европейцев не стало универсальным; если идеологическое развитие действительно завершилось, то общечеловеческое государство рано или поздно все равно должно победить.

У меня здесь нет ни места, ни, откровенно говоря, сил защищать в деталях радикальные идеалистические взгляды Гегеля. Вопрос не в том, правильна ли его система, а в том, насколько хорошо видна в ее свете проблематичность материалистических объяснений, часто принимаемых нами за само собою разумеющееся. Дело не в том, чтобы отрицать роль материальных факторов как таковых. С точки зрения идеалиста, человеческое общество может быть построено на любых произвольно выбранных принципах, независимо от того, согласуются ли эти принципы с материальным миром. И на самом деле люди доказали, что способны переносить любые материальные невзгоды во имя идей, существующих исключительно в сфере духа, идет ли речь о священных коровах или о Святой Троице.

Но поскольку само человеческое восприятие материального мира обусловлено осознанием этого мира, имеющим место в истории, то и материальный мир вполне может оказывать влияние на жизнеспособность конкретного состояния сознания. В частности, впечатляющее материальное изобилие в развитых либеральных экономиках и на их основе — бесконечно разнообразная культура потребления, видимо, питают и поддерживают либерализм политической сфере. Согласно материалистическому детерминизму, либеральная экономика неизбежно порождает и либеральную политику. Я же, наоборот, считаю, что и экономика и политика предполагают автономное предшествующее им состояние сознания, благодаря которому они только и возможны. Состояние сознания, благоприятствующее либерализму, в конце истории стабилизируется, если оно обеспечено упомянутым изобилием. Мы могли бы резюмировать: общечеловеческое государство — это либеральная демократия в политической сфере, сочетающаяся с видео и стерео в свободной продаже — в сфере экономики.

III

Действительно ли мы подошли к концу истории? Другими словами, существуют ли еще какие-то фундаментальные “противоречия”, разрешить которые современный либерализм бессилён, но которые разрешались бы в рамках некоего альтернативного политико-экономического устройства? Поскольку мы исходим из идеалистических посылок, то должны искать ответ в сфере идеологии и сознания. Мы не будем разбирать все вызовы либерализму, исходящие в том числе и от всяких чокнутых мессий; нас будет интересовать лишь то, что воплощено в значимых социальных и политических силах и движениях и является частью мировой истории. Неважно, какие там еще мысли приходят в голову жителям Албании или Буркина-Фасо; интересно лишь то, что можно было бы назвать общим для всего человечества идеологическим фондом.

В уходящем столетии либерализму были брошены два главных вызова — фашизм и коммунизм. Согласно первому, политическая слабость Запада, его материализм, моральное разложение, потеря единства суть фундаментальные противоречия либеральных обществ; разрешить их могли бы, с его точки зрения, только сильное государство и “новый человек”, опирающиеся на идею национальной исключительности. Как жизнеспособная идеология фашизм был сокрушен Второй мировой войной. Это, конечно, было весьма материальное поражение, но оно оказалось также и поражением идеи. Фашизм был сокрушен не моральным отвращением, ибо многие относились к нему с одобрением, пока видели в нем веяние будущего; *сама идея потерпела неудачу*. После войны люди стали думать, что германский фашизм, как и другие европейские и азиатские его варианты, был *обречен* на гибель. Каких-либо материальных причин, исключавших появление после войны новых фашистских движений в других регионах, не было; все заключалось в том, что экспансионистский ультранационализм, обещающий бесконечные конфликты и в конечном итоге военную катастрофу, лишился всякой привлекательности. Под руинами рейхсканцелярии,

как и под атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки, эта идеология погибла не только материально, но и на уровне сознания; и все протофашистские движения, порожденные германским и японским примером, такие как перонизм в Аргентине или Индийская национальная армия Сабхаса Чандры Боса, после войны зачухли.

Гораздо более серьезным был идеологический вызов, брошенный либерализму второй великой альтернативой, коммунизмом. Маркс утверждал, на гегелевском языке, что либеральному обществу присуще фундаментальное неразрешимое противоречие: это — противоречие между трудом и капиталом. Впоследствии оно служило главным обвинением против либерализма. Разумеется, классовый вопрос успешно решен Западом. Как отмечал (в числе прочих) Кожев, современный американский эгалитаризм и представляет собой то бесклассовое общество, которое провидел Маркс. Это не означает, что в Соединенных Штатах нет богатых и бедных или что разрыв между ними в последние годы не увеличился. Однако корни экономического неравенства — не в правовой и социальной структуре нашего общества, которое остается фундаментально эгалитарным и умеренно перераспределительным; дело скорее в культурных и социальных характеристиках составляющих его групп, доставшихся по наследству от прошлого. Негритянская проблема в Соединенных Штатах — продукт не либерализма, но рабства, сохранявшегося еще долгое время после того, как было формально отменено.

Поскольку классовый вопрос отошел на второй план, привлекательность коммунизма в западном мире — это можно утверждать смело — сегодня находится на самом низком уровне со времени окончания Первой мировой войны. Судить об этом можно по чему угодно: по сокращающейся численности членов и избирателей главных европейских коммунистических партий и их открыто ревизионистским программам; по успеху на выборах консервативных партий в Великобритании и ФРГ, Соединенных Штатах и Японии, выступающих за рынок и против этатизма; по интеллектуальному климату, наиболее “продвинутые” представители которого уже не верят, что буржуазное общество должно быть наконец преодолено. Это не значит, что в ряде отношений взгляды прогрессивных интеллектуалов в западных странах не являются глубоко патологичными. Однако те, кто считает, что будущее за социализмом, слишком стары или слишком маргинальны для реального политического сознания своих обществ.

Могут возразить, что для североатлантического мира угроза социалистической альтернативы никогда не была реальной, — в последние десятилетия ее подкрепляли главным образом успехи, достигнутые за пределами этого региона. Однако именно в неевропейском мире нас поражают грандиозные идеологические преобразования, и особенно это касается Азии. Благодаря силе и способности к адаптации своих культур, Азия стала в самом начале века ареной борьбы импортированных западных идеологий. Либерализм в Азии был очень слаб после Первой мировой войны; легко забывают, сколь унылым казалось политическое будущее Азии всего десять или пятнадцать лет назад. Забывают и то, насколько важным представлялся исход идеологической борьбы в Азии для мирового политического развития в целом.

Первой решительно разгромленной азиатской альтернативой либерализму был фашизм, представленный имперской Японией. Подобно его германскому варианту, он был уничтожен силой американского оружия; победоносные Соединенные Штаты и навязали Японии либеральную демократию. Японцы, конечно, преобразовали почти до неузнаваемости западный капитализм и политический либерализм. Многие американцы теперь понимают, что организация японской промышленности очень отличается от американской или европейской, а фракционное маневрирование внутри правящей либерально-демократической партии с большим сомнением можно называть демократией. Тем не менее сам факт, что существенные элементы экономического и политического либерализма привились в уникальных условиях японских традиций и институций, свидетельствует об их способности к выживанию. Еще важнее — вклад Японии в мировую историю. Следуя по стопам Соединенных Штатов, она пришла к истинно универсальной культуре потребления — этому

и символу, и фундаменту общечеловеческого государства. В.С.Найпол, путешествуя по хомейнистскому Ирану сразу после революции, отмечал повсеместно встречающуюся и как всегда неотразимую рекламу продукции “Сони”, “Хитачи”, “Джи-ви-си”, — что, конечно, указывало на лживость претензий режима восстановить государство, основанное на законе Шариата. Желание приобщиться к культуре потребления, созданной во многом Японией, играет решающую роль в распространении по всей Азии экономического и, следовательно, политического либерализма.

Экономический успех других стран Азии, вставших, по примеру Японии, на путь индустриализации, сегодня всем известен. С гегельянской точки зрения важно то, что политический либерализм идет вслед за либерализмом экономическим, — медленнее, чем многие надеялись, однако, по-видимому, неотвратимо. И здесь мы снова видим победу идеи общечеловеческого государства. Южная Корея стала современным, урбанизированным обществом со все увеличивающимся и хорошо образованным средним классом, который не может изолироваться от происходящих демократических процессов. В этих обстоятельствах для большей части населения было невыносимым правление отжившего военного режима, — в то время как Япония, всего на десятилетие ушедшая вперед в экономике, уже более сорока лет располагала парламентскими институтами. Даже социалистический режим в Бирме, просуществовавший в течение многих десятилетий в унылой изоляции от происходивших в Азии важных процессов, в прошлом году перенес ряд потрясений, связанных со стремлением к либерализации экономической и политической системы. Говорят, что несчастья диктатора Не Вина начались, когда старший офицер армии Бирмы отправился в Сингапур на лечение и впал в депрессию, увидев, как далеко отстала социалистическая Бирма от своих соседей по АСЕАНу.

Но сила либеральной идеи не была бы столь впечатляющей, не затронула она величайшую и старейшую в Азии культуру — Китай. Само существование коммунистического Китая создавало альтернативный полюс идеологического притяжения и в качестве такового представляло угрозу для либерализма. Но за последние пятнадцать лет марксизм-ленинизм как экономическая система был практически полностью дискредитирован. Начиная со знаменитого Третьего пленума Десятого Центрального Комитета в 1978 г. китайская компартия принялась за деколлективизацию сельского хозяйства, охватившую 800 миллионов китайцев. Роль государства в сельском хозяйстве была сведена к сбору налогов, резко увеличено было производство предметов потребления, с той целью, чтобы привить крестьянам вкус к общечеловеческому государству и тем самым стимулировать их труд. В результате реформы всего за пять лет производство зерна было удвоено; одновременно у Дэн Сяопина появилась солидная политическая база, позволившая распространить реформу на другие сферы экономики. А кроме того, никакой экономической статистике не отразить динамизма, инициативы и открытости, которые проявил Китай, когда началась реформа.

Китай никак не назовешь сегодня либеральной демократией. На рыночные рельсы переведено не более 20 процентов экономики, и, что важнее, страной продолжает заправлять сама себя назначившая коммунистическая партия, не допускающая и тени намека на возможность передачи власти в другие руки. Дэн не дал ни одного из горбачевских обещаний, касающихся демократизации политической системы, не существует и китайского эквивалента гласности. Китайское руководство проявляет гораздо больше осмотрительности в критике Мао и маоизма, чем Горбачев в отношении Брежнева и Сталина, и режим продолжает платить словесную дань марксизму-ленинизму как своему идеологическому фундаменту. Однако каждый, кто знаком с мировоззрением и поведением новой технократической элиты, правящей сегодня в Китае, знает, что марксизм и идеологический диктат уже не имеют никакой политической значимости и что впервые со времени революции буржуазное потребительство обрело в этой стране реальный смысл. Различные спады в ходе реформы, кампании против “духовного загрязнения” и нападки на политические “отклонения” следует рассматривать как тактические уловки, применяемые в

процессе осуществления исключительно сложного политического перехода. Уклоняясь от решения вопроса о политической реформе и одновременно переводя экономику на новую основу, Дэн сумел избежать того “порыва устоев”, который сопровождает горбачевскую перестройку. И все же притягательность либеральной идеи остается очень сильной, по мере того как экономическая власть переходит в руки людей, а экономика становится более открытой для внешнего мира. В настоящий момент более 20000 китайских студентов обучается в США и других западных странах, практически все они — дети китайской элиты. Трудно поверить, что, вернувшись домой и включившись в управление страной, они допустят, чтобы Китай оставался единственной азиатской страной, не затронутой общедемократическим процессом. Студенческие демонстрации, впервые происшедшие в декабре 1986 г. в Пекине и повторившиеся недавно в связи со смертью Ху Яобана, — лишь начало того, что неизбежно превратится в ширящееся движение за изменение политической системы.

Однако, при всей важности происходящего в Китае, именно события в Советском Союзе — “родине мирового пролетариата” — забивают последний гвоздь в крышку гроба с марксизмом-ленинизмом. В смысле официальных институтов власти не так уж много изменилось за те четыре года, что Горбачев у власти: свободный рынок и кооперативное движение составляют ничтожную часть советской экономики, продолжающей оставаться централизованно-плановой; политическая система по-прежнему в руках компартии, которая только начала демократизироваться и делиться властью с другими группами; режим продолжает утверждать, что его единственное стремление — модернизировать социализм и что его идеологической основой остается марксизм-ленинизм; наконец, Горбачеву противостоит потенциально могущественная консервативная оппозиция, способная возратить многое на круги своя. Кроме того, к шансам предложенных Горбачевым реформ как в сфере экономики, так и в политике трудно относиться оптимистически. Однако моя задача здесь заключается не в том, чтобы дать анализ ближайших событий или что-то предсказывать; мне важно увидеть глубинные тенденции в сфере идеологии и сознания. А в этом отношении ясно, что преобразования просто поразительны.

Эмигранты из Советского Союза сообщают, что практически никто в стране больше не верит в марксизм-ленинизм, и нагляднее всего это проявляется в среде советской элиты, произносящей марксистские лозунги из чистого цинизма. Причем, коррупция и разложение позднебрежневского советского государства мало что значили, ибо до тех пор пока само государство отказывалось усомниться в любом из фундаментальных принципов, лежащих в основе советского общества, система была способна функционировать просто по инерции и даже проявлять динамизм в области внешней политики и обороны. Марксизм-ленинизм был своего рода магическим заклинанием, это была единственная общая основа, опираясь на которую элита соглашалась управлять советским обществом. И неважно, насколько все это было абсурдным и бессмысленным.

То, что произошло за четыре года после прихода Горбачева к власти, представляет собой революционный шторм самых фундаментальных институтов в принципх сталинизма и их замену другими, еще не либеральными в собственном смысле слова, но связанными между собой именно либерализмом. Это наиболее очевидно в экономической сфере, где экономисты-реформаторы вокруг Горбачева заняли радикальную позицию в поддержке свободного рынка, так что, например, Николай Шмелев не возражает, когда его публично сравнивают с Милтоном Фридманом. Сегодня среди экономистов налицо согласие по поводу того, что центральное планирование и командная система распределения — главная причина экономической неэффективности и что если советская система когда-либо примется лечить свои болезни, то должна разрешить свободное и децентрализованное принятие решений в отношении вложений, найма и цен. После двух первых лет идеологической неразберихи эти принципы были наконец внедрены в политику с принятием новых законов о самостоятельности предприятий, о кооперативах и, наконец, в 1988 г. — об аренде и семейном фермерстве. Имеется, конечно, ряд фатальных ошибок в осуществлении реформы,

наиболее серьезная среди них — отказ от решительного пересмотра цен. Однако дело теперь не в *концепции* : Горбачев и его команда, кажется, достаточно хорошо поняли экономическую логику введения рынка, но, подобно лидерам государств третьего мира, столкнувшимся с МВФ (Международным валютным фондом), боятся социальных последствий отказа от потребительских субсидий и других форм зависимости людей от государственного сектора.

В политической сфере предложенные изменения в конституции, правовой системе и партии далеко не равнозначны установлению либерального государства. Горбачев говорит о демократизации главным образом внутри партии, а не о том, чтобы покончить с партийной монополией на власть; по существу, политическая реформа стремится узаконить и тем самым усилить власть КПСС . Тем не менее общие положения, составляющие основу многих реформ, — о народном “самоуправлении”; о том, что вышестоящие политические органы подотчетны нижестоящим, а не наоборот; что закон должен стоять выше произвольных действий полиции и опираться на разделение властей и независимый суд; что права собственности должны быть защищены; что необходимо открытое обсуждение общественно значимых вопросов и право на публичное несогласие; что Советы, в которых может участвовать весь народ, должны быть наделены властью; что политическая культура должна стать более терпимой и плюралистической, — все эти принципы исходят из источника, глубоко чуждого марксистско-ленинской традиции, даже несмотря на то, что они плохо сформулированы и еле-еле работают на практике.

Неоднократные утверждения Горбачева, будто он стремится вернуться к первоначальному смыслу ленинизма, сами по себе — лишь вариант оруэлловской “двойной речи”. Горбачев и его союзники настойчиво повторяют, что внутрипартийная демократия — что-то вроде сущности ленинизма и что открытые дискуссии, тайное голосование на выборах, власть закона — суть ленинское наследие, извращенное Сталиным. И хотя почти любой человек рядом со Сталиным будет выглядеть ангелом, столь жесткое противопоставление Ленина и его преемника представляется неубедительным. Сущностью демократического централизма Ленина является именно централизм, а не демократия. Это абсолютно жесткая, монолитная, основанная на дисциплине диктатура иерархически организованного авангарда коммунистической партии, выступающего от имени народа. Вся непристойная полемика Ленина с Карлом Каутским, Розой Люксембург и другими соперниками из числа меньшевиков и социал-демократов, не говоря уже о презрении к “буржуазной законности” и буржуазным свободам, основывались на его глубоком убеждении, что с помощью демократической организации осуществить революцию невозможно.

Заявления Горбачева вполне можно понять: полностью развенчав сталинизм и брежневизм, обвинив их в сегодняшних трудностях, он нуждается в какой-то точке опоры, чтобы было чем обосновать законность власти КПСС. Однако тактика Горбачева не должна скрывать от нас того факта, что принципы демократизации и децентрализации, которые он провозгласил в экономической и политической сфере, крайне разрушительны для фундаментальных установок как марксизма, так и ленинизма. Если бы большая часть предложений по экономической реформе была реализована, то трудно было бы сказать, чем же советская экономика отличается от экономики тех западных стран, которые располагают большим национализированным сектором.

В настоящее время Советский Союз никак не может считаться либеральной или демократической страной; и вряд ли перестройка будет столь успешной, чтобы в каком-либо обозримом будущем к этой стране можно было применить подобную характеристику. Однако *в конце истории* нет никакой необходимости, чтобы либеральными были все общества; достаточно, чтобы были забыты идеологические претензии на иные, более высокие формы общежития. И в этом плане в Советском Союзе за последние два года произошли весьма существенные изменения: критика советской системы, санкционированная Горбачевым, оказалась столь глубокой и разрушительной, что шансы на

возвращение к сталинизму или брежневизму весьма невелики. Горбачев наконец позволил людям сказать то, что они понимали в течение многих лет, а именно, что магические заклинания марксизма-ленинизма — бессмыслица, что советский социализм — не великое завоевание, а по существу грандиозное поражение. Консервативная оппозиция в СССР, состоящая из простых рабочих, боящихся безработицы и инфляции, и из партийных чиновников, которые держатся за места и привилегии, открыто, не прячась высказывает свои взгляды и может оказаться достаточно сильной, чтобы в ближайшие годы сместить Горбачева. Но обе эти группы выступают всего только за сохранение традиций, порядка и устоев; они не привержены сколько-нибудь глубоко марксизму-ленинизму, разве что вложили в него большую часть жизни. Восстановление в Советском Союзе авторитета власти после разрушительной работы Горбачева возможно лишь на основе новой и сильной идеологии, которой, впрочем, пока не видно на горизонте.

* * *

Допустим на мгновение, что фашизма и коммунизма не существует: остаются ли у либерализма еще какие-нибудь идеологические конкуренты? Или иначе: имеются ли в либеральном обществе какие-то неразрешимые в его рамках противоречия? Напрашиваются две возможности: религия и национализм.

Все отмечают в последнее время подъем религиозного фундаментализма в рамках христианской и мусульманской традиций. Некоторые склонны полагать, что оживление религии свидетельствует о том, что люди глубоко несчастны от безличия и духовной пустоты либеральных потребительских обществ. Однако хотя пустота и имеется и это, конечно, идеологический дефект либерализма, из этого не следует, что нашей перспективой становится религия. Совсем не очевидно и то, что этот дефект устраним политическими средствами. Ведь сам либерализм появился тогда, когда основанные на религии общества, не столкнувшись по вопросу о благой жизни, обнаружили свою неспособность обеспечить даже минимальные условия для мира и стабильности. Теократическое государство в качестве политической альтернативы либерализму и коммунизму предлагается сегодня только исламом. Однако эта доктрина малопривлекательна для немусульман, и трудно себе представить, чтобы это движение получило какое-либо распространение. Другие, менее организованные религиозные импульсы с успехом удовлетворяются в сфере частной жизни, допускаемой либеральным обществом.

Еще одно “противоречие”, потенциально неразрешимое в рамках либерализма, — это национализм и иные формы расового и этнического сознания. И действительно, значительное число конфликтов со времени битвы при Йене было вызвано национализмом. Две чудовищные мировые войны в этом столетии порождены национализмом в различных его обличьях; и если эти страсти были до какой-то степени погашены в послевоенной Европе, то они все еще чрезвычайно сильны в третьем мире. Национализм представлял опасность для либерализма в Германии, и он продолжает грозить ему в таких изолированных частях “постисторической” Европы, как Северная Ирландия.

Неясно, однако, действительно ли национализм является неразрешимым для либерализма противоречием. Во-первых, национализм неоднороден, это не одно, а несколько различных явлений — от умеренной культурной ностальгии до высокоорганизованного и тщательно разработанного национал-социализма. Только систематические национализмы последнего рода могут формально считаться идеологиями, сопоставимыми с либерализмом или коммунизмом. Подавляющее большинство националистических движений в мире не имеет политической программы и сводится к стремлению обрести независимость от какой-то группы или народа, не предлагая при этом сколько-нибудь продуманных проектов социально-экономической организации. Как таковые, они совместимы с доктринами и идеологиями, в которых подобные проекты имеются. Хотя они и могут представлять собой источник конфликта для либеральных обществ, этот конфликт вытекает не из либерализма, а

скорее из того факта, что этот либерализм осуществлен не полностью. Конечно, в значительной мере этническую и националистическую напряженность можно объяснить тем, что народы вынуждены жить в недемократических политических системах, которых сами не выбирали.

Нельзя исключить того, что внезапно могут появиться новые идеологии или не замеченные ранее противоречия (хотя современный мир, по-видимому, подтверждает, что фундаментальные принципы социально-политической организации не так уж изменились с 1806 г.). Впоследствии многие войны и революции совершались во имя идеологий, провозглашавших себя более передовыми, чем либерализм, но история в конце концов разоблачила эти претензии.

IV

Что означает конец истории для сферы международных отношений? Ясно, что большая часть третьего мира будет оставаться на задворках истории и в течение многих лет служить ареной конфликта. Но мы сосредоточим сейчас внимание на более крупных и развитых странах, ответственных за большую часть мировой политики. Россия и Китай в обозримом будущем вряд ли присоединятся к развитым нациям Запада; но представьте на минуту, что марксизм-ленинизм перестает быть фактором, движущим внешнюю политику этих стран, — вариант если еще не превратившийся в реальность, однако ставший в последнее время вполне возможным. Чем тогда деидеологизированный мир в сумме своих характеристик будет отличаться от того мира, в котором мы живем?

Обычно отвечают: вряд ли между ними будут какие-либо различия. Ибо весьма распространено мнение, что идеология — лишь прикрытие для великодержавных интересов и что это служит причиной достаточно высокого уровня соперничества и конфликта между нациями. Действительно, согласно одной популярной в академическом мире теории, конфликт присущ международной системе как таковой, и чтобы понять его перспективы, следует смотреть на форму системы — например, является она биполярной или многополярной, а не на образующие ее конкретные нации и режимы. В сущности, здесь гоббсовский взгляд на политику применен к международным отношениям: агрессия и небезопасность берутся не как продукт исторических условий, а в качестве универсальных характеристик общества.

Следующие этой линии размышлений берут в качестве модели деидеологизированного мира отношения, существовавшие в европейском балансе девятнадцатого века. Чарлз Краутэммер, например, написал недавно, что если в результате горбачевских реформ СССР откажется от марксистско-ленинской идеологии, то произойдет возвращение страны к политике Российской империи прошлого века. Считая, что уж лучше это, чем исходящая от коммунистической России угроза, он делает вывод: соперничество и конфликты продолжатся в том виде, как это было, скажем, между Россией в Великобритании или кайзеровской Германией. Это, конечно, удобная точка зрения для людей, признающих, что в Советском Союзе происходит нечто важное, но не желающих брать на себя ответственность и рекомендовать вытекающий отсюда радикальный пересмотр политики. Но — правильна ли эта точка зрения?

Достаточно спорно, что идеология — лишь надстройка над непреходящими интересами великой державы. Ибо тот способ, каким государство определяет свой национальный интерес, не универсален, он покоится на предшествующем идеологическом базисе так же, как экономическое поведение — на предшествующем состоянии сознания. В этом столетии государства усвоили себе весьма разработанные доктрины с недвусмысленными, узаконивающими экспансионизм внешнеполитическими программами.

Экспансионизм и соперничество в девятнадцатом веке основывались на не менее “идеальном” базисе; просто так уж вышло, что движущая ими идеология была не столь разработана, как доктрины двадцатого столетия. Во-первых, самые “либеральные”

европейские общества были нелиберальны, поскольку верили в законность империализма, то есть в право одной нации господствовать над другими нациями, не считаясь с тем, желают ли эти нации, чтобы над ними господствовали. Оправдание империализму у каждой нации было свое: от грубой веры в то, что сила всегда права, в особенности если речь шла о неевропейцах, до признания Великого Бремни Белого Человека, и христианизирующей миссии Европы, и желания “дать” цветным культуру Рабле и Мольера. Но каким бы ни был тот или иной идеологический базис, каждая “развитая” страна верила в приемлемость господства высшей цивилизации над низшими. Это привело, во второй половине столетия, к территориальным захватам и в немалой степени послужило причиной мировой войны.

Безобразным порождением империализма девятнадцатого столетия был германский фашизм — идеология, оправдывавшая право Германии господствовать не только над неевропейскими, но и над всеми негерманскими народами. Однако — в ретроспективе — Гитлер, по-видимому, представлял нездоровую боковую ветвь в общем ходе европейского развития. Со времени его феерического поражения законность любого рода территориальных захватов была полностью дискредитирована. После Второй мировой войны европейский национализм был обезврежен и лишился какого-либо влияния на внешнюю политику, с тем следствием, что модель великодержавного поведения XIX века стала настоящим анахронизмом. Самой крайней формой национализма, с которой пришлось столкнуться западноевропейским государствам после 1945 года, был голлизм, самоутверждавшийся в основном в сфере культуры и политических наскоков. Международная жизнь в той части мира, которая достигла конца истории, в гораздо большей степени занята экономикой, а не политикой или военной стратегией.

Разумеется, страны Запада укрепляли свою оборону и в послевоенный период активно готовились к отражению мировой коммунистической опасности. Это, однако, диктовалось внешней угрозой и не существовало бы, не будь государств, открыто исповедовавших экспансионистскую идеологию. Чтобы принять “неореалистическую” теорию всерьез, нам надо поверить, что, исчезни Россия и Китай с лица земли, “естественное” поведение в духе соперничества вновь утвердилось бы среди государств ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). То есть Западная Германия и Франция вооружались бы, оглядываясь друг на друга, как они это делали в 30-е годы, Австралия и Новая Зеландия направляли бы военных советников, борясь за влияние в Африке, а на границе между Соединенными Штатами и Канадой были бы возведены укрепления. Такая перспектива, конечно, нелепа: не будь марксистско-ленинской идеологии, мы имели бы, скорее всего, “общий рынок” в мировой политике, а не распавшееся ЕЭС и конкуренцию образца девятнадцатого века. Как доказывает наш опыт общения с Европой по проблемам терроризма или Ливии, европейцы пошли гораздо дальше нас в отрицании законности применения силы в международной политике, даже в целях самозащиты.

Следовательно, предположение, что Россия, отказавшись от экспансионистской коммунистической идеологии, начнет опять с того, на чем остановилась перед большевистской революцией, просто курьезно. Неужели человеческое сознание все это время стояло на месте и Советы, подхватывающие сегодня модные идеи в сфере экономики, вернутся к взглядам, устаревшим уже столетие назад? Ведь не произошло же этого с Китаем после того, как он начал свою реформу. Китайский экспансионизм практически исчез: Пекин более не выступает в качестве спонсора маоистских инсургентов и не пытается насаждать свои порядки в далеких африканских странах, — как это было в 60-е годы. Это не означает, что в современной китайской внешней политике не осталось тревожных моментов, таких как безответственная продажа технологии баллистических ракет на Ближний Восток или финансирование красных кхмеров в их действиях против Вьетнама. Однако первое объяснимо коммерческими соображениями, а второе — след былых, вызванных идеологическими мотивами трений. Новый Китай гораздо больше напоминает голлистскую Францию, чем Германию накануне Первой мировой войны.

Наше будущее зависит, однако, от того, в какой степени советская элита усвоит идею

общечеловеческого государства. Из публикаций и личных встреч я делаю однозначный вывод, что собравшаяся вокруг Горбачева либеральная советская интеллигенция пришла к пониманию идеи конца истории за удивительно короткий срок; и в немалой степени это результат контактов с европейской цивилизацией, происходивших уже в послебрежневскую эру. “Новое политическое мышление” рисует мир, в котором доминируют экономические интересы, отсутствуют идеологические основания для серьезного конфликта между нациями и в котором, следовательно, применение военной силы становится все более незаконным. Как заявил в середине 1988 г. министр иностранных дел Шеварднадзе: “...Противоборство двух систем уже не может рассматриваться как ведущая тенденция современной эпохи. На современном этапе решающее значение приобретает способность ускоренными темпами на базе передовой науки, высокой техники и технологии наращивать материальные блага и справедливо распределять их, соединенными усилиями восстанавливать и защищать необходимые для самовывживания человечества ресурсы”.

Постисторическое сознание, представленное “новым мышлением”, — единственно возможное будущее для Советского Союза. В Советском Союзе всегда существовало сильное течение великорусского шовинизма, получившее с приходом гласности большую свободу самовыражения. Вполне возможно, что на какое-то время произойдет возврат к традиционному марксизму-ленинизму, просто как к пункту сбора для тех, кто стремится восстановить подорванные Горбачевым “устои”. Но, как и в Польше, марксизм-ленинизм мертв как идеология, мобилизующая массы: под его знаменем людей нельзя заставить трудиться лучше, а его приверженцы утратили уверенность в себе. В отличие от пропагандистов традиционного марксизма-ленинизма, ультранационалисты в СССР страстно верят в свое славянофильское призвание, и создается ощущение, что фашистская альтернатива здесь еще вполне жива.

Таким образом, Советский Союз находится на распутье: либо он вступит на дорогу, которую сорок пять лет назад избрала Западная Европа и по которой последовало большинство азиатских стран, либо, уверенный в собственной уникальности, застрянет на месте. Сделанный выбор будет иметь для нас огромное значение, ведь, если учесть территорию и военную мощь Союза, он по-прежнему будет поглощать наше внимание, мешая осознанию того, что мы находимся уже по ту сторону истории.

Исчезновение марксизма-ленинизма сначала в Китае, а затем в Советском Союзе будет означать крах его как жизнеспособной идеологии, имеющей всемирно-историческое значение. И хотя где-нибудь в Манагуа, Пхеньяне или Кембридже (штат Массачусетс) еще останутся отдельные правоверные марксисты, тот факт, что ни у одного крупного государства эта идеология не останется на вооружении, окончательно подорвет ее претензии на авангардную роль в истории. Ее гибель будет одновременно означать расширение “общего рынка” в международных отношениях и снизит вероятность серьезного межгосударственного конфликта.

Это ни в коем случае не означает, что международные конфликты вообще исчезнут. Ибо и в это время мир будет разделен на две части: одна будет принадлежать *истории*, другая — *постистории*. Конфликт между государствами, принадлежащими *постистории*, и государствами, принадлежащими вышеупомянутым частям мира, будет по-прежнему возможен. Сохранится высокий и даже все возрастающий уровень насилия на этнической и националистической почве, поскольку эти импульсы не исчерпают себя и в *постисторическом* мире. Палестинцы и курды, сикхи и тамилы, ирландские католики и валлийцы, армяне и азербайджанцы будут копить и лелеять свои обиды. Из этого следует, что на повестке дня останутся и терроризм, и национально-освободительные войны. Однако для серьезного конфликта нужны крупные государства, все еще находящиеся *в рамках истории*, но они-то как раз и уходят с исторической сцены.

Конец истории печален. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма, — вместо всего этого — экономический расчет, бесконечные технические проблемы, забота об

экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя. В постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории. Я ощущаю в самом себе и замечаю в окружающих ностальгию по тому времени, когда история существовала. Какое-то время эта ностальгия все еще будет питать соперничество и конфликт. Признавая неизбежность постисторического мира, я испытываю самые противоречивые чувства к цивилизации, созданной в Европе после 1945 года, с ее североатлантической и азиатской ветвями. Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вынудит историю взять еще один, новый старт?

ПРИМЕЧАНИЯ

* Вот и все, только (фр.). — *Прим. перев.*

Наиболее известна работа Кожева “Введение в чтение Гегеля”, запись лекций в Ecole Pratique в 30-х гг. (*Kojève A . Introduction a la lecture de Hegel. — Paris, Gallimard, 1947*). Книга переведена на английский язык (*Kojève A . Introduction to the Reading of Hegel. — New York: Basic Books, 1969*).

В этом отношении взгляды Кожева весьма отличаются от некоторых немецких интерпретаций Гегеля, например, Гербертом Маркузе, который, больше симпатизируя Марксу, считал философию Гегеля исторически ограниченной, а незавершенной.

В оригинале — “*universal homogenous state*”, т. е., буквально, — “универсальное гомогенетическое государство” (прим. перев.).

4 Другим вариантом конца истории Кожев считал послевоенный “американский образ жизни”, к которому, полагал он, идет и Советский Союз.

5 Это выражено в знаменитом афоризме из предисловия к “Философии истории”: “Все разумное действительно, все действительное разумно”.

6 Для Гегеля сама дихотомия идеального и материального мира — видимость, и в конечном счете преодолевается самосознающим субъектом; в его системе материальный мир сам лишь аспект духа,

7 Надо сказать, что современные экономисты, признавая, что поведение человека не всегда определяется исключительно стремлением к максимальной прибыли, предполагают в нем также способность к получению “пользы” — пользы, понимаемой как доход или какие-то другие блага, которые могут быть приумножены: досуг, секс или радости философствования. То, что вместо прибыли мы имеем теперь пользу, — еще одно подтверждение точки зрения идеализма.

8 Достаточно сравнить поведение вьетнамских иммигрантов в американской школе с поведением их одноклассников-негров или латиноамериканцев, чтобы понять, что культура и сознание играют действительно решающую роль, и не только в экономическом поведении, но и практически во всех других важных сторонах жизни.

9 Полное объяснение причин реформы в Китае и России является, конечно, гораздо более сложным. Советская реформа, например, в значительной мере была мотивирована ощущением небезопасности в области военной технологии. Но все же ни та, ни другая страна накануне реформ не находилась в таком уж материальном кризисе, чтобы возможно было предсказать те поразительные пути реформы, на которые они вступили.

10 И до сих пор неясно, являются ли советские народы “протестантами” в той же мере, что и Горбачев, и пойдут ли за ним по этому пути.

11 Внутренняя политика Византийской империи при Юстиниане вращалась вокруг конфликта между монофизитами и монофелитами, расхившимися по вопросу о единстве Святой Троицы. Этот конфликт, напоминающий столкновение между болельщиками на византийском ипподроме, привел к значительному политическому насилию. Современные историки склонны усматривать причины подобных конфликтов в антагонизме между общественными классами или прибегая к другим экономическим категориям; они никак не хотят понять, что люди способны убивать друг друга, всего лишь разойдясь в вопросе о природе Троицы.

12 Я не употребляю здесь термина “фашизм” в его точном смысле, поскольку им часто злоупотребляют в целях компрометации неудобных лиц. “Фашизм” здесь — любое организованное ультранационалистическое движение с претензиями на универсальность, — конечно, не в смысле национализма, т. к. последний “исключителен” по определению, а в смысле уверенности движения в своем праве господствовать над другими народами. Так, имперская Япония может быть квалифицирована как фашистская, а Парагвай при диктаторе Стресснере или Чили при Пиночете — нет. Очевидно, что фашистские идеологии не могут быть универсальными в смысле марксизма или либерализма, однако структура доктрины может кочевать из страны в страну.

13 Пример Японии я привожу с долей осторожности; в конце жизни Кожев пришел к выводу, что, как доказала Япония с ее культурой, общечеловеческое государство не одержало победы, и история, возможно, не завершилась. См. длинное примечание в конце второго издания *Introduction a la Lecture de Hegel*, p. 462-463,

14 В Польше и Венгрии компартии, напротив, предприняли шаги в направлении плюрализма и подлинного разделения властей.

15 Это в особенности относится к лидеру советских консерваторов, бывшему второму секретарю Егору Лигачеву, публично признавшему многие серьезные пороки брежневского периода.

16 Я думаю прежде всего о Руссо и идущей от него философской традиции, весьма критически настроенной в отношении локковского в гоббсовского либерализма, — хотя либерализм можно критиковать и с точки зрения классической политической философии.

17 См.: *K rauthammer Ch. Beyond the Cold War. // New Republic* . — 1988, December 19.

18 Европейским колониальным державам, например Франции, понадобилось после войны несколько лет, чтобы признать незаконность своих империй; но это было неизбежно как следствие победы союзников, обещавших восстановлению демократических свобод.

19 *Вестник Министерства Иностранных Дел СССР* . — 1988, № 15 (август 1988). — С. 27-46. “Новое мышление” служит, разумеется, и пропагандистской цели — убедить западную, аудиторию в благих намерениях Советов. Однако это не означает, что многие из этих идей не выдвигаются всерьез.